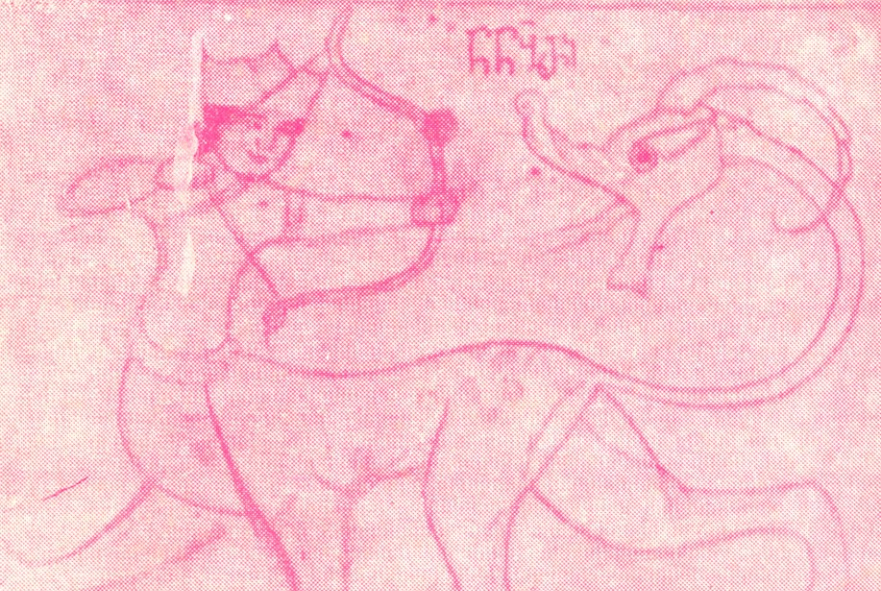


ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

1978-1979
10-11

საქართველოს საბჭოთაო სოციალისტური რესპუბლიკის
ლიტერატურის ინსტიტუტი



1978-10-11

Ежемесячный литературно-художественный
и общественно-политический журнал



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ 1978 10-11

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

В ПРЕДДВЕРИИ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

СОЮЗ ТРУДА И ПОЭЗИИ	3
<u>ПОЭЗИЯ И ПРОЗА</u>	
ВИТАЛИЙ КОРОТИЧ	16
КАРЛО КАЛАДЗЕ	20
ХУТА ГАГУА	160
ОТАР ЧИЛАДЗЕ. Шел человек по дороге. Роман.	24
РАМАЗ КОБИДЗЕ. Листья папоротника. Роман. Окончание	119
ТАМАЗ ГОДЕРДЗИШВИЛИ. Как пойман- ная птица. Повесть.	167
<u>ОЧЕРК</u>	
МИХАИЛ ДАВИТАШВИЛИ. «Строитель новой Грузии»	214
МАРЧЕЛ ПЭТРИШОР. Прекрасная Грузия	226
<u>ПУБЛИЦИСТИКА</u>	
ВСЕВОЛОД ЗЕНКОВИЧ. Море угрожает	230

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор — Гурам АСАТИАНИ

Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Ги-
ви ЖВАНИЯ, Марк ЗЛАТ-
КИН, Исидор КОЗАЕВ, Ге-
оргий ЛОМИДЗЕ, Георгий
МАРГВЕЛАШВИЛИ, Вла-
димир МАЧАВАРИАНИ,

Михаил МРЕВЛИШВИЛИ,
Гурам ХАРАИДЗЕ (заме-
ститель главного редактора),
Эммануил ФЕЙГИН, Георгий
ЦИЦИШВИЛИ.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ

„ლიტერატურნია გრუზია“

(რუსულ ენაზე)



— ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ყურნალი

ბაზელის 1957 წლის იანვარი №10-11 ოქტომბერი-ნოემბერი

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

АКАКИЙ ВАСАДЗЕ. Внимая образам мелодий. 243

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

ГУБАЗ МЕГРЕЛИДЗЕ. Страницы дружбы . 251

НОВЫЕ КНИГИ

ДЭВИ СТУРА 257

ДИЛАРА АЛИЕВА 258

БОРИС МИРЦХУЛАВА 266

ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА, ВОСПОМИНАНИЯ

ЗОЯ МАСЛЕНИКОВА. Портрет поэта 267

ШАЛВА ГОЗАЛИШВИЛИ. По следам одного документа 294

ИВАН БЕЖАНОВ. Рассказывают яснополянские крестьяне 296

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

МАРК ЗЛАТКИН. «Чтобы понять наш духовный мир...». 302

АННОТАЦИИ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГРУЗИИ» 312

ХРОНИКА 317

ОБ АВТОРАХ ЭТОГО НОМЕРА 319

Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются

НАШ АДРЕС:

380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отдел прозы — 93-31-43, отдел поэзии и искусств — 93-31-43, отдел критики и литературоведения — 93-65-19, отдел публицистики и очерка — 93-65-19.

СОЮЗ ТРУДА И ПОЭЗИИ

На грузинскую землю пришел большой праздник. Накануне Октябрьских торжеств Грузия радушно распахнула свои объятия дорогим гостям — посланцам братских литератур народов СССР. 27 октября в нашей республике начались Дни советской литературы.

«...Дни советской литературы в Грузии — это особые дни, дни особого торжества идей социалистического интернационализма и советского патриотизма, ленинской дружбы и братства наших народов и наших литератур», — сказал в своей речи на торжественном открытии Дней советской литературы в Грузии первый секретарь ЦК Компартии Грузии Э. А. Шеварднадзе.

И в этом поистине заложен самый глубокий смысл данного события.

Братство и нерушимая дружба народов нашего Союза — одно из самых дорогих завоеваний Великого Октября, выполнение одного из святых ленинских заветов. Дни советской литературы в Грузии были лучшим и убедительнейшим свидетельством торжества и нерушимости интернациональных связей дружбы и братства народов многонационального Советского государства.

Более 150 человек — представителей братских литератур и зарубежных гостей — приняло участие в

этом литературном форуме, который вылился в многостороннее знакомство с жизнью грузинского народа, в радость взаимного общения и с друзьями литераторами, и с многочисленной народной аудиторией, деловой и серьезный разговор о путях развития советской литературы.

Истоки дружбы наших народов уходят в далекое прошлое. И нет лучшего тому свидетельства, чем литературные произведения, высказывания выдающихся писателей и поэтов, несущие из прошлых веков идею нерушимого братства.

Но только благодаря Октябрю, подарившему народу полное духовное раскрепощение, при котором творения литературы и искусства адресованы народу, служат ему созвучны его чаяниям и мыслям, могут происходить такие встречи, такой праздник духовного общения и родства душ, о которых лучшие умы человечества могли только мечтать.

Семь дней в столице Грузии, городах и селах нашей республики царил праздничное настроение, звучали стихи на языках братских народов, слышалась многоязыч



Возложение венков к памятнику
В. И. Ленину в Тбилиси.

ная речь, «писалась» еще одна страница в летопись братского содружества и взаимообогащения культур народов Советского Союза, спаянных в единую интернациональную семью.



В эти дни были возложены венки к памятнику великому вождю революции В. И. Ленину, а также к памятнику бессмертному автору «Вепхисткаосани» Шота Руставели. 27 октября в сквере на улице Палиашвили состоялась закладка памятника выдающемуся грузинскому писателю Константину Гамсахурдиа. На склонах Мтацминды, в пантеоне на могилы А. С. Грибоедова и Нины Чавчавадзе, великих грузинских поэтов Николаза Бараташвили, Ильи Чавчавадзе, Акакия Церетели, Важа Пшавела, Галактиона Табидзе, Симона Чиковани, Гоглы Леонидзе ложатся свежие цветы.

Участники Дней советской литературы посетили Музей Дружбы народов Академии наук Грузинской ССР — пока еще единственный в нашей стране. Музей существует всего 5 лет, но ценность всего, что здесь собрано, и дело, которому он служит, — необычайно велики. С постоянно действующей экспозицией, посвященной



Заседание «круглого стола».

Великой Отечественной войне, гостей познакомил директор музея Т. Бадурашвили. Специально была подготовлена выставка и к празднику литературы. Здесь можно увидеть ценные экспонаты — хурджин М. Горького, с которым он пришел в Грузию, и экземпляр поэмы «Витязя в тигровой шкуре», побывавший в космосе, письма С. Есенина, Н. Заболоцкого, М. Бажана, В. Гольцева, П. Антокольского, Н. Тихонова.

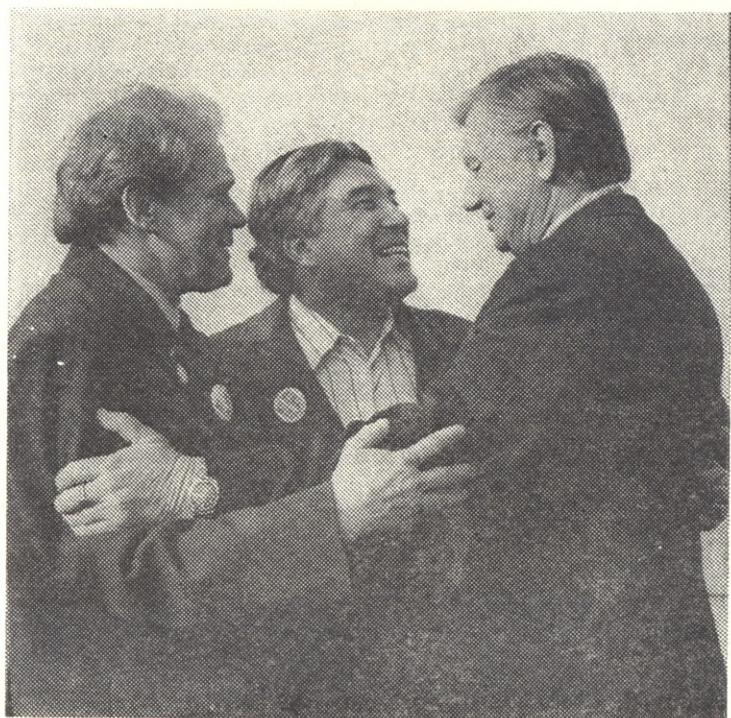
На торжественном открытии Дней советской литературы в Грузии, состоявшемся в зале заседаний Верховного Совета Грузинской ССР, гости — советские литераторы — поэты, прозаики, критики, драматурги, писатели из Польши, Чехословакии, Румынии, Венгрии, ГДР, Болгарии, Монголии, Вьетнама, Кубы, Югославии, а также представители из Греции и Японии. Заседание открыл председатель правления Союза писателей Грузии Герой Социалистического Труда Г. Абашидзе. С большой речью выступил первый секретарь ЦК Компартии Грузии тов. Э. А. Шеварднадзе.

«Дни советской литературы, — сказал в своей речи Э. А. Шеварднадзе, — не просто радостное событие. Это, вместе с тем, одно из ярких проявлений важнейших со-



циальных и нравственных принципов, которые лежат в основе всего нашего общественно-политического уклада, нашего представления о прекрасном, о добре и справедливости. Наша деловая и творческая встреча, наше сегодняшнее торжество — это торжество идеалов интернационализма и социалистического гуманизма, торжество идей Свободы, Равенства, Братства, Труда Мира и Счастья на земле! Потому что истинно писательское слово всегда было, есть и будет словом знаменосца счастья и справедливости. А советская литература, рожденная, выросшая и духовно закаленная в эпоху социализма, образно говоря, трижды исповедует эту самую высокую и человеческую веру. И не только исповедует, но и всю свою звонкую силу отдает ей».

Дни советской литературы сполна служили упоречению творческого содружества писателей, ибо личное



В. Шугалов, А. Атаджанов, М. Дудин.

общение, как ничто другое, способствует установлению более тесных контактов, взаимообогащению. А в такой плодотворной форме общения писателей и читателей происходит взаимный процесс: влияние человека труда на писательское мировосприятие, на его эмоциональный настрой и, наоборот, влияние писателя на образ мысли и сферу чувств читателя.

Один за другим выходят на трибуну секретарь правления Союза писателей СССР, глава делегации советских писателей Ю. Суровцев, академик Академии наук Грузинской ССР В. Окуджава, Герой Социалистического Труда поэт М. Дудин, поэт-академик И. Абашидзе, армянская поэтесса С. Капутикян, заместитель начальника Ткварчельского шахтоуправления, секретарь партийной организации шахты № 2, депутат Верховного Совета СССР А. Циба, первый секретарь правления Союза писателей Азербайджана И. Касумов, болгарская поэтесса Л. Стефанова, секретарь правления Союза писателей Грузии Н. Думбадзе. Все они отмечали, что Дни советской литературы станут еще одной яркой страницей в бесценной летописи дружбы народов, подчеркивали огромное значение духовных контактов между ли-



Б. Ахмадулина, Н. Думбадзе, З. Церетели.

тераторами, общность их интересов для взаимного обогащения культур, для будущих поколений.

Звучали слова любви и признательности тем, кто сделал грузинскую поэзию достоянием многих народов, произносились дорогие всем нам имена Н. Тихонова, Б. Пастернака, Н. Заболоцкого, М. Бажана, П. Антокольского, А. Тарковского, А. Межирова, М. Луконина, Е. Николаевской, Б. Ахмадулиной, Е. Евтушенко, М. Дудина, В. Леоновича, Ю. Ряшенцева, С. Куняева, М. Синельникова, Я. Гольцмана, С. Капутикян, В. Коротича, К. Кулиева, Р. Гамзатова и тех, кто сумел глубоко проникнуть в самые разнообразные области и явления культуры и литературы и по достоинству оценить их, — В. Шкловского, В. Гольцева, В. Орлова, В. Перцова, И. Андроникова, И. Гринберга, Ю. Суровцева, Л. Озерова, В. Огнева, А. Турковского, В. Оскоцкого и др.

Все выступления были проникнуты мыслью о высоком назначении такого события, как Дни советской литературы, об их деловом и рабочем характере, их полезности и необходимости, о чувстве ответственности художника слова за свой труд.



Г. Мдивани и Г. Маргвелашвили.

Трудно даже перечислить все маршруты, по которым проехали участники Дней советской литературы за эту неделю, назвать стройки, промышленные предприятия, колхозы и совхозы, где их встречали радушно и гостеприимно, где с ними вели серьезные и душевные беседы, где они соприкасались с многосторонней жизнью грузинского народа. В Сухуми и Батуми, Цхинвали и Кутаиси, Боржоми и Рустави, Ахалцихе, Аспиндза, Поты, Абаша, Зугдиди, Цхакая, Чохатаури, Вани, Гори, Маяковски, Телави, Гурджаани — всюду митинги и встречи, литературные вечера и знакомство с производством. Группа писателей побывала на строительстве высотной арочной плотины ИнгуриГЭС, где готовятся к пуску первого из пяти агрегатов крупнейшей ГЭС в Закавказье; событие это приурочивается к 61-й годовщине Великого Октября. Другие — посетили цеха Кутаисского автомобильного завода имени Орджоникидзе, третьи — ордена Ленина колхоз «Дурипш» Гудаутского района, четвертые — Тбилисский ордена Ленина электровозостроительный завод; гостей принимали также на киностудии «Грузия-фильм», в Тбилисской Академии ху-



Закладка памятника писателю К. Гамсахурдиа.

дожеств, в Тбилисской студии грамзаписи всесоюзной фирмы пластинок «Мелодия», организованной Союзом композиторов Грузии, в Доме актера имени А. Хоравая в Тбилисском государственном университете.

Всюду возникали оживленные беседы о роли и значении литературы, месте писателя в общей борьбе советского народа за построение нового, коммунистического общества, импровизированные вечера поэзии, дружбы.

В конференц-зале ГОДИКСа за «круглым столом» собрались критики и литературоведы для серьезного делового разговора на тему «Интернационализм советской многонациональной литературы в эпоху развитого социализма».

Заседание открыл секретарь Союза писателей Грузии Г. Цицишвили; он отметил, что литература народа— это неисчерпаемое хранилище коллективной памяти, это постоянный поиск, познание и определение своей национальной сущности, многообразие форм воздействия на человеческое сознание.

С большим интересом были выслушаны выступления доктора исторических наук, директора Института истории партии при ЦК КП Грузии Д. Стурua, секретаря правления Союза писателей СССР Ю. Суровцева, критика В. Оскоцкого, писателя Ю. Рыхтэу, члена-корреспондента Академии наук СССР литературоведа Г. Ломидзе, председателя Союза писателей Азербайджана И. Касумова, поэта Д. Кугультинова, критика Г. Гвердцители, главного редактора журнала «Звезда» писателя Г. Холопова, украинского поэта И. Драча, критика Л. Лавлинского, писателя В. Тельпугова, украинского писателя Л. Новиченко, казахского писателя Х. Бекхожина, осетинского поэта Н. Джусойты, туркменского писателя Г. Курбанова, узбекского писателя А. Аринова, украинского критика Л. Резоровской, критика Е. Сидорова, поэта и литературоведа В. Шошина, критика Г. Асатиани, председателя правления ВААП Б. Панкина.

Итоги заседания «круглого стола» подвели Ю. Суровцев и Г. Цицишвили.

На высоком поэтическом накале прошел в Малом зале Государственного академического театра имени

Руставели литературный вечер «Великие русские писатели и Грузия».

Открыл вечер председатель правления Союза писателей Грузии Герой Социалистического Труда Григол Абашидзе. Вечер взволнованно и вдохновенно вел критик Георгий Маргвелашвили, звучали стихи русских поэтов, посвященные Грузии. «Обвал» Пушкина читал Ираклий Андроников. Звучали и другие пушкинские стихи, а также «Владикавказ — Тифлис» В. Маяковского, лирика Есенина и Пастернака, русская поэзия в переводе на грузинский язык.

Поэты Михаил Дудин, Марк Максимов, Белла Ахмадулина, Елена Николаевская, Евгений Долматовский читали свои стихи о Грузии. Грузинская тема в творчестве современных русских поэтов — это прежде всего глубочайшая духовная преемственность, восходящая к ряду славных поэтических имен — Лермонтова, Грибоедова, Полонского, Блока, Ахматовой и поэтов, открывших для себя Грузию в наше время, — Тихонова, Заболоцкого, Луконина, Евтушенко, Вознесенского.

— Что можно добавить к прозвучавшим здесь стихам, — сказал, завершая выступления поэтов, Константин Симонов. — Слова благодарности стране, которая вызвала к жизни столько прекрасных стихов. Слова благодарности грузинским друзьям, которые умеют любить и свою поэзию, и русскую; рыцарям любви, организовавшим этот замечательный вечер...

И снова «круглый стол», большой, серьезный разговор, связанный с вопросами художественного перевода. В Малом зале Дома кино на встречу с Главной редакционной коллегией по художественным переводам Союза писателей Грузии, с редколлегиями альманаха «Саундже» и журнала «Литературная Грузия» собрались прозаики и поэты, критики и литературоведы, представляющие многонациональную литературу нашей страны.

В разговоре о переводе, насущных его задачах и проблемах участвовали секретарь Союза писателей Грузии Г. Цицишвили, руководитель Главной редакционной коллегии по художественным переводам О. Нодия, редактор альманаха «Саундже» поэт Ш. Нишнианидзе, главный редактор журнала «Литературная Грузия» Г. Асатиани, заместитель председателя комиссии по

делам перевода Союза писателей СССР Э. Ананиашвили, поэтесса Е. Николаевская, редактор издательства «Советский писатель» литературовед и критик Л. Деин, народный поэт Кабардино-Балкарии А. Шогенцуков.

О практике перевода, о связях с Грузией говорили народный писатель Эстонии А. Хинт, критик Р. Нургаев, румынский писатель Мирча Рачу Якобаи и другие.

Дискуссия о переводе, плодотворный обмен мнениями был безусловно полезен и необходим. В процессе разговора рождались интересные идеи, которые требуют дальнейшего развития и могут лечь в основу значительных начинаний в будущем.

И как бы в подведение итогов этих насыщенных волнующими встречами, делами, впечатлениями Дней советской литературы в Грузии в Большом концертном зале Государственной филармонии в Тбилиси состоялось их торжественное закрытие.

«В эти дни мы еще раз с особой силой почувствовали.. ощутили чувство семьи единой, чувство дружеского плеча и локтя, великое чувство единения народов; убедились, как неповторимо красив духовный облик нашей многонациональной великой страны. Мы вновь увидели, как, говоря словами Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева, «... в разнообразии многонациональных форм советской социалистической культуры все заметнее становятся общие интернационалистические черты. Национальное все более оплодотворяется достижениями других братских народов. Это прогрессивный процесс. Он отвечает духу социализма, интересам народов нашей страны. Именно так закладываются основы новой, коммунистической культуры, которая не знает национальных барьеров и в равной мере «служит всем людям труда».

Не будет преувеличением сказать, что Дни советской литературы в Грузии, ваша полная деловой и художественной самоотдачи неутомимая работа в эти дни внесли поистине неопределимый вклад в дело интернационального воспитания трудящихся, укрепления интернациональных связей советских литератур.

В эти дни наиболее ярко проявились высокая духовная потребность советских литераторов в активном

гражданском действии, их взаимопричастность к делам общества и государства, единство помыслов, устремлений и интересов, а главное, единая ответственность за рост и развитие духовного, творческого, нравственного, социально-политического потенциала каждой национальной социалистической культуры на мировой арене». Так сказала о прошедшем литературном празднике в своем вступительном слове секретарь ЦК Компартии Грузии В. Сирадзе.

На трибуну один за другим поднимаются руководители писательских групп, выезжавших в эти дни в районы республики, — поэты М. Дудин, В. Боков, Р. Казакова, прозаики В. Попов, В. Тельпугов, Г. Приеде, Т. Курбанов, критики Л. Новиченко, Ю. Суровцев.

Они преисполнены ярких впечатлений, обогащены новыми сведениями, знанием конкретной обстановки, поэтическим воздухом, которым напоены произведения переводимого автора.

«Дни советской литературы в Грузии, — сказал Ю. Суровцев, — еще раз продемонстрировали нерасторжимое единство рабочего класса, колхозного крестьянства и творческой интеллигенции. Главный итог наших Дней — это знакомство с трудовой Грузией, с республикой рабочих и крестьян, ученых, деятелей искусства, молодежи. Мы, советские писатели, литераторы из социалистических стран воочию убедились в том, что все эти встречи были озарены партийной мыслью. Связи литературы с жизнью народа крепятся партийными организациями Грузии, которые по праву можно назвать соавторами успеха наших Дней. Куда бы ни доводилось нам приехать в эти дни, всюду шел искренний товарищеский разговор и о проблемах развития современного литературного процесса, и о делах производства, и о том, как выполняются задачи, поставленные XXV съездом КПСС.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что впечатления от этих Дней дадут новый творческий импульс всем их участникам».

Слово берут и наши зарубежные гости, участники Дней советской литературы в Грузии — секретарь правления Союза чехословацких писателей Иозеф Кадец, известный писатель и общественный деятель Вьет-

нама Нгуен Хонг, польский писатель Здислав Моравский, прогрессивные литераторы из капиталистических стран — японский писатель, переводчик и исследователь творчества Владимира Маяковского Тадао Мидзуно.

К. Симонов открывает вечер поэзии.

Каждый из участников читает по одному стихотворению. Так рождается блистательная антология советского стиха. Этот вечер, как и все предыдущие дни, стал истинно народным праздником, в котором слились воедино мысли, чувства и дела людей, связанных нерасторжимым братством.

Дни советской литературы в Грузии будут служить дальнейшему укреплению нерасторжимого единства народа и литературы, их взаимообогащению, станут новым стимулом для творческой работы участников этих Дней и надолго останутся в памяти прекрасным праздником, который будет сопровождать их всегда.

и умереть смогли
как надлежит...

Чаще смейтесь!
В улыбке — мужество.
Настоящие мужчины не плачут.
Пейте вино и танцуйте — слышите!
Но когда смеется вам — слушайте.
Но когда вам танцуется — слушайте...
Слушайте, как тихонько позванивает
острый кинжал на вашем поясе.

МОГИЛА ЦАРЯ ДАВИДА В ГЕЛАТСКОМ МОНАСТЫРЕ*

Отару и Тамазу Чиладзе

Когда цари смолкают до зари
и руки властные навеки опускают,
прислужники испуганно рыдают,
и надо всеми гробовщик царит.
Так издавна.
Положено царю
умершему — без эпитафий мрамор.
Все — пушечными не гремят громами
войска,
которые он возглавлял в бою.
Правитель мертв.
Трубит печально рог,
и завывает псарня царская над прахом.
А мертвого царя кладут без страха
под невысокий стоптанный порог.
Ну, наступите!
Пересильте страх!
На мраморе не высечено имя.
Здесь мертвый спит.
Ступайте на каменья.
Царя не существует —
только прах.
Цари по смерти скромными сльвут.
Прислужники,
как барсы, ходят гордо.
Но царский конь уже навек расседлан,
в иные губы вина царские текут.
О вечный фарс!
Едва звенят слова,
когда царей хоронят под порогом.
Царю не полагается быть богом,
и кто он
для могильного червя?

* Давид Строитель завещал похоронить его у входа в Гелатский монастырь, чтобы каждый, входя, наступал ногой на его могильную плиту.

Не вечно и холуйство.

Отомрет.

Пройдет, как снег —

без плача и без драмы.

Их через горы понесут и храмы
и бросят в забвенье — в водоворот.

...А между гор,

где снег до слез слепит,

нам скажет дед, зажмурив очи светлые:

«Здесь росписи древнейшие на свете.

Кроме того,

здесь, вроде, царь лежит...».

Перевод с украинского **Петра ВЕГИНА**

ХОЧУ БЫТЬ ВЕЗДЕ

Хочу везде поспеть. Спешу... Одно усилие —
 Расступятся хребты, и выход мне открыт.
 Приветствуют меня

валов Арагвы крылья —
 Порывистость моя пусть вас не удивит!

Арагва пусть споет, расскажет нелукаво,
 За что люблю Куры и Алазани вид.
 Пусть плеск рионских волн

идет за мной, как слава,
 Любовь к истокам рек пусть вас не удивит!

Огнетворящих ГЭС рокочущие бури...
 Речной уходит гул туннелями в гранит.
 Умение вобрать

все бешенство Энгури
 В свой пламень и напор пусть вас не удивит!

Я всюду быть хочу. В стремленье неустанном
 Так мчится солнца луч, летит метеорит,
 И если на пути

взойдет печаль туманом
 То, что прорву ее, пусть вас не удивит!
 За плугом я иду, под кров дерев затишный

За птицею лесной вхожу, как следопыт.
 Коль, житель городской,

расцветшей веткой вишни
 Вообразу себя — пусть вас не удивит!

Вы улыбнетесь мне, о, гроздья ркацители!
 Когда придет пора и, весел и сердит,
 Ваш сок загомонит

в бушующей купели —
 Нагряду в гости к вам — пусть вас не удивит!

Вы, мастера времен, уже невинных внуку,
 Орнаментов творцы... Пред камнем ваших плит
 Примите этот стих

как слово и поруку!..
 Вослед иду и я... Пусть вас не удивит!

УТРО, УТРО



Вот надежды открывая книга,
Миг свидания ночи и дня.
Не прожить мне без этого мига,
Да и утра — грустить без меня.

С кручи пулей сбивает горячей
Легкононого тура стрелок.
Но добыча моя и удача —
Только утра бесценный залог.

И когда угасают созвездья,
Утро, утро, — под шелест ветвей —
Ты приносишь мне света предвестье,
Наклоняясь над песней моей.

Пышут пламенем солнце и слово,
Из-под молота искры летят.
Из колодца испить ледяного
Собеседник мой счастлив и рад.

Эхом полнятся речи глубины,
Сердца жар и прохлады струя...
Утро, утро, сильны и едины
Эта радость и горечь твоя.

Нет в тебе ни разрыва, ни сдвига,
И в пути настагает рассвет...
Дня и ночи единая книга,
Мне иного пристанища нет.

ТИГР

К лицу нашим взгорьям и тигры, и рыси,
Еще мог бы встретить я тигра в Тбилиси¹.
Но, встреченный пулей, он жизни не спас...
Не зря и любовь, и стремление к выси
«Тигрицей» зовется в народе у нас.

Беда, коль забыта любовь Тариэла²,
И тигров на родине не уцелело...
Последний — у публики всей на виду —
Ложится под плетью, рыча то и дело;
Где я чернобровое диво найду?

¹ В 1926 году в предместье Тбилиси Дигоми был убит спустившийся с гор тигр.

² В поэме Руставели «Витязь в тигровой шкуре» страсть обезумевшего Тариэла сравнивается с убитой им тигрицей.

Мой дом — на берегу широкой Мтквари¹,
Над бурной и медлительной Курюю.
О, есть приют на этом старом шаре
Моей любви и моему покою!
И мне милее, чем иные реки,
Куры течение, что лепечет хором
Крутых валов,

но не был я вовеки
Пленен и замкнут этим кругозором.
И вижу я: стоящая на скалах
Радиомачта тянется к созвездьям,
Мне о полетах звездных, небывалых
Гора и небо перескажут вести.
Как не мечтать, и как самозабвенно
Вослед мечте не устремиться взгляду?!
Дерзающему —

море по колено,
И радость высоты дана в награду.
Мой собеседник, покоровший атом,
Ты, ставший астронавтом, звездочетом,
Уже летишь на корабле крылатом
В грядущий день...

Ну, что ты видишь, что там?
Потом узнаешь, как жила планета
И до того, как эти горы встали.
Перекрываешь светом скорость света,
И корабля обшивка крепче стали.
И вновь на незнакомом небосклоне
Отыщешь пламя — цель своих усилий...
Так некогда с высот Кавкасиони
Огонь посланцы неба уносили!
Лети же с миром — лучшей нет защиты.
Ты вспомнишь Землю в холоде и жаре.
Я верю, что тобою не забыты
И берега моей вечерней Мтквари.
И наши вечера темны и звездны,
На их ресницах искры замерцали.
В дом приношу я, возвращаясь поздно,
Надежды свет — не сумерки печали.

Перевод Михаила СИНЕЛЬНИКОВА

¹ Мтквари — грузинское название Куры.

ШЕЛ ЧЕЛОВЕК

ПО ДОРОГЕ

Роман

Часть первая

АЭТ

Это — повесть о временах, когда Вани был еще приморским городом, когда первый грек ступил на землю Колхиды и робко попросил пристанища. В этот самый день море наконец, после долгого колебания, решилось и отступило на шаг от города. То был первый шаг — и самый трудный; дальше все должно было пойти само собой. Да и кто мог удержать море? Даже если бы все жители Вани от мала до велика вцепились ему в полы, оно все равно ускользнуло бы, ибо никакая сила не может противиться тому, что замыслила природа. Рано или поздно так должно было случиться: море набралось решимости и принялось исподволь, шаг за шагом осуществлять свой поистине коварный замысел.

Ванцы были так испуганы и растеряны, что и не пытались вернуть утраченное. По их глубокому убеждению, а с течением времени убеждение это становилось все глубже и прочней, море покинуло их в наказание за какую-то большую вину — да, повинило, бросило, как кормилец семью или как муж отбившуюся от дома жену, чьи шашни и шлянье вконец извели его. И муж ушел — но до самого конца держался так обдуманно и осторожно, проявлял столько терпения, что никто не догадывался о его намерении, а когда все выяснилось, он был уже далеко...

Оставленная морем полоса земли, влажной и сморщенной, как кожа новорожденного, росла и ширилась — берег был словно окаймлен траурной лентой. А потом между городом и морем возникло огромное болото — зеленое, слизистое, пузырящееся, похожее на ядовитые извержения какого-то чудовища. Некогда прославленный, всему миру известный город превратился в затерянное, глухое место. Прошло то время, когда из окон каждого жителя Вани было видно море, когда под кровлей каждого ванского дома слышалось его гулкое, неумолчное дыхание. Ни одному ванскому горожанину прежде и в голову не пришло бы открыть окно только для того, чтобы поглядеть на море или, проснувшись ночью, сесть в постели и прислушаться к его шуму. — Каждый знал, что море тут, рядом, и так будет всегда.

Какая женщина поверит, что муж бросит ее? Так и Вани не помышлял о том, что море его покинет. Сверкая алой, как кровь, черепицей своих крыш, красовался он у самого моря, словно хорошенькая девушка перед охваченным любовью исполином.

Ванцы любили ходить на пристань, чтобы потолкаться среди заезжих людей, почесать языки, узнать, что делается на белом свете. Все занимало их, и все они знали — у какого причала стоит какой корабль, когда он пришел и скоро ли отплывает, что привез и какими товарами грузится. Отсюда, из гавани, свет представлялся таким огромным и интересным. И сам Вани был частью этого обширного, занятого мира. К нему с охотой стремились со всех сторон корабли. И дни, проведенные здесь, запечатлевались в памяти, как какой-то необычайный, головокружительный сон.

Кому не доводилось побывать у вино торговца Бахи, в его погребке о сорока ступенях, тот не знал вкуса настоящего вина. Одна осушенная здесь чаша стояла целых кувшинов и бочек. Внезапно, в самое неурочное время, вспоминалась она, словно давняя сладостная любовная ночь, заставляла человека бросить все дела и вновь направить свой путь к Вани. И точно так же не знал прелести песен тот, кто ни разу не слышал пенья черноглазой Малало и ее шести дочерей.

Черноглазая Малало была вавилонянка, и каждому чужестранцу пела на его родном языке. «Я дочь Вавилона, но воспитал меня Вани», — говорила о себе Малало, и если бы ее спросили, какой из этих двух городов ей милей и дороже, наверное, не смогла бы ответить. Шесть совершенно одинаково одетых и причесанных дочерей так походили на нее и друг на друга, что казалось, это черноглазая Малало смотрит одновременно из шести зеркал. Девушки засматривали в глаза матери как прилежные ученицы и повторяли как попугаи — повторяли и заучивали — каждое ее слово и движение.

Был у черноглазой Малало и настоящий попугай, привезенный ею из Вавилона, единственный ее соотечественник и единственный свидетель растраченной по пути молодости. У попугая был такой вид, словно он сам себя караулil, словно он был одновременно тоскующим пленником и бдительным стражем. Тростниковая клетка в форме амфоры свисала на

длинной цепи с потолка, и всякий, проходя мимо, толкал ее, словно боялся, как бы тюремщик не заснул и не упустил заключенного. «Эй, хозяйка!» — вскрикивал попутай, расшатываясь вместе с клеткой, и, ухватив кривым черным клювом себя за хвост, кружился колесом на своей жердочке. Потом возглашал еще раз: «Эй, хозяйка!» — и сердито тарачил круглые, желтые как медяки глаза, словно гневаясь на весь свет, оставшийся за прутьями его клетки. «Эй, хозяйка!» — тотчас же подхватывали вслед за попугаем гости черноглазой Малало, не запертые в клетку, растерянно улыбающиеся пленники свободы.

Что ж, побывать в гостях у черноглазой Малало было и вправду большое удовольствие. Многих привлекал ее дом, своих и чужих, ближних и дальних, но не каждый удостоивался внимания семьи красавиц-певуний. Черноглазая Малало умела с одного взгляда распознать человека. «Этот, наверно, буен вохмелю», — заключала она сразу, при виде маленьких, близко посаженных глаз или чересчур красных, влажных губ. Перед теми, кто разнуздывался, напившись, двери дома черноглазой Малало закрывались навсегда. «Мой дом — это храм», — любила говорить черноглазая Малало, и в самом деле, хотя в гостях у нее бывали одни лишь мужчины, образцовый порядок и чистота царили под ее кровом благодаря семи парам недреманных глаз и заботливых рук. Гости собирались в большой комнате, где висела клетка с говорящим попугаем, и шесть девушек в одинаковых платьях, с одинаковыми прическами, без усталости объясняли, рассказывали, советовали — куда пойти, что посмотреть, что купить в незнакомом городе. Так проходило время в этом колеблющемся вместе с тенью тростниковой клетки мирке. Кроме большой приемной, было в доме черноглазой Малало еще много других, маленьких комнат. Но стоит ли говорить о том, что происходило в этих комнатках, да и вообще, что происходило в доме черноглазой Малало, когда оттуда не доносились звуки песен — хотя именно в такие часы город вспоминал о ней и о ее дочерях. Внезапно прерванная песня на мгновение будоражила весь город — как пахаря мысль о незасеянном поле.

Каждому, кого судьба или собственное желание приводили в Вани, не терпелось увидеть своими глазами все то, о чем он был столько наслышан и ради чего и впрямь стоило проделать долгий путь в дальние края. Он заранее, еще до приезда сюда, знал, что найдет немало девушек на его родине, готовых пойти за него замуж, польстившись на ванские украшения, что полгорода перекосятся от зависти, когда он пройдет по улице, привесив к поясу ванский кинжал. Или будет качать свое дитя в ванской колыбели. Да что там — если умирающему говорили, что он будет покоиться в ванском саркофаге, он так радовался, что уже не испытывал страха, словно саркофаг этот мог защитить его от самой смерти.

Много чего в Вани можно было посмотреть, многому поведаться: взять хотя бы сад Дариачанги — вот уж было чем полюбоваться, чему порадоваться! Когда в одном конце этого сада набухали почки, в другом созревали плоды. Аромат оттуда шел одуряющий, такой, что от него мог пошатнуться крепкий

мужчина. Жители Вани говорили, что тот, кто сорвет в саду Дариачанги яблоко и съест его, станет отцом золотоволосого сына. Сорвать яблоко мог всякий; любой мог растянуться на траве, понежиться в бархатной прохладе сада, но не дай Бог отломить хоть веточку — весь этот огромный сад исчез бы в мгновение ока без следа. Благоухание, струившееся из сада, встречало далеко в море направлявшиеся к Вани корабли, заключало их в свои незримые объятия, манило, завлекало — и было уже невозможно вырваться из этой душистой петли, сулившей тысячу заманчивых возможностей, волновавшей на тысячу ладов ум и сердце. «Вот мы и на месте», — говорили моряки, когда благовонный дух вечного цветения и плодородия разливался над морем. Это была отличительная примета города, постепенно поднимавшегося над волнами перед кораблем, неволью ускорявшим свой бег, — города, сверкавшего белизной, осиянного красным заревом черепичных крыш.

Каждый квартал города Вани имел свои, присущие ему одному, дух и особенности, но квартал золотых дел мастеров выделялся среди всех. Каждый приезжий чужестранец, прежде чем покинуть Вани, должен был хоть раз пройтись по этому кварталу. Сказано: лучше разок взглянуть, чем дивиться понаслышке — и кто упустил бы такой счастливый случай? С утра до вечера доносились из златокузнечного квартала постукивание маленьких молоточков, пение шлифовальных колес и скрип резцов, с утра до вечера ковались, чеканились, покрывались резьбой золотые пластинки, с утра до вечера звенел, заливался смехом, обретая плоть и кровь, благородный металл, словно созревшая, расцветшая за ночь девушка. Этот конец города называли еще кварталом кудесников — и в самом деле, было что-то таинственное, завораживающее в лукаво притуренных глазах иного мастера-златокузнеца, в сдержанной улыбке, играющей на его губах. У входа и у выхода из квартала были установлены огромные зеркала — такие, что в них умещался всадник со своей лошады. И чей взгляд не притянуло бы такое зеркало, кто бы не погляделся в него, когда всякому было известно: любой прохожий, завернувший в этот квартал, выйдет оттуда золотым. Иной сойти с места не мог, трогал рукой блестящую поверхность и улыбался растерянно — так же как глядящий из зеркала золотой человек.

А золотых дел мастера, выглядывавшие как белки из листвы из своих тесных как давяльные лари мастерских, словно и не обращали внимания на изумленного чужестранца — но в точности знали, как он будет себя вести. «Сейчас посмотрит себе на руки», — говорили они мысленно, и чужестранец тут же послушно принимался рассматривать свои руки словно только что подобранныю на дороге находку. «А теперь, — так подсказывал златокузнецам их опыт, — чужестранец должен ощупать зеркало», — и тот, ни минуты не медля, пробегал дрожащими пальцами по поверхности зеркала, точно слепой по лицу умершего близнеца. Всеми овладевали здесь удивление и робость перед непостижимым, неразгаданным. А между тем разгадывать-то было нечего: изо всех этих жавшихся друг к другу мастерских выбивалось наружу столько золотой пыли, что

целое стадо слонов, пройдя по улице между ними, оказалось бы позолоченным с головы до ног.

Так жил Вани, пока он был приморским городом, пока обиженный невниманием кокетливой девушки исподтипу собрал свои пожитки, боясь, как бы щедрость его не сочли за недоумие. А все началось в тот день, когда Бедия выловил в волнах и втащил в свою лодку бесчувственного мальчишку и барана. Ни в ком не шевельнулось тогда предчувствие беды, весь город был охвачен праздничным настроением. В природе не замечалось никаких тревожных признаков. По-прежнему сияла морская синева. В ясном небе плыло единственное облачко — и от этого небо казалось еще более мирным и спокойным. Женщина мыла в укромном месте голову морской водой. Дети затащили, играя, козленка на крышу. Испуганный козленок кружился на месте, скользя копытцами по черепицам, и жалобно блеял, но дети не оставляли его в покое, бросали в него камешки, кричали и махали руками — и козленок перескакивал с отчаянным блеяньем с крыши на крышу.

Мальчик был без сознания и так крепко сжимал в объятиях барана, что Бедия пришлось втащить в лодку обоих. Он вытер мокрые руки о грудь и глянул на город, как бы спрашивая у него, откуда взялись в открытом море мальчишка с ноготок и баран необычайной величины. Вдали, в голубом тумане, мелькнул красный отблеск черепичных крыш. Бедия улыбнулся. Спасенные ребенок и баран были здесь, в его лодке. Удерживаемая опущенными в воду веслами, лодка медленно кружилась на месте, раскачиваясь на волнах, — словно пыталась сбросить в воду Бедию и его добычу. Другие рыбаки спешили к ней со всех сторон; они стояли в своих лодках, пощипывая среди выловленной ими рыбы — но кто сейчас помнил об улове, все старались как можно ближе подплыть к лодке Бедии и заглянуть в нее. В лодке лежал мальчик, только что, на глазах у них, родившийся вторично. На обветренных, загорелых лицах рыбаков то и дело, словно вдруг встрепенувшаяся пестрая птичка, вспыхивала радостная, гордая улыбка. Но больше всех был взволнован происшедшим сам Бедия. Этот чужой, неизвестный мальчик, без имени и без прошлого, как бы в самом деле новорожденный, пришел в мир во второй раз благодаря ему. Видно, так было начертано на скрижалях судьбы — что мальчик подвергнется смертельной опасности, но спасется и вновь родится на свет в лодке ванского рыбака.

Бедия не мог сдержать счастливую улыбку — у него было такое чувство, как будто он несет по проулку между садами разукрашенную пестрыми лентами колыбель со спящим в ней младенцем.

Скрипели уключины, всплескивали весла. Лодка легко стремилась к берегу, наполняя пустынную морскую ширь семейным уютом и покоем. Этот простор был домом Бедии, здесь он родился, вырос и успел состариться. Стены этого дома вылепили, воспитали, закалили его душу и тело на свой лад. Здесь, и только здесь, был Бедия на своем месте. Все вокруг было ему знакомо и близко с самого дня его рождения. Выходя в море, он всегда чувствовал себя уверенно и спокойно.

но. Недаром рыбаки избрали его старшиной — свой морской дом он знал, как свои пять пальцев: где в какое время года поднимается солнце, откуда приходит дождь. Все в этом доме каждый его угол, все чуланы и кладовки он успел тысячу раз обшарить. Любо было посмотреть на Бедю, когда в погоне за косяком трески он стоял, перегнувшись вперед, на носу своей лодки и обнаженной до плеча рукой вздымал над головой острогу-трезубец. Бедия походил в это время на охотящегося морского бога; ветер упирался ему в грудь, волны, взбешенные полетом лодки, бросались на него, трясли, толкали — и побитые, обессиленные возвращались в родное лоно где-то за его спиной; Бедии все было ни о чем. Он был неотделимой частью лодки, ее отростком, ее ветвью, ее крепостью и красотой. Брошенный Бедией трехзубец лишь на мгновение исчезал в зеленых, пенных волнах и почти тотчас же, словно вырвавшийся из мрака луч, вспыхивал на солнце. А настигнутая неожиданной смертью рыба билась, тщетно старалась вернуться в глущину, в свой бездонный сосуд, откуда навеки извлек ее трехзубец Бедии.

Весть о случившемся в море достигла города раньше, чем лодки рыбаков. Весь город высыпал на берег, всем любопытно было посмотреть на спасенного. Обоих, барана и мальчика, дрожащих, как мехи с вином, осторожно вытащили из лодки, положили на песок и привели в чувство. Первым очнулся баран — вскочил, с шумом выдохнул несколько раз воздух, отряхнулся и стал смотреть в сторону, точно обиженный человек. Вскоре и мальчик открыл глаза. Бедия положил его голову себе на колено, влил ему в рот глоток вина из кувшина. Мальчик скривился и выплюнул вино. «Вот и видно, что не из наших краев», — пошутил Бедия. Женщины, закрыв ладонями рты, тихо, протряпко завывали. Теперь, когда мальчик пришел в себя и открыл глаза, смерть, от которой его спас случай, казалась особенно страшной. Струйка красного, как кровь, вина растеклась по груди у мальчика, образовав подобие какого-то странного цветка. Мальчик поднялся на ноги сам, без чьей-либо помощи. На нем была короткая туника с золотой каймой, на одной ноге — сандалия, шнурки которой перекрещивались на голени; другая сандалия, видимо, потерялась. Он с трудом разжал крепко стиснутый кулак и протянул руку к собравшимся. На ладони у него лежал выцветший оливковый листок с рваными краями. Бедия взял листок, долго рассматривал его и, убедившись, что это в самом деле лист оливкового дерева, а не что-либо иное, поднял его над головой и громко объявил: «Оливковый листок. Мальчик просит убежища».

Мальчика и барана тотчас же отвели к Аэту. К вечеру все стало известно в мельчайших подробностях. Из дворца Аэта, как птенцы из гнезда, вылетали все новые и новые сведения и тотчас же попадали на уста к замершему в ожидании городу. Всюду в Вани, в какой бы конец города ни заглянуть в тот день, обсуждали необычайные приключения

мальчика и барана — о них толковали старухи, сидевшие перед своими домами, мужчины, собравшиеся у винооторговца Бахи в погребке о сорока ступенях, слоняющиеся по улицам девушки и парни и даже, представьте себе, гости черепашьей Малало.

История мальчика и барана была в самом деле необычайной. Мальчик оказался царским сыном, звали его Фрикс. У него была сестренка, но она погибла в пути. Царственный родитель мальчика, как говорится, обновил свое ложе, но мачеха с самого начала не взлюбила пасынка и падчерицу: зачем, дескать, мне усердствовать, возясь с чужим отродьем? Всяческими ухищрениями она и мужа перетянула на свою сторону — подсунула ему за ужином ослиные мозги и добилась его согласия на убийство детей. Поводом был неурожай — она заявила, что по их вине во всем царстве нива не колосится. На самом же деле она сама приказала пересушить все семенное зерно, чтобы оно стало бесплодным. Царица не давала мужу покоя, изо дня в день изводила его упреками — зачем он привел ее, если не мог содержать жену? — и царь, наконец, махнул рукой... Но в ту самую минуту, когда жрец занес наточенный нож, откуда ни возьмись, прилетел, не прибежал, а именно прилетел этот самый баран, вскинул себе на спину несчастных сирот и был таков. Царица-мачеха побежала было за ним, швыряла в него камнями, но что она могла поделать? Маленькая девочка погибла в пути. У бедняжки были длинные золотистые кудри и румяные как яблочки щечки. Долго летел баран, но наконец устал и вместе с мальчиком упал в море близ нашего берега. Аэту мальчик очень понравился, он разгневался на его родных и воскликнул в сердцах: «Что это за нелюди, да они вовсе недостоинны такого прекрасного мальчика». Потом он приказал привести своих детей, Карису и Афрасиона, и сказал им: «Отныне вас не двое, а трое, постарайтесь, чтобы он не чувствовал себя чужим!».

После того как мальчика и барана увели во дворец, народ скоро разошелся. На берегу остались одни только рыбаки. Надо было выбрать рыбу, позаботиться о лодках. Когда до слуха Бедии донеслись скрип и шорох вытаскиваемых на берег лодок, он вспомнил об утренней своей тревоге. Нынче утром, когда рыбаки волокли лодки к морю, путь показался Бедии непривычно долгим; спина у него вспотела — он удивился, но ничего не сказал, решил, что почудилось или что он состарился и сила в нем уже не та. Но червь сомнения все же точил его и, услышав шорох лодок на горячем песке, напомнивший ему хрип зарезанных буйволов, он снова встревожился. Весь день он был отвлечен от утренних своих мыслей; рыба густо шла в его сети, потом он заметил что-то темное, качавшееся на волнах, и всем существом почувствовал, что сейчас в его жизни должно произойти какое-то важное событие. Он тотчас направил туда свою лодку. Правда, это стоило ему улова и даже самой сети — зато он никогда еще не возвращался с моря с такой необычайной добычей. Не окажись он поблизости, могла случиться большая беда. И разве не он был бы виноват в гибели мальчика? Разве хозяин дома не ответст-

вен за все, что случится в его доме? Так думал Бедия. Но сейчас первое волнение прошло, мальчик и баран были вне опасности, и Бедия вспомнил о внезапно удлинившемся расстоянии между морем и лодочной стоянкой. Нет, море не что-то затеяло. Рыбаки уже тащили свои посудины по песку, а Бедия все сидел на корточках и всматривался беспокойным взглядом то в морскую даль, то в сверкающий берег, где он мог узнать каждую песчинку под ногой. Рыбаки постепенно разбрелись — медленно горделиво шагали они с корзинами, полными серебристой рыбы, на головах. Разок другой они окрикнули своего старшину — что ж ты, мол, не собираешься домой, — но Бедия только отмахнулся, и его оставили в покое. Нет, Бедия не мог так просто уйти отсюда. В его доме кто-то без спросу переместил вещи — нет, не вещи, а стену. Правда, не намного, чуть-чуть, но если вовремя не присмотреть — сегодня немного, завтра чуть-чуть, и в один прекрасный день можно вообще ничего не найти на месте. Бедия знал, что одним лишь пристальным взглядом у моря ничего не выведаешь, море могло выдержать любой взгляд, терпения у него было вдоволь. Бедия присматривался к своим сомнениям, взвешивал — стоит ли бить тревогу, похвалят люди его за такую бдительность или поднимут на смех: дескать, нашему Бедии вечно мерещатся беды и напасти, как ослу с ободранной спиной — сорочий клюв. Это вовсе не было исключено. «Терпение, — думал Бедия, — всякое сомнение нуждается в проверке». Оно было маленьким, это сомнение, скользким и гибким, как рыба чешуйка, оно выскальзывало из рук, но не отлетало далеко, а блесело тут же, в двух шагах. И наверно, решение, принятое Бедией, было самым правильным. Он несколько раз измерил веревкой расстояние от лодочной стоянки до моря, потом свернул веревку и накинул ее себе на шею, чтобы мерка была всегда под рукой. Надев на шею веревку, он тотчас успокоился, словно море было у него теперь на привязи и без спросу уже не могло стронуться с места.

У виноторговца Бахи, в его погребке о сорока ступенях, было полно народу. И здесь только и говорили, что о мальчишке и о баране. В погребке было прохладно, неровный гул приглушенных голосов, закопченные, в пятнах от сырости стены, робкий дневной свет, проникавший снаружи до середины лестницы, создавали впечатление тайного сборища в обители какого-то запретного божества.

Виноторговец Баха внимательно прислушивался к беседе, но ему вовсе не нравилось, что прислуживавший в погребке мальчик Иmano стоял без дела, скрестив руки на груди и беспечно прислонившись к винной бочке. Виноторговец Баха любил смотреть на пиршества и на пирующих, хмельные люди были ему милей, чем богатая выручка. Даже под страхом смерти он не стал бы подмешивать воду к вину. Он считал, что совмещать эти две непримиримые стихии в одном сосуде — непростительный грех, ибо от такого насильственного соединения может родиться лишь бессильное и безрадостное дитя. Если какой-нибудь посетитель заказывал кувшин вина,

Баха ставил ему два — лишь бы гость не скоро ушел, лишь бы он сидел и разлагольствовал спотыкающимся языком до тех пор, пока... пока он еще был способен подняться по ступеням в трезвый — по-заячьи трезво-настороженный и по-заячьи трусливый мир.

Виноторговец Баха был околдован божественной силой, заключенной в его бочках. Стоило лишь выпустить эту силу наружу, чтобы она преобразовала весь мир по своей прихоти, судила ему такой образ и такие краски, какие ей заблагорассудится. Когда Иmano подставлял к отверстию бочки кувшин, виноторговцу Бахе казалось, будто некоему божеству, нашедшему пристанище в его погребке, открыли жилу, и из этой жилы бьет струя волшебной жидкости, вечная и беспредельная, как само это божество. Виноторговец Баха не мог без волнения видеть, как переливается вино из бочки в большой кувшин, из большого кувшина в малый, из малого в чашу, а из чаши в человеческое горло. Это величественное, торжественное шествие из одного сосуда в другой нужно было вырвавшемуся из плена вину для того, чтобы обрести дыхание, расправить члены, — по пути оно делалось все веселей и радостней, смеялось, блистало, рассыпало искры и упорно продвигалось вперед, к конечной цели, чтобы отдать до последней капли любому желающему всю свою силу и жизнерадостность. И когда эта ликующая сила покоряла всех, заражала все вокруг, виноторговец Баха испытывал счастье и гордость, ибо он повелевал этой силой, под действием которой все делались красивой, смелей и богаче, — повелевал ею и направлял ее так, как если бы она исходила от него самого. Целыми днями сидел виноторговец Баха в погребке на своей любимой скамейке, зажав между коленями кизилковую палку с круглым комлем, сложив на ней большие, шершавые, коричневые от солнца руки углом, как две черепицы, и упершись в них сверху подбородком, как бы для того, чтобы черепицы не свалились. Не было для его уха ничего слаще музыки вольных голосов, что гудели, гремели, бушевали под размякшими от вечной сырости темными сводами и со звоном низвергались оттуда отрывочной мешаниной песен, клятв, обещаний и похвалы. Виноторговец Баха был счастлив оттого, что жизнь шла своим чередом, что каждое утро по сорока ступеням его лестницы пробирался сверху на бархатных лапках дневной свет и до самого вечера щурился навстречу поднимающимся из глубин погребка голосам и запахам, нежась, как избалованная кошка с золотой шерсткой. Так будет всегда, — думал Баха, — потому что так было всегда с тех пор, как он стал владельцем этого подвала и расположился в нем, словно идол в заветном храме.

Бедия крикнул с середины лестницы: «Я стал отцом, у меня мальчик. Ставлю кувшин вина!» — Хохот разнесся по погребку.

— Из средней, Иmano! — бросил виноторговец Баха мальчику-слуге.

Иmano прекрасно знал, что во всех бочках у Бахи налито одинаковое вино, и однако послушно подставил кувшин под

среднюю бочку. Приказ наливать из той или иной, особо отобранной бочки, производил необычайное действие на посетителя — он сразу наполнялся радостью и гордостью оттого, что его сочли за «своего», за «домашнего» и даже собираются пить «отборным» вином, предназначенным для избранных. Любое, самое простое слово имело волшебную силу в этом сказочном погребке. Все уже были порядком навеселе, когда мясник сказал: «Случалось мне колоть и барана, и овцу, и ягненка, и яргу, и кладеного валуха, — но крыльев никогда ни у одного не замечал».

— А под курдюк заглядывал? — спросил кузнец.

Лицо у него горело так, словно он рассматривал в упор раскаленный кусок железа, а на скулах выделялись два бледных пятна — оттого, наверное, все лицо казалось таким неестественно багровым.

— Под курдюк? — удивился мясник.

— Крылья-то у барана под курдюком, — сказал кузнец.

Он изо всех сил старался не рассмеяться собственной шутке. Зато остальные не могли удержаться, и хохот грянул в погребке — словно со звоном разбилась брошенная в стену посуда. Мясник улыбнулся в ответ, покачал головой и почему-то принялся вытирать рукавом стол перед собой.

Успех этой шутки придал смелости кузнецу. Следующей своей мишенью он выбрал Бочию, колыбельного мастера, самого безобидного человека во всем городе, и прицепился к нему, заладил: голову, дескать, прозакладываю, что ты, Бочия, десять лет назад тайком пробрался на одну ночь в греческие земли.

— Уж я тебя знаю, одной ночи тебе должно было хватить с лихвой! — потешался кузнец.

В погребке засмеялись снова. Громче всех смеялся мясник.

Бочия был белолицый человек, и руки у него были такие же белые, покрытые золотистым пушком. Стоило ему в солнечную погоду — а погода в Вани бывала по большей части солнечной — остановиться ненадолго на улице, чтобы перемолвиться со встречным знакомцем, как он весь становился красным, точно выкупался в свекольном соку. Человек он был добросердечный; если что-нибудь огорчало или обижало его, он укрывался под деревьями, в тени, и у него сразу делалось светло на душе. Колыбель его изготовления качалась сама собой и даже, кажется, напевала колыбельную песню; ее нужно было только раз качнуть — а потом мать или нянька могла спокойно заснуть сама, не тревожась о ребенке. Никто не знал возраста Бочии, в памяти каждого он был всегда такой, как сейчас: таким его застали и таким покинули, уйдя из мира, многие сограждане, в том числе его собственные дети. Многочисленное потомство его непрерывно умножалось — как на земле, так и под землей. Дети рождались, входили в лета, старели, умирали — а Бочия оставался неизменным. Таким как сейчас он был и тогда, когда Потола родила ему первенца. С тех пор в его доме не стихали скрип колыбели и лепет младенца. Эта необычайная супружеская пара была неподвластна време-

ни. Возможно, причиной было то, что Потола и Бочия любили друг друга глубокой, неостывающей любовью; они не могли надыхаться друг на друга и не мыслили жизни врозь. Бочия постоянно стремился к своей стройно-сухощавой, жизнерадостной, трудолюбивой жене. Никто не знал, как давно они были женаты. Бочия привел в дом Потола сразу после смерти своего приемного отца, в тот самый день, когда тот уснул вечным сном, прислонившись головой к колыбели, которую мастерил и не успел закончить. Приемный отец Бочии был также колыбельным мастером. Он так пропах древесиной, что дятлы садились ему на плечи. Лишь на несколько мгновений опоздал Бочия, не успел сказать слово благодарности этому доброму, как привольно растущее дерево, человеку. Когда Бочия вошел в мастерскую, его приемный отец сидел уронив голову на колыбель, а руки его тонули в свежей стружке. Неоконченная колыбель тихо покачивалась. Бочия не раз слышал от приемного отца, что негоже качаться пустой колыбели — он подошел и придержал люльку. А потом Бочия привел Потола в дом своего приемного отца, надел отцовский фартук, подошел к отцовскому станку и погрузил ноги до колен в душистую липовую стружку. С годами у них родилось столько сыновей и дочерей, что они потеряли счет, и всех детей, все равно, собственных ли, чужих ли, считали своими. «Мог же бы он оказаться моим сыном!» — была первая мысль Бочии, когда он увидел Фрикса, беспомощно валявшегося на песке перед целой толпой, словно вялый, безжизненный стебель какого-то водяного растения. Бочия был приемышем, подкидышем и, возможно, потому так любил детей. Правда, он сам не помнил своего возраста, но до сих пор перед его глазами явственно стояло то солнечное утро, когда его приемный отец бережно стянул с корзинки пестрый платок. В корзинке лежал Бочия — он раскрыл глаза в ту самую минуту, когда приемный отец заглянул в нее. Первое, что увидел Бочия и что навеки запечатлелось в его памяти, было изумленное, улыбающееся, озаренное утренним солнцем лицо приемного отца. Таким с тех пор представлялось Бочии лицо мира: удивленным, улыбающимся и озаренным утренним солнцем. Сейчас Бочия думал о Фриксе. Шутовство кузнеца вновь вызвало в его памяти лицо спасенного ребенка — бледного, без кровинки в лице, с синими губами. Бочия хотел было выступить вперед, объявить: «Это мой сын, пустите меня, я сам о нем позабочусь», но не осмелился, волнение его было так сильно, что язык не повернулся во рту, он не смог вымолвить ни слова. И однако он не задумываясь усыновил бы этого мальчика-чужеземца, не объявившись у него гораздо лучший приемный отец.

А кузнец все колобродил, упрямо цепляясь за свою пресную шутку, чувствовал, что всем надоел, и от этого раздражался и запутывался еще больше.

— Любопытно, знает ли о твоих шашнях Потола, — кузнец заметно сердился, словно Бочия и в самом деле десять лет назад тайком побывал в Греции и там изменил своей жене. — Никто, кроме мясника, уже не смеялся приехавшей шутке. Кузнец это злило, он не знал — пересесть к мяснику или сперва

кончить разговор с Бочией. Речи его все больше походили на пьяную воркотню, а молчаливое неодобрение собутыльников лишь еще больше разжигало его. Поэтому, когда Бедия крикнул ему: «Довольно, дай нам спокойно выпить по чарке», он словно очнулся и ухватился за веревку на шее у Бедии, как утопающий.

— Объясните мне, из-за чего этот человек хочет удавиться? — закричал кузнец и с такой силой дернул веревку, что Бедии стало больно.

Бедия вздрогнул, ему показалось, что само море тряхнуло перед ним всклокоченной белой головой и сверкнуло глазами цвета соли.

— Знаю я этих греков, подкинут тебе одного барана, а потом потребуют взамен целую отару, — сказал виноторговец Баха.

Жители Вани, возможно, скоро забыли бы всю эту историю с мальчиком и бараном, если бы на этом все и кончилось. Но случилось то, чего никто не мог ожидать. На другой день весь город был полон детей, гарцевавших на овцах и баранах. Охваченные желанием взлететь, ребятишки гоняли по улицам несчастных животных, у которых от натуги наливались кровью глаза и с губ стекала пена, но к великому удивлению детей ни одно и не думало подняться над землей, хотя бы на лядь. Бараны предпочитали смерть на земле — и действительно, кроткие, безобидные животные недолго выдерживали не присущую их природе скачку и, раздувшись как пузыри, лопались между ногами у своих безжалостных всадников. Всюду на улицах валялись хрипящие животные с выкаченными глазами. Мужчины бежали к ним с ножами, женщины забрасывали землей кровавые лужи, но дети вовсе не собирались отказаться от своей странной затеи, требовавшей стольких безвинных жертв. Увлеченные «бараньей потехой», как они сами называли эту новую игру, они забыли обо всем на свете. Скоро баранина опротивела ванцам так, что они не могли больше на нее смотреть. А бараны все не переводились. Ванцы и не думали, что у них столько овец. Баранье бляение заглушало все другие звуки в городе. Растерянно, как глухонемые, улыбались люди, бессмысленно разводя руками; мужчины старались не глядеть в лицо готовым разразиться гневом женщинам, но, хотелось им этого или нет, они должны были вмешаться в дело, чтобы раз и навсегда отбить у детей охоту к этой дурацкой, и не просто дурацкой, а губительной игре, из-за которой разрушались семьи, ссорились любящие супруги, гасли и остывали благополучные очаги... И действительно, все те дни в Вани ни в одном доме не варился обед, муж не уединялся с женой — и кухни и спальни были наполнены отчаянным, леденящим кровь бляением обреченных животных. «Отлупи негодника, пока еще не поздно!» — со злостью шинели жены на мужей, но мужья нерешительно почесывали затылки, потому что очень любили своих детей. Впрочем, к любви добавлялся и страх — они были твердо убеждены, что у всякого, кто ударит ребенка, отсохнет рука. Поверье это было унаследовано ими от предков, оно переходило из поколения в

поколение, и все слепо подчинялись ему — ни у кого ни разу не появилось желания его проверить. Да и отчего бы они стали сомневаться? Зачем было подвергать себя ненужному риску?

А Вани тем временем принял такой вид, как будто в нем только что отбушевало сражение. Мостовые на улицах были разрыты, заборы повалены, с деревьев свисали обломанные ветки. И дети были сплошь в синяках и ссадинах. Теперь они и по ночам не знали покоя — «баранья потеха» проникла даже в их сны; им грезилось, что они летят в поднебесье верхом на баранах. Но вместо восторга их обуревал страх — спина у баранов была скользкая, так что стоило труда на ней удержаться, а рога сплошь покрыты шипами. Между тем внизу пенились волны, море бушевало, вставало на дыбы, тянулось, как голодный зверь, вверх, стремясь схватить барана и того, кто сидел на нем. А у всадника перехватывало дыхание, и наконец, не удержавшись на спине барана, он с ревом низвергнулся в бездну, где ждало его прохочущее море. Перепуганные родители, вскочив с постели, будили ребенка, поили и обливали его водой. Промокший, дрожащий, на смерть перепуганный ребенок, отчаянно стуча зубами, отталкивал родителей и бормотал: «Оставьте меня, что вам нужно, вы же видите, я сплю...».

Как ни старались родители справиться со странной прихотью своих детей, все их усилия оказывались напрасными. Наконец, не сумев ни лаской, ни упреками ничего добиться, ванцы связали детям руки и ноги и свалили их в кучу, как телят возле кузницы перед клеймением. Ничего, однако, и теперь не изменилось — блажь, овладевшая детьми, оказалась сильнее пут и оков. Дети молча, терпеливо переносили любые мучения, дожидаясь удобной минуты, чтобы перегрызть зубами веревки, убежать и начать игру сначала.

И вот в один прекрасный день случилось то, чего все боялись и чего, однако, все ожидали: отец ударил сына. Звук пощечины раскатился громом по всему городу, в домах вывалились окна и двери, разлетелась на осколки посуда, треснули в земле винные кувшины, в хлевах и загонах замычала, заголосила скотина, самые тяжелые предметы сдвинулись с места. Отец, ударивший ребенка, вышел на главную городскую площадь и показал всему Вани отсохшую десницу, свисавшую, как обломленная ветвь, с его плеча.

Тогда ванцы решили вообще не держать в городе ни овец, ни баранов до тех пор, пока дети не подрастут и не забудут свою дурацкую забаву. И во всем Вани остался один-единственный баран, но и тот — на привязи, во дворце Аэта, в особом, построенном для него одного хлеву. Земля вокруг него была усеяна крупным, как терн, пометом, баран непрерывно жевал губами и, что самое главное, светился; когда его вели мимо златокузнечных мастерских, волнистое, курчавое руно притянуло, впитало и прочно удержало в себе столько золотой пыли, что от тяжести этого непривычного груза баран еле передвигал ноги. Когда его ввели в хлев, сияние, струившееся от него, озарило все вокруг так, как будто разожгли костер для просушки глинобитных стен.

Ванские дети, так же как и все другие дети в мире, легко приспособлялись к любым обстоятельствам. Когда в Вани не стало больше овец, они отвыкли от своей «бараньей но-техи», но у каждой городской заставы и, разумеется, в Тагани долго еще стояли стражи, наблюдая за тем, чтобы никто не провез тайком в город это полезное и безобидное животное.

Тем временем пришло лето. Во дворце начались приготовления к выезду за город. Захлопотали няньки и мамки, поднялся такой переполох, точно собирались спастись от вражеского нашествия и не знали, что захватить с собой, что окажется всего нужнее беглецам.

Как всегда, дети вначале не хотели уезжать — жаловались, что болит живот, цеплялись, как репы, за все и за всех, и слугам и нянькам было не легче усадить их в ладью, чем запахать в мешок сухой куст колючего держи-дерева. Но стоило голым по пояс гребцам опустить весла в воду, как дети забыли обо всем, кроме моря, ладьи и гребцов. Ладья взяла направление на север, к устью многоводной реки, чтобы войти в нее и поплыть вверх по течению в глубь страны, мимо покрытых густыми зарослями берегов, мимо торжественно-тихих как храмы лесов, сияющих садов и виноградников, мимо пахнущих дымом и навозом мирных селений, мимо пестреющих толпами девушек и парней, улиц и дворов.

Затененная ковровым навесом ладья везла трех детей: Карису, Афрасиона и Фрикса.

Фрикс успел уже привыкнуть к своим новым «брату и сестре». Когда Кариса, тайком от мамок, перегнувшись за борт, опускала руку в воду, Фрикс делал то же самое; если Кариса предлагала ему поменяться местами, он не раздумывая соглашался, словно у обоих одновременно возникало такое желание. Кариса была шаловливее обоих мальчиков. Она не могла усидеть на месте и то и дело заливалась смехом — все равно, была ли на это причина или нет.

Афрасион сидел смиренно, прожоякая взглядом свешивающиеся над водой ветки деревьев, разглядывая застывших в воздухе стрекоз и прислушиваясь к голосам птиц, скрывавшихся в бархатистых кустах. Афрасион был моложе Фрикса на три года, а Карисы — на два. Необычайное спокойствие и недетские разговоры Афрасиона раздражали няnek и мамок, потому что по самому своему душевному складу они были приспособлены к детским шалостям, непоседливости, упрямству, своенравию; и хотя они постоянно плакались, жаловались и проклинали свою судьбу, воспитание таких «трудных» детей было сутью их жизни, и только таким детям они годились в наставницы. Афрасион же обманывал все их ожидания — он ни разу не убежал и не запутался, ни разу не напился, разгоряченный, холодной воды, никогда не воротил носа от еды, не ложился в постель с грязными ногами и руками — а что за жизнь у няnek да мамок, если нет повода сердиться, волноваться, плакать и жаловаться? «Это все его тетка виновата, она ему голову дурит!» — говорили няньки-мамки и хоть и боялись этой высокой, сухой как палка женщины с крепко сжатыми губами, но не упустили случая посплетничать о ней за спи-

ной. «Никто еще не видел оживленного ею мертвеца или омоложенного ею старца», — говорили мамки, словно могли этим бросить тень на свою суровую соперницу, которая имела на Афрасиона гораздо большее, чем они, влияние, хотя и жила вдали от вала его по утрам и не варила ему кашку. Когда тетушка Камар проходила по улицам, по всему городу разносился запах лекарств, который исчезал, лишь когда его рассеивал ветер. Она действительно учила своих племянников распознавать целебные и ядовитые травы, но на Карису давно махнула рукой. Карисе нравились только цветы с махровыми головками и крупными лепестками, такие, которые прочно держались у нее в волосах, — другие ее не интересовали, она их просто не замечала. «Ничего кроме жены из тебя не выйдет», — сказала ей однажды тетушка Камар. Но Кариса не обиделась. Она даже обрадовалась, что ее так скоро оставили в покое, что она так просто избавилась от теткиных наставлений.

Афрасион же мог с утра до вечера смотреть, как толкут в огромной ступе корни разнообразных растений; мог бесконечно долго вдыхать запах змеиного корня, волчьего лыка, шеломайника, финикийского листа и бывал счастлив, когда ему разрешали помешать длинной палкой булькающее варево в котелке, где, по словам его тетки, набиралось сил снадобье, повелевающее жизнью и смертью. Многому научился Афрасион от своей тетки, но и ему, к несчастью, не суждено было стать жрецом. Он был мальчик, и притом не просто мальчик, а наследник престола. «Все равно я никогда не буду царем», — объяснял Афрасион и говорил так не потому, что предпочитал жреческий жезл царскому венцу, а потому, что знал наперед все, ожидавшее его в грядущем. Дар прозрения был ниспослан ему природой, навеки отличившей его этим от всех других детей и навеки отнявшей у него остроту ощущения неожиданности. Вторым и главным несчастьем было то, что никто не верил ему, даже тетка — и больше всех, вероятно, тетка; ведь она сама была прорицательницей и лучше других знала, как много опыта и сведений нужно для того, чтобы предсказать не то что человеческую судьбу, а хотя бы завтрашнюю погоду. Однако Афрасион все же прослыл странным ребенком. Аэт не нравилось, что наследник его растет мечтателем. Он предпочел бы непоседливого бесенка с ободранными коленями, пахнущего потом и вечно цепляющегося за конскую гриву, но не вмешивался в дело. Афрасион пока еще принадлежал женщинам, и Аэт терпеливо ждал. «Пройдет это все, царевич еще ребенок», — говорили во дворце так, чтобы слышал Аэт, но он и этого не хотел слышать, не хотел ничего знать, точно его сын мог легче преодолеть свое детство, если отец не станет обращать на него внимания. Аэт не знал, что, собственно, должно пройти, что за странность отличает наследника престола, но догадывался, что «странность» — это тщательно выбранное, мягкое выражение, что слово это могло иметь множество разных значений, если вдуматься в него. Возможно, этого и боялся Аэт и потому не вмешивался в воспитание сына. Так или иначе, но Афрасион все еще рос под крылом у женщин. А няньки и мамки предпочитали тихому и послушному царевичу

беспокойную, вечно занятую играми Карису, за которой нужен был глаз да глаз. Афрасион говорил иногда что-нибудь такое, что они застывали в растерянности. Кариса же была обыкновенным шаловливым, неугомонным, смешливым.

Однажды Афрасион заболел — ему тогда было лет пять, не больше. Его мучил жар, всю ночь он ворочался, метался в постели. Няня, сидевшая у его изголовья, клевала носом.

— Явор говорит... — начал вдруг Афрасион.

— Что, что? Явор? — вскричала в испуге нянька.

— Явор говорит... надо сорвать с меня листок и положить Афрасиону на лоб, тогда Афрасион сразу выздоровеет.

Что тут было делать няне? Не могла же она среди ночи полезть на дерево? Да и откуда ей было знать, который именно явор привиделся плавающему в жару ребенку?

Афрасион был добрый мальчик. Ему было жалко всех и вся. Он не мог даже смотреть, как режут курицу. Когда растапливали печь, чтобы испечь хлеб, и он слышал треск загорающихся, покрытых набухшими почками кучьев, слезы наворачивались ему на глаза. «Как он будет жить с таким чувствительным сердцем?» — огорчался и сердился Аэт. Хорошо, что он не знал, как во дворце порой заводят для забавы пустые разговоры с его наследником, а то не миновать бы, наверно, большой беды. Такого он не смог бы стерпеть — ни как царь, ни как отец. «Ну-ка, будь добрым мальчиком, скажи, где сейчас тот нож с черной рукояткой, что потерялся у меня в прошлом году, и что с ним делается?» — спрашивали Афрасиона, подступив к нему с двух сторон, праздные дворцовые люди. А Афрасион мучился, кусал себе губы, и по лбу у него струился пот, оттого что он не мог ответить на такой вопрос. Он действительно понимал, о чем говорила птица, или трава, или затанувший в щели сверчок, или шумящий в листве дождь, сердце его в самом деле предчувствовало все радостное или печальное, что ожидало его или его близких, но что произошло с ножом, который пропал у кого-то в прошлом году, — да еще надо бы спросить, случилась ли на самом деле такая пропажа, — этого он, конечно, не знал и не мог знать. И Афрасион, огорченный, с опущенной головой, стоял перед владельцем «пропавшего ножа», чувствуя себя виноватым — как будто сам украл тот нож и стыдился обнаружить краденое. Впрочем, речи Афрасиона были так странны и так заняты, что трудно было бы осудить человека, остановившего и вовлекшего просто для забавы в разговор этого бледного мальчика, рассеянно бродившего по дворцу. «Все бабочки слепы», — говорил Афрасион, а когда его спрашивали, зачем он ослепляет бабочек, что они ему сделали, совершенно серьезно отвечал, что это не он их ослепляет, а они рождаются слепыми, чтобы мимолетная, однодневная жизнь показалась им длинней.

«Если бы бабочка не была слепой, она не успела бы даже выбрать цветок, чтобы сесть на него, все цветы показались бы ей одинаково красивыми, одинаково притягивали бы ее, она стала бы мучиться от нерешительности и умерла бы, так и не сумев преодолеть своих колебаний. А она успевает найти много цветов, потому что слепа и лишена возможности выби-

рать», — говорил Афрасион, и как было не удивиться, услышав от маленького ребенка такие необычные рассуждения.

«Ничего в нем нет ребячьего!» — говорили няньки и мамы и явно отдавали предпочтение «сорви-голове» Карисе перед тихим и послушным Афрасионом — то ли одаренным детской мудростью, то ли дурачком от рождения.

И вот теперь Афрасион сидел в ладье с другими и смотрел на берега многоводной реки, проплывавшие мимо. Он знал весь этот речной путь наизусть, но если для остальных деревьев, кусты, цветы были просто деревьями, кустами, цветами, не отличимыми от тысяч других, то в его глазах каждое дерево, каждый куст и цветок имели свое лицо и свою душу. Какой-нибудь размытый дождями утес или трухлявый, облепленный грибами старый пенек могли вдруг обернуться самыми неожиданными, разнообразными видениями. Афрасион знал наперед, где перед ними выскочит из-за бугра барс, — и в самом деле, бывало, с голого холма за крутым поворотом реки вдруг так неожиданно и ярко блеснет цветок азалии, как будто действительно взметнулся в воздух могучий зверь. И тогда Афрасион вскрикивал: «Барс! Барс!», радостно улыбаясь и блестя глазами, оттого что никто не мог увидеть явившееся ему видение, как ни старались Фрикс и Кариса, вытигивая шею и лица взглядом по берегам, распознать в обычном кустарнике стадо оленей, спускающихся к реке, готового взлететь орла или пирующих разбойников. Но того, что видел Афрасион, не существовало для них. А гребцы невольно прислушивались к болтовне детей, улыбались их ребяческим выдумкам и веселее налегали на весла.

— А ну-ка, переведи нам, что говорит вон та пичуга! — спросил Афрасиона один из гребцов.

Этот гребец сидел ближе всего к детям и, когда улыбался, показывал щербатые, видимо, выломанные зубы. Кариса уже давно обратила на это внимание и то и дело поглядывала на него, ожидая, чтобы он улыбнулся.

— Птичка говорит: как выросла Кариса, ах, когда-то я дождусь, чтобы и мои птенцы так оперились, — тотчас же ответил Афрасион.

Все посмотрели на Карису. А Кариса застыдилась и, чтобы никто не заметил ее смущения, толкнула Фрикса так сильно, что он свалился со скамьи и ударился лицом о рукоятку весла. Няньки повскакали с мест, ладья закачалась, седоки столкнулись друг с другом. У Фрикса текла из носу кровь, он побледнел, но улыбался и вытирал кровь кулаком, размазывая ее по лицу. Глядя на него, Кариса заливалась веселым смехом. Из-за всего этого переполоха никто не расслышал слов Афрасиона: «А еще сказала птичка, что Кариса будет женой Фрикса».

Через десять лет предсказание птички — или, скорее, Афрасиона — исполнилось.

Свадьба Фрикса и Карисы настроила весь город на любовный лад. Примерно через год чуть ли не все женщины в Вани были на сносях. Один за другим выставляли горожане на плоскую кровлю то плуг, то прялку, в зависимости от того,

мальчик родился или девочка. А Кариса почти не чувствовала своей беременности, лицо у нее не опухло и ноги не распухли, а живот был разве что чуть заметен — это ее даже поразило. Она по-прежнему не могла усидеть на месте, по-прежнему развевались на ней платья на бегу — просторные, сшитые специально на время беременности платья — и звонкий ее смех разносился по всему дворцу. Кариса готова была плясать от счастья, она не признавалась себе, не хотела верить, что ее преобразившая природа в эти дни навсегда прощалась с беспечной и бездумной юностью. Когда повитуха положила к ней в постель новорожденное дитя, она даже немножко удивилась, не могла сразу сообразить, какое отношение к ней имеет это крохотное существо, упрямо поворачивающее к ней влажную, покрытую редким пухом головку, как цветок свою чашечку — к свету. Она впервые видела младенца — ей было вновь это забавное, маленькое, утомленное своим дальним путешествием и еще не успевшее прийти в себя создание, у которого сами собой, в силу унаследованного им потомственного опыта, закрывались глаза, чтобы оно могло в своей дремоте привыкнуть к новому окружению и не испугаться при окончательном пробуждении. Первым чувством, которое испытала Кариса, взглянув на свое дитя, было чувство отчужденности; но стоило ребенку разок всплакнуть, как у нее словно огнем обожгло все внутренности — она сразу поняла, чего требовал от нее этот беспомощный, сморщенный повелитель, и быстро сунула сосок ему в рот, так, как будто младенец всю жизнь лежал рядом с нею и не было никогда времени, когда он не существовал. Кариса была уже матерью.

Любовный восторг, охвативший ванских горожан, не миновал и царя с царицей. Супруга Аэта родила почти одновременно с дочерью. Но у царицы это были поздние роды, у нее не оказалось молока. Зато у Карисы молока было столько, что она кормила и сына, и сестру.

Кариса родила одного за другим четверых сыновей. Чтобы порадовать их отца, мальчикам дали греческие имена: Аргус, Китисор, Мелас и Фронтис. Они не были близнецами, но вели себя как близнецы; всем четверым одновременно приходило желание есть и охота плакать. Выйдя из терпения, Фрикс останавливался над их колыбелями и кричал: «Акко, алфисто, мирмо! Акко, алфисто, мирмо!» — и дети тотчас умолкали. Все как будто шло прекрасно — плодились люди, множилась радость жизни... Но вот однажды утром Фрикс проснулся печальный — тоска стиснула ему сердце. В тот день он не вставал с постели — лежал на спине и смотрел в потолок. Кариса приводила к нему то одного мальчика, то другого и, наконец, пустила всех четверых резвиться в отцовскую постель. Крепкие, как медвежата, мальчики кувыркались около отца — но Фрикс был хмур как прежде, лежал неподвижно и не сводил глаз с потолка.

Так продолжалось неделю, другую, месяц... Плачущая Кариса прибежала к родителям за помощью.

— Может быть, он тебя разлюбил? — спросил дочь Аэт, внимательно выслушав ее рассказ.

— Если разлюбил, то пусть хоть сегодня испустит дух! — вскричала Кариса.

Слова отца заставили ее на мгновение призадуматься. Но она тут же тряхнула упрямо головой и сказала: «Нет, не разлюбил — я почувствовала бы это».

— Он любит, любит и меня, и детей, но какая-то нечисть навалилась ему на душу и не пускает к на-ам, — протянула, словно причитая, Кариса.

На другой день царь с царицей навестили зятя. Тот лежал на спине в постели, не убиравшейся целый месяц, и смотрел в потолок. Лицо у него было желтое, кожа обвисла, глаза провалились, глазницы почернели; восковые исхудалые руки лежали поверх одеяла. При виде тестя и тещи он чуть улыбнулся — вернее, попытался улыбнуться, но получилась такая жалкая гримаса, что царица отвела взгляд.

— Ну, мой зять, рассказывай, как поживаешь? — ласково сказал Аэт.

Фрикс взглянул в лицо Аэту, долго смотрел на него, и крупная слеза покатилась по его щеке. «Пропал, бедняга», — шепнул Аэт царице.

Дворец наполнился ворожеями, ведунами, лекарями. Запах лекарств пропитал все вокруг — служанки ходили, зажав нос. Но больному не становилось лучше.

Шли один за другим прорицатели, колдуны, лечеи: всюду узнали о болезни Аэтова зятя. Скоро во дворце не осталось места — и лекари стали ставить шатры во дворе. Аэт растерянно бродил между шатрами, как полководец, не имеющий никаких сведений о намерениях врага, не знающий, когда и с какой стороны ждать нападения. Куда ни глянь, всюду горели костры, всюду варились целебные снадобья. Покорный судьбе, без боя сдавшийся большой глотал, зажмурясь, все, что ему давали: пчел и скорпионов, ласточкины гнезда и ножки саранчи, селезенку куропатки и лисий помет. Из рваных шатров с утра до вечера доносились бормотанье ворожей и кудесников. Кариса уже знала наизусть тысячи разных примет: если больному хочется быть в темноте — это дурной знак; не к добру также, если у него свалится голова с подушки, если он разговаривает со стенкой, если у него зловонное дыхание, если он не хочет никого видеть, если у него сощурится один глаз... И еще сотни, тысячи других дурных примет знала Кариса назубок, она еле стояла на ногах, потому что сто раз на дню должна была подбежать к постели больного, чтобы взглянуть на его лицо, проверить воочию все, что набормотали знахари и ворожеи. Карисе чудились всевозможные дурные знаки на лице Фрикса, но она никак не хотела примириться с мыслью, что муж ее может умереть — вот так, запросто, бессовестно покинуть ее и уйти. «Нет у смерти такого права!» — думала Кариса и ужасалась, воображая свое будущее вдовство.

Кариса с детства не знала ни в чем отказа, все ее желания неизменно исполнялись, и она верила: никто и ничто на свете не смеет огорчить ее, пойти ей наперекор. И вот — проклятая, непонятная болезнь бросила ей вызов и, кажется, готовилась торжествовать победу.

Смерть Фрикса должна была в корне изменить жизнь Карисы. Прежде всего, ей пришлось бы оплакивать его, носить черное платье, затвориться, сидеть в темноте, прятаться от жизни, от себя самой — как долго, ведают лишь боги. А Кариса не хотела этого, была к этому неспособна. Кто ей вернул бы потом годы, потраченные на затворничество? Чьим звонким смехом оглашался бы дворец во время ее траура? Кто стал бы втыкать себе в волосы самые пышные цветы? «Чему ты могла меня научить, когда сама ничего не знаешь!» — крикнула она однажды тетушке Камар, и та зажала себе рукой увядший рот, чтобы не проклясть племянницу. Кариса прогнала в толчки из дворца черноглазую Малало и ее дочек, потому что их песни не принесли больному облегчения. У всех во дворце обливалось кровью сердце при виде горя Карисы. И трудно было сказать, кого больше жалели — обреченного на смерть Фрикса или его молодую жену, которая так отчаянно, из последних сил, цеплялась за ускользающую жизнь своего мужа. На площади перед дворцом днём и ночью толпился народ. Время от времени какой-нибудь слуга показывался на башне и покачиванием головы давал знать, что нового ничего нет.

Однажды вошла к Аэту царица и сказала:

— Царь ты или нет, сделай что-нибудь! Не только зять, но и дочь наша погибает. Или у тебя грех какой-нибудь на душе? Что до меня, то я чиста перед богами и перед тобой.

Аэт задумался — завил мысль бечевой, свесил ее в бездонный колодец и спустился по ней в глубину. Спустился — и сердце у него сжалось: на дне колодца было полно людей, и все эти люди ждали Аэта. «Слава богам, вспомнил о нас!» — закричали жители колодца. Аэт присмотрелся к ним и узнал всех: то были изгнанные им колхи, побежденные, затаившие злобу и поэтому опасные, беспощадные, как голодные волки.

Промче всех кричал двоюродный брат Аэта, прежний царь Колхиды Окаджадо: «Смотри, Аэт, не просиди мой престол, не то вернусь — и тогда не спасет тебя наше родство». Остальные кричали с ним в один голос, и в колодце стоял оглушительный гомон. Аэту вспомнилось детство — вернее, один день из детства, тот день, когда он вздул двоюродного брата. Гнев внезапно овладевал Аэтом, и тогда у него темнело в глазах и он сам не знал, что творит. В тот день Окаджадо чем-то рассердил его. Разъяренный Аэт схватил за задние ноги стоявшего рядом ягненка — ничего другого не попалось под руку — и ударил им наотмашь двоюродного брата, а когда тот убежал, погнался за ним с ягненком в руках. С тех пор Окаджадо остерегался выводить из себя Аэта; он держался так, будто ничего не случилось, а когда отец и дяди потешались над ним: «Как это тебя ягненком били?», смеялся и сам вместе с ними. Аэт давным-давно забыл эту историю и сейчас, в колодце, удивился, что она всплыла в памяти. «Ну да, он меня с тех пор ненавидит», — подумал Аэт.

Долго сдерживался Аэт после того, как Окаджадо стал царем, но когда понял, что бездарное правление может погубить страну, потерял наконец терпение, в один прекрасный день скинул двоюродного брата с престола и выгнал всех его при-

спешников. Но такие дела без вражды и крови не делаются, как бы ты ни был прав, ты не можешь оделить всех, как хлебом, своей правдой. Не сумел этого и Аэт. Злоба и жадность мщения наполняла весь этот глубокий колодец; когда он должен был переполниться и выплеснуть свое содержимое, как созревший и лопнувший гнойник.

Сказано — что пользы жалеть, отпустив лисицу, надо было сразу спохватиться; так случилось и с Аэтом, он упустил из виду, что только мертвый пес никогда не укусит. Свергнутый царь погрузился вместе со своими людьми на корабль и покинул родину. Аэт не препятствовал: лишь бы не путались под ногами. Никого не жаль было ему отпускать, кроме Ухеиро. Ухеиро был несравненный воин, его кормило оружие — еще когда он был безусым юнцом, никто не мог сравниться с ним в силе и ловкости. Он мог, метнув копье, пронзить сразу двадцать человек, поставленных в ряд один за другим. Окаджадо где-то случайно встретил его и привез во дворец. А потом, когда дела во дворце повернулись по-новому, Ухеиро сел на корабль вместе с Окаджадо.

Спуск в колодец отравил Аэту всю душу. Вернувшись оттуда, он вошел в первый попавшийся шатер и сказал прорицателю: «Вот какой грех отягчает мою совесть, не в нем ли причина болезни моего зятя?».

— Разве это — грех? — возразил прорицатель.

Долгая, неизлечимая болезнь делала свое дело: понемногу все стали равнодушны к судьбе больного. Шло время, и стали привычными запах лекарств и вонь, идущие от рваных шатров, непрерывные споры и стычки колдунов, лекарей и кровопускателей, скуление запертых собак, на которых испытывались лекарства и которые с собачьей преданностью жадно пожирали смешанную со снадобьями похлебку, жертвуя собой ради жизни незнакомого им человека.

Один колдун тайно от других облил черного пса водой, которой мыл руки Фрикс; увидев, что пес не отряхнулся, он потихоньку свернул свой шатер и исчез. Бегство волхва было замечено сразу, так как на том утоптанном клочке земли, где раньше стоял его шатер, высилась целая куча обглоданных костей — как будто хозяин шатра не занимался ничем, кроме еды. За первым исчезнувшим ведуном последовали другие — каждый придумывал себе для этого какой-нибудь повод. Никто не пытался их удержать, все покорно склонилось перед лицом неизлечимого недуга. Во дворце были согласны на все — лишь бы что-нибудь изменилось, пусть даже к худшему. Повальное бегство лекарей и колдунов было предзнаменованием приближающейся перемены. Всякий раз, как снимался шатер, на его месте оставалась куча обглоданных костей, и теперь уже из-за этих костей с визгом сцеплялись уцелевшие голодные собаки. Котлы уже не годились для употребления, пригоревшие ко дну травы никак не удавалось отскрести. От не гаснувших все это время костров потрескались плиты мощеного двора, серые, мертвенные пятна огниц навеки запечатлелись на мраморе.

И вот, наконец, один врачеватель, державшийся до тех пор в тени, оставшись без соперников, набрался смелости и объ-

явил во всеуслышание: «Это особый недуг, он не боится ни мазей, ни ножа. Недуг этот называется тоской по родине, и в тысячу раз целебнее всех наших снадобий будет воздух родной стороны больного, хотя бы привезенный в свином пузыре».

— Дай тебе бог!.. — простонал Фрикс и повернулся на другой бок.

Это были первые слова, произнесенные Фриксом за все время болезни. Вскоре весь дворец повторял их: «Слыхали, Фрикс сказал: «Дай тебе бог». Равовались так, как будто Фриксу до сих пор трудно было выговорить именно эти три слова, застрявшие у него в горле как кость, и раз он, наконец, сумел выбросить их из себя, то теперь непременно дело пойдет на поправку.

Распознать болезнь еще не значит исцелить от нее, — и все же Фрикс сразу стал выглядеть гораздо лучше. Вскоре он встал с постели. Дворец ликовал — не пропали даром непомерные труды и заботы. Звонкий смех Карисы раскатился по залам и галереям, и Аэт забыл о жителях колодца, как о рассеяншемся ночном кошмаре. А лекарь, до тех пор державшийся в тени и не оцененный, возвысился и порядком разжился. «Просто пересидел всех — оказался терпеливей», — лопались от досады другие врачи, покинувшие больного раньше времени.

Фрикс, правда, поднялся с постели, но все еще был болен — хоть теперь и не лежал неподвижно, а даже спускался во двор. Радостно щебеча, окружали Фрикса его дети; он рассеянно гладил их по головам, но мысли его были далеко, он все еще пребывал как бы в полусне. Гуляя, он вдруг застывал на месте и смотрел неподвижным взглядом в пустоту до тех пор, пока жена или слуга легким толчком не заставляли его очнуться. А порой он всматривался в траву у себя под ногами, срывал какой-нибудь стебелек, нюхал, разжевывал, снова нюхал и говорил: «Такая трава водится и у нас».

Посторонние считали, что Фрикс, в общем, уже выздоровел, но Кариса прекрасно понимала, что с ее супругом творится что-то неладное. До сих пор Кариса боялась лишь одного: чтобы Фрикс не умер и не оставил ее вдовой с четырьмя детьми. Она с самого начала уверовала, что Фрикса послали ей боги, что его обязанностью было любить ее, Карису, и что он не имел права умереть. Поэтому в ней и не истощалась надежда, хотя она обнаруживала на лице Фрикса все дурные знаки, о которых набормotalи знахари и ворожеи. Но теперь... Теперь она спрашивала себя, не лучше ли быть вдовой, чем иметь такого мужа. Фрикс точно и не замечал Карисы, он не хотел видеть ее, слышать ее голос. Кариса сначала растерялась — она не могла поверить, не могла представить себе, что наскучила Фриксу, стала ему немилла. Она подумала было даже, не было ли охлаждение Фрикса вызвано чарами волхвов и ворожей, но по мере того, как шло время, становилось, все ясней, что Фрикс сознательно избегал ее. Кариса пришла в ярость. Однако, глядя на иссушенного болезнью мужа, она чувствовала к нему острую жалость и сдерживала себя; но она не знала, надолго ли ей хватит терпения. Они все еще не дели-

ли ложка — Фрикс молчал, а Карисе самолюбие не позволяло сделать первый шаг. Она все чаще засиживалась у постели мужа, хотя тот, недвижимый и беспомощный, словно деревянная кукла, витал где-то в облаках и был равнодушен к прелестям Карисы — или не хотел их замечать. Кариса чувствовала себя оскорбленной. Холодность мужа приводила ее в недоумение, и однако именно благодаря этой холодности Фрикс еще сильнее притягивал ее. Но это была другая сторона дела, не столь уж важная. Главное было то, что Кариса не могла успокоиться, не разгадав причины равнодушия мужа. Ей было невыносимо чувствовать себя надоевшей, нежеланной, забытой — все ее существо восставало против этого. Нет, Кариса была не в силах это вынести. Пусть уж лучше смерть отнимет у нее мужа, нежели он сам, по своей воле уйдет от нее. Но пока что разумнее вооружиться терпением, держать себя так, как будто она ничего не замечает, как будто вообще нечего было замечать. Она просиживала у постели вялого, бессильного мужа ночи напролет, радостная, соблазнительная, как сама жизнь, и говорила, говорила, нашептывала — хотя и догадывалась, что именно ее жизнерадостность и соблазнительность Фриксу труднее всего переносить. Это раздражало Карису, но она не подавала виду и поглубевшим от скрытого гнева голосом вспоминала о прожитом вместе детстве, о первом поцелуе, о рождении их первенца, точно рассказывала раскапризничавшемуся ребенку сказку, чтобы его усыпить, и, возможно, сама не замечала, что каждое ее слово танло в себе угрозу — угрозу женщины, которая никому не позволит насмеяться над самыми лучезарными ее воспоминаниями.

Кариса была женщина гордая и честолюбивая, но она сохранила детское простодушие: она видела вокруг себя только то, что хотела видеть, и притом таким, каким хотела видеть. Она была из тех женщин, которые определяют наперед, чьей любви они должны добиться, а потом, уверовав в один прекрасный день, что уже любимы, безропотно и без колебаний запутываются в сетях воображаемой любви. Игра эта иногда всю жизнь заменяет им настоящую любовь, и они гораздо болезненнее, чем другие женщины, воспринимают любовные неудачи, так как подсознательно чувствуют, что сами все затеяли. Неудача раздражает их так же, как физический недостаток, который они не хотят замечать, а скрыть не могут. Притворная слепота таких женщин — средство самозащиты; они всегда держатся так, как будто им не о чем тревожиться — и все потому, что боятся выглядеть в глазах людей жалкими и униженными. И они скрывают свои поражения и огорчения так же тщательно, как волосы, растущие не на месте.

Кариса была еще ребенком, когда твердо решила, что Фрикс должен ее полюбить, а потом уже не могла разобрать, что для нее важнее — сам Фрикс или это принятое в детстве решение. Она росла, созревала, превращалась в женщину, никогда не забывая о нем, и оно, это решение, определяло, какой она будет, когда настанет пора любви, — смелой и прямой или трусливой и расчетливой. Кариса оказалась и трусливой, и расчетливой. Любовь — если она существовала в самом деле —

нужна была ей только как украшение, как серьги или перстень, а не как источник мучений. Она не была рождена для мук, она не могла переносить боль; даже если ей случалось расцарапать палец, половина дворца должна была дуть на него, а другая половина — осыпать ее поцелуями и забрасывать подарками. Карисе было нужно лишь то, что могло украсить ее, сделать ее еще заметней, а ее красоту и счастье — еще завидней. Поэтому она и добивалась любви Фрикса. Чужеземный царевич рос и хорошел день ото дня и все больше притягивал взгляды девушек. А Кариса сделалась его любимой потому, что Кариса была лучше всех девушек и ее должен был полюбить самый лучший из юношей. Но это было давно, а сейчас «самый лучший юноша» ускользал от нее, не хотел больше Карисы, и если этому суждено было случиться, завтра Карису могли поднять на смех те самые девушки, над которыми она некогда торжествовала и которые сохли от зависти к ней. «Давай родим еще ребенка, эти уже выросли, их уже и ласкать неприлично, да они нас к себе и не подпускают», — нашептывала Кариса Фриксу а когда он отвечал: «И этим не надо было рождаться ее сыновьям, и чувствовала, что терпение ее иссякает, что она вот-вот вцепится мужу в горло или выцарапает ему глаза.

— Какие из них могут вырасти люди — они еще не пробовали своего хлеба, — говорил Фрикс.

Слова мужа ранили Карису в самое сердце, в эту минуту она ненавидела Фрикса, потому что он говорил не то, что она хотела слышать, и не о том, что ее заботило и интересовало. А главное, Фрикс не имел права быть на кого бы то ни было в обиде. Разве кто-нибудь посмел бы попрекнуть мужа и детей Карисы куском хлеба? И как у Фрикса поворачивался язык — если только это не был очередной прием для того, чтобы избавиться от Карисы.

— Попрекнут или не попрекнут, а оно так и есть, — стоял на своем Фрикс.

Эти ночные беседы, бессмысленные и бесплодные, раздражали обоих, и постепенно разлившийся ручей затоплял и заносил песком и илом маленький двор с садом, который Кариса огородила когда-то, как забором, выдуманной любовью. Отныне супруги каждому слову придавали преувеличенное значение, десятки раз взвешивали его в уме, переворачивали на все лады и мучились, мучая друг друга. Оба, а муж и жена, замкнулись каждый в своей раковине и оттуда, из этих скорлупок, наблюдали друг за другом. Супружеское ложе, брошенное из-за болезни Фрикса, оставалось в небрежении. Жизнь стала трудной и бесцветной, затопталась на месте — так хромая овца отстаёт от стада, уходящего все дальше по зеленому холмам, озаренным солнцем. Пошли осенние дожди. На ягоды паслена, которым была увита дворцовая ограда, напустились дрозды. Потемневшие плиты двора были покрыты красными опавшими листьями. С гор спустился туман, перевалил через город и разлегся над морем. Сырые дрова трещали и как бы

источали слезы; и однако сидеть у огня было большим наслаждением.

Фрикс нашел повод снова запереться в своем покое; разлегшись на тахте он, как прежде, смотрел в потолок. Но раз-нажды, неожиданно для всех, он позвал к себе сыновей. У Карисы сердце почуяло недоброе, но не могла же она помешать сыновьям побеседовать наедине с отцом! Пока мальчики оставались у отца, Кариса не находила себе покоя; сперва она взялась за вязанье, но вскоре убедилась, что дрожащие руки ее вяжут неровные петли; потом открыла ларец с драгоценностями, высыпала кольца и серьги на стол и стала примерять то одни, то другие, словно видела их впервые. Но и это ей скоро надоело, и она быстрым движением руки смела украшения со стола, как огуречные очистки. Наконец она дошла до того, что выхватила у служанки веник, но скоро отшвырнула его в сторону и выскочила из комнаты. Много раз она прошла мимо запертой мужней двери — авось хоть одно слово, на ее счастье, вырвется изнутри, но оттуда не доносилось ни звука; казалось, отец с сыновьями умерли или убежали через окно. Пятеро самых близких Карисе, самых любимых ею людей находились сейчас в этой комнате, за дверью — и ни один из них не помнил о ее существовании! Кариса почувствовала себя брошенной, одинокой — и тоска навалилась камнем ей на сердце. «Эх, я несчастная!» — всплакнула она над собой и проглотила жгучую слезу. Слеза показалась ей приятной. Кариса была вылеплена из особой глины; она никому не позволила бы заглянуть в свой разоренный дом и двор и не дала бы червячку сомнения вылезти на свет на глазах у людей. Она быстро взяла себя в руки. Слезы заставили ее опомниться — она горько улыбнулась, принимая вызов мужа и сыновей, и приготовилась к бою.

...Так прошла осень, за нею пролетела зима; лишь когда под сводами ворот заметалась первая ласточка, почувствовала Кариса, как много времени прошло в этой бессмысленной слежке, в этом утомительном подсматривании. «Еще одна весна», — подумала она печально.

Земля была еще влажной, еще лежал снег на дальних вершинах, когда Фрикс навьючил на осла лопаты и заступы и в сопровождении своих сыновей отправился в горы. Когда его спросили, куда и зачем он идет, что он задумал, он ответил: «Освободиться от долга». Кариса сама, своей рукой уложила для них припасы на дорогу. Они не сказали ей, куда идти, и она их не расспрашивала. А другим говорила: «Пусть походят по свету, они уже выросли, стали мужчинами — да и отец при них». До тех пор, пока муж и сыновья ее не вышли — впервые без нее — на улицу из дворцовой ограды, улыбка не сходила с лица Карисы.

Три месяца не отходила Кариса от окна, три месяца отгоняла от себя дурные предчувствия; она была уверена, что все пятеро вернуться, что они не посмеют так коварно, без предупреждения покинуть ее, не пойдут на такой обман. Деревья зацвели, потом покрылись листвой. В воздухе летал легкий пух. Через три месяца до Вани донесся глухой стук лопат и

заступов, а скоро ванцы увидели Фрикса и его сыновей, стоявших по пояс в выкопанном ими рву. За ними извивалась, убегающая к далеким мгlistым, бледно-голубым горам, длинная черная канава. Все пятеро усиленно копали; кувшин и сухие хвосты бы виднелись на краю рва. Ванцы разволновались, увидев царского зятя и его сыновей за такими трудами, но Фрикс никого не подпустил к себе: «Боги повелели мне привести воду в город, чтобы хоть малым отблагодарить вас за то, что вы приоткрыли меня, изгнанника и брошенного ребенка. Это — дело только мое и моих детей», — твердо заявил Фрикс и вытер потное лицо тыльной стороной руки. Голубая жилка билась на его тонкой шее, узкие, сутулые плечи и спина были черны от загара.

По городу вести ров было трудней, по пути к главной площади приходилось пересекать улицы и огибать дома. На раскопанных улицах через ров перекидывали бревна для прохожих. На главной площади Фрикс выложил из камней бассейн, выстроил стену с нишей, а в нишу провел желоб — и вот настал день, когда мутная, желтоватая вода, подобно прирученному дракону двинулась по указанному ей направлению, от мгlistых бледно-голубых гор к Вани. На бегу она извивалась так, словно хотела сбросить с себя какой-то невидимый, но обременительный груз. Из желоба в нише над бассейном забила вода; первая струя вынесла прошлогодние пальцы листьев, стебли травы и ил. Голый по пояс, облепленный глиной Фрикс сидел на краю бассейна с чашей в руке и подзывал людей: «Идите сюда, отведайте моей воды». Фрикс был счастлив. Четверо его сыновей расположились у его ног, от усталости они тяжело дышали. Вода струилась, плескалась, разбрасывала брызги — над площадью стоял прохладный, серебристый туман. И Фрикс, окутанный этим прозрачным туманом, испытывал такое чувство, точно он вернулся в утраченный им двадцать пять лет назад родной дом.

Кариса стояла, как обычно, у окна. С площади доносился до нее людской говор; она чувствовала, как отдалились от нее муж и дети. Они вернулись, но не такими, какими ушли ранней весной. Три месяца провели они без крыши над головой, без заботливого надзора, спали вместе во рву и пили из одного ковшина — и еще больше сблизились, стали даже как две капли воды похожи друг на друга. Правда, Кариса еще ни одного не видела вблизи, но предчувствовала, что ей трудно будет различить их. Что-то еще, сверх кровного родства объединяло всех пятерых; казалось, они отгородили себя от мира рвом, а Карису оставили на другой стороне. Никто из них и не думал звать Карису на тот берег, к ним, и она вдруг испугалась встречи с мужем и сыновьями. Они казались сильнее ее, их было пятеро, и если она хотела быть вместе с ними, то должна была одолеть силу пятерых мужчин. А она была одна. Впрочем, нет, не одна — у нее была Медея, сестра и дочь в одно и то же время. Вспомнив о Медее, Кариса почувствовала облегчение: Медея, которой еще не исполнилось пятнадцати лет, была своя, кровная, родная.

Медея оказалась той плодородной почвой, на которой тетка ее Камар могла уверенно посеять семена своих знаний. Тетюшка Камар упрямо цеплялась за жизнь, не склонялась последнего часа ходила прямая как жердь, потому что сердцем: рано или поздно найдется у нее достойная преемница, которая продолжит дело ее жизни. Кариса и Афрасион не оправдали ее надежд, одна из-за своего девичьего легкомыслия, другой — потому что был мальчиком; тетюшка Камар была твердо убеждена, что мужчина, овладевший тайнами природы, все равно, что безумец, размахивающий кинжалом. Зато Медея, едва отцепившись от подола кормилицы, сразу вступила в таинственный мир тетюшки Камар. В десять лет она уже могла усмирить одержимого и поразить бешенством здорового, смиренного человека. Рассудительная, чуткая девочка легко находила верный путь в безлюдных лабиринтах знания. Вся вселенная, от звезд до корней трав, лежала перед ней, подобно раскрытой книге, и достаточно было ей на мгноление отвести взгляд, как тетюшка Камар, постучав крючковатым, как клюв хищной птицы, пальцем по странице, возвращала ее к уроку. Эта мудрая, таинственная и оттого еще более прекрасная книга осенила ищущую душу и разум ребенка, словно наседка, раскинувшая крылья над единственным яйцом, которое надо высидеть, чтобы не угасала вся ее порода. Горечь и сладость, жар и холод этой книги питали, растили, просветляли душу Медеи; обретенный ею свет выхватывал все новые дива и чудеса из мрака вечности и беспредельности, в то время как ее племянники слонялись без толку по белу свету, не разбирая путей-дорог. Чуть робея и ежась в знобкой обители знания, Медея слушала и запоминала все, чему ее учила тетка. Вместе с Камар бродила она по затерянным оврагам и по лесной глухомани, собирая в подол всевозможные травы, цветы и мхи.

— Травы хранят тайну жизни и смерти человеческой, — говорила ей тетка.

О тетюшке Камар говорили, что она может, взглянув на человека, превратить его в камень. Это, разумеется, была неправда, но глаза у нее были в самом деле странные — зеленые, сверкающие; казалось, ресницы и брови обожжены жаром зрачков. Медея хорошо знала силу этих глаз — странная дрожь пробегала по всему ее телу, когда тетка устремляла на нее испытующий взор и говорила: «Стоит мне только захотеть — тотчас превращусь в такую же пигалицу-девчонку, как ты».

Медея верила, что тетка ее в самом деле может превратиться в девчонку. Ей даже сразу начинали мерещиться две одинаковые веснушчатые маленькиe девочки с ворохами трав в подоткнутых подолах и с тонкими исцарапанными икрами. Опусив голову, шла Медея за теткой и думала: хоть бы она пожелала, хоть бы она в самом деле стала вдруг такой, как я, — вот когда мы повалялись бы с нею вместе на поле в траве. Медея помнила — тетка внушила ей это, — что не должна впускать в голову подобные мысли, так как они занимают место, нужное для знаний; Медея знала также, что валяются на траве в поле лишь глупые и невежественные дети, но желание побегать, пошалить порой с такой силой овладевало ею,

что она согласилась бы прослыть самым глупым и невежественным ребенком на свете, лишь бы разок порезвиться на свободе.

Тетушка Камар умела и читать мысли, она внезапно навливалась, взглядывала из-под бровей так, словно услышала в кустах рычание зверя, и бросала: «Где ты витаешь? С кем я говорю?».

Когда тетушка Камар умерла, Медея не удивилась и даже не очень горевала: она подумала, что таково было желание всемогущей тетки, что, по-видимому, так было нужно, что смерть была предпочтительнее для нее, чем превращение в худенькую пигалицу-девчонку. Медея не удивилась бы, даже если бы тетушка Камар вернулась из царства душ.

Храм тетушки Камар стоял в саду Дариачанги. Медея бывала там каждый день — всему городу был известен час, когда показывалась на улицах запряженная мулами колесница. В колеснице стояла Медея, держа в правой руке вожжи, а в левой — хлыст. Двенадцать рабынь с подоткнутыми выше колен платьями бежали следом. Спустя недолгое время тринадцать девушек одного духа и нрава, одна красивее другой, сияли пламенеющими кострами в саду Дариачанги. Тут был их мирок, их царство, скрытое от посторонних глаз и осененное покоем стоящего поблизости храма. Но тот, другой, обширный и незащищенный, беспокойный и смелый мир, от которого они убегали каждое утро, окутанные облаком пыли, поднятой мулами и колесницей, не давал им и здесь покоя — и здесь настигал их его грубый и страстный голос. Именно он, этот голос, заставлял листья трепетать, кузнечиков прыгать, пчел жужжать, и девушки чувствовали, хоть и не признавались себе, что именно он, этот голос, был повинен в том, что они трепетали как листья, жужжали как пчелы и носились вприпрыжку по траве как кузнечики. Они не пытались бежать от этого голоса — они уединялись с ним здесь, чтобы лучше слышать, глубже осознать его, привыкнуть к нему.

Рассыпанное про-осо —

запевала вдруг какая-нибудь из девушек, и остальные тотчас подхватывали:

Цыпленок подберет,
А нашей любви, мой милый
И смерть не ра-азорвет.

Они пели, многозначительно улыбаясь и глядя друг другу в лицо с видом заговорщиц, испуганные и восхищенные собственной смелостью. И тайна, скрывавшаяся в словах, окутывала их сладостным и грешным, дремотным туманом.

А Медее больше всего в песенке нравился цыпленок — тот, что склевывал просынные зернышки, желтый и пушистый. Сквозь узор колеблющихся веток проглядывало вдруг синее, задумчивое око моря — и тогда их сразу тянуло к волнам. Место, облюбованное ими для купанья, было тихое, уединенное — одно лишь море могло увидеть их наготу. А раз

они скрывались — значит, знали зачем, знали, что есть тому причина. Море слепило взгляд своим сверканьем, из всплескивающих волн выглядывали то розовое бедро, то беломраморный живот, то крепкий шероховатый сосок. После купания они лежали на горячем песке, обратив к небу суженные от зноя зрачки солнца зрачки. Голос, доносившийся из того, другого мира, гудел теперь у них в висках. Они прислушивались, замирая, в смятении — полные неодолимой радости, как дети, ожидающие подарка.

Когда вошла Кариса, Медея расчесывала волосы. Поспешно скрепив их на затылке, она отложила зеркало.

— Как ты красива, — сказала Кариса.

Медея улыбнулась и бросила быстрый взгляд в зеркало. Кариса подседа к сестре, поцеловала ее в лоб и сказала еще раз, что Медея очень красива.

Кариса умела подольститься и никогда не скупилась на похвалы другим. Она несколько не сомневалась, что сама красивее всех, но красотой своей никому не колола глаз, а хотела, чтобы все добровольно признавали ее превосходство. Поэтому Кариса никогда не забывала подкупать других. Отказать кому-нибудь в ласковом слове было, по ее мнению, так же предосудительно, как прийти к больному без гостинца.

Медея не была дурнушкой, но и красавицей ее нельзя было назвать. Внешность у нее была изменчива, как погода, — не только черты лица, но все тело и даже цвет глаз. Нежная и розовая в эту минуту, как цветущая ветка персика, она могла через мгновение стать похожей на загнанного зверя, в чьих глазах затаились ярость и тоска.

— Твой муж будет думать, что он грезит, и бояться пробуждения, — сказала Кариса.

Медея улыбнулась. «Что это за платье на тебе?» — спросила Кариса и провела рукой по ее пруди. Медея посмотрела на свое платье.

— Я всеобщая нянька. Для себя времени не остается, — сказала Кариса, улыбнувшись в свою очередь.

Обе довольно долго молчали. Кариса вдруг загрустила и уставилась в половицу перед собой. А Медея не знала, что сказать. С облегчением услышала она голос сестры:

— Скатертью дорожка хоть в самую преисподнюю всем, кому я не нужна, — и мужу, и детям. Даже судно мужа я должна выносить — служанки стыдятся, а меня нет.

Медея вся напряглась. Ни о чем подобном они с Карисой никогда прежде не разговаривали. Медея знала, что девушки выходят замуж и делают себе кумиров из мужей, как настоящие рабыни крутятся, хлопочут в своих домах. Но это происходило в другом мире, о котором Медея ничего не знала, кроме разве глупого стишка, что распевали ее рабыни в саду Дариачанги. Этот мир был обителью Карисы. Правда, Медея и Кариса были сестры, но отличались друг от друга, как вино и вода. Медея принадлежала божеству, а Кариса — мужчине. Тетушка Камар с самого начала назначила Медею рабыней Луны, и, возможно, поэтому Медея никогда и не помышляла об иной жизни. И детство ее было необычным. Единственную кук-

лу, которую Медея смастерила сама, она прятала доньне под изголовьем, скрывала, как незаконного ребенка, — чувствовала, что и эта кукла была посланцем из другого, запретного мира и тянула туда Медею. А Медея боялась даже посмотреть в ту сторону. Тотчас же вставали перед ее взором сверкающие глаза тетушки Камар и ее крючковатый, как клюв хищной птицы, палец. Знание, полученное по наследству от тетки, как тяжелый камень, придавило гнездившуюся в глубине ее существа женственность, загораживало ей свет и воздух, не давало поднять голову. Медея еще не ведала, что именно этот крохотный, на время заглушенный, затаившийся побег ее женственности, изначальный дар природы, а не знание ее тайн, полученное от тетки, будет направлять всю ее жизнь. Это было другое знание, оно пока еще дремало во мраке, хотя уже шевелилось, как забывшийся грезами пленник при звуке шагов тюремщика. Шаги приближались, кружили над ямой-тюрьмой, становились все громче. Медея вся сжалась, охваченная ознобом. Кариса звонко расхохоталась.

— Я так напугала тебя, что ты теперь, наверно, никогда не поднимешь взгляда на мужчину, — сказала она и снова засмеялась. — Нет, — продолжала она. — В семейной жизни много и хорошего. Кого любишь, тому и воду подашь, и судно.

Медея не знала, что сказать, как держаться. От нее требовалось — она чувствовала, — чтобы она что-то поняла, что-то столь сильно взволновавшее ее старшую сестру. Медея не знала, что у Карисы завелся в душе червяк и что Карисе нужен дятел, который выклевал бы червяка своим острым клювом. Медея хотела было сказать сестре: «Объясни мне понятней, что тебя тревожит, видишь, я не могу догадаться», но сдержалась. Раз Кариса не объясняла «понятнее», значит, так было нужно. Медея сама была виновата, лишь из-за своей недогадливости она мучилась сама и изводила сестру. А Кариса совершенно неожиданно задала ей вопрос, от которого Медея растерялась еще больше: «Знаешь ли ты, как пахнет постель больного?» К счастью, она не стала дожидаться ответа, а продолжала: «Кто бы ни лежал в ней, все равно, тебя затощит, и ты удержишь дыхание. Пока сможешь вытерпеть, пока не найдешь повод, чтобы ускользнуть».

«Если б я захотела, тотчас же превратилась бы в такую же вот худенькую пигалицу-девчонку, как ты», — вспомнились почему-то Медее слова тетушки Камар. Эти слова Камар повторяла часто, и Медея всякий раз удивлялась — почему же тете не хочется стать маленькой девочкой, хотя бы ненадолго? «Наверно, вот поэтому», — подумала Медея, почувствовав вдруг, что есть какая-то неясная, трудно уловимая связь между всеми худенькими девчонками и тем, что говорила Кариса. А то, что говорила Кариса, заставляло Медею содрогаться, и она уже в нетерпении ждала ухода сестры. Сама того не замечая, Кариса ломилась в ту самую дверь, за которой все еще спала истинная природа Медеи, но той и сквозь сон был слышен, и сквозь сон раздражал и будоражил этот неприятный голос, сознательно или бессознательно старавшийся ее разбудить.

Но сидеть так, молча и словно дуясь, было нехорошо. Взгляд Карисы молил Медею сказать что-нибудь, успокоить, поддержать ее, принять ее сторону. Еще немного, и Кариса могла вспыхнуть, вздернуть брови, счесть молчание сестры за измену.

— Как я рада, что Фрикс выздоровел, — сказала вдруг Медея.

Кариса вздрогнула, как ужаленная. На лице ее выразилось изумление. То ли Медея не поняла ничего, то ли она хитрила и не желала ничего замечать, хотя Кариса и намекала ей весьма настойчиво и прозрачно на свои беды и горести. Кариса пришла к Медее, чтобы выговориться и тем освободиться от своих печалей, как от чего-то невесты откуда взявшегося, совершенно ей непонятного и ненужного. Медею она выбрала в поверенные своих тайн не случайно; Медея, в отличие от других женщин, не стала бы торжествовать, узнав, что ее старшая сестра не нужна своему мужу, что тот избегает Карисы, прячется от нее, как своеправный ребенок от няньки. Вот чем хотела поделиться с сестрой Кариса — одиночество страшило ее, и она поспешила к сестре, но тут же поняла, что и Медее не может открыться полностью, до конца. Она несколько не сомневалась, что Медея посочувствует ей, но вдруг испугалась именно ее сочувствия. Ведь Кариса оказалась бы униженной в глазах сестры, и боль ее стала бы еще больше, потому что отныне уже двоим было бы известно то, что до сих пор знала она одна. И кому бы ни доверила свою тайну Кариса, на нее неизбежно стали бы смотреть с подозрением, попытались бы обнаружить в ней порок, из-за которого мог охладеть муж к этой поистине прекрасной, сияющей радостью женщине. Так что лучше было хитрить, притворяться — и Кариса притворялась. Она как бы утрожала еще не появившемуся мужу Медеи, предостерегала его, даже стращала, чтобы он не оказался скотом, не стал паять глаза на кого попало после того, как ему будет дозволено сорвать пояс девственности с Медеи. «Я не собирают замуж!» — со слезами в голосе повторяла Медея, но Кариса твердила свое, чтобы не дать вырваться тому, главному, что хотела высказать, с чем пришла, из-за чего вообще начала разговор. «Жена — и счастье, и гордость мужчины», — бушевала Кариса, но когда Медея случайно произнесла имя Фрикса, вздрогнула, словно ее окатили холодной водой, и посмотрела на Медею так, как будто та выбила у нее из рук чашу, поднесенную ко рту. Медее стало вдруг тяжело, недоброе предчувствие отравило ей душу, и она вдруг всем существом почувствовала, как жалка, как несчастна ее старшая сестра, и в то же время поняла, как всеподавляюще могуществен избранный Карисой кумир. В наступившей внезапно тишине Медее послышался странный шорох — и она невольно закрыла руками грудь, точно кто-нибудь мог увидеть, как распускается, подобно отогретой солнцем почке, ее сердце.

— Но ты будешь счастлива, — сказала Кариса.

Сыновья Фрикса собирались теперь каждый день у своего отца. А уходили от него с такими лицами, словно совершили какое-то тяжкое преступление. Они ходили, опустив взгляд,

лица у всех четверых пылали и глаза блестели, как от жара. Кариса чувствовала, что какая-то тайна встала между нею и ее мужем и сыновьями — тайна, участницей которой она не могла быть, в которой для нее не было места. Она страдала, но гордость не позволяла ей унизиться до того, чтобы попросить сыновою объяснить, что происходит.

Мальчики любили свою мать по-прежнему, нежно и всем сердцем, но эта любовь не была уже их единственной любовью. У Карисы появилась соперница, имени которой она не знала, не представляла себе, как та выглядит, и, страшась этого неведомого врага, не торопилась встретиться с ним.

Но тайна раскрылась так же неожиданно и оказалась такой же простой, как и всякая тайна. Однажды, когда вся семья сидела за обедом, старший сын Фрикса Аргус отпил вина из чаши и сказал: «Наше море цвета вина». Остальные три мальчика смотрели на мать пристально и настойчиво, и она невольно вся внутренне напряглась: что-то было сказано важное, значительное, и многое объяснилось бы, будь она повнимательней. Кариса взглянула на Фрикса, тот почувствовал ее взгляд, щеки у него зарделись, но он не поднял головы. Пригубив чашу, Фрикс отодвинул ее в сторону и сказал Аргусу: «Только не этого вина; у нашего цвет другой».

Тут-то догадалась Кариса, о каком вине и о каком море шла речь. Все тело ее сразу расслабилось, она сложила руки на коленях и горько улыбнулась с видом обманутого человека, которого заставили отнести ношу не на то место, куда следовало. «Как давно я не меняла платя!» — подумала Кариса и вдруг почувствовала, что в ней нарастает гнев и жаркий ветер охватывает ее от корней волос до ногтей на ногах. Не потому, что ждала страшного и обманулась, а потому, что сидела вот так, сложив руки на коленях и съезжившись, словно до смерти усталый человек, перед мужем и сыновьями. И Кариса с силой ударила рукой по столу — чаша, полная вина, упала на пол и покатилась со звоном.

— Что вы все дуетесь на меня, точно я накормила вас жареной змеей? — вскричала Кариса.

Фрикс бросил обед и ускользнул в свою комнату. Мальчики не осмелились последовать за ним — проглотили через силу еще по куску, точно и вправду ели змеиное мясо, поблагодарили мать за обед и лишь после этого поднялись из-за стола. Фронтис хотел было остаться, но гневное лицо матери испугало его, и он ушел вместе с братьями. Кариса осталась одна. Она считала себя победительницей, но вместо того, чтобы торжествовать, все более разъярялась. «Что со мной?» — удивлялась она, но посуда все так же со звоном валилась с полок и разбивалась у ее ног. Кариса знала теперь имя своей соперницы, но, увы, не могла оттаскать ее за волосы или выцарапать ей глаза. Соперница была далеко и, возможно, именно потому представлялась Карисе особенно сильной и опасной. Ей оставалось лишь вознести благодарность богам за то, что та не оказалась обычной, рожденной от женщины, смертной женщиной, чье соперничество, и даже просто существование, унизило бы, втоптало бы в грязь ее женскую гордость и че-

столюбие. Сказать по правде, Кариса была и не в праве за-
претить сыновьям любить родину их отца; наверно, ей и в го-
лову не пришла бы такая мысль, если бы Фрикс и мальчишки
не вели себя так таинственно. Итак, женское достоинство Карисы
было спасено, на него никто не покушался, и все же она пришла
в неопишущую ярость, должно быть, именно оттого, что почувствовала
себя в безопасности. Теперь нескончаемые перешептывания ее мужа
и детей получали иной смысл. «Значит, боятся меня, раз скрывают!» —
заклчила она и решила перейти в наступление, заставить заговорщи-
ков почувствовать ее силу и ее власть, чтобы они раз и навсегда поняли,
с кем имеют дело. Прежде всего она собиралась пойти к Медее, при-
жать ее нежно к сердцу и сказать: «Прошу тебя, забудь все, что я тебе
наговорила, я вела себя, как дура, это было после бессонной ночи, и я,
наверно, тебя замучила, моя маленькая, красивая, глупенькая сестренка!».
Бог знает, что могло тогда прийти в голову Медее. Правда, она, кажется, ни о чем не догадалась,
но ведь вполне возможно, что это было лишь притворство — не так уж
она простодушна. В ее годы у Карисы уже был ребенок.

Хотя Кариса не простила мужу внезапного отступничества до самой его смерти
и даже после нее, отношения их, так или иначе, выправились. Семья была
вновь похожа на семью, по крайней мере, для стороннего взгляда; извне
было трудно увидеть раздельное супружеское ложе. Так что Кариса могла
быть спокойна.

Однажды вечером Кариса сидела в кресле и вязала. Рядом на полу
кошля играла клубком. Фрикс лежал на тахте и смотрел в потолок. Мальчишки
сидели кучкой в углу и шептались. Сверчок, затаившийся в трещине
колонны, заливался навзрыд. Протяжное его пенье делало царивший в
комнате покой еще более глубоким. Вдруг Кариса подняла голову и сказала
громко и внятно: «Хотела бы я хоть раз в жизни повидать родину мужа
и сыновей моих!». Этому от Карисы никто не ждал — ни Фрикс, ни мальчишки,
ни даже внезапно умолкший сверчок. Фрикс сел на тахте и нащупал босыми
ногами шлепанцы на полу.

— Ты не шутишь? — спросил он, опершись ладонями на край тахты и наклонившись вперед.

— Не шучу, — ответила Кариса, продолжая вязать как ни в чем не бывало.

Фрикс и его сыновья заволновались, поднялись с мест и постепенно, переговариваясь, собрались вокруг Карисы. А Кариса все вязала,
улыбаясь и невозмутимо покачивая головой. У мальчиков сердца екали в груди
при виде улыбающейся матери, которая ласково кивала им головой, явно одобряя их
интерес к знакомой по рассказам отца и уже любимой ими стране. Все заговорило
наперебой, все болтали без умолку — улыбка Карисы вновь обрела волшебную
силу улыбки матери и супруги.

— Матушка, послушай, матушка! — рассказывали наперебой сыновья Фрикса. — Знаешь, в родном городе отца одна старуха продавала тыквенные семечки. Отец и наша бедная

тетя, его сестра, убежали от няни, чтобы купить семечки. Они оказываются, такие вкусные, что отец до сих пор не может их забыть. А от няни убежали потому, что были царскими детьми и грызть тыквенные семечки им не разрешали.

Сияя от счастья, Фрикс глядел в лицо своей жене, точно при одном упоминании о тыквенных семечках у Карисы должны были потечь слюнки. А Кариса вязала, улыбаясь, и спокойно кивала головой.

В ту ночь Фрикс долго ворочался в постели, пытаясь зазнуть, но врата сна так и не открылись перед ним. Фриксу чего-то не хватало, какой-то неотъемлемой части его существа: равновесие его тела и души было нарушено, и поэтому он не мог войти в царство сна. Наконец, мысли его прояснились, и он понял: ему не хватало Карисы, супруги, делившей с ним ложе, и матери его детей. Это открытие испугало Фрикса, потому что он вдруг почувствовал, как за все это долгое время отвык от собственной жены. Теперь он, хоть убей, не смог бы так запросто сдернуть с нее одеяло. Тот путь, который ему надлежало в свое время пройти, чтобы покорить Карису, и который он, по счастью или по несчастью, не прошел, сейчас открывался перед ним со всеми своими трудностями и опасностями. Фрикс был сейчас в самом начале пути, а Кариса — в его конце. Внезапно возникшее расстояние подкосило ему колени. Но самая большая беда была в том, что он стыдился своей жены. «Как я ей взгляну в глаза?» — сердился на себя Фрикс, чувствуя, что желание становится все невыносимей. Он ощущал ее женскую власть над собой и, увы, — сознавал, что эта женщина ему больше не принадлежит. Та, что была его женой и родила ему четверых детей, внезапно оказалась недостижимой для него. Вот в чем была сила этой женщины, вот чем она связывала, замораживала на месте мужскую силу и страсть Фрикса. «Что я за мужчина, — думал Фрикс, — мучаюсь, как ребенок. И она ображается со мной, как с настоящим ребенком. Надо было заставить ее вымыть мне перед сном ноги — тогда дело пошло бы иначе. Стоит поддаться женщине, как она тебя подчинит, и поделом тебе тогда!»

Впервые пришлось Фриксу переживать такое. Юношеская застенчивость боролась в нем с мужской страстью. Он сознавал свое право на эту женщину — по его твердому убеждению, она была его собственностью и ее обязанностью было исполнять все его желания. Впрочем, возможно, что Кариса и исполнила бы с радостью «любое его желание», но на беду именно желание свое он не осмеливался обнаружить, никак не мог преодолеть внезапно возникшую преграду робости или стыдливости, лишь по ту сторону которой человеку все кажется возможным и естественным. Никто никогда не останавливался перед этой преградой, преодолеть ее обязательно, иначе жизнь немислима — но сделать это можно по-разному. Иной небрежно, грубо, не колеблясь и не оглядываясь, перенесется через нее и разнузданным зверем затопчет хрупкий и нежный огонь, мерцающий в человеческой душе, — так что не останется и следа. Сперва и Фрикс решил было прямо войти в спальню к жене и не просить, а потребовать, нет, даже не

потребовать, а просто взять то, что принадлежало ему, было его собственностью. Это было бы заслуженным наказанием жене, которая, должно быть, спокойно спала в двух шагах от бодрствующего мужа, за равнодушие и невниманье Фрикс подзадоривал себя, пытался освободиться от оков стыдливости и робости, потому что женщина, которую он собирался будто бы наказать, была для него сейчас желанной и недосыгаемой; и в то же время она почивала тут же рядом, за стеной, под одной крышей с ним, и дышала тем же воздухом, что и он, — и однако, несмотря на то, что все у них было общее, даже не помнила о Фриксе, как будто он вовсе не существовал. А Фрикс исходивший от нее жар бил, как птица, крыльями в лицо, и у него темнело в глазах, он дрожал всем телом так, словно в эту самую минуту замыслил какое-то страшное злодеяние — нет, не задумал, а уже совершил и все еще топчется на месте преступления, не может убежать, скованный совестью. Фрикс метался, страдал, болезненно распаленное желание и вправду рождало в нем чувство преступности, потому что было затаенным, безысходным и невыносимым.

Фрикс был уверен, что Кариса спит и проснется, только когда уже будет поздно, когда он стиснет ее в объятиях. Вот он уже приготовился встать, но тут у него мелькнуло в голове: а вдруг она все-таки не спит? На него словно вылили ушат холодной воды: что он скажет жене, если найдет ее бодрствующей? Об этом он еще не думал. Он жаждал одного — чтобы все обошлось без слов, и рассчитывал на это. Выказать свое мужское желание, объявить о нем вслух казалось ему постыдным и унижительным. И мысль Фрикса пошла по иному пути — наверно, для того, чтобы он мог забыть о своей трусости и нерешительности: «Она придет сама. Иначе не может быть — почувствует и придет». Он сразу поверил в это, несколько раз ему даже почудилось, что кто-то вошел на цыпочках в комнату. Почудилось так явно, что он затаил дыхание и приподнялся на постели. Конечно, было гораздо естественней — так считал Фрикс, — чтобы Кариса пришла к нему сама; она должна была почувствовать его желание, должна была услышать стук его сердца. Как же иначе, если она женщина, если она ему жена? Она должна была прийти к нему и сказать: «Вот я здесь, чтобы исполнить все, что ты захочешь». «Отчего же нет?» — думал Фрикс. — Разве она-то может спокойно спать?». Так напряженно ворочал Фрикс в голове эти мысли, что несколько не удивился, когда вошла Кариса.

— Я принадлежу тебе, — сказала Кариса. — Разве я уже исполнила все твои желания?

На Карисе была белая прозрачная сорочка. Фрикс всего один раз видел эту сорочку и давно уже забыл ее. В этой сорочке была Кариса в их первую брачную ночь. Длинные, не заплетенные волосы ее были связаны узлом в конце и перебросены через плечо на грудь. Легкая воздушная ткань облегалась округлости груди и живота — словно прилипла под дуновением ветерка. Тонкие, пшеничного цвета руки бессильно свисали вдоль тела. «Отчего же нет?» — подумал Фрикс, с трудом глотая слюну, и нечаянно подвинулся в постели. Ему



сразу стало стыдно этого непровольного движения, но он не поддался робости, откинул одеяло и показался Карисе.

«Прости меня! Прости!» — бормотал немного спускаясь Фрикс и целовал круглившуюся перед ним женскую грудь. Кариса беззвучно плакала. Слезы капали Фриксу на лицо — невидимые, они казались необычайно крупными. Он был одновременно унижен и оценен по достоинству, но подсознательно его существо легко принимало оба эти противоположные чувства одновременно, потому что, как подсказывало ему чутье, это и была желанная им свобода — запах женщины и солоноватый вкус слез делали ее явственной и осязаемой. Успокоенно разжавшиеся пальцы ласковой женской руки щекотали ему спину, словно легкие лапки какого-то безобидного животного, ищущего, чем бы поживиться. Эти два существа не могли, не в праве были отвергать друг друга, они были необходимы друг другу, дополняли и облагораживали друг друга: сочетание их было единым совершенным существом, которое неистощимо изобретательная и прихотливая природа воплотила в двух раздельных созданиях, между ними царило полное согласие, нарушить которое можно было лишь разлучив их, оторвав их друг от друга.

— А если бы я тебе изменила? Об этом ты не думал? — сказала вдруг Кариса и вытерла мокрую щеку о его плечо.

Никогда женщина полностью, до конца не отдает себя мужчине. Кариса знала, что была выше всех женщин для Фрикса, и знание это придавало ей смелости. Никакая другая женщина не могла бы отнять у нее первенство, занять ее место. Вернее, так думала не Кариса, а Фрикс — он постепенно трезвел, и теперь его угнетало лишь ощущение какой-то влажности и внутренней опустошенности. Озадаченно и растерянно улыбался Фрикс в темноте. Слова жены: «А если бы я тебе изменила? Об этом ты не думал?» — больно ранили его. Ему стало так горько, что от безграничного блаженства, испытанного всего лишь минуту назад, не осталось и следа. Он уже знал, что все это было плодом его собственного обостренного воображения, влажным и омерзительным, как раздавленная жаба. Но голос жены все еще явственно отдавался у него в ушах. Если бы у него хватило решимости добраться самому до постели жены, все произошло бы точно таким же образом, потому что всегда происходило так. И что удивительного, если бы Кариса в самом деле произнесла слова, которые заставило ее сказать воображение Фрикса? «Значит, дошло до измены», — подумал он. Мысль о возможной неверности жены была так оскорбительна, так испугала его, что он вскочил с юношеской живостью с постели и направился — на этот раз наяву — к спальне Карисы. Когда Фрикс дошел до ее двери, в городе запели первые петухи и спугнули мрак, угнездившийся в покоях дворца. Кариса не спала, она сидела на постели, словно ожидая мужа. Это было так неожиданно, что Фрикс в первое мгновение даже подумал было уйти назад. Ему показалось, что Кариса насмешливо улыбается — как будто она знает причину растерянности Фрикса, понимает, почему он поминутно заливается румянцем, и полна радости, сознавая себя женщи-

ной, победительницей, чей удел волновать мужчину и торжествовать над ним. И Фрикс ощутил горечь поражения. Если его сковывало внезапно возникшее чувство вины перед женщиной, переросшее в беспомощность, то Карисе ее женское достоинство, ее самоуважение и сознание собственного превосходства не позволяли предложить себя этому жалкому, смешному человеку, который назывался ее супругом и который в эту минуту, наверно, и не был бы способен принять такой дар. Фрикс внезапно увидел себя глазами жены: как нищий, жался он в дверях в чем мать родила, испуганный и растерянный, словно пойманный с поличным ворюшка. А Кариса сидела на постели, и, разумеется, именно таким он ей и представлялся, хотя она и притворилась, будто из-за темноты не различает толком, кто стоит в дверях ее спальни.

Кариса тихо, почти шепотом, потому что в этот час вокруг, конечно, все еще спали, спросила: «Кто там?» — и когда Фрикс, которому волнение стиснуло горло, кашлянул и с трудом выдал из себя: «Это я, не мог заснуть и решил прйтись», встревожилась и уже громко сказала мужу: «Что с тобой, не плохо ли тебе — тогда я встану». Тут Фрикс окончательно понял, что продолжать борьбу не имело смысла. Он был побежден — позорно и навсегда, а причиной поражения были его нерешительность и беспомощность, с детства приставшие к нему, словно бедные родственники, и ежеминутно, завидуя его счастью, напоминавшие о себе. Фриксу внезапно стал противен весь свет, а пуще всего он сам; он едва нашел силы, чтобы пробормотать: «Не надо, со мной все в порядке».

Не успел он сделать два шага, как услышал смех Карисы. Это было так неожиданно для Фрикса, так потрясло его, что он застыл в изумлении на месте, не веря своим ушам. Но Кариса в самом деле смеялась: отрывисто, нервно, вызывающе.

После этой злополучной ночи Фрикс совершенно переменялся. Он стал как будто веселей, деятельней, разговорчивей, но не мог отдаваться подолгу никакому делу и даже торопился прервать беседу — словно человек, собирающийся в дальнюю дорогу. Впрочем, так оно и было, он уже не скрывал своих намерений и объявил во всеуслышание, что собирается вернуться на родину, присмотреть за своим домом, пока чужие люди не пустили по ветру все достояние его отца.

— Все хорошо и прекрасно, — говорил Фрикс в кругу семьи, когда все собирались вместе. — Все хорошо и прекрасно, но если человек не заботится о своем наследственном имении, он, право же, ничего не стоит. Я ведь царский сын и законный наследник престола. А царство моего отца, надо вам сказать, ничем не меньше и не хуже любого другого царства. И я хочу взять с собой жену и детей, если, разумеется, они согласны (говоря это, Фрикс взглядывал на Карису и улыбался ей). Должны же мои сыновья увидеть места, где я родился! Как знать — быть может, несчастный отец мой глаз не сводит с дороги, быть может, свидание с сыном и внуками продлит ему жизнь хоть на несколько дней, — и в заключение неизменно добавлял: — Одно печалит меня — что моя бедная сестра погибла и не может встретиться с нами.

Фрикс принялся укладывать вещи. Он всем объявил: приходите, смотрите — я беру с собой только то, что нажил своим трудом и без чего не обойтись в долгом путешествии. Когда же его спрашивали, на чем он собирается ехать, Фрикс улыбался и отвечал, что уж, наверное, тесть одолжит ему корабль или хотя бы даст внаймы.

— Одолжить одолжу, но не советую, — сказал Аэт, нахмурясь.

— Я уже не дитя, — ответил Фрикс.

Аэт прикусил себе губу до крови. Тоненькая красная струйка, словно испуганный червяк, соскользнула ему на бороду. Но из любви к дочери Аэт подавил в себе гнев. Кариса завидла, что хочет быть там, где будут ее муж и дети, и тоже принялась укладывать вещи. Фрикс несколько растерялся, он не ждал такой решительности с ее стороны. Он давно подумывал вернуться на родину, но если так сейчас заторопился, в этом была виновата Кариса. Фрикс убежал от Карисы, потому что стыдился и даже боялся ее. После той памятной ночи жизнь под одной крышей с нею представлялась ему невозможной, и это придало ему решимости осуществить давнее свое намерение вернуться в свое далекое, полузабытое, таинственное прошлое. Однако он не осмелился прямо и решительно отказать жене и только процедил сквозь зубы: «Как знаешь!». Зато сыновья Фрикса чуть не обезумели от радости. С утра до вечера бегали они по ванским улицам и выкрикивали: «Уезжаем, прощайте, всего вам хорошего, благодарим за все!».

Но внезапная смерть Фрикса повернула все по-иному.

Фрикса нашли мертвым в постели. Он лежал съезжившись, словно озяб оттого, что раскрылся во сне. Если бы Фрикс умер несколько раньше, никто бы не удивился — одно время на него даже махнули было рукой. Но теперь, когда он оправился после болезни и жизнь стала ему снова мила, и перед ним лежал желанный, хотя и столь длинный путь, — смерть его заставила людей призадуматься. Вспомнили, каким необычным было его появление в Вани — как вынесли рыбаки на берег его и барана, как Бедия влил ему в рот вино, и как он изрыгнул это вино. А дворцовые слуги рассказали, что Фрикс баран, до сих пор подобно золотому кумиру недвижно высившийся в собственном сиянии, в ночь, когда умирал Фрикс, до самого утра кидался на стены своей каморки и бился о них рогами.

Но больше всех горевал о Фриксе Бочия. Всю ночь он ворочался в постели без сна, точно лежал на растрепанном муравейнике. Потолок держала всегда колыбель у самой постели, и всякий раз, как ее младшенький всплакивал во сне, раскачивала ее ногой. «Точно у меня сын умер», — вздыхал Бочия. И он не кривил душой. Когда он впервые увидел расprostертого на морском берегу Фрикса, безжизненного, обескровленного, как обломанная ветка, едва не ставшего добычей стихии, он испытал такое чувство, как если бы и вправду его собственное дитя валялось на прибрежном песке, взывая о жалости. Если бы Аэт не взял к себе Фрикса, Бочия усыновил бы

мальчика и воспитал бы его. Бочия и Потолола вырастили столько детей, что воспитать еще одного не составляло для них труда. Их сыновья и дочери сами плодились и размножались так, что скоро смогли бы населить целый город. Впрочем, порою проходил целый год и никто из детей и внуков не навещал Бочию и его жену. Все они уже запряглись в житейское ярмо, все обзавелись семьями и затруднялись выбрать время, чтобы проведать вечно молодых отца и мать.

«Если бы им было худо, вспомнили бы о нас», — успокаивал Бочия Потолола и улыбался, думая, что вот сейчас Потолола подчитывает в уме своих детей: кто умер, кто успел состариться, а кто в зрелых годах все еще бодро шагает по дороге жизни. Возможно, дети просто стыдились того, что выглядели старше родителей, и потому не любили бывать у них. Да и в самом деле, как бы не постыдился седобородый, замшелый, согбенный от старости сын пожаловаться на свои беды статному, юношески-бодрому отцу? «Это все потому, — говаривал Бочия, — что моим сыновьям достались в жены кому ослиный бок, а кому собачья челюсть». Вот Потолола — это совсем иное, другой такой жены, как Потолола, не нашлось бы на всем свете, ради своего мужа она готова была в огонь и в воду; даже когда носила ребенка (а это случалось с нею часто), ни разу не попросила его подать воды, не затрудняла его своей беременностью и до последнего дня не выпускала из рук веника и тряпки. Трижды на дню подметала она дом, десять раз в день поднималась на чердак, сто раз выходила в огород и на птичий двор; никогда не задавала мужу лишних вопросов и не рассказывала ему лишнего. Лишь однажды случилось, что Потолола разбудила спящего Бочию. Явился покупатель, пристал к одну душу; разбудил мужа, да и только. Не сумев никак от него избавиться, Потолола достала из сундука свадебные башмачки, точно они могли дать ей право и смелость подойти к мужу. Надев башмачки, она прошла по комнате, где спал Бочия. Тот действительно проснулся от стука ее каблучков и обрадовался, увидев жену. Но на другой день, взглянул в зеркало, обнаружил у себя на голове седой волос. Бочия вырвал тот волос и показал его Потололе со словами: «Вот что сделали твои башмачки». И с того дня Бочия мог спать спокойно: Потолола готова была умереть на пороге, лишь бы не дать кому-нибудь его потревожить.

«Как будто у меня умер сын!» — всю ночь вздыхал Бочия, и Потолола, притихшая рядом с ним на вечном супружеском ложе, не знала, как помочь мужу.

Преждевременная смерть сбивала с толку и Бочию, и Потолола, выводила из равновесия обоих, потому что вся их жизнь была ничем иным, как битвой со смертью — оба они, с их единым ложем и взаимной любовью, стояли наготове против смерти. Они не имели никакого иного оружия, чтобы отражать хищного и коварного врага, и горько становилось им, когда у столь могущественного противника выискивались еще помощники и пособники. Смерть была непобедима, она всегда уносила свое, но если не сражаться с нею, она могла забрать волю, совсем разнуздаться и сразу опустошить весь свет. Ес-

ли существует в мире справедливость, — думали они, — смерть должна уводить человека только, когда он уже не годится для жизни, когда, иссушенный старостью, он сохраняет в себе ровно столько силы, чтобы самому вступить в царство смерти, как в желанное пристанище, подобно увядшему листу, опадающему со своего стебля. — надо чтобы никто не подталкивал, никто не торопил его, чтобы он мог постепенно свыкнуться с сумраком и безмолвием таинственной страны, с самого дня рождения пугающей и в то же время манящей его. Человек должен был подготовиться к смерти — не врываться в ее обитель насильно, как перепуганная мышь в первую попавшуюся нору, а разместиться в ней, как сухие фрукты, развешанные на чердаке, чтобы и мертвым приносить пользу, не различаться с живыми, чтобы долгими зимними ночами в наполненные человеческими голосами покои проникало оставленное им в мире благоухание, насыщенное земными соками и пронизанное долгим солнечным жаром. Смерть имела право увести человека лишь тогда, когда сойдет с ложа Бочии и Потолы его приемник. Но коварная и ненасытная смерть слишком часто нарушала законы поединка, так как и пособников у нее было много: убийца и негодяй, болезнь и несчастный случай — все они были товарищами смерти. Но Бочии трудно было поверить, что можно преждевременно отнять жизнь у человека, отнять то, чего нельзя присвоить. Даже застигнув убийцу с окровавленным ножом в руке, Бочия не решился бы указать на него, обвинить его в тяжком прехе. Все его существо восставало против смерти, не могло освоиться, примириться со смертью — и, должно быть, вечно неисчерпаемая плодovitость его и его супруги была следствием именно этой неприимости.

Вот и Фрикса увела смерть раньше времени. Явственно помнил его появление в Вани Бочия — как будто это было вчера. И впрямь — как один день промелькнули для Бочии те без малого сорок лет, которые отмерила Фриксу природа. Эта скупость, эта несправедливость природы угнетала, ужасала, возмущала Бочию, как строителя — разрушенный в одну минуту землетрясением храм, на возведение которого понадобились долгие годы. Всю ночь до утра он охал, причитал и сокрушался. Лишь когда Потолы вынула из колыбели плачущего младенца и дала ему грудь, очнулся от своих мыслей Бочия, взглянул на жену с жалостью и сказал: «Бедняжка, как ты только будешь сегодня держаться на ногах!».

Фрикса похоронили по старинному обычаю — завернули в бычью шкуру и подвесили в роце мертвых. Когда отягченный телом Фрикса кожаный гроб закачался на ветвях, сыновья его простонали: «Улетел наш отец от нас!». Но Фрикс никуда уже не мог улететь, и никогда уже не суждено было ему увидеть вождеденную страну, что вспоминалась всю жизнь, как туманный сон, оставивший в душе вечную тоску, которая и свела его в могилу.

Вани достойно оплакал своего приемного сына. Прославленные плакальщицы сменяли одна другую в течение целой недели, и во дворце Аэта, погруженном в траур, ни на мно-

вение не смолкали плач и причитания. Непрерывным потоком текла ко дворцу толпа жителей Вани. Никто не выходил на улицу без лавровой или ивовой ветви. Люди обходили по кругу Фрикса, покоившегося во дворе перед дворцом и забрасывали его ветками. В головах у Фрикса был привязан баран, в ногах положили его детские сандалии и короткую белую туннику с золотой каймой. Фрикса оплакивал весь город. Ванцы привели ко дворцу даже калек и дряхлых старцев, — чтобы те, кто не видел Фрикса живым, посмотрели хоть на мертвого; а тех, кто не мог приобрести, опираясь на провожатых, приносили на коврах и паласах. Люди входили в главные ворота и уходили через задние, чтобы попутно высказать соболезнование Бедди, который стоял в сторонке, весь съездившись, и прятал заплаканное лицо в спутанных витках наброшенной на шею веревки.

Сыновья Фрикса теснились под аркой; от целого долгого дня сиротства они сжались и побледнели, но все четверо были возбуждены так, как будто у них внезапно возникло неотложное дело или вновь родилась уже угасшая было надежда. Странно, что в человеке вспыхивает надежда именно тогда, когда все уже погибло. И человек упрямо, до последней минуты цепляется за надежду и тешит себя иллюзией, не замечая печальной действительности. Такова его природа; человеку трудно поверить в нагрянувшее несчастье, потому что осознание непоправимости — это последняя ступень, на ней обрывается лестница, и дальше нет ничего, кроме одиночества, мрака и холода. Человек может даже прижаться ухом к груди покойника — не жив ли он, не вышло ли ошибки? Потому, наверно, и не торопится он с похоронами — надежда заставляет его медлить, чтобы как можно позже заглянуть в суровые, ледяные глаза действительности.

Сыновья Фрикса, выгнув шеи, следили за непрерывным, негоропливым шествием. «Сколько людей пришло!» — думали они и поднимались на цыпочки, словно хотели увидеть вдали исток этой необычной реки. Особенно был захвачен зрелищем младший из четверых, Фронтис, — рот его был полуоткрыт от напряжения, и розовый кончик языка высывался точно белка, выглядывающая из дупла. Когда старшие братья тихонько толкали друг друга в бок и шептали: «Смотри, вон еще идут!», Фронтис поднимал на них взгляд, и по лицу его пробегала улыбка гордости.

Кариса стояла между Медеей и Афрасионом. Она тоже, как и ее сыновья, ощущала гордость оттого, что ванцы так дружно оплакивали ее супруга. Она уже поверила, приняла как должное, что Фрикс в самом деле снискал всеобщее уважение и любовь, и привыкла к этой мысли. Разве Кариса могла сделать своим мужем недостойного? «Хороший был Фрикс, — думала она. — Но все же покинул меня, ускользнул».

Сказать по правде, смерть мужа даже несколько обрадовала Карису. Лучше уж было вдовство, чем это странное положение полужены, чем постоянное притворство и волиение. Кариса считала, что муж все равно должен умереть раньше жены, и случится это сегодня или через год, не имеет значения. В глубине души ей даже нравилось быть матерью четырех си-

рот и вдовой всеми уважаемого человека. Тайну их ложа муж унес с собой, а от нее эту тайну никто не сможет узнать.


В день погребения дворец походил на военный лагерь: скреб котлы, кто рубил дрова, кто раздувал огонь. Весь двор был усыпан золой. Смерти всего было нужно много: вокруг стояли бочки с уксусом, тазы, полные соли, толченая киндза и чабер высились зелеными, поблескивающими как после дождя холмами. Повар, встав на скамейку, мешал веслом в огромном котле. Посредине двора, там, где раньше покоился усопший, сейчас оставался только баран. Привязанный к колоде, недвижимый, словно золотой идол, он стоял, окруженный собственным сиянием, и думал. А думать ему было о чем: для него наступил последний день жизни, спасение могло принести только чудо. «Вместе явились к нам, вместе пусть и уйдут», — так повелел Аэт. Но какого еще чуда можно было ждать? И кто стал бы распинаться ради спасения одного старого-престарого барана?

«Странно все-таки — убивают меня во имя того, кого я сам же спас», — думал баран. На колоде лежал нож — длинный, цвета рыбьей чешуи, с желобком посреди лезвия. По желобку полз муравей. Мясник бросил барану свежих веток и почесал ему загривок, словно прося у него прощения. «Ты смотри за ним в оба, как бы не улетел!» — крикнул кто-то мяснику. Тот глухо, отрывисто рассмеялся — словно закашлял — и снова почесал барану загривок. Баран все понимал, за свою долгую жизнь он научился разбирать человеческую речь. Он рассмеялся в душе: «Я летаю только когда этого желают боги». Но он верил до последней минуты, что произойдет нечто неожиданное и он будет спасен. Что именно, он не знал, но не мог же он погибнуть, как обыкновенный баран. Как-никак, он понимал человеческий язык и однажды даже летал — правда, только однажды, но до сих пор при воспоминании у него кружилась голова от испытанной когда-то легкости и стремительности полета. Да, для одной овечьей жизни всего, что он испытал и пережил, было более чем достаточно. Он не упрекал судьбу и не страшился смерти — ведь даже стыдно было бы барану жить дольше человека, но только пусть бы его не зарезали, как обычное неразумное животное, пусть бы отличили чем-нибудь, убили бы как-то иначе, ну, хоть развязали бы, сняли бы с него заляпанную грязью веревку, убрали бы прочь эту колоду, пропахшую кровью! Он ведь не собирался убежать или улетать, да и поди улети — шерсть его была так отягчена приставшей к ней золотой пылью, что он едва мог переступить с ноги на ногу.

Так до конца и не мог поверить баран, что боги забыли о нем — боги, избранником которых он некогда оказался, которые дали ему испытать то, чего не удостоился ни один из его собратьев. И баран вдруг снова ощутил, как из-под ног у него уходит опора и колючий ветер с силой задувает ему навстречу, но он ошибся, теперь это был иной полет, по-иному леденящий, в этот полет посылала его смерть, что примостилась тут же рядом и играла с муравьем, ползавшим то вверх, то вниз по желобку ножа. А баран в самом деле не был простым, рядовым бараном, он скорее примирился бы со смертью, чем с зауряд-

ностью, хотя только смерть и могла одним ударом уничтожить приобретенное им в жизни превосходство, навеки отделившее его от курчавого, блеющего племени, способного лишь давать человеку молоко, шерсть и мясо. Он же дал человеку больше, он был орудием в осуществлении замысла богов — или человека — и хотя до конца не мог понять, в чем была суть этого замысла, все же с гордостью чувствовал свою причастность к какому-то возвышенному, непонятному для четвероногого делу. Раз его отправили в изгнание, значит, нужно было, чтобы он оказался здесь, кому-то, какому-то человеку это понадобилось, и, вместо того чтобы заколоть его, съесть его мясо и одеться в его шкуру, он посадил барану на спину мальчика и заставил его взлететь в небо, как птицу, чтобы навеки расстаться с родиной — да, с родиной, ибо там, где ты увидишь свет, твоя родина, будь ты овцой или человеком. Но, видимо, он больше не был нужен людям, он сделал свое дело, и теперь его собирались заколоть как обыкновенного барана. «Как обыкновенного барана», — подумал он в ту минуту, когда мясник полоснул его длинным ножом, блестящим, как рыба чешуя, и из рассеченного горла хлынула струей черная кровь. Эта мысль навеки застыла в его мертвой голове, плававшей в луже крови, куда были погружены ее изогнутые рога, точно упертые локти; а померкшие, остекленевшие глаза с равнодушием мертвого предмета отражали все вокруг — пошатывающихся, хмельных поминальчиков, дотлевающий огонь и медный котел, в котором варились его туловище и ноги.

За смертью Фрикса последовало почти подряд несколько таких странных событий, что бесстрашный и беспечный город Вани призадумался и даже немного испугался. На поминках Аэт печально перевернул солонку, и соль рассыпалась по столу. Гости замерли: быть ссоре, да еще с Аэтом! А у Аэта отлила кровь от лица. «Напрасно я велел заколоть барана», — подумал он еще раз и насильственно улыбнулся. Потом сгреб горстью рассыпанную соль и съел ее всю, как лошадь. В тот же день в разных концах города — как потом установили, в одно и то же время — свиньи, увлеченно рывшиеся в мусоре, внезапно напустились друг на друга с такой яростью, что пришлось, разнимая, ошпарить их кипятком. А через несколько минут свиньи, как ни в чем не бывало, с мирным хрюканьем вернулись к мусорным кучам. Не успели ванцы позабыть эти необычные кабаньи сражения, как удивительный сон взбудоражил всех. Сон этот пригрезился Бедии и поначалу принадлежал ему одному, но Бедия не удержался и рассказал его в погребке о сорока ступенях у Бахи-виноторговца; таким образом, сон Бедии стал тотчас же известен всему городу, превратился во всеобщее достояние, и его рассказывали на каждом перекрестке, словно все одновременно его видели. Толкователи затруднились объяснить этот сон, но заинтересовались им, разложили перед собой всевозможные колдовские принадлежности и впились совиными взглядами в кромешный мрак неведомого. А сон был в самом деле необычайный: будто бы в город вошли два лысых человека, похожих друг на друга, как братья; у обоих одна половина лица смеялась, а другая была угрюма; каждому встречному, будь то старик или



дита, женщина или мужчина, они совали гроздь винограда, хотя ни на спине, ни в руках у них не было корзины. Куда ни глянь, всюду ели виноград и у всех одна половина лица елась, а другая хмурилась. Виноград был крупный, ягоды величиной с орех, но водянистые и неприятные на вкус, солонато-горькие, как слезы. Однако люди ели и ели этот виноград: как только кончалась одна гроздь, лысые братья подсовывали другую и разражались громовым хохотом. «Что за чертовщина, что бы это могло значить?» — недоумевали горожане.

Море воспользовалось всеобщей растерянностью и отступило еще на шаг — притом так ловко и хитро, что обмануло даже упорного, недреманного своего стража Бедию, с его намотанной на шею веревкой. Впрочем, Бедию можно было понять. Сперва смерть Фрикса, а потом непонятный сон выбили его из колеи, а когда он заметил очередную коварную проделку моря, было уже поздно поднимать тревогу. И Бедия волей-неволей увеличил длину своей веревки.

А все началось с заклятия барана. Когда мясник, подвесив тушу за ноги, снял с нее шкуру, ему чуть не оторвало руки, колени у него подкосились, он не смог удержаться на ногах и рухнул под навалившейся тяжестью. «Помогите, меня задавило!» — закричал мясник, и лицо у него налилось кровью. Шкура барана оказалась тяжелой, как золотой слиток. Двадцать человек с трудом приподняли ее край, чтобы мясник мог вытащить из-под нее ноги. «Может быть, напрасно я велел заколоть барана», — впервые подумал тогда Аэт. Все невольно попятнулись, охваченные робостью, точно распластанная на земле шкура обладала колдовской силой. Люди растерянно взирали на царя. Аэт улыбнулся — больше, чтобы успокоить народ — и сказал: «Теперь вы убедились, что это не был обыкновенный баран». Потом задумался и долго стоял в молчании, с нахмуренным лбом, вглядываясь в небо, словно искал там призрака Фрикса. Через некоторое время насильственная улыбка вновь появилась на его лице, и он продолжал: «Это дар Фрикса, и мы должны принять его. Нельзя обидеть мертвого». Шкуру осторожно внесли во дворец, и залы Аэтова дворца залил яркий свет. Царь приказал выдолбить нишу в стене за тронем и повесил в ней золотое руно. К нише приделали дверь, закрыли ее ковром и к ковроу приставили трон. «Будь спокоен, мой зять, ни один волосок не выпадет из подаренного тобой золотого руна», — сказал Аэт и воссел на своем троне.

И Вани стал снова, каким был. Все вспомнили о своих делах. По-прежнему наполнились улицы звуками, доносившимися из мастерских; по-прежнему оживилась гавань, приходили и уходили, разгружались и принимали товары корабли. Улицы и площади были полны беззаботной молодежи. «Что видели нового, о чем слыхали?» — спрашивали вернувшихся домой старшие. А те пожимали плечами и отвечали, что ничего нового не видели, ничего не слыхали, просто прошлись взад-вперед по улице. Они сами, подумав, удивлялись, что не узнали ничего нового: действительно, все уже было ими видно, слышано и говорено сотни раз.

Но на самом деле все было не совсем так, как казалось с первого взгляда. Хоть и медленно, хоть и незаметно, но все

изменялось — и люди, и город, построенный для себя людьми, чтобы укрыться в нем от внешнего мира, чтобы не бояться дикого зверя, не трястись от страха и холода во мраке сырости пещер, чтобы спокойно жить и размножаться и спокойно уступать место идущим на смену поколениям. Время шло и оставляло свой след в городе, на его стенах. Крепкая кладка старела, трескалась, осыпалась; колесницы истирали каменные мостовые, черепица выцветала под действием солнца и дождей; деревья тянулись ввысь, стволы их становились толще, сухая кора лопалась и отпадала; изнашивалась от употребления, меняла цвет и вид домашняя утварь и посуда, но человек не замечал изменений, потому что все это происходило у него на глазах и он сам участвовал в этих превращениях. Не видел он изменений и в собственной природе, так как сегодня знал больше, чем вчера, прибавлял новую мудрость к знаниям предков — а знание отнимало у него бдительность, некогда столь необходимую предкам, затанчившимся в пещерах и с бьющимся сердцем прислушивавшимся к голосам внешнего мира. Человек утратил теперь и чувство страха, вернее, научился прятать страх, забывать о нем, оттого что твердо убедился в неотвратимости смерти; убедился, что мир, существование — лишь постоянная и неотвратимая смена жизни и смерти, а более ничего: одна порождает другую, одна увлекает другую из неистощимого лона матери-природы. И самому человеку, оказавшемуся в извечном кругу сменяющихся жизни и смерти, оставалась лишь одна забота: не выпасть из круговращения. Вековечная, непрерывная текучесть, изменчивость времени и природы скрывала свое лицо под личиной однообразия, чтобы оставаться всегда незамеченной и спокойно делать свое дело. Жизнь была загадкой, и загадкой суждено ей было оставаться; вся сложность и вся простота этой загадки состояла в том, что все, происходящее в мире, делалось как будто из-за человека, посредством человека, ради человека — и однако, без его участия. Зато, куда бы он ни посмотрел, всюду на него был направлен взор божества. Столь многими и столь разными богами окружил он себя, вырубленными из дерева, вылепленными из глины, отлитыми из меди или из золота, что мог и не ломать себе голову над разгадкой вековечных тайн. Божества были отечески строгими и матерински милосердными, и знали лучше чем он, за что его карать и от чего защищать. А он походил на любящего сына, который потерял родителей раньше, чем успел отплатить им за их любовь и заботу, и сосредоточил теперь все свои помыслы на уходе за местом их вечного упокоения. И он действительно лелеял и почитал эти напряженные от вечного молчания и от мудрости лица, эти налитые вечным материнством груди, эти вздутые вечной мужественностью, силой, побеждающей стихии, мышцы плеч и голеней. Человек особо откармливал для них домашних животных и птиц, трудился в поте лица под яростным солнцем, исколотый сухой остью хлебных злаков, посвящал первый сноп их имени и выносил для них из виноградника первую гроздь. Он одинаково почитал всех богов и держался в стороне, когда — как всегда из-за него, и опять-таки без его согласия — божества уничтожали или умножали, обогащали или

обедняли, ослабляли или усиливали друг друга; его поклонение, его покорность, его служение богам были вечны, непоколебимы, неистребимы и неразборчивы, ибо в действительности все — и старые, и новые, и победоносные, и побежденные боги были одним и тем же божеством, лишь несколько видоизмененным, всякий раз более могущественным, прекрасным, мудрым и великим.

В ту пору Вани посетило еще одно необычное сновидение — и если оно не стало, подобно сну Бедии, всеобщим достоянием, то лишь потому, что та, кому оно принадлежало, не осмелилась его рассказать. А пригрезился этот сон младшей дочери Аэта. События, случившиеся во дворце и вообще в городе, смутили и заставили задуматься Медею. Правда, Медея жила в своем обособленном мире, а мир, в котором происходили все эти события, был ей не очень-то понятен, но чем дальше, тем более примечательным, оживленным и завлекательным казался он ей. Как из внезапно приоткрывшейся двери дома, где царит веселье, вырывался порой оттуда беззаботный смех Карисы. Медея стояла по эту сторону двери, и странно дразнящим был для нее смех сестры, от которого она ощущала в рту как бы вкус крови и обоняла необычный, незнакомый аромат каких-то как бы вовсе не существующих цветов. Никогда не рождалось у Медеи желания войти или хоть заглянуть за эту дверь: она стеснялась, ей казалось, что ее встретят насмешками, скажут: «А этой что здесь понадобилось?». Медее было неловко и оттого, что она не понимала смысла речей собственной сестры. Та раскрывала перед нею свое сердце — а Медея не умела в нем читать. Но зато благодаря Карисе Медея смогла постигнуть собственное сердце. С тех пор Медея потеряла покой: не спросясь своего сердца, она ни шагу не смела ступить, слова не могла вымолвить; если оно не одобряло чего-нибудь, то задавало ей такого жару, какого Медея не помнила и от тетушки Камар: всю ночь до утра заставляло ее горько плакать, зарывшись лицом в подушку. «Ну-ка, спроси свою сестричку, ей-то хочется плакать или нет?» — не давало оно покоя Медее, и та не знала, как быть, куда спрятаться от этого неумолимого голоса. «А как же иначе, ведь она потеряла мужа!» — твердила подушке Медея, но сердце не соглашалось с ней и подсказывало что-то иное. Пользуясь своей недосыгаемостью, тем, что было скрыто в глубине ее существа, оно позволяло себе что угодно.


По убеждению Медеи, Фрикс был божеством Карисы, кумиром, который дарил своей верной красавице-рабе прекрасных сыпловей. Но Медея догадывалась, в особенности в последнее время, в особенности после того памятного разговора с Карисой, что произошло нечто непонятное и разрушило согласие, которое непременно должно существовать между божеством и его рабой. Кумиры своенравны, Медее это было хорошо известно, но раба на то и раба, чтобы никакая прихоть божества не вывела ее из терпения, не заставила забыть о своих обязанностях. Сколько раз случалось божеству Медеи нахмуриться или даже спрятаться в облаках — но Медея не прерывала молитвы и не переставала ему служить. Правда, божество Карисы и божество Медеи — это было не одно и то же, но они

все же походили друг на друга, хотя бы тем, что и одному и другому нужна была раба. Хотя Фрикс умер и смерть его опечалила Медею не меньше, чем других, — для нее же была смерть божества, источник не отчаяния, а надежды. Разве божества не умирали? Но на то они и были божествами, что могли воскреснуть из мертвых, родиться во второй раз и вернуться в мир еще более могущественными и прекрасными, чем прежде. А сердце прыгало, толкалось в ребра — словно дитя в материнской утробе, напоминающее о себе: «Не пора ли мне на белый свет, не хватит ли сидеть взаперти?». И Медея казалось, что все в ней открыто для любого взора, что стоит ей отнять руки от груди, и все увидят ее сердце, большое и алое, как цветок, вплетенный в волосы Карисы. А сердце вело себя так, словно ему было тесно и неудобно в хрупком и нежном девичьем теле; или оно сумеет вырваться из своего плена и, как выброшенная на берег рыба, испустит дух, смешно прыгая и извиваясь между камней, или подхватит и унесет свою хозяйку в шумный водоворот настоящей жизни, через пыль и грязь, навстречу ветру, как закусившая удила, покрытая пеной, облепленная репьем скаковая лошадь — прильнувшего к ее спине всадника.

Чего только не выдумывало сердце, чтобы испугать, сбить с толку Медею, заставить ее почувствовать, насколько оно сильнее, дальновиднее, мудрее, чем его хозяйка. «Смотри, брошу тебя собакам на съедение!» — грозила ему в нетерпении Медея, а оно, в надежном своем темном укрытии, повторяло все одно и то же и приводило в отчаяние болезненными, все переворачивающими превращениями и без того потерявшую покой девушку. «Ну-ка, спроси свою сестричку, умер ее муж или убит ею, умер или она его извела?» — гудело, как разогретый над огнем бубен, сердце.

Разумеется, сердце хватало через край. Фрикс умер не от яда и не от кинжала, Фрикса просто настигла смерть, избрав его своей жертвой. Но Медея все же прокралась в ту залу, где по ночам покоился усопший. «Убедилось? Успокоилось?» — взывала Медея к своему сердцу, но оно все не унималось, все твердило, что убить можно и без отравы или клинка. Медея убеждалась лишь в одном: как опасен, как беспощаден мир ее старшей сестры, как трудно в нем жить — в этом мире, куда с каждым днем все упорнее, все настойчивее тянет Медею сердце. Мир Карисы был и полон опасностей, и завлекателен — каждую минуту в нем что-то происходило, каждую минуту что-то воздвигалось или разрушалось, с грохотом низвергалось с высоты, полное вызывающей гордости от сознания неотвратимой гибели и от того, что хоть на мгновение могло окутать все вокруг собственной пылью.

Медея жила пока все еще по-старому. Каждое утро входила она на колесницу, запряженную мулами, собирала в правой руке поводья, в левой зажимала плеть и в сопровождении двенадцати рабынь отправлялась в сад Дариачанги. Но и там, в храме своего могущественного божества, она не могла укрыться от тех страстных, восторженных, смелых голосов, которые теперь еще свободнее, чем прежде, вторгались к ней, грубо трясли и расталкивали ее, словно хотели пробудить от



сна и утащить в свое царство. Сердце было виновато во всем, сердце не давало ей покоя — то хныча, то упрашивая, то брюзжа тянуло оно все в одну и ту же сторону, как ребенок, что, соскучившись по дому, тянет за подол мать, заболтавшись на улице с соседкой. «Ты играешь, а они живут!» — вздыхало сердце, и сколько бы Медея ни затыкала себе уши, сколько бы ни закрывала глаза, все вокруг представлялось ей преображенным, словно от мерного стука этого обитающего в ней невидимого существа постепенно растрескивалась и распадалась глиняная маска, которой мир закрывал от нее свое истинное лицо. У Медеи было такое чувство, как будто раньше этот сад и этот храм были больше, просторней. То ли она не заметила, как они уменьшились, то ли сама выросла, раздалась настолько, что ей уже казалось тесным пространство, в котором она прежде могла затеряться, как желтый, пушистый цыпленок из песни ее рабынь. «Рассыпанное просо цыпленок подберет», — невольно пропела себе под нос Медея и печально улыбнулась; как и у того цыпленка, у нее появилось нелегкое дело: надо было приспособиться к окружающим и ждать, пока тот, другой мир, взбалмученный смертью Фрикса, понемногу успокоится, утомонится и оставит в покое Медею, потому что у Медеи был свой мир, оставшийся ей в наследство, построенный из кирпичей знания, скрепленных известковым раствором терпения тетушки Камар. Но знания и терпения тетушки Камар, видимо, хватило лишь на три стены — ибо даже тут, в саду Дариачанги, уже вольно резвились примчавшиеся из мира Карисы ветры. Впрочем, они залетели сюда раньше, чем это заметила, чем это осознала Медея; семена, занесенные ими, успели уже прорасти и, коварно притаившись на солнечном пригреве, щедро источали пьянящие пух и пыльцу, а раззадоренные ими двенадцать девушек, скинув одежду, то носились, как стригунки, по саду, то переходили от беспричинного веселья к беспричинной грусти, и все их разговоры, поступки, песни были овеяны духом игры, как всякие ребяческие тайны и секреты. И так должно было длиться до тех пор, пока время не загонит этих стригунков в стойло — в том мире, где игра сменяется жизнью, а мечту вытесняет действительность. Там, в стойле, станут желанными для них этот благоуханный сад и выветренный солнцем берег, но они уже не смогут вернуться сюда талими, как сейчас, да и берег с садом не останутся прежними, постепенно утратят яркие краски, совсем сожмутся, и к тому же будут отдаляться с каждым днем, по мере того, как будут укорачивать нынешним девушкам-стригункам поводья мушкетерской вуркотни и хныканья ребятишек.

Из этого маленького, затененного яблоневыми листьями мира можно было только выйти, а в тот, большой мир — только войти. И всем им неизбежно предстояло выйти из одного, чтобы войти в другой. Сердце говорило правду, но эта правда пока еще лишь пугала и раздражала Медею, хотя она уже понимала, что и ей не хватит знания и терпения, чтобы возвести ту, четвертую стену, которую тетушка Камар вольно или невольно оставила недостроенной. Скорее, она могла разрушить три остальные стены, не задумываясь и без со-

жалений, как дитя, которое позвали обедать, — и грушевую постройку из палочек и сучков.

Рассыпанно-ое про-осо
Цыпле-онок по-одберет... —



Беззвучно напевала Медея, не понимая, что с нею творится; какое-то непонятное ожидание изводило ее, и она вдвойне мучилась оттого, что не могла постичь, чего она ожидает. Виденный ею сон принес ей облегчение, она подумала, что, может быть, именно этого сна и ждала; но дерзостное видение и вызванное им чувство блаженства испугали ее и сбили с толку. Казалось, само сновидение сбилось с пути, перепутало сестер и пригрезилось вместо Карисы — Медее, хотя и принадлежало скорее Карисе, как думала Медея. Герой этого сна походил на божество, воскресшее из мертвых, вернувшееся из преисподней и с божественным спокойствием, уверенно шагающее по миру, чтобы возвратить себе то, что было им на время утрачено.

После этого сна Медея целую ночь думала о Фриксе. В самом деле, герой ее сновидения чем-то походил на Фрикса, хотя и превосходил того красотой, смелостью и силой. Впрочем, это было не удивительно — смерть ведь возбуждает силы жизни в божестве подобно тому, как ветер раздувает огонь. Но если то был Фрикс, преобразенный смертью, почему же он явился Медее, а не Карисе? Ведь это было бы гораздо естественней. Или, может быть, сама Медея преобразилась и приняла облик Карисы? Как часто мечтала она стать ею, как часто представляла себя живым подобием Карисы и сколько раз замирала в испуге, когда Карисе попадала соринка в глаз и та поднимала крик: «Боги милосердные, ослепла, ничего не вижу!..». Медея покрывалась холодным потом, представив себе Карису слепой, с погасшими глазами и, ослабев от ужаса, не могла дожидаться, когда Кариса отнимет руку от глаз. А потом, вся просияв от счастья, глядела в восхищении на сестру, а та, с чуть покрасневшим веком, быстро-быстро хлопала длинными, влажными ресницами — казалось, черная бабочка силится удержаться в чашечке цветка.

Или, быть может, это Кариса присвоила юность и девственную нетронутость Медеи, чтобы встретить воскресшего юношу — мужа такой же девственно-юной и невинной? От таких мыслей у Медеи трещала голова; растерянная, пристыженная, она боялась выглянуть из дому, а вернувшись домой, с трудом заставляла себя войти, словно страшась выговора или насмешки. Платье стесняло ее так, словно высохло на ней после того, как она купалась одетой. Она чувствовала себя непринужденно лишь с племянниками и с нетерпением ждала, когда же придут и рассядутся вокруг нее эти четверо сильных, смелых юноцов. Их угловатые телодвижения, их громкие беззастенчивые голоса проливали бальзам на взбаламученную душу Медеи. Эти подростки обладали в избытке силой, которой не было у Медеи и которая была необходима сейчас как поручни ей, стоящей на последней ступеньке лестницы отрочества с кружащейся от высоты и от новизны головой. Мальчики со своей стороны после смерти отца зача-

стили к ней, своей тетке-сестре. В шутку они называли ее «тетей», и Медея смеялась от души, так странно казалось ей быть теткой своих ровесников. Они проводили ночи напролет в нескончаемых бестолковых беседах, радуясь и удивляясь тому, что их не укладывают насильно в постель няньки и мамки. Они чувствовали, что выросли — сознание этого придавало им смелости, и они давали себе больше воли, чем было им нужно, потому что всего хотели много, как можно больше, и притом немедленно, сейчас.

Иногда Кариса стучалась к ним в дверь: «О чем это вы так долго разговариваете?» — но не входила, словно тоже понимала, что дети выросли и что для нее там уже нет места. Об этом свидетельствовал и ее усталый голос, с оттенком просьбы. Прежде Кариса могла прикрикнуть на них, погнать всех четверых в толчки перед собой — и ни один не посмел бы сказать ей слово поперек. А теперь они только смеялись, заслышав голос матери, и отвечали через дверь: «!У что ты, мама, какое время спать, мы же не дети!». Они не хотели быть детьми, потому что еще были ими.

«Если не поесть тех тыквенных семечек, то и жить не стоит», — говорил Аргус, и все четверо причмокивали так, словно корзинка с жареными и присоленными тыквенными семечками стояла перед ними. «А наши тыквы разве без семечек?» — удивлялась Медея и восторженно глядела на вихрастые головы своих братьев, в которых гнездились столь непонятные ей мысли. А у братьев от ее восхищенного взгляда еще сильнее разгоралось желание красоваться и бахвалиться перед этой единственной в своем роде девушкой, приходившейся им и теткой, и сестрой. «Неизвестно, кто там пускает по ветру достояние нашего отца, вот наярнем туда...» — грозились сыновья Фрикса; говорилось это отчасти назло их деду Аэту, на которого все четверо были в глубине души обижены за то, что он объявил во всеуслышание в роще мертвых: «Довольно, пусть все остаются на своих местах». Тело Фрикса еще раскачивалось на верхушке дерева, а его сыновья, утирая кулаками жгучие слезы, уже думали о побеге. Впрочем, нет — о побеге они стали думать лишь после слов Аэта: «Довольно, пусть все остаются на своих местах». А Афрасион подумал: «Все равно убегут», — и тут же испугался, как бы не сорвалось у него с языка то, о чем знал пока только он один. Правда, сами сыновья Фрикса в эту минуту думали о побеге, но они еще ничего не решили, а только грозились. Со дня смерти Фрикса Афрасион не поднимал головы, словно это он был причиной кончины зятя, словно из-за него сестра его осталась вдовой, а племянники — сиротами. И такое чувство родилось в душе Афрасиона как бы и не без основания — ведь это он первым почувствовал близкую смерть Фрикса; для него Фрикс был мертв уже тогда, когда оправился и встал с постели, когда, голый по пояс, стоял во рву и копал землю. Смерть поселилась сначала в сознании Афрасиона и уже оттуда кинулась на Фрикса. Правда, Афрасион ничего не мог поделать, он был не в силах преградить дорогу смерти, но то, что он знал наперед о ее приближении, казалось ему достаточной виной; смерть сде-

лала его своим поверенным, почти единомышленником и хотя Афрасион не сохранил ее тайны, но и это получилось хохорошо: племянники возненавидели его. «Ты хотел смерти своего отца, потому и думал о ней», — сказали ему сыновья Фрикса.

А Афрасион уходил в лес и там, зарывшись лицом в траву, горько плакал о судьбе грустно улыбающегося Фрикса, беззаботно хохочущей Карисы и четырех сорванцов с содранной на коленях кожей и слипшимися от пота вихрами, прыгавших один за другим с крепостной стены. А потом ходил, понуриив голову и пряча ото всех заплаканное и запачканное землей лицо. Фрикс уходил, ускользал, как вода из надтреснутого сосуда. Афрасиона приводила в ужас беззаботность его сыновей, он не вытерпел и сказал им: «Ваш отец умрет». У всех четверых лицо стало землистого цвета, они с трудом оторвали полный ненависти взгляд от дяди, по-детски всхлипывавшего и неловко вытиравшего слезы; потом молча повернулись и пошли прочь. А у Афрасиона слезы ручьями текли по лицу, потому что он любил Фрикса и его мальчиков.

Когда Афрасион подумал в роце мертвых: «Все равно убегут», Аргус посмотрел на него, насупясь, словно угадал мысли своего дяди и предупредил, чтобы тот держал язык за зубами. Но Афрасион и не собирался никому ничего открывать, ведь он не раз убеждался, что предупреждение не помогает, все равно случится то, что неизбежно, что предрешено богиней судьбы. И поэтому Афрасион жил как в сновидении — он все предвидел, но ничего не мог поделать, воли его была бессильна. Всеведение подавляло его, оно было ему как бы постоянным укором. Никто не стремился заранее знать, что ждет его впереди — будь то печаль или радость. Одно только утешало Афрасиона — он знал и то, что ему самому не суждено долго жить.

В тот день, когда Медея видела сон, Афрасион гулял поутру один в подметенном и политом дворе и так странно улыбнулся сестре, проехавшей мимо него на запряженной мулами колеснице, столько тепла, любви и жалости было в его улыбке, что Медея невольно вздрогнула. Она растерянно улыбнулась в ответ и почему-то хлестнула мулов плетью. Обиженные мулы, мотая головами, пронесли колесницу через ворота. Медея была уже готова к своему сновидению, которое увенчало прекрасным, но тяжким венцом ее тайное смятение, ее растерянность и ее стремление к непознанному.

Тогда девушки долго плескались в море. Потом Медея улеглась в стороне на горячем песке и стала смотреть на заходящее солнце. Темные, отливающие багрянцем облака громоздились на краю неба. От морской воды и солнца Медею охватила истома; ей не хотелось даже шевелиться, хотя она знала, что время возвращаться домой. Море было подернуто рябью, словно слегка встрепано легким ветерком, — крохотные волны, как выбежавшие из загона ягнята, сталкивались и перегоняли друг друга; песок понемногу остывал, мурашки пробегали по телу Медеи, но она не поднималась — словно ей было приказано лежать так и ждать. Что предстояло ей, она не

знала, но смутно чувствовала приближение чего-то неведомого, что и пугало, и привлекало ее.

И вот — сбилось, ожидание Медеи не обмануло ее. Из моря вышел человек. Голоса подружек чуть слышно доносились издали. Медея увидела сначала лишь темный силуэт, так как вышедший из моря закрыл собою солнце. Вдруг стало темно. Медею пробрал озноб, она удивленно всматривалась в приближавшуюся к ней фигуру; она не пыталась встать и не потянулась за платьем — как будто так и должна была оставаться обнаженной перед незнакомцем, смело направлявшимся к ней. Медея лежала на спине, раскинув руки. А незнакомец подходил все ближе, песок шуршал под его ногами, бронзовое тело блестело, словно натертое маслом, волосы, подхваченные золотистой тесьмой, переливались, как волна. В руке у незнакомца был трезубец, он шел прямо к Медее, уверенно, словно знал, что его ждут, и знал, кто его ждет. Медея закрыла глаза, ее охватила дрожь — как будто по всему ее обнаженному телу провели шершавым листом смоковницы. Когда она вновь открыла глаза, незнакомец стоял на коленях у ее ног, трезубец он всадил рукояткой в песок, и три наточенных острия сверкали подобно созвездию. Незнакомец осторожно, как цыпленка, поднял обеими руками ногу Медеи и поцеловал ее розовую ступню. Теплая волна прокатилась по телу Медеи — словно море внезапно набежало на берег. Она вся покорилась, отдалась, ослабев, на волю этой волны, и блаженная улыбка тронула ее уста. Незнакомец слегка укусил ее за большой палец, медленно провел горячей ладонью по всей ноге и положил руку на курчавый, как шкура ягненок, холм. Медее казалось, что не будет конца этому странному блаженству, которое влекло куда-то, втягивало, размягчало и готовилось поглотить ее. Бессознательно, произвольно она хваталась за камни, сопротивляясь этому могучему притяжению. Но камни вырывались из своих гнезд и летели вместе с нею. Сквозь прикрытые веки Медея увидела перед собой три огромные звезды: красную, зеленую и синюю. Звезды опьяняюще кружились над ней, вычерчивая цветные петли в пространстве; море надвигалось, громко, горячечно вздыхая, — и казалось, все сущее, вся вселенная хочет вторгнуться внутрь Медеи. И Медея почувствовала, как она раскрывается навстречу, как врывается в ее притихшее, замершее существо расплавленный звездный поток, ягучий и беспредельный, дерзкий и безудержный.

Медея проснулась. Двенадцать девушек стояли над ней: лица у них были такие, словно они рассматривали незнакомое им животное, случайно выброшенное морем на берег. Когда Медея открыла глаза, они в один голос воскликнули: «Спала!» — и звонко расхохотались, словно внезапно со щелчком взлетела стая птиц.

Солнце успело уже наполовину опуститься в море, оно было багряное и пряное, как дикий мед. Такая же алая широкая полоса протянулась через все море от солнца до берега. Солнце блестело и на голых плечах девушек. Медея все еще не пришла в себя, и не понимала, почему так странно глядят на нее девушки. Потом она все вспомнила, вскочила, отвернулась от подруг и быстро накинула платье, так как снова

явственно ощутила на всем теле жгучие следы поцелуев. Три следа, словно три звезды, горели на ее груди: алый, зеленый и синий.

Медея заплела волосы, обмотала косы вокруг и скрепила их костяной палочкой. Девушки следом за нею схватились за платья, так же быстро, на скорую руку закрутили вокруг голов мокрые тяжелые волосы, и через минуту все были готовы пуститься в путь. Вскоре они шагали гуськом по тропинке, ведущей к храму. За спиною у них вздыхало море. Впереди шла Медея: по-новому женственная, испуганная и счастливая. На озябшем, бледном лице ее играла улыбка — как бы приглашение из чужой страны, которую она знала до сих пор лишь по рассказам Карисы и которая всегда страшила и возбуждала ее, как актера — сцена, до той минуты, когда он ступит на нее нетвердой от волнения ногой. Но актер знает, что страх и волнение — пустяки в сравнении с той волшебной силой, которая овладеет им на подмостках и придаст ему сил и уменья, чтобы сделать то, на что иначе он не осмелился бы никогда.

Медея испытывала сейчас похожее чувство; как актер к сцене, шла она с дрожащими коленями и улыбающимся лицом к жизни, где ее уже ждали и где для нее уже освободили место. Медея была уверена, что так хочет Кариса, что это Кариса старается перетянуть ее на свою сторону, заманить в свой мир, чтобы и Медея извела все испытанное и перенесенное ею. Медея знала, что у ее старшей сестры была не счастливая судьба — но и эта злосчастность казалась ей соблазнительной, притягательной, как и все, что было связано с Карисой. «Пусть будет, как ты хочешь, — думала Медея, — ради тебя я и на это отважусь». Медея стала вдруг уступчивой и щедрой, как ребенок, который получил самую лучшую игрушку и дорожит теперь ею одной, ее одну крепко прижимает к груди. «Самая лучшая игрушка» был виденный Медеей сон. Этот сон Медея ни за что не показала бы никому и никому бы его не отдала, этот сон принадлежал ей и только ей, и она была счастлива, что обладает им. Теперь самое главное было преодолеть соблазн, удержаться и не рассказать о своем сне, иначе с ней могло случиться то, что случилось с одним глупеньким мальчишкой — случилось, и поделом, потому что он не вытерпел и рассказал мачехе, что ему приснилось. «Матушка, матушка, — передразнила про себя мальчишка Медея. — Я сидел между красным солнышком и ясным месяцем, а звездочка яркая мне умыться дала». Ну, разве могла не позавидовать мачеха, разве можно такое рассказывать? Правда, мальчишка не уступил своего сна ни мачехе, ни самому царю, но зато в конце концов угодил в яму.

После того, как Аэт съел соль, у него стало тяжело на душе. Он осушил сто кувшинов воды, запил их ста кувшинами вина, но ничего не помогло, шершавая соляная глыба в нем не растаяла. Опечаленный Аэт впал в раздумье. Снова опустился он в бездонный колодец. Там его встретили гиканьем и смехом. «Чему радуетесь?» — удивился Аэт. «Тому, что тебя печалит», — отозвались из колодца.

— Выходи навверх, кто не трус! — крикнул Аэт, по-
бледнев от ярости.

Аэт так рассердился, что едва не выпустил бечева там, на дне колодца, росло ликование. И было отчего ликовать. Раз Аэт гневался, значит, у него было беспокойно на душе. А это был первый и верный признак того, что его твердость и его упорство дали трещину, и вода уже подтачивала этот камень, вода, которую привел в его столицу грек, та самая вода, что плескала в желобе толстой струей, извивалась словно сказочный змей и окутывала весь город сверкающим туманом из брызг.

Аэт выбрался из колодца и отдал приказ, чтобы выкачали его боевую колесницу и запрягли в нее самых горячих коней. Весь дворец был охвачен ужасом: что ему взбрело в голову? Но кто посмел бы перечить царю? Велено — исполнено: колесница ждала уже во дворе. Кони, с пеной у рта, кусали удила, перебирали ногами в нетерпении, готовые сорваться с места. В колеснице стоял Афрасион; намотав поводья на руку и отклонившись назад, он сдерживал коней. Аэт отобрал у сына поводья, сказав, что хочет проехаться один, и пустил коней вскачь.

Скакуны во мгновение ока промчались через весь город, поднимая на улицах тучи пыли, так что прохожие заходились кашлем. Колесница подкатила к полноводной реке и понеслась вдоль берега вверх по течению. Долго воевали с возникшей обезумевшие скакуны, долго вертели напряженными шеями в упряжке, но Аэт, разъяренный не меньше их, не дал им воды. Было уже за полночь, когда покрытая пылью и грязью колесница вкатилась на расшатанных от гонки колесах в город вместе со своим ездоком. Покрытые пеной, загнанные кони смозлили копытами по мостовой, бока у них раздулись, селезенка екала при каждом шаге, и если бы не страх перед возникшей, они повалились бы тут же посреди улицы. Аэт бросил поводья конюшему со словами: «Если любишь конину, дарю тебе этих одров, ни на что другое они больше не годны». «Выхожу, откормлю и продам», — подумал конюх. У Аэта за время прогулки отлегло от сердца. Он вошел во дворец с поднятой головой, вырвал у слуги лучину и так, озаренный ее слабым светом, встал над ложем спящей жены.

Но червь сомнения делал свое дело — он подтачивал стену совсем с другой стороны, словно дело тут было вовсе не в Аэте — вот только время от времени бечева раздумья соблазнительно раскачивалась перед носом у царя, и тот отводил глаза, хотя и знал в глубине души, что не устоит перед искушением, вновь ухватится за вызывающе подрагивающую веревку и нырнет, ухватясь за нее, в тот проклятый колодец. Бечева раздумья притягивала его и в то же время пугала, как голодного льва — потроха, разложенные перед капканом. Но Аэт терпел, должен был терпеть, пока хватало сил, потому что ничего не могло быть хуже спуска в колодец. «Что носы повесили?» — рывкал он порой на домашних, но притворность его веселья была настолько очевидна, что окружающим не с чего было петь и плясать. Ну а от вина никто не отказывался. Сыновья Фрикса пили, как быки на водопое,

не отставали от деда и хвастались, что вино их не пьянит, а только раздувает. Впрочем, они говорили так, уже захмелев, — это вино похвалялось в них.

Однажды Китисор крикнул: «Вон прошел мой отец!» Все вздрогнули, все посмотрели туда, куда указывал рукой Китисор. Аэт помрачнел, он горевал по рано умершему зятю, но не хотел проявлять чувствительности. Он обвел взглядом своих домашних, всматриваясь в каждого так, словно видел его впервые. Когда его острый, как клинок, взор остановился на Медее, изумление охватило Аэта: уже не прежняя веснушчатая девочка, а расцветшая девушка сидела перед ним. Этой девушки он не знал, даже никогда еще не видел, но отцовская нежность сжала ему сердце до боли. Его неодолимо потянуло подойти к младшей дочери и погладить ее по медвяно-золотистым кудрям. Чтобы в самом деле не вскочить с места, он с силой грохнул кулаком по столу и объявил здравицу в честь своих врагов.

— Это они придают мне силы! — вскричал он.

Фронтис сидел, прислонившись багровой щекой к пузатому, влажному кувшину; у него двоилось в глазах. «Больше не пей!» — говорила ему Медея. Вино одолело и Аэта, но то, что ему хотелось забыть, не забывалось. Бечева раздумья качалась у него перед самым носом, он даже чувствовал, как щекочут его кожу жесткие ее щетинки.

— Не любил ты моего отца, не любил! — упрямо твердил Аргус, но Аэт не слушал его; ему все вдруг наскучило, но и уйти не хотелось, что-то удерживало на месте, и он сидел с руками, зажатыми между колен, как львиные лапы в капкане, чтобы невольно не схватиться за качающуюся перед глазами веревку, потому что сейчас спуститься в колодец у него не было сил. «Как она выросла!» — время от времени мелькало у него в голове, и он бросал рассеянный взгляд на Медею, которая улыбалась, опустив взор, всему этому хмельному застольному оживлению. Это медвяно-золотистое существо, источавшее трогательное благоухание чистоты и невинности, почему-то рождало в отцовском сердце смешанное чувство жалости и страха. Она не походила ни на Карису, ни на Афрасиона; или, вернее, походила на обоих и, тем не менее, чем-то резко отличалась от них. Отличием этим были руки, мирно, спокойно, кротко сложенные на коленях. Не сразу заметил их Аэт, а заметив, тотчас же отвел глаза, странно смущенный их совершенством и исходящим от них сверхъестественным покоем.

Прошло немного времени после этого, и сыновья Фрикса исчезли. Сперва прибежал к царю старший повар и, пряча лицо, заголосил: «Накажи меня! Накажи!».

— Но должен же я знать, за что наказываю? — отозвался Аэт, хотя сердце сразу предупредило его: не спрашивай, ничего хорошего не услышишь.

Аэт махнул рукой повару, отсылая его, и тот бесшумно убрался.

«Хоть бы все этим обошлось», — подумал Аэт

Но едва повар скрылся за дверью, как вошел начальник гаванной стражи, склонился перед царем и по-военному ко-

ротко и четко доложил, что на пристани недостает одной про-
гулочной ладьи. Аэт молчал. И начальник гавани добазил:
«Правда, ладья была старая, давно не смоленная, но я решил
все же доложить».

— Быть может, ее унесли волны? — попытался уйти от
правды Аэт.

Начальник гаванной стражи оскорбился. Не хватало еще,
чтобы он, насквозь просоленный морем и обветренный всеми
ветрами, проглядел, как ладью сорвали с причала волны!

— Вот уже две недели, как море похоже на остывший ки-
сель, еще немного — и покроется плесенью. Да к тому же,
благодарение богам, я пока еще могу отличить разорванный
канат от разрезанного, — заявил начальник гаванной стражи и,
неизвестно почему, так же как повар, отвернул лицо.

— Тем хуже для тебя, — буркнул Аэт и знаком ото-
слал его, подумав: «Провались ты вместе со своей ладьей».

Когда конюший узнал, что обокрали кладовую и при-
стань, он тотчас побежал на конюшню и пересчитал лошадей.
Но все лошади оказались на месте; засунув морды в торбы,
они с хрустом жевали овес. Лишь на мгновение подняли они
головы и удивленно поглядели на конюшего. Обрадованный
побежал он к царю и доложил, что на конюшне все в по-
рядке, все лошади целы и даже ни единого зернышка овса
не пропало. Но тут наконец Аэт взорвался, выкатил глаза,
размстал кудри и бороду, расколотил о стену то, что попа-
лось под руку, а дурака-конюшего велел распялить, как
шкуру для сушки, на четырех кольях посреди двора и испо-
совать всего, с головы до ног, толстыми, как змеи, и ползменно-
му свистящими плетями. «Довольно с меня, пощади!» — вопил
конюший.

Тем временем обнаружилось исчезновение сыновей Фрик-
са; но теперь уже Аэт ничуть не был удивлен, он этого ждал,
он как-то даже успокоился, когда ожидание его оправ-
далось. И только сказал обезумевшим от тревоги жене и до-
черям: «Они не потерялись, а убежали».

В городе побег сыновей Фрикса вызвал необычайный пе-
реполох и всевозможные толки. Люди собирались у Фриксова
источника, и шли нескончаемые споры и обсуждения. Все осу-
ждали внуков Аэта, а заодно, разумеется, не забывали и
Фрикса. Есть правило о мертвых говорить только хорошее или
не говорить ничего. Но живые особенно любят судачить о
мертвых и притом отнюдь не остерегаются говорить дурное.
Так было и сейчас. История необычайного появления Фрикса и
не менее странная повесть о его прежней жизни и приключе-
ниях, некогда беспрекословно принятые всеми на веру, сей-
час выглядели совсем по-иному, представлялись в сомнитель-
ном, двойственном, туманном свете — теперь, спустя столько
времени, людям трудно было поверить в то, что они видели ко-
гда-то своими глазами. «Как все было, расскажи!» — вытал-
кивали они вперед Бедию с его веревочным мотком на шее, и
тот в тысячный раз принимался рассказывать одну и ту же
историю: «Вышли мы в море, да будет с нами его милость, и
вдруг вижу, качается на волнах непонятно что — не рыба, не
лодка, похоже скорее на тряпье, выброшенное с какого-то суд-

на. Я так и подумал, а потом усомнился, тряпки-то долго на воде не могли бы держаться...».

Всякий раз, как в Вани случалось что-нибудь необычное, море, воспользовавшись случаем, отступало от города еще на шаг. Бедия хорошо знал это и в те дни еще раз замерил расстояние от лодочной стоянки до берега. Оказалось, что море отступило опять, и Бедия, крепко призадумавшись, снова удлинил свою веревку; однако тут уж он не стал ничего рассказывать, так как считал, что люди и без того взбудоражены, и, свернув веревку, по-прежнему накинул ее себе на шею, словно смирительную рубашку; и в самом деле, едва ощутив прикосновение грубой, колючей веревки к коже, он тотчас же успокоился.

Побег внуков напомнил Аэту о бечеве раздумий. На этот раз, не в силах сопротивляться искушению, он спустился в бездонный колодец. Но оттуда не доносилось ни звука. Сначала Аэт обрадовался: подумал, что там все вымерли. Но потом, когда глаза привыкли к темноте, сердце у него ёкнуло: жители колодца, ухмыляясь, глядели снизу на Аэта, висевшего на бечеве раздумий. Видимо, заметив его смущение, они принялись толкать друг друга в бок и многозначительно переглядываться. Долго висел так Аэт. Жители колодца, видимо, спелись, решили не заговаривать с ним, но не мог же Аэт убраться, ни с кем ни словом не перемолвившись?

— Что скажете? — крикнул Аэт.

— Что скажешь? — отозвался колодец.

— Послушайте, вечная память вашим родителям, — начал Аэт, и голос у него задрожал, чему он очень удивился. Аэт кашлянул; колодец расхохотался. — Так вот, вечная память вашим родителям, — продолжал Аэт. — Я ведь свой престол на тот свет с собой не возьму... Да только плох престол, если на него взберется ни на что не годный, не нужный стране и людям человек! Тьфу, тьфу и еще раз тьфу на такой престол и на того, кто им владеет! Мне престол нужен для страны, для ее блага. Ну-ка, посмотрите — разве таким вы мне царство оставили? — Аэт освободил одну руку и вытер пену, выступившую у него на губах от волнения. — Надо все-таки отдавать должное человеку! Нынче из страха передо мной ворон в нашем небе не пролетит, муравей не проползет по нашей земле. Все наше царство почитают, люди им гордятся, ходят с такими радостными лицами, что светло на душе становится! — Аэт помолчал немного, подождал ответа, но колодец не издал ни звука, и он, рассмеявшись, продолжал: — От счастливой жизни народ добрее стал — все друг дружке наперебой угождают. Нельзя же обо всем забыть, все хорошее выбросить из памяти так вот запросто, как скатерть вытряхивают! Что из того, что между нами ссора вышла? Мир и ссора — родные брат с сестрой, одной матери дети, друг без друга оба хромые, а вместе оба красавцы. Разве не так? — снова спросил Аэт, но его вопрос затерялся, как брошенный камень, в глубине. Аэт не знал, что еще сказать, с какой стороны подойти к жителям колодца — это глухое молчание и равнодушие делало их еще более сильными и опасными.

— Пропадет страна, погибнет! Слышите, люди-и? — закричал Аэт в колодец; он почувствовал, что слабеющие его вот-вот выпустят бечеву раздумья.

Но тут-то заворочалось, заголосило, зашумело, затрещало сырое и темное колодезное дно. «Пусть погибнет, пусть пропадет, зато мы зло выместим, счеы с тобой сведем!» — вопили наперебой жители колодца.

Аэт плюнул в колодец и выбрался наверх. В ту же самую минуту вошла в царский покой Кариса. Она была уже в трауре, пышная прическа высилась, как стог, у нее на голове. В руках она держала перезрелую дыню, из которой капал сок.

— Но ведь я дыню не ем! — сказал Аэт и все же взял плод из рук Карисы, не захотел обидеть отказом старшую дочь.

Побег сыновей потряс Карису: все произошло так неожиданно — хотя, если подумать, ей следовало этого ожидать; ведь мальчики были отпрысками Фрикса, и Фрикс, конечно, уж постарался отравить их своим ядом, до того как сам сумел окончательно ускользнуть из когтей жены. Но Кариса думала иначе: пока эти четверо мальчиков были около нее, и Фрикс не совсем еще ускользнул, он как бы переселился в своих сыновей, распределился между всеми четверьмя и оставил во взгляде или в жестах каждого из них что-то такое, от чего вздрагивало и замирало сердце Карисы. А теперь убежали и они, убежали от Карисы, словно в том укромном углу, в том собственном ее дворике, который она отгородила себе своей верой, гордостью и любовью, не было и вправду места ни для кого, кроме нее самой, — ни для мужа, ни для сыновей. А Кариса так долго, так прилежно, с таким увлечением и восторгом отгораживала этот укромный дворик от всего мира, что, отломи кто-нибудь хоть прутик от ее забора, она, кажется, выцарапала бы такому наглецу глаза. А прутики из забора выламывали ее же муж и сыновья — и не то что выламывали прутики, а подкапывали забор, словно стадо свиней, чтобы как-нибудь вырваться наружу, словно там, за забором, их ждала лучшая, более вкусная, сытная, обильная потрава. И поэтому душа Карисы горела в огне — бегство сыновей не просто огорчило ее, что было естественно, а еще оскорбило и разгневало, как торговца — глупость покупателя, который предпочел его хорошему товару чужой, худший. Вспомнились Карисе те бесконечные, бессонные ночи, когда она, сжав зубы, стыла в одинокой своей постели, суровая и безжалостная, как сама смерть — потому что мечтала тогда о смерти мужа и была глубоко уверена, что лишь смерть Фрикса может спасти ее от позора и унижения. Одна мысль о том, что муж не желает ее, убегает от нее, отступает и вместо себя подсовывает ей в постель бессмысленное, унижительное терпение, сводила ее с ума. Слава богам, что исполнилась мечта, которая так мучила ее и которую она должна была скрывать, словно физический недостаток! Если бы Фрикс не умер, если бы боги не услышали мольбы Карисы, она умерла бы сама, потому что не могла бы вынести подобную жизнь, тоска и злость свели бы ее в могилу, но и смерти Фрикса оказалось недостаточно. Сам-то Фрикс уютно устроился в своей бычьей шкуре, ветер баюкал его, птицы на него садились, весной его

осыпали цветы — так густо, что издали он уже был не виден — а на земле осталось его ядовитое семя, и теперь это семя стремилось опозорить и одурачить его жену. Но нет, не такая была женщина Кариса, чтобы стать мишенью для насмешки. Она тайно, в уголке, тихо всхлипывала и через силу глотала горькие слезы покинутой жены и опостылевшей матери.

Теперь Кариса терзалась раскаянием оттого, что некогда избрала себе в мужья Фрикса — сперва избрала, а потом полюбила или уверила себя, что полюбила, потому что так ей хотелось. Вот почему она упустила в свое время — не заметила или не предусмотрела — то, что существовало само по себе, помимо ее сведения и желания, и не просто существовало, но даже было сильнее ее самой; Кариса, однако, не стала углубляться в суть своего запоздалого открытия, ей было важно облегчение, принесенное им, а не корни ошибки, которые с самого начала были глубоко запрятаны в почву — почвой же были нетерпение и непредусмотрительность. По отношению к своим ошибкам человек по большей части слеп, но когда ошибка обнаружена, это доставляет даже наслаждение, и сразу же вдвое облегчаются причиненные ею горе или беда, в особенности, если человек этот — женщина, и, тем более, женщина, подобная Карисе, которая в самих ошибках ищет оправдания избранных ею путей и испытываемых ею чувств. Открытие ошибки дало Карисе многое. Прежде всего, ее покинуло тягостное чувство вины перед покойным мужем, которого, как она была уверена, лишь ее жаркие молитвы уложили в кожаную могилу, осыпанную птичьим пометом. Теперь у нее было и оправдание для этой негаданной ненависти, расцветшей странным цветком на безжизненном стебле выдуманной любви. Сверх того, открытие ошибки обернулось для нее и открытием собственной личности — открытием и высокой оценкой; с восторгом и воодушевлением думала она о том, что сохранила бодрость в несчастье и по-прежнему крепко сжимала в объятиях жизнь, уже однажды предавшую ее, но не сумевшую сломить, заставить склонить гордую голову. Правда, она как личность существовала и раньше, но, собственно говоря, не была личностью до тех пор, пока не проявила присущих ей свойств и особенностей; точно так же, как и ошибка не была еще ошибкой, пока ее не обнаружила Кариса. «Сколько времени я потеряла зря!» — подумала Кариса и огорчилась: так сразу озарила ей весь пройденный путь выявившаяся ошибка. Ошибка излучала свет и, подобно светилам, обладала все преобразующей силой, все возмущающим влиянием. Какой бы ужасающей, какой бы разрушительной она ни была, она всегда оставляла убежище напуганному ею существу. Она даже сама помогала найти это убежище, куда ее жертва влетала, как преследуемое животное в нору. Этим убежищем был рассудок, в данном случае — рассудок Карисы, которая вовсе не собиралась складывать оружие и с улыбкой бросала жизни вызов: «Будем воевать до конца!». Рассудок был единственной сферой, где она могла сохранять правоту и быть прекрасной, но ни правота, ни красота не имели цены, пока оставались «в норе», замурованными, пока никто кроме Карисы не знал о них — подобно руде, их нужно было извлечь из-под земли на свет

божний. С такими мыслями и намерениями она явилась с перезрелой дыней в руках к отцу — беззаботная, кокетливая, прелестная с виду, хотя уж она-то сама знала, какой жжет ее сердце.

— Стнила твоя дыня на корню, нельзя ее есть, — сказал Аэт и поспешно наклонился вперед, чтобы дынный сок не пролился ему на грудь; потом переложил плод в другую руку и облизал перемазанные соком пальцы первой.

— А я не для того ее принесла, — ответила Кариса.

Аэт взглянул дочери в лицо; Кариса смотрела на него с улыбкой, уперев руку в бок и изогнув стан, как это было в обычае у женщин из ее рода. И Аэт вдруг сообразил, что дочь перехитрила его: сама стояла, подбоченясь, а отцу сунула в руку дыню и лишила его возможности шевелиться. Аэт представил себе свою нелепую позу и улыбнулся. «Прекрасна и коварна, как богиня, моя старшая дочь», — подумал он.

— Я тоже гнию на корню, как эта переспелая дыня, — сказала Кариса.

— Какая там дыня, о чем ты толкуешь? Да у тебя четыре сына, четыре молодца-жениха, — искренне удивился Аэт.

— Нет у меня больше ни мужа, ни сыновей, — сказала нараспев Кариса. — Я свободна, как юная дева.

Аэт беспомощно огляделся. Он не знал, как быть с дыней, из которой ручьем струился сок. Хотел рассердиться, но не сумел, словно не имел на то права, пока держал в руках мягкий, пахучий плод.

— Только не давай себе воли, прошу тебя, — зачем-то понизив голос, умоляюще сказал Аэт.

Аэт не умел разговаривать с женщинами, даже с собственными дочерьми, а о таких предметах в особенности. Кариса была матерью четверых детей, но Аэт не мог представить себе, что его дочь беременеет и рождает, как все женщины. «Знаю, трудно тебе, но что делать, так уж случилось», — пробормотал он с виноватым видом и отвел взгляд, вдруг застыдившись дочери, словно она была ни при чем и ее насильно принуждали слушать такие вещи. «Убить мало мою жену!» — подумал сердито Аэт, так как был глубоко уверен, что все это — сугубо женские дела, и лишь недомыслие его жены причина тому, что Кариса пришла со своими жалобами к отцу. Вслух же Аэт сказал:

— Муж твой висит на дереве, а детям нужен материнский глаз. Так не будем же совершать безумства, делать глупости на потеху всему свету.

— Разве у меня есть дети? Покажи, где они, — не сдавалась Кариса, но тут голос изменил ей, и она зажала рот кулаком.

У Аэта оборвалось сердце в груди. Горе дочери, как бездомный ребенок, вскарабкалось ему на колени, и он весь невольно напрягся и замер, чтобы каким-нибудь нечаянным резким движением не причинить ему боль. Аэт вдруг понял, от какой жгучей, непереносимой тоски бежала его дочь; а если улыбка не сходила с ее лица, то лишь благодаря неггибаемой гордости, которая была присуща их породе. Аэт положил дыню на пол и вытер о бедра склеившиеся от сока пальцы.

— Найдутся, дочка, куда они денутся? — сказал он ласково, и голос его дрогнул.

Кариса взглянула на отца с прежней беззаботно-кокетливой улыбкой, словно не заметила минутной слабости, выходящей из его глаз и прозвеневшей в его голосе, слабости, обвязывавшей ее скинуть личину веселости и открыто, смело показать свою рану. Теперь уже и ей стало трудно притворяться, потому что отец, вместо надежной опоры, какой могла быть его сила, предложил ей сочувствие. Кариса заторопилась, сказала, что верит царскому слову, и, покачивая стройным станом, удалилась.

Долго искали по велению Аэта его внуков, но нигде не нашли их следа, ни на море, ни на многоводной реке — то ли земля их поглотила, то ли они улетели на небо. И вот, когда никто уже не надеялся увидеть вновь Фриковых сыновей, все четверо, живые и невредимые, сами вернулись домой. Жители Вани наговорили уже столько хорошего и плохого о царских внуках, что не знали, радоваться или огорчаться их возвращению. Все пожимали плечами. А во дворце царила бурная радость. Вновь зазвенел вызывающе-вольный, залиvistый смех Карисы — торжествующий и, может быть, именно поэтому не подобающий матери, обрадованной возвращением потерянных детей. Точно не радостное событие вызвало этот звонкий смех, а смех был прировнен Карисой к радостному событию. Вот почему он резал ухо, вот почему обращал на себя внимание: ему не хватало слепоты новорожденного.

С того времени, как Кариса обнаружила свою ошибку, она была в плену у рассудка — вернее, она укрылась под его спасительной полой, так как была убеждена, что лишь при помощи этого могучего и строгого, свободного от каких бы то ни было слабостей покровителя сумеет наверстать потерянное время и вновь обрести свой утраченный укромный дворик. Ей теперь было безразлично, почему вернулись сыновья Фрикса: из любви к матери или по какой-либо иной настоящей причине. Главным для нее было то, что они вернулись.

Как бы ни притворялась беззаботной Кариса, она не могла примириться с судьбой отвергнутой женщины, ей было невыносимо сочувствие, вычитанное во взгляде других женщин, — унижительное, попирающее и даже попросту, как ей казалось, насмешливое. Возвращение сыновей означало возвращение мужа; хотел он того или нет, но оставался мужем Карисы, по крайней мере для постороннего взгляда. А это было главное — никто не должен был подозревать, что Фрикс убежал, ускользнул от Карисы, что ранняя его смерть была просто единственным способом, к какому он мог прибегнуть, чтобы вырваться из когтей опостылевшей ему жены.

Фрикс был и мертвый опасен, он и мертвый боролся с Карисой. Четыре надежных столпа были опорой его памяти — четверо юношей, чью любовь и чью верность себе Фрикс утвердил и укрепил своей ранней смертью. Карисе порой казалось, что Фрикс и впрямь не умер, а распался на четыре существа, чтобы Карисе было труднее за ним следить и его удерживать. В самом деле, что ей было делать — бегать за

«одним, забыв об остальных? Разделиться самой на четыре части? Или всех предоставить самим себе? Впрочем, был еще один выход, и Кариса надеялась на него: каким-нибудь способом перетянуть на свою сторону то ли сыновей, разделившегося на четверо мужа, сделаться их поверенной и единомышленницей, если понадобится, заискивать перед сыновьями, подольщаться к ним — лишь бы все думали, что они с матерью заодно, а если бы они еще раз собрались убежать, то пусть бы и ее взяли с собой, не покинули бы так безжалостно и бессовестно. Неужели она хотела слишком многого? Неужели не вправе была на это рассчитывать? Правда, после того как перерезана пуповина, ни одно дитя уже не принадлежит той, которая его породила, так же как спущенное на воду судно уже не принадлежит земле, но разве дети не обязаны до самой смерти оберегать доброе имя матери и ничем не пятнать его? Кариса не требовала большего, но и это казалось ей чрезмерным притязанием, когда она смотрела на четырех загорелых, мускулистых, широкогрудых молодцов — ей даже трудно было поверить, что эти четверо уже закаленных опасностями, огрубелых молодых мужчин были ее детьми.

Сыновья Фрикса за эти два месяца в самом деле очень возмужали; они теперь держались еще более дерзко и заносчиво, так, как будто родные и близкие были одни виноваты в том, что они вернулись с поджатыми хвостами, не сумели довести до конца свое первое самостоятельное предприятие. Разговаривали они нехотя, твердили: «Не очень-то радуйтесь, мы не надолго возвратились», рычали на всех и огрызались даже на ласку — словно волчата, которых силком вытащили из норы; они боялись, как бы над ними не стали смеяться, как бы не сочли за ребячьи затеи их по-мужски твердое, непоколебимое решение.

Сыновья Фрикса еще в роце мертвых почувствовали, что вместе с отцом теряют и сказочную страну, о которой он им рассказывал, — теряют если не навсегда, то очень надолго: ведь теперь, после смерти Фрикса, не так-то легко было бы добиться от Аэта, чтобы он отпустил внуков в далекую, чужую страну, которой, возможно, вовсе и не было на свете. Эта страна могла быть всего лишь плодом мечты больного зятя Аэта, но так или иначе юноши успели отведать этот плод и заразились отцовской болезнью. Теперь уже было безразлично, существовала или нет на самом деле эта страна, они все равно должны были убежать, отдавшись на волю случая, положившись на море и весла, и даже если бы они ничего не достигли, даже если бы в самом деле оказались выдуманной сказочно прекрасной страной и царское их происхождение — с них хватило бы и того, что они прошли по путям, над которыми витала мечта их отца. Возможно, что Фрикс в самом деле лишь создал в своем воображении все, о чем рассказывал сыновьям, — выдумал и оставил им в наследство целый сказочный мир, потому что ничего другого не имел и не мог оставить, но ведь вместе с «выдуманной страной» он оставил им и надежду, которая прочно поселилась в их душах. Надежда тоже была богатством, она могла придать им уверенности

и смелости в жизни, с ней они не страшились бы обидчиков, так как им было куда уйти, они имели заветное прибежище. Впрочем, все получилось в конечном счете наоборот. Оставив им страну-прибежище, куда они могли уйти, Фрикс потянул своих сыновей душевный покой, потому что, если у человека есть куда уйти, он непременно уйдет — ведь каждому кажется, что хорошо там, где его нет. И сыновья Фрикса ушли, убежали, отдали предпочтение воображаемому перед действительным, не задумываясь покинули дом, где они родились и выросли. Они не думали, не знали тогда, что никакой другой дом не мог им заменить дедовского дома, который был единственным настоящим их домом, запах стен которого незаметно, но неотвратимо оседал в порах их кожи, в извилинах их души и выкристаллизовывал в виде непреходящего, неизгладимого воспоминания их первые шаги и слова, слезы и улыбки, страхи и радости — подобно тому, как мед обращает в кристалл насекомое, тычинку цветка или простую щепку в своем золотистом лоне.

То, что они пережили здесь, никогда больше и ни в каком другом доме не могло быть ими пережито; но могло вернуться как воспоминание, сопровождаемое горькой печалью, если бы путь к возвращению был отрезан. Но этого сыновья Фрикса еще не могли знать, они лишь безотчетно, как едва оперившиеся птенцы, чувствовали, что пришло время улететь, и, побуждаемые этим чувством, слепо покорялись унаследованной от отца мечте, которая безжалостно, как птица-мать, гнала их из гнезда. Сама птица-мать поступала так по велению инстинкта, чтобы выросшие и отяжелевшие птенцы не проломили гнезда, чтобы они в свой срок научились летать. А разве человек так уж сильно отличается от птицы или любого другого животного? Им ведь также управляет инстинкт, а рассудок нужен ему лишь для того, чтобы оценить пройденную часть пути, которую вернуть, повторить или исправить совершенно невозможно.

Правда, побег сыновей Фрикса окончился безуспешно, но зато они извели горечь неудачи, испытали радость возвращения, а заодно и все неприятности, связанные с ним, и, главное, убедились в том, что им было нужнее всего: в существовании той, другой страны. Правда, пока что им не удалось добраться до нее, но они уже твердо знали, что отец обманывал их, а если это было так, то они сами оказывались правы, а значит, и их побег был оправдан — именно поэтому они держались вызывающе, вместо того чтобы повалиться в ноги деду и попросить прощения у матери за ту тревогу и то огорчение, которые они ей причинили. Радость родных придавала им еще больше дерзости, рассеивала чувство вины — и все четверо нимало не сомневались, что вся их вина ограничивалась тем убытком, который был нанесен их неудачным побегом портовому хозяйству и кладовой деда. Они были вполне искренни, когда говорили Аэту, что возвратят ему все, что взяли, до последнего золотника, как только получат наследство, оставшееся от отца, и были горды тем, что могут это обещать. «Вот я вас, паршивцы!» — напрасно пытался рассердиться Аэт: глаза у него сияли радостью, улыбка не схо-

дила с уст. И внуки чувствовали радость деда, надежно одерживавшую его буйную природу, и от этого, естественно, росли растали их безбоязненность и дерзость.

— Смотрите, какая невысокая ограда, с нее соскочить вовсе нетрудно! — сказал Мелас, показав на крепостную стену.

Братья посмотрели в ту сторону. Через окошко была видна дворцовая ограда — зубчатые стены цвета ящеричной чешуи, иссохшие и затвердевшие на солнце, с которых они обычно прыгали, состязаясь друг с другом.

— Ну, хорошо, — говорил Аэт, и улыбка растягивала ему рот, — только как же вы так: порешили и пустились в путь! Хоть бы спросились.

— Знаем мы тебя, оттого и не спросились, — отвечали в один голос сыновья Фрикса, и Аэт прекрасно понимал, что внуки выразили ему недоверие, но пока еще не сердился, вернее, не хотел сердиться, но волна радости почти уже отхлынула у него от сердца и улыбка постепенно утрачивала ласковость и теплоту.

— Как же вы вернулись, если ладья ваша разбилась? Или, может быть, прилетели по воздуху, как ваш отец? — уже не без яда спросил Аэт, чувствуя, что радость прошла окончательно и что внуки тут, рядом, и никуда не денутся.

Сыновья Фрикса помрачнели. Кариса устремила на отца встревоженный взгляд.

— Только ради вашей матери я.. Сюда смотри! — внезапно гаркнул Аэт на Меласа, который, отвернувшись к окну, с равнодушным гостя рассматривал двор и ограду. Лица у братьев вспыхнули, они переглянулись. Аэтом овладевал гнев, словно он только сейчас понял, что по милости этих четырех молокососов стал предметом всеобщих толков и пересудов. И однако, каким же он оказался бы счастливым дедом, каким счастливым отцом и царем, если бы все ограничилось этим! Впереди его ожидали гораздо худшие беда и позор, а навлечь эту беду, этот позор судьба поручила все тем же его внукам.

В тростниковых зарослях устья многоводной реки уже стоял двенадцативесельный греческий корабль. Из сбивчивых и путаных рассказов внуков Аэт узнал, что этот корабль спас их от гибели; не будь его, давно уже дети Фрикса стали бы добычей морских рыб. Таким образом, Аэт был в долгу перед этим кораблем, вторгшимся в его страну без разрешения. А долг полагалось платить. «Удивительно, — думал Аэт, — откуда эти собачьи дети знали, что спасут именно моих внуков?» Действительно, мыслимо ли было пускаться в столь дальний путь с подобной надеждой? К тому же трудно было понять, направлялся ли корабль с самого начала к Колхиде с заранее определенной целью или эта цель возникла лишь после того, как были спасены внуки колхидского царя. Быть может, впервые от внуков Аэта узнали на корабле о существовании золотого руна, быть может, сами мальчики обещали его своим спасителям в награду за спасение, так как, перепуганные и растерянные, наглотаившись воды, ничего лучшего не могли придумать? Правда, сыновья Фрикса упорно твердили, что предводитель — родня их отцу, что он стремится овладеть утраченным престолом и прибыл сюда, чтобы просить помощи у царя

Колхиды. Но в голове у Аэта роились самые разные мысли, они безжалостно пожирали друг друга, как голодные рыбы. Могло ведь оказаться, что это были обыкновенные морские разбойники, что они не спасли, а взяли в плен его внуков, пугали их и сейчас просто требовали выкупа, но не прямо, а таким хитрым способом, чтобы никто не заподозрил в них пиратов. Если так, то не придется больше кораблю плавать по морям, но могло ведь быть, что внуки Аэта говорили правду, и тогда с его стороны было бы и впрямь беспримерной благодарностью и жестокостью так просто, не разобравшись, сжечь корабль и его хозяев! Напротив — царственное величие Аэта обязывало его принять с почетом людей, которые спасли его внуков, и щедро одарить их. Но с чего им вздумалось просить именно шкуру золотого барана? У сыновей Фрикса и на этот вопрос был наготове ответ, только трудно было принять все это на веру. Послушать их, так призрак Фрикса вернулся к себе на родину, непрестанно являлся своим близким и требовал: если хотите, чтобы я оставил вас в покое и простил вам грех, совершенный против меня, верните на родину шкуру того барана, на котором я улетел, спасаясь от вашего ножа. Так рассказывали, с уверениями и клятвами, сыновья Фрикса, но гнилостный запах лжи упорно щекотал Аэту ноздри. Столько тут переплелось счастливых случайностей, что одинаково смешными казались доверчивость и недоверие. Почему именно внуков Аэта должен был спасти от гибели именно тот корабль, который держал путь именно к Колхиде и остро нуждался в надежном проводнике и посреднике? И почему спаситель должен был оказаться родичем спасенных, если все это не случилось по воле богов или не было неуклюжей выдумкой то ли напуганных детей, то ли жадного разбойника? «Будь они честными людьми, — думал Аэт, — зачем бы они стали скрываться в тростниках, когда моя гавань открыта для всех?»

Аэт выслушал с вниманием все, что ему говорили, потом поднял голову, с шумом, как лошадь, втянул воздух и сказал: «Изменой пахнет в моем дворце». Однако он согласился принять чужестранца и, как просили внуки, «только выслушать» его. Аэту уже и самому было любопытно взглянуть на приезжего, и если он не приказал вытащить его и его приспешников, как котят, из двенадцативесельного корабля, то лишь для того, чтобы избежать неприятного недоразумения в случае, если бы чужестранец в самом деле оказался родичем его зятя.

А на двенадцативесельном корабле с нетерпением ожидали возвращения сыновей Фрикса. Вернее сказать, все были охвачены каким-то неясным, беспредметным, неопределенным ожиданием. Возвращение внуков Аэта могло оказаться роковым для мореплавателей. Вполне возможно было, что они на этот раз послужат проводниками людям Аэта, приведут их к месту, где укрылся корабль, и тогда... тогда мореплавателям уже ничто бы не помогло, и если бы Аэт дозволил им убраться подобру-поздорову, они и то должны были бы из благодарности трижды поцеловать землю у его ног. Задуманное на родине дело оказалось не столь справедливым и не столь легко исполнимым, как представлялось. Сказано, надевай сапоги по мерке. Но вот нога оказалась больше, чем сапог, сшитый

наугад, без обмера ноги. И сапожному мастеру оставалось либо выбросить свою работу, либо как-нибудь умиловить раздосадованного заказчика и ублажать его, пока не сошьет дрянные, подходящие сапоги. Ссориться и поднимать шум не имело смысла, заказчик был не только прав, но и могуществен. И бежать было бессмысленно — да и некуда; и что делать с потерянными временем, потраченным материалом, испорченными глазами и исколотыми шилом пальцами? И потому терпеливо ждал, скрываясь в тростниковых зарослях неиссякающей реки, двенадцативесельный корабль, и почти невыносимым было его ожидание. Здесь, в этих чуждых местах, все — их замысел, самая цель их предприятия — окуталось туманом тайны и недоступности. Возможно, что именно потому скрытый замысел вызывал невольное чувство вины, в свою очередь рождавший чувство опасения и осторожности. Надо было к тому же не забывать, что родные края далеко и помощи неоткуда и не от кого ждать. А колхские суда несколько не уступали в скорости их двенадцативесельному кораблю. Все сейчас зависело от судьбы, от везения, от счастливой случайности. И они терпеливо ждали.

В первую ночь на корабле, тщательно замаскировав его, разошлись спать — вернее, не спать, а бодрствовать — без ужина. Ночь прошла без сна — сейчас, когда один последний шаг отделял мореплавателей от цели, все окрасилось в свои истинные цвета, ото всего повеяло настоящим его духом. Исчезли бесследно воодушевление и удовольствие от путешествия по далеким странам, сменилась беспокойством жажда опасностей. Тревожные мысли одолевали пришельцев, прокравшихся тайно, по-воровски, в страну Аэта. Все здесь было незнакомо и непривычно; во мраке непроглядной ночи слышалось немолчное кваканье лягушек, отнимавшее у них покой; вокруг рыскали, металсь зловещие призраки, сверкали огненно-красными глазами, шептались, шуршали, вскрикивали и хохотали. Даже обычные звуки — плеск водяных струй и шелест тростника — наводили на пришельцев ужас. В ту ночь они не осмелились развести огонь. И никто не развязал шнурков своих сандалий — каждый хотел в любую минуту быть готовым сорваться с места. Так они сидели в молчании, сами не зная, чего можно ожидать. Лишь бы скорее свершилось все, что им предстояло, лишь бы кончилось это тягостное, мучительное ожидание — единственное, что напоминало о действительности, что связывало их с внешним миром.

«Зачем я их отпустил? Какая оплошность!» — сердился на себя Ясон. Он сидел на палубе, обхватив руками икры и уперев подбородок в голые колени. Издали могло показаться, что он спит, но при малейшем еле слышном шорохе он, подобно собаке, дожидающейся хозяина, поднимал голову и всматривался в темноту. Когда Ясон отпустил домой всех четырех юнцов, он поступал сознательно, он не осмелился оставить у себя заложника. Столько ужасов рассказали его «родичи» о свирепом царе Аэте, что заставили призадуматься даже этого бесстрашного искателя счастья. Многое узнал он перед отплытием из рассказов о колхском царе, и сам расспрашивал бывалых людей — и все же там, дома, все выглядело иначе, все

нравилось, он даже испытывал гордость оттого, что ему предстояло встретиться со столь могущественным и грозным властителем. У себя дома, в кругу друзей да еще с чашей вина в руке, приятно поговорить о льве — да еще таком льве! Чья яростная мощь и чья беспощадность стали притчей во всем мире; но надо быть глупцом, чтобы испытывать такие же чувства близ его логова, когда запах его уже бьет тебе в поздри. Ясон не надеялся — да и не мог надеяться — добиться своего силой; лишь хитрость и лукавство могли помочь ему завладеть этой паршивой бараньей шкурой, на которой возлежал лев, лишь изредка лениво, с подобающим высокомерием скидывая на чужеземных гостей свои желтые глаза. И Ясон должен был надеть овечью шкуру, почтительно склониться перед львом и робко проблеять свою просьбу — чтобы не прогневить этого грозного царя, который сейчас уже, наверно, знал о прибытии незваных гостей и лелеял бог весть какие недобрые мысли и намерения на их счет. Только так мог действовать Ясон; если бы он оставил у себя заложником одного из царских внуков, Аэт пришел бы в ярость, и просьба Ясона представилась бы ему разбойничьим вымогательством. А Ясон был царь, законный наследник царского престола, несправедливо отнятого у него, и явился сюда, чтобы попросить у другого царя дружеской помощи. Тем самым ведь он добровольно признавал превосходство Аэта и объявлял безграничное доверие царственной мощи и благородству колхского властителя. Разве любой царь — тем более столь могущественный царь, как Аэт, — не обязан оказать поддержку другому царю, тем более бессильному и гонимому, как Ясон, чье достоинство и честь повержены в прах коварством и несправедливостью, в особенности если для восстановления этой чести и этого достоинства нужно лишь отдать одну простую баранью шкуру, которая для богатого златом Аэта и впрямь — всего лишь шкура и ничего более? «Подумай сам, государь, если бы я твердо не надеялся на твою доброту и щедрость, разве я, не будучи безумцем, пустился бы наудачу в столь дальний путь?» — обдумывал Ясон речь, которую собирался обратиться к Аэту, но чем больше отделял ее, чем льстивее и медоточивее она получалась, тем меньше нравилась ему самому, казалась лживой и неестественной. Ясон был уверен, что Аэт, если доведется с ним встретиться и иметь мирную беседу, сразу разгадает его, Ясона, уловки и не даст ему даже закончить речь — или, еще того хуже, вырвет у него правду вместе с языком. Поистине, великое испытание готовил рок Ясону. Он должен был выстоять до конца, не поддаваясь страху, или сейчас же, немедленно, незаметно, так, чтобы не слышали его спутники, броситься в воду и убраться прочь, уплыть, гребя руками и ногами, пока хватит силы, пока он не окажется в безопасности. Ясону вдруг с такой силой захотелось убежать, ускользнуть отсюда, что он чуть было в самом деле не бултыхнулся в воду, как лягушка, и лишь с трудом удержал себя от соблазна. Чтобы отогнать искушение, он наклонился вперед, встал на четвереньки на мокрых бревнах и шепотом позвал своих товарищей, скрывавшихся во мраке: «Вы спите, братья?». Его шепот спугнул темноту, и она рухнула, как песчаный холм, у которого размы-

до основание. Вялые ключья мрака поползли к Ясону, как огромные жуки, потревоженные в своих убежищах. Голос предводителя пробудил несколько унявшийся было страх, и все поспешили к тому месту, откуда доносился этот неприятный шепот; казалось, в корабле внезапно открылась течь, через которую с шумом ворвалась внутрь гибельная водяная струя.

— Братья, — снова прошептал Ясон.

Потом кашлянул в кулак и поглядел вокруг.

Тут они увидели свет; желтый, беспокойный, подвижный отблеск — казалось, зверь, уходящий от погони, перепрыгивал с одного затаившегося куста на другой, пробирался между вековых деревьев, полз по толстым, как змеи, извилистым корням и приближался с каждым мгновением, так как не мог ни на чем надолго удержаться — вся земля, словно натертая маслом, уходила у него из-под ног.

За светом следовали сыновья Фрикса. «Это мы!» — крикнули они издали, словно угадав, как невыносимо было ожидавшим на корабле следить за прыгающим, слепящим светом, не зная, что он ведет за собой, что скрывается за ним. Вот уже свет озарил лица находившихся на корабле, и зрелище искаженных страхом лиц так ужаснуло Аргуса, что он швырнул факел в воду. Шипя, поглотила вода огонь, в воздухе разнесся запах смоляной гари.

Наутро Ясон отправился с сыновьями Фрикса во дворец Аэта. Утро принесло с собой бодрость и смелость. Мир, открытый глазу, был далеко не так страшен, как ночной, незримый, смутный и вновь нарисованный, преобразенный мраком. Ночь унесла с собой свои кошмары и, уходя, словно облизала весь мир, как змея облизывает камень, оставляя на нем свой яд. Весть, принесенная сыновьями Фрикса, несколько успокоила встревоженные недобрым предчувствием сердца. Аэт согласился принять чужеземного гостя, и это означало, что пришельцам во всяком случае сохранят жизнь. Страхи на время унялись, и всеми овладело желание позубоскалить. «За эту ночь цена повысилась. Теперь вам придется к бараньей шкуре добавить шкуру самого вашего деда, если хотите, чтобы я отвез вас на родину», — сказал Ясон внукам Аэта. Они же, сияя улыбками, восхищенно глядели на соотечественников, хохочущих в ответ на шутку своего главаря.

Медленно, мучительно светало — но день, поднимавшийся откуда-то из недр бесконечности, ничто не могло остановить, рождение его было неотвратимо. Пока еще все стояло по пояс в молочном тумане. Лишь высокий нос и мачта двенадцативесельного корабля высовывались из разорванной ими мглы. Где-то защебетала птица. Этот слабый, совсем незначительный звук как бы подтвердил существование земли. Все прислушались к птичьему щебету и вывернули себе шеи, оборотясь на звук, словно могли увидеть птицу, словно, пока раздавалась эта незатейливая песня, ничто плохое не могло случиться. Потом показались и ключья земли, как бы изорванной шарящими руками тумана. Туман высвобождался из переплетения раскинутых древесных ветвей, из лап раскаряченных кустов — так, с трудом усыпив ребенка, тихонько высвобождается мать из его ручонков, уцепившихся за ее ворот и косынку. Когда показались

деревья и земля, все еще больше развеселились — окружающее утратило свой чуждый, враждебный вид. — Люди как бы снова очутились дома, на родине. Земля и здесь была землей, такой же как всюду, с изборожденным лицом, погруженная в вечное свое молчание, хватающее за сердце молчание немых родовых мук.


Ясон встал на перила корабля и, подобрав полы своей тунники, перескочил на берег. «Ге-ей!» — закричали на корабле, провожая взглядом загорелые, бронзовые ноги предводителя. «Знай наших!» — воскликнул Ясон и вытащил одну за другой из мягкой, влажной земли зарывшиеся до лодыжек ступни. Потом он с гордостью посмотрел на спутников, радостно готовивших в восхищении от ловкости начальника. Он был предводителем и не упускал случая покрасоваться перед своими спутниками.

— Соберите ягод на берегу, чтобы не умереть с голоду, пока я вернусь, — крикнул еще раз Ясон оставшимся на корабле и с подчеркнuto беззаботным видом сделал первый шаг на этой чуждой ему, роковой земле.

А птица пела, словно и ей придавал бодрости и смелости вид скинувшей покров тумана суши. Широкие, мясистые листья источали по каплям сок, как набухшее вымя — молоком. Все вокруг было пронизано свежим, сильным запахом — крепким духом вновь рожденного или полностью обновленного мира. На камнях виднелись блестящие слизистые полосы, оставленные проползшими улитками. Крохотные раковины, засыпанные песком, с хрустом крошились под ногами. Песочно-серая полноводная река временами словно нечаянно обрушивала волну на двенадцативесельный корабль и оставляла на его крутом боку как бы отпечаток ладони. Тростники, наклоненные в одну сторону никогда не стихающим речным ветром, казалось, были прямы только что лежавшим на них исполином. Земля вздохнула и обдала гниловатым запахом грибов и трута лица дрожащих от утреннего холодка спутников Ясона, которые, перегнувшись через борт судна, махали рукой своему предводителю, беспечно шагавшему навстречу неизвестности.

Ясон держал в руке оливковую ветку. Когда подошли к дворцу, он опередил всех и уселся на посольский камень. Медя в это время была еще в своем покое, она собиралась к Карисе. Она ничего не почувствовала, ничто не встревожило ее, хотя у Ясона отчаянно колотилось сердце. Сыновья Фрикса стояли поодаль, им также передалось скрытое волнение Ясона: они и сами чувствовали себя как бы чужаками оттого, что подошли к дедовскому дворцу вместе с чужеземцем. Стражи сразу заметили незнакомца, сидящего на посольском камне, а увидев близости от него царских внуков, тотчас догадалась, кто это.

Уже весь дворец наполнился разговорами о двенадцативесельном корабле, привезшем пропавших детей Фрикса. Аэт повелел оказать гостям достойную встречу. «Гостям» — подчеркнuto сказал Аэт, потому что и внуков считал уже «чужеземцами» и держался так, словно впервые их видел. Бледный, но с гордой осанкой шел, улыбаясь, Ясон, а за ним шагали сы-



новья Фрикса. Когда Медея открыла дверь, чтобы выйти из своего покоя, мимо по проходу пробежали служанки, и слух ее уловил какой-то незначащий, почти лишенный смысла обрывок их разговора — так на заборе мог бы остаться вырванный клочок зацепившегося головного платка. Сознание Медеи, казалось, не приняло, оставило без внимания случайно подхваченное слово или фразу. Оказалось, однако, что оно все же успело воспринять слышанное, потому что через некоторое время, когда Медея увидела направлявшегося к дворцу незнакомца, в памяти ее явственно зазвучали оживленные, щебечущие голоса служанок и возникли слова, которые только сейчас, при виде гостя, обрели смысл и наполнились значением. Медея увидела внутренним взором и зацепившийся за забор клочок платка, который беспомощно развевался на ветру, как некое однокрылое, неспособное к полету создание. Весь дворец тем временем высыпал во двор, и Медея испуганно подумала — не вскрикнула ли она? — но, по счастью, всеобщее внимание было устремлено на чужестранного гостя.

Когда Кариса увидела своих сыновей, сердце у нее сжалось, такими ничтожными выглядели они рядом с обольстительным чужестранцем. Они держались как чужие, от вчерашней их развязности не осталось и следа; они шли, робко озираясь по сторонам, так, словно впервые появились в дедовском дворце. Кариса догадалась, что сыновья ищут взглядами ее, и невольно выдвинулась вперед. Мальчики обрадовались, увидев мать, растерянно улыбнулись ей — и это еще больше ранило Карису. А настоящий чужестранец шел с гордо поднятой головой, похлопывал себя по ноге оливковой веткой и обольстительно улыбался. Кариса сперва смешалась, потом рассердилась и наконец опечалилась, потому что впервые в своей жизни ощутила так остро и болезненно, с такой доходящей до наслаждения ненавистью притягательную силу мужчины, которая пряталась за простодушной улыбкой и умаляла, принижала, делала ничтожными прежде всего ее сыновей. Кариса предпочла бы провалиться сквозь землю, нежели видеть такими униженными своих сыновей. Теперь она знала, откуда брались вчерашние их смелость, прямота и дерзость, столь удивившие и даже пленившие ее. «Так вот он каков, мой соперник!» — думала Кариса и удивлялась — как она может так спокойно, так безропотно, с такой умиротворенной покорностью терпеть его существование. Не потому ли это было, что по своей женской природе она не могла представить себе соперника-мужчину и теперь, внезапно успокоенная подобной неожиданностью, отказывалась взбунтоваться против того, для чего была рождена, к чему стремилась, чему доверяла беспрекословно и даже покорялась.

А Медеей владело странное чувство бессилия и опустошенности, словно она потеряла сознание и лишь понемногу, медленно, возвращалась из туманного небытия. Это болезненное сознание обострялось еще и тем, что все улыбались ей. Афрасион даже бережно взял ее за руку, словно хотел пощупать ей пульс. А он, герой ее сна, хлестал себя по ноге оливковой ветвью, и Медея слышала ее свист, когда он взмахивал ею, и сердце у нее готово было выскочить из груди — она не по-

нимала, почему он не подойдет и не положит руку ей на плечо, как хозяин. Она ведь была его собственностью. Это уже было всем, наверно, известно — потому ей и улыбались с обеих сторон. Всем известно было, наверно, также, зачем приехал чужестранец и чего он просит у Аэта. Только на что нужны были столь долгие разговоры, и о чем тут было говорить, когда судьба ее была уже решена богами.

Медея слышала лишь свист оливковой ветки и видела лишь красные полосы на ноге чужестранца — вернее, не видела, а чувствовала, как вспыхивает полоса за полосой на его голени. Потом ей ударил в нос запах огня, горящих сучьев, она увидела, как закатились глаза у зарезанного быка и поняла, что больше не слышит свиста оливковой ветки. Теперь она слышала голос мясника, говорившего ей что-то, вытирая вымытые, красные от холодной воды руки о передник. Мясник улыбнулся, накрыл скинутым передником окровавленную бычью голову. Край передника попал в клейкую кровяную лужу и тотчас пропитался кровью. Медея не заметила, как она пришла сюда, и не знала, что ей здесь было нужно; она не понимала, что говорил ей мясник, и лишь, заранее со всем соглашаясь, улыбалась ему как глухонемая, виноватой улыбкой. «Неужели я и сейчас видела его во сне?» — тревожилась Медея и не могла понять — куда делся чужестранец, почему она не слышит свиста оливковой ветки и не видит исполосованной кожи на его голени. Когда Медея поднималась по лестнице, одна служанка крикнула другой: «Наши царевичи моются вместе с гостем», и у Медеи снова подкосились ноги. Чужестранец приехал, явился, он действительно был здесь, во дворце ее отца, в этих стенах.

Пока Ясон и сыновья Фрикса плескались, побрякивая от удовольствия, в гостевой бане, Аэт ходил по двору и самолично наблюдал за приготовлениями к пиру.

— Отдохнул бы немного, — крикнула ему с лестницы царница.

— Что ты, женщина! Видишь — внуки в гости пожаловали, — хмуро ответил Аэт и направился к погребу.

В погребе было темно. Сырой дух вина и влажной земли обнял его, как женщина, едва дождавшаяся любовника, и прильнул к его губам. Аэт с неудовольствием вытер губы. Над врытым в землю широкогорлым кувшином хлопотали смутные фигуры; они неподвижно замерли, две пары глаз уставились снизу на Аэта. «Как вы тут разбираетесь в темноте?» — сказал Аэт. «Привыкли», — отвечали тени, и Аэт услышал, как, булькая, переливалось вино из черпака в подставленную посуду. Потом он увидел на стене вязку желтого шафрана и подумал, что не так уж темно. «Не отведаете ли?» — спросили тени, Аэт взял протянутый из темноты черпак и поднес его ко рту. Он пил медленно, закидывая постепенно голову назад, и, когда вновь увидел свисающую с потолка вязку шафрана, почему-то подумал: «Светает», и сам улыбнулся этой нелепой мысли. Отдав пустой черпак в темноту, он вышел из погреба. Казалось, темнота последовала за ним: на дворе уже смеркалось. Аэт пересек двор, вышел из ограды через задние ворота и зашагал в гору. Вдруг он покрылся потом и сердце у него

учащенно забилось. «Что это со мной?» — подумал он на ходу. Узкая тропинка извивалась между кустами, виляя из стороны в сторону на каждом шагу, словно хотела спрятаться от него. И Аэт невольно прибавлял шагу, стараясь поймать тропинку за хвост, прежде чем она успеет скрыться в кустах. Вдруг откуда ни возьмись одинокая остроконечная звезда сорвалась с неба и вонзилась Аэту в лоб между бровей. У Аэта посыпались искры из глаз, он долго ничего не видел. Холодный пот стекал у него с лица, томительная дрожь прошла по всему телу. Звезда, что мгновением раньше низверглась на него, снова висела в небе и мерцала — словно и она тяжело переводила дух. Аэт невольно заслонил лицо рукой. Стреноженная лошадь с хрустом жевала траву под смоковницей. Аэт вдруг явственно почувствовал запах лошади и сухой травы, и ему до слез захотелось сесть на коня. Ветерок донес издалека чей-то спокойный голос: «Присматривай, чтоб не сторело!». «Умираю!» — подумал Аэт, и тяжесть вдруг свалилась у него с сердца, словно только и было страшного в смерти, что признать ее. Аэтом овладело такое чувство, как будто вместе с ним умирал весь мир; умирала звезда, что упорно вглядывалась в него, так что Аэт диву давался — чего от него хочет эта звезда? «Может быть, это и есть смерть?» — подумал он; умирал и голос того человека, что сказал кому-то: «Присматривай, чтоб не сторело», а сам пошел туда, куда ему было нужно; умирали и смоковницы, и потонувшая в душном, полном жужжания мошкеры сумраке лошадь. «Все умирает!» — заключил Аэт. «А знаешь ли ты, почему умирает?» — спросил он сам себя, и горькая улыбка исказила его лицо. «Знаю, — ответил он сразу. — Потому что... потому что я не хочу умирать».

Аэт споткнулся и, пошатнувшись, прислонился к куче сваленных рядом больших камней. Камень был теплый, словно спящий глубоким сном зверь; Аэту почудилось даже, что он слышит сонное дыхание.

На другой день во всем Вани только и было разговоров, что о чужестранном госте царя Аэта. Люди еще толком ни в чем не разобрались и, как всегда в таких случаях, путали правду и вымысел, слухи и небылицы. Одни говорили, будто грек потребовал, чтобы Аэт уступил ему престол; другие, наоборот, рассказывали, что он потерял свой собственный престол и явился к Аэту за помощью; Фрикс был его родичем, и ближе Аэта родни у него не оказалось; а третьи утверждали: престол тут вовсе ни при чем, грек просит у Аэта дочь в жены, хочет, как Фрикс, тоже с нами породниться. Крупица правды была в каждой из этих выдумок, но дело все же обстояло иначе: Ясон потребовал у Аэта шкуру золоторунного барана — вот и все. За этим он и явился. Всю свою историю, заодно с причиной своего приезда, Ясон изложил Аэту почему-то в виде сказки; должно быть, подумал, что так его легче поймут.

— Был на свете город Иолкос, — начал Ясон, — и был у этого города царь. Царь имел единокровного брата — от одной матери и разных отцов. Брату царя захотелось царствовать самому, в один прекрасный день он сверг законного

царя и завладел его престолом. Вашему величеству ведь прекрасно известно, что два царя так же не могут уместиться на одном престоле, как две женщины в одной кухне (Ясон улыбнулся). Свергнутый царь впал в нищету, но что он мог тогда сделать? Однако боги, видимо, окончательно не отвернулись от него и подарили ему сына (Ясон приложил к груди руку, показывая, что этот сын — он сам). Развенчанный царь испугался, как бы брат не отнял у него и сына, и спрятал новорожденного в горах, у пастухов. А в народе распространил слух, будто бы ребенок родился мертвым, и даже справил поминки (Ясон прервал свой рассказ и обвел взглядом собравшихся: все внимательно слушали). Когда мальчик вырос... — продолжал Ясон и вдруг увидел Медею, нет, не Медею, а руки Меды, которые она сложила на коленях и пристально рассматривала, словно читала книгу; Ясон запнулся на полуслове, правая нога его, чуть выдвинутая вперед, задрожала так, словно под стопой у него трепетало поверженное для заклятия животное. Он вдруг услышал гул моря, глухой, как бы сдержанный, — словно кто-то бормотал или причитал, закрывшись с головой одеялом. — Когда мальчик вырос, — заторопился Ясон, — он решил вернуться в свой город. А вернувшись, пришел к своему дяде-царю и сказал: «Я такой-то, сын такого-то; верни мне мой престол». Подумать только — оборванный, в одной сандали, требовал престола! — засмеялся Ясон, но усмешка получилась на этот раз деланная, он почувствовал это и, чуть смешавшись, продолжал: — Царь был неприятно поражен: откуда, мол, еще взялся этот негодник? Но он был умен и решил прибегнуть к хитрости. «Согласен, — ответил он племяннику, — только ты должен сперва выполнить одно условие». — Аэт поднял голову и взглянул в глаза Ясону: все поняли, что это условие и было самым главным в рассказе гостя; Ясон был взволнован, но сделал над собой усилие, чтобы громко и четко выговорить каждое последующее слово. — Царь сказал юноше: «Тень Фрикаса, двоюродного брата твоего отца, явилась мне во сне и потребовала, чтобы я доставил на родину шкуру того барана, на котором он улетел в Колхиду. Я слишком стар для такого дела, оно мне уже не по силам. Ты же молод и полон сил — отправляйся за этой шкурой, привези ее, умиротвори душу твоего дяди и сними грех со своего рода». И юноша пустился в путь — что ему еще оставалось делать? — закончил свою сказку Ясон и снова улыбнулся — просто душно и обольстительно.

— Я все понял, — сказал Аэт, — Человек раздвоился: одна его половина сидит на престоле, а другая ищет престола.

— Нам ничего не нужно: мы хотим только уехать отсюда, — отозвался Аргус.

Он держался смелее своих братьев, и все же бросалось в глаза, как трудно ему выговорить каждое слово. «Шкура эта — моего отца, а мой отец — дядя этого человека. Как отказать родичу нашего отца, когда он просит всего одну паршивую баранью шкуру?» — сказал Аргус и покраснел до ушей. «Паршивая шкура» было выражение Ясона, и Аргус невольно повторил его.

Ванцы рассказывали, что Аэт пришел в неопишумую ярость, закричал: «Ваше счастье, что вы сидите за моим столом, иначе я вырвал бы у вас всех языки, а теперь я вынужден терпеть вашу наглость!» И в этом рассказе также была правда: Аэт действительно решил было сперва перебить всех тут же у стола, оторвать головы своим внукам, как дышлятам, когда ему стало невтерпех от их затейливо-бесстыдных речей.

Аэт ощутил вдруг на щеке прикосновение шершавого, сухого львиного языка и вздрогнул. «Он еще жив!» — удивился Аэт и спросил: «Чего ты хочешь?». «А ты сам чего хочешь?» — спросил лев в ответ, зевнул, провел толстым красным языком по раздувающимся темным ноздрям и добавил: «С этими я еще управлюсь!».

Лев явно был воинственно настроен, одно лишь слово — и он ринулся бы в бой. «Не натравить ли?» — мелькнуло в голове у Аэта, и он так сверкнул очами, что все замерли. Супруга предостерегающе улыбнулась ему, и он уцепился за эту улыбку, как человек, раздетый грабителями, — за пояс, неизвестно на что теперь ему нужный. «Нет, — шепнул Аэт леву. — Сначала я должен их испытать. Посмотрим, что это за молодцы. Может, и пачкать-то руки о них не стоит».

«Твое дело, тебе видней», — рявкнул лев и залег в пожелтелой траве Аэтовой души.

Вернувшись на двенадцативесельный корабль, скрытый в зарослях неисякающей реки, Ясон сказал товарищам: «Дело плохо. Аэт, прежде чем отдать шкуру, собирается подвергнуть меня испытанию и уж наверно даст такое поручение, что сам Гермес не сможет его исполнить».

— Как бы вам не пришлось увезти отсюда мои кости, — добавил Ясон.

Скрываться больше не имело смысла — все знали, что они здесь, и знали, зачем они здесь. Так что лучше было открыто поставить двенадцативесельный корабль у берега. Спутники Ясона не спеша загребали веслами и думали: верно, за каждым древесным стволом прячется соглядатай! Черная туча неизвестности и страха вновь нависла над привычным к удачам и веселью двенадцативесельным кораблем, придавила всех своим студенистым, скользким брюхом и вымочила с головы до ног. Появилось несчетное множество мошкеры и комаров. Лягушки заквакали громче. Шум стоял оглушительный.

Ночью берега неисякающей реки вновь окутались туманом. Клейкая пепельная масса тысячапалым чудищем ползла, пробиралась среди зарослей лозняка и поглощала все по пути. Туман пронизывал сыростью. Моряки лежали вповалку на палубе, прижимаясь друг к другу, чтобы в случае беды быть вместе. Временами ухал филин, и от ужаса и неожиданности у них стыла кровь в жилах. Но что поделать — филин на то и филин, чтобы изливаться по ночам во всеулышание свои жалобы. На родной стороне Ясона точно так же ухали филины, но там было совсем другое, там внезапный вскрик затаившейся где-то в прогнившем дупле ночной птицы мог только испугать ребенка да вызвать в ответ женское проклятье.

Ясон сидел один на корме, обхватив руками колени, прижатые к подбородку. «Хоть бы у меня была собака», — думал он. Вся просторная палуба была полна преданных ему молодых людей, и все же он был одинок, потому что Аэт его одного собирался подвергнуть испытанию и, значит, ему одному угрожала гибель. Впрочем, так оно и должно было быть: ведь молодцы пустились в этот дальний путь только ради него; и все же Ясон не мог примириться с мыслью, что его одного подстерегает опасность. Он и раньше не раз стоял между жизнью и смертью, но его упрямая природа никогда не желала принять мысль о смерти. Ясон не мог поверить, что он, такой сильный и проворный, такой обходительный и обаятельный, мог умереть как любой другой. От одной мысли о смерти он терял всякое соображение: вообразить собственную смерть было ему столь невыносимо, что он мог без колебания поверить в любую непоконительную ложь, лишь бы не взглянуть в глаза страшной истине. Он верил, что боги сделают для него исключение, не дадут ему уйти из мира живых. Куда ему было уходить — он прекрасно чувствовал себя в этом мире! Его место было здесь, и он лез из кожи вон, протискивался сквозь игольное ушко, чтобы иметь здесь, на земле, все, что имели или могли иметь другие. Правда, он не раз, как сегодня, обманывался в ожиданиях, но всегда находил достойный выход из неприятного положения. И сейчас он напряженно думал, ища спасительных путей, и досада переполняла его оттого, что он был одинок. В этот раз Аэт учтиво выпроводил его, но все могло кончиться гораздо хуже. Сейчас он хоть имел право выбора: либо отправиться восвояси с чем пришел, либо принять вызов Аэта. И решать это он должен был один, лишь его одного все это касалось. Хорошо его молодцам — неплохо провели время, пока плыли сюда, и так же славно погуляют на обратном пути. А Ясон не для потехи пускался в путь, ему было больше нужно и от него больше требовалось. Кроме собственных забот, на него было возложено еще большое всенародное дело. Именно так и сказал ему величайший из царей Минос: «всенародное дело». Товарищам его было горя мало: если Ясон выполнит условие Аэта, в чем он сам, Ясон, очень сомневался, все с миром вернутся домой. Если же нет, то они вернутся домой одни, с мешком, полным костей Ясона, — мешок этот, наверно, на прощание закинет им на корабль царь Аэт. Из-за мертвого никто не станет распинаться — больше того, быть может, в однообразном долгом плавании они даже станут со скуки играть в бабки его костями, благодарно вспоминая своего веселого предводителя, который и после смерти не забывает их развлекать. «Тьфу!» — плюнул в сердцах Ясон и послал вдобавок крепкое ругательство тем, кто его сюда послал. Где-то опять заухал филин. Ясона пробрала дрожь, на этот раз он взаправду рассердился: как не иметь пса на таком огромном корабле!

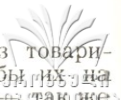
Перед глазами у него встало лицо дяди — измятое, изборозженное старостью, иссохшее, как кора виноградной лозы. — и он снова плюнул. Когда его дядя узнал, что Ясон, претендент на его престол, отправляется в Колхиду, он обрадовался как дитя. Что же так развеселило беззубого стар-

ца? Вероятно, гибель Ясона! Знал его дядя то, чего не знал сам Ясон, — куда занесет легкомысленного племянника. «Знал старый хрыч, знал!» — злился, стуча зубами от холода, Ясон.

После смерти дяди Ясон все равно должен был взойти на престол, но дядя не торопился умирать, и Ясона сорвало с места нетерпение — да к тому же вмешался в дело Минос, и Ясон не осмелился отказать величайшему из царей, покровителю и заступнику всех искателей престола. «Хочешь, чтобы я вернул тебе царский трон, — отправляйся в Колхиду, проложи туда путь, оглядись там, проведай гнездо и могилу своих родичей. В могиле покоится двоюродный брат твоего отца, наследник беотийского престола, а в гнезде четыре его птенца ждут с разинутыми клювами корма с родной стороны. Знай, что для каждого из эллинских царей насытить этих птенцов — почетное, всенародное дело. Привези, как свидетельство о своих деяниях, шкуру того барана, на котором мы отправили отсюда родича твоего отца. А обо всем остальном поговорим после», — так сказал Ясону Минос, и Ясон все понял, а поручение счел столь легким, что даже удивился: как это ценой одной паршивой бараньей шкуры (он и тогда употребил это слово: «паршивой») он добьется престола. Однако Ясон счел разумным придержать язык; Минос ничего не говорил зря и от других не ждал лишних речей, да и не привык слушать ничего, кроме поддакивания.


Ясон тотчас побежал к своему дяде — и что же увидел в глазах этого дряхлого старца? Собственную свою смерть, вернее — неприкрытую радость от предвкушения ожидающей его, Ясона, верной гибели. Тут уж Ясон не стал щадить своего дядю и сказал ему в лицо, что стряхнет его, как пыль, еще при жизни с престола. Дядя швырнул в Ясона чашей, из которой пил молоко. Он никогда не пил ничего, кроме молока, наверно, потому никак нельзя было дожидаться его смерти. Ясон улыбнулся, вспомнив искаженное страхом лицо своего дяди, с крупными, жирными каплями молока на усах и бороде, словно у этого дряхлого младенца только что вырвала грудь изо рта рассерженная его прожорливостью мать или кормилица.

«Братья!» — вырвалось со стоном у Ясона, и он посмотрел туда, где спали его спутники. Серый туман клубился над кораблем, точно дымилась подожженные прелые листья. Ясон был один. Ясон был одинок и, казалось, воочию видел это свое одиночество, оно, как верный пес, сидело перед ним. «У-у-у!» — песным воем нарушил Ясон безмолвие ночи и прислушался к собственному голосу. Но голос не смог прорвать толстую стену тумана, а как бы прилип к ней, словно мокрый листок. Никто на корабле не отозвался на его возглас. Видимо, не смыкавшие накануне ночью глаз моряки крепко уснули. Тревога не покидала Ясона. «Может, напасть неожиданно-негаданно на дворец среди ночи и истребить в нем всех до единого?» — подумал Ясон; но он и сам понимал, что лишь попусту петушится, обманывает себя для храбрости и чтобы отвести душу, из мстительной злобы и зависти, потому что сейчас он завидовал всем, кто мог спать спокойно. Нет, Ясон был не так глуп, чтобы напасть на Аэта — ему с его молод-



цами такое дело было никак не под силу. Никто из товарищей не пошел бы за ним, да и сам он не повел бы их на верную смерть. Он по опыту знал, что обнажить меч как женщину — без надежды на удачу — значит лишь покрыть себя позором. И в это самое мгновение вспомнилась Ясону Медея; нет, не Медея, а ее руки, тихие руки Медеи, сверхъестественно спокойные и прекрасные, в совершенстве своем таящие опасность. Ясон вспомнил, как он запнулся посреди своей речи в зале у Аэта, когда увидел их. И потом, когда все подели за столом, Ясон видел лишь руки Медеи. Ничто не поразило его так — ни великолепие Аэтова дворца, ни сам Аэт, который выкатывал на него сверкающие глаза дракона, ни Карриса, хлопотавшая около него и своей рукой наливавшая ему вино, ни Афрасион, отпрыск и наследник дракона, нисколько не похожий на своего отца и болтавший какой-то вздор — твердивший Ясону: «Если хочешь быть счастливым, остерегайся нанести обиду моей сестре». Болтовня Афрасиона была Ясону совершенно непонятна: разве мог Ясон кому-нибудь нанести обиду — он, сидевший как на иголках и не знавший даже, сумеет ли уйти из этого дворца целым и невредимым?

Медея кого-то напоминала Ясону, но кого — он тщетно пытался сообразить. Давеча, во дворце, он не мог сосредоточить свои мысли на Медее и, хотя все же успел как бы мельком, одним глазом, перебрать в памяти хранившиеся там женские лица, однако среди них не нашлось похожего на Медею. Зато сейчас, на палубе своего корабля, сидя на корточках в промозглом тумане, он все понял — мысли у него прояснились. Медея напоминала ему море. Ясон вспомнил, что, пока Медея была рядом, уши его наполнял немолчный гул моря. Тогда он не обратил на это внимания, да и что удивительного — море ведь было близко, Ясон знал об этом. Но стоило ему сейчас вспомнить Медею, как он снова услышал гул моря — ровный, сдержанный, как бы навеки умиротворенный, навеки примиренный с воздвигнутыми природой преградами и плотинами. Этот голос был голос Медеи. А море на то и море, чтобы никогда не умиротворяться и ни с кем не примиряться. Оно только переводит дух, дает успокоиться исцарапанным острыми прибрежными скалами волнам и вновь устремляется в бой, восстав против однообразия и неподвижности. В ушах у Ясона и вправду шумело море, пока Медея сидела с опущенной головой между своим отцом и чужестранным гостем, сложив раскрытые ладони у себя на коленях, как... как на столе перед судьями складывают для всеобщего обозрения оружие, которым совершено убийство. Разумеется, такие мысли не приходили в голову Ясону, но эти руки поразили и взбудоражили его, он запнулся на полуслове, и нога у него задрожала так, словно под стопой у него трепетало поверженное для заклятия животное. «Вот кто мог бы мне помочь». — подумал Ясон. Мог же он понравиться, внушить любовь Медее! Разве не случалось раньше такое? Даже очень часто. Сколько раз, бывало, говорили Ясону; «В такой-то день ты был там-то, и такая-то в тебя влюбилась без памяти — помани ее пальцем, и она ляжет с тобой хоть посреди людной площади». Почему же и теперь не могло случиться так? Чем был плох Ясон для колхских девушек? Конечно, в



этом непроглядном тумане было, пожалуй, глупо строить воздушные замки, надеясь на любовь Медеи, но Ясону никак не удалось отогнать мысль о ней, и чуть подсказывало ему, что из этого можно кое-что извлечь. Вершить дела женскими руками — в этом был свой, особый вкус; впрочем, и это не было новостью для Ясона. Правда, женщины, служившие ему прежде, старались для Ясона, потому что любили его. Любовь ослепляла их, но и придавала им хитроумия. А Медея — с чего бы Медею стараться ради чужестранца, которого она видела всего-то один раз, да и то неизвестно, рассматривала толком или нет. Насколько помнил Ясон, Медея ни разу не подняла головы, не взглянула в его сторону: сидела и рассматривала собственные руки. А на женщину можно положиться, лишь если она тебя любит. Так что Ясону следовало сперва заставить Медею полюбить себя, а уж потом просить у нее помощи. Он хорошо знал, как неподатливы такие вот такие девушки со всегда опущенными глазами. Запряжки буйволов не хватит, чтобы чуть раздвинуть их сжатые колени! И все же приятно было думать о Медее — мысль о ней вселяла надежду, успокаивала и рассеивала тревогу в этот глухой час, когда холод пробирал до костей, липкий туман пронизывал легкие и где-то, словно с издевкой, истушенно ухал филин.

Наутро на улицах Вани появились неизвестные, непривычного вида люди. Ванцы два дня уже были в ожидании, и поэтому никто не удивился при виде кучки вооруженных до зубов чужестранцев. Их встретили так, словно они были старыми знакомыми. «Фрик! Фрик!» — кричали медленно продвигавшимся по улице пришельцам, потому что больше ничего не знали по-гречески. Ванцы были в приятном расположении духа, так как день был солнечный и непривычное зрелище принесло им неожиданное развлечение. Все эти старательно начищенные шлемы, щиты, мечи, копыя и панцири, казалось, притягивали к себе солнечные лучи и блестяли так, что слепили глаза. Именно в эти дни, кстати сказать, создатель у жителей Вани представление, что греки всегда и везде ходят вооруженными — в военное и в мирное время, дома и в гостях. «У всех свои обычаи», — говорили ванцы. Греки ничего не просили, ни о чем не спрашивали, никого не останавливали и сами ни перед кем не останавливались. Они только двигались, и ничего больше. Ребятишкам первым наскучило глядеть на них. Долго гримасничали дети, глядясь в большие блестящие медные щиты и хохоча над собственными искаженными отражениями, но когда поняли, что ничего более интересного не увидят, отстали от чужеземцев. Когда полуденное солнце стало сильно припекать и горожане заперлись в прохладных комнатах, греки, воспользовавшись тем, что оказались одни на улицах, остановились у источника — терпеть жару стало им невмочь. Но группа и тут не распалась — Ясоновы молодцы выходили из нее по одному, подставляли шлемы под толстую струю, пили, выливали оставшуюся воду себе на потные, лоснящиеся головы и возвращались на место. Так что группа, закрытая щитами со всех сторон, стояла неподвижно, не меняя вида, похожая на маленькую, как

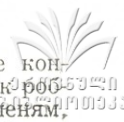
бы карликовую башню. Утолив жажду, карликовая башня /
стронулась с места, вышла степенным, размеренным шагом из
города и направилась к многоводной реке.

Вскоре карликовая башня стала привычным гостем на ванских улицах. Она теперь держалась смелей, больше времени проводила у Фриксова источника, пила воду всласть, заодно подставляла головы и шеи под шумную струю, смеялась и выражала, как полагали ванцы, удовольствие на своем языке. Ванские девушки всячески изоцрялись, чтобы поглядеть на чужеземцев и как можно дольше оставаться у них на виду — а те пожирали их взглядами с нескрываемым восторгом и, должно быть, вспоминали время, проведенное на острове, где женщинам приходилось днем с огнем искать себе мужчин. Здесь, однако, дело обстояло совсем иначе. Если ванские девушки старались понравиться чужеземцам, то ванские юноши хмуро глядели на них, следили за каждым их шагом и жаждали предлога для ссоры, как отец десяти девочек — рождения сына. Но чужестранцы держались пока смирно и не давали повода для ссор и раздоров. Не они были виноваты в том, что ванским девушкам хотелось красоваться перед чужаками. Но, видимо, верно сказано, что женщина и ссора — неразлучные подруги: вскоре случилась все-таки небольшая неприятность.

Был полуденный час, и солнце палило, как обычно в Вани. Карликовая башня отдыхала у источника. Один из греков заговорил с ванской девушкой, пришедшей за водой. Та ласково улыбнулась в ответ и развела руками, показывая, что ничего не поняла. Грек сказал ей еще что-то. Остальные расхохотались. Девушка обиделась, нахмурила брови. Вдруг появился, словно из-под земли, юноша-ванец, встал, как столб, перед греком и спросил: «Чего тебе нужно от этой девушки?». Грек, в свою очередь, улыбнулся и развел руками в знак непонимания. Тогда ванец закатил ему такую пощечину, что грек закрутился волчком вместе со своим копьём и щитом. Остальные греки, из благородства или из осторожности, не стали ввязываться в ссору, однако что-то закричали, подбодря товарища, поставили его на ноги, привели в чувство, и тот, раёяранный, бросился на ванца. Тут поднялась кутерьма, греки и сбежавшиеся ванцы грянули клич, подзуживая противников, а те, громко сопя, катались в пыли, выворачивали друг другу руки, кусались и таскали друг друга за волосы. Мир водворила в конце концов та же девушка: она подобрала с земли шлем грека, наполнила его водой и окатила дерущихся. Невольное купание драчунов развеселило и греков, и ванцев. А противники отошли в сторонку и стали отряхиваться.

Это происшествие сблизило ванцев и гостей. Карликовую башню встречали теперь всюду радостными возгласами. «Да это обыкновенные люди, как все», — говорили ванцы.

Каждый день не меньше чем по два раза появлялась карликовая башня в златокузнечном квартале. И когда целый отряд позелененных воинов принимался ногами соскабливать осевшую на них золотую пыль, надолго замолкали жужжание станков, звон металла, стук молотков и скрип резцов.



Беспорядочные прогулки по городу привели в конце концов карликовую башню к погребку виноторговца Бахи. Так же, как, так благоговейно спустилась башня по всем сорока ступеням, словно сходила в вечную обитель. То ли глубина погреба, то ли застоявшийся густой винный запах одурманил ее, и она с детской радостью растворилась в вечной сырости и прохладе.

Виноторговец Баха сидел, как всегда, на своей любимой скамейке, и кизилловая палка с круглым концем, так же как всегда, была зажата между его коленями, а руки сложены на ней сверху, как две черепицы. При виде стольких обуюнных жаждой, алчущих вина молодых он разволновался. В погребе иголке негде было упасть. Все смотрели на Баху горящими глазами, у всех раздувались ноздри, как у взывших след собак. «Знают мою силу!» — подумал виноторговец Баха, и тотчас же раздался его краткий, но царственно-щедрый и многозначительный приказ: «Иmano, из большой! Гости!».

Вино из «большой» быстро развеселило гостей. Кто-то дотянулся до связки чеснока и с аппетитом запустил зубы в нечищенную чесночную головку — через несколько минут лишь сухая, заплетенная в косичку ботва, топорщась, свисала с потолочной балки.

— Дверь настежь, пусть заходит кто хочет! — воскликнула черноглазая Малало, когда на улице послышался мерный топот множества ног и до нее донесся запах вина и чеснока. В тот самый день, когда черноглазая Малало узнала, что в многоводную реку вошел греческий двенадцативесельный корабль, она приказала своим дочерям тщательно убрать дом, привести в нем блеск и красоту. С тех пор она пребывала в ожидании гостей. Гость, да еще новый, да еще чужестранец, казался самым лучшим лекарством против старости, которой так боялась черноглазая Малало. Правда, старость пока еще обходила ее стороной, но с каждым днем все больше осваивалась, устраивала ей засады, пряталась в каждом блестящем предмете, чтобы в один прекрасный день неожиданно выглянуть оттуда с возгласом: «Вот и я!» и напугать бедную женщину, так сильно привязанную к жизни. Да, черноглазая Малало любила жизнь, однако время делало свое, безжалостно и без спроса забирало, уносило все, что можно было забрать и унести, и шесть дочерей, которые выглядели уже скорее как ее сестры, были тому подтверждением: что убывало у черноглазой Малало, то прибывало у ее дочерей. Вот почему она так старалась походить на них — или сделать их настолько похожими на себя и друг на друга, чтобы посторонний человек затруднился угадать, которая из этих семи женщин приходится матерью шести остальным. «Вот как меня много! Из одной перескочу в другую, из другой в третью, из третьей в четвертую, из четвертой в пятую, из пятой в шестую... А старость пускай гонится за мной, пока ей не надоест», — говорила черноглазая Малало, но даже простое упоминание о старости нагоняло на нее такую грусть, что она тут же выгоняла из комнаты, как гусят, всех шестерых своих дочерей и плакала, плакала навзрыд, поспешно утирая слезы в уголках глаз, чтобы они не смыли с ее щек белил и румян. Спасти от старости? Для этого мало шести дочерей, нужно было придумать что-нибудь еще.

«Эй, хозяйка!» — кричал попугай, но она ничего не слышала, кроме крадущихся шагов своей молодости, все удалявшихся, доносившихся все тише и понемногу заглушаемых шумом мира. «Изменница! Бессовестная!» — кричала черная зая Мелало вдогонку молодости, которая ускользала у нее между пальцев, убегала прочь без оглядки, словно спасаясь от смертельной опасности. Но и печаль ее длилась недолго, ибо черноглазая Малало знала, что беззаботность и веселость хоть и не могли возвратить ей ее собственную молодость, но зато были способны привлечь чужую, и чужая молодость становилась хоть ненадолго ее собственной. Жизнь была пестрой и шумной, как запертый в клетке попугай, только нельзя было дать ей задремать, надо было вовремя толкнуть клетку, чтобы никогда не нарушались единство, единодушие, единосущность пестроты и простоты, слез и смеха, пленника и стража.

Аэт уже понимал, что совершил большую ошибку, когда принял отвергнутого родителями Фрикаса как родного у себя во дворце, а потом и в самом деле породнился с ним. Сегодня по следам Фрикаса пришел целый корабль, а завтра, может статься, вся Греция появится у его дверей. Нет, о том, чтобы уступить, не могло быть и речи. Уступчивость означала бы слабость. Правда, чужеземец как будто имел право на то, что требовал и что, в конце концов, можно было бы и отдать, но кто мог поручиться, что все это — не просто для отвода глаз? Разве волк постесняется завернуться в овечью шкуру, если захочет прокрасться в загон к овцам? Аэт не чувствовал доверия к чужестранцу, слишком уж тот казался ему обольстительным. И причина для недоверия была у Аэта достоящая. Откуда только не приходили в Вани корабли, каких только не привозили и не увозили товаров, но ни один не уклонился от тавани, ни один не пытался укрыться в зарослях неиссякаемой реки. Да и возвращение внуков вместе с чужестранцем и их забота о пришельце казались Аэту неестественными. Возможно, что его внуки были движимы благородными чувствами, когда, не щадя себя, старались достойным образом отблагодарить своего спасителя (если он действительно был их спасителем), тем более, что этот спаситель приходился им сверх того и родней (если в самом деле приходился), но ведь так же точно было возможно, что мальчиков запугали или обещали им невесту что, желая перетянуть этих четырех птенцов на свою сторону против их деда и их страны. Короче говоря, Аэт не верил ни чужестранцу, ни своим внукам. «Бойся своих домашних», — некогда предостерегал его отец. Так и вышло! Когда Аэт перебирал в уме всех своих близких, сомнение в нем вызывало лишь потомство Карисы. Медею он вообще не принимал в расчет, уверенный, что у незамужней девушки не может быть никого дороже родителей. А вот Афрасион сердил Аэта своими странностями. Шли годы, Афрасион мужал, но оставался по-прежнему замкнутым и причудливым. «Вникнул бы он в какие-нибудь дела, надо же и царствовать поучиться», — говаривал Аэт супруге, но в глубине души, как отцу, а не как царю, ему было скорее приятно, что сын его, по скромности или по сдержанности, не лез вперед, не совал всюду свой нос, не кричал на каждом шагу,

что он наследник престола. Что там ни говори, Афрасион был не из тех, кто способен на предательство, он, казалось, так и хотел бы оставаться всегда наследником и, как знать, быть может, даже молился богам, чтобы они даровали вечную жизнь Аэту, не переключившись на царских забот на его, Афрасиона, плечи. Афрасион непритворно любил отца, и Аэт знал это. Однажды он в шутку спросил сына: «Если уж ты так всеведущ, скажи, когда я умру?». У Афрасиона глаза наполнились слезами, задрожали губы, и он с трудом пробормотал в ответ: «Не знаю, это будет уже после меня». Жалость стиснула сердце Аэта, и он больше не задавал сыну подобных вопросов. Так или иначе, Афрасион был выше подозрений, и Аэт тут же мысленно извинился перед ним: «Прости меня, мой мальчик, но престол и корона — такое уж дело: гляди в сто глаз и слушай в сто ушей...».

Аэт отмахнулся от бечевы раздумья, качавшейся перед самым его носом, — уж, верно, в колодце царило сейчас шумное ликование — и заявил громко, во всеуслышание:

— По-моему, двенадцативесельный греческий корабль надо сжечь.

Пока Аэт держал совет, Медея уснула, не раздеваясь, на своем ложе, и ей приснился страшный сон — мучительный, жестокий, совсем не похожий на недавнее ее видение. Бедняжка металась и стонала, обливаясь холодным потом, но была не в силах стряхнуть душивший ее кошмар.

В этом поистине ужасном сне ей грезилось, будто все собралось на пиршественном зале дворца Аэта. Был там и чужестранец — он улыбался Медее, и улыбка его могла тронуть каменное сердце. «Зачем пожаловал?» — спросил Аэт чужестранца, подмигнув сыновьям Фрикса. «Отдай мне девушку», — отвечал чужестранец, не сводя глаз с Меден. Аэт же, словно не слыша его, говорил: «Если хочешь получить золотое руно, спляши над кипящим котлом». «Не надо мне золотого руна!» — твердил чужестранец и жалобно улыбался Медее. Между тем, в огромном медном котле уже кипела вода. В этом котле варили обычно целого быка, десять человек с трудом ставили его на огонь. Поверх котла была положена доска. Пар от котла валил густыми клубами, так, что люди в зале едва могли разглядеть друг друга. «Пляши, пляши!» — кричали со всех сторон чужестранцу. А он не знал, что делать, все его старания объясниться были напрасны. Одна Медея понимала его, но из страха перед отцом не смела сказать ни слова. Чужестранец переводил испуганный, как у убойного быка, взгляд с Меден на развеселившегося Аэта. «Если он встанет на доску, значит, любит меня, — думала Медея, но сердце ее трепетало от страха. — Как бы он в самом деле не взобрался туда! Что за глупые мысли лезут мне в голову». Но чужестранец был уже на доске. Он смешно раскинул руки и затопал ногами в неуклюжей пляске. Аэт захотел и одним ударом выбил доску у него из-под ног. Медея вскрикнула, а чужестранец упал в клокочущую воду и сварился. «Вылейте воду!» — приказал Аэт. Десять человек сняли котел с огня, вынесли во двор и вылили кипящую воду вместе с останками чуже-

странца на землю. «Какое мне теперь веселье!» — подумала Медея и вышла из дворца. От земли, облитой кипятком, шел пар. Собаки и свиньи обгладывали разбросанные кости чужестранца. Медея собрала кости в подол, отнесла их в свой покой и высыпала на ложе. «Воскрешу — буду каяться, а не воскресу — все равно буду каяться», — сказала Медея. Она достала из шкатулки, в которой хранились лекарства, каспийскую раковину с волшебным снадобьем и окропила им кучку костей. Оживший чужестранец сел на постели, протер кулаком глаза и спросил: «Куда девалось золотое руно?». Потом, когда совсем пришел в себя, вскочил и с криком: «Я победил! Я победил!» пустился бегом к пиршественному залу.

При виде чужестранца в зале весело расхохотались: только что, на глазах у всех, сварился в котле и опять здесь — откуда только взялся? «Ну, теперь золотое руно мое?» — спросил чужестранец Аэта. «Ты же девушку хотел получить!» — возразил ему Аэт и кликнул Медею: «Иди сюда, дочка, реши наш спор». «Оставили бы меня в покое, чего им от меня нужно?» — подумала Медея, а вслух ответила: «Дайте и мне слово сказать!». «Скажи хоть десять!» — закричали ей со всех сторон.

— Чужестранец выполнил условие, — сказала Медея.

Поднялся оглушительный шум, воцарилась невообразимая суматоха. «Дайте ей сказать!» — кричал чужестранец, закрываясь щитом. «Пусть теперь мой отец спляшет над кипящим котлом, и они с чужестранцем будут квиты», — кое-как докончила Медея, и сердце у нее замерло от страха: «Что за вздор я болтаю? Что со мной делается?». А какой-то голос в самой глубине ее существа нашептывал: «Раз так говоришь, значит, хочешь этого!». И хотя Медею томил страх, она была в то же время охвачена восторгом от собственной смелости. Держалась она так лучезарно-уверенно, точно парила в небесах и не собиралась вернуться на землю. «Ладно, пусть так!» — сказал захваченный врасплох Аэт. Он поднялся на доску, и лицо у него было такое, что если бы Медея не зажала себе рот рукой, то непременно крикнула бы ему: «Что ты делаешь, отец, опомнись, подобает ли тебе?...». Аэт, видимо, вовсе не был расположен плясать, но все же раскинул руки и стал перебирать ногами. Медея подбежала к котлу и выбила доску из-под ног пляшущего отца, твердя в ужасе про себя: «Что я делаю? Почему не отохнут мои руки?». А голос в глубине ее существа шептал в ответ: «Раз так делаешь, значит, хочешь этого».

Аэт упал в кипяток и сварился. Десять человек подхватили котел и вынесли во двор. «Я победил! Я победил!» — кричал чужестранец, присев на корточки за своим щитом, чтобы хлынувшая толпа не затоптала его. Медея бросилась в свою комнату и достала шкатулку с лекарствами. Но каспийская раковина оказался пустой — все снадобье, какое было в ней, Медея вылила на кости чужестранца. Медее стало так горько, так тяжело, что она проснулась.

Она раскрыла глаза и очутилась в розовом сумраке. В испуге вскочила Медея с ложа и осмотрелась. Узнав все во-

круг себя, она засунула руку под подушку, убедилась, что кукла на месте, и с облегчением вздохнула.

«Нет, мои хорошие, — шептала растроганно Медея, как вы только могли подумать?.. Это ведь был просто сон, дурной сон. Здесь наш дом, дом моего отца. Какое нам дело до чужестранца? Что ему здесь нужно? Ты слышишь, слышишь, слышишь?» — замолотила она по кукле кулаками. У куклы выпал глаз-уголек, но Медея все колотила ее, крича: «Оглохла ты, что ли? Слышишь или нет?». Потом она утерла подолом влажное лицо. «От меня помощи не жди. Не надейся. Даже если Кариса попросит», — сказала она, спрятав лицо в подоле, и вдруг сердце у нее снова усиленно забилося. «Как я не сообразила, ведь сестра в самом деле может попросить меня помочь чужестранцу. Он же приходится родней сыновьям Карисы, и, случись какая-нибудь беда, Аэт не пощадит детей Фрикса — ведь это они привели чужестранца. А тогда... Тогда я не стала бы так мучиться», — заключила свои мысли Медея. Решив вдруг навестить сестру, она пошла к дверям, но остановилась на пороге: нельзя же было явиться к Карисе так вот, спросонья, босой и растрепанной! И Медея вернулась в комнату, но ей не сиделось на месте. «Чего я боюсь, кто меня увидит?» — подумала она и снова направилась к двери, но опять не смогла переступить порог. Трижды пыталась она уйти и каждый раз останавливалась в дверях. Наконец она вернулась к своему ложу и упала на него ничком, словно простерлась над трупом любимого человека. Она лежала, уткнувшись лицом в подушку, и беззвучно плакала. Могла ли она знать, что ей суждено вот так беззвучно, в одиночестве проплакать всю жизнь? На девическом ложе ее расплывалось первое влажное пятно от ее вековых слез, и Медея уже чувствовала себя преступницей, хотя ничего еще не совершила. И от этого горького чувства вины ей не дано было избавиться никогда — оно следовало за нею неотступно, как верный пес, переплывало вместе с нею моря и пересекало чужие земли, и этого верного пса нельзя было ни дубинкой отогнать, ни извести отравленной похлебкой — он был послан ей богами, он был ее судьбой. Медея ничего этого еще не знала, но если бы и знала, трудно сказать, изменилось ли бы что-нибудь в ее грядущей жизни.

Если женщина проливает слезы, хотя бы даже спрятавшись в запечатанном кувшине, другая женщина все равно об этом узнает. На этот раз «другая женщина» оказалась служанкой Карисы. Она случайно проходила мимо покоя Меден, миновала его, но вернулась с чувством неясной тревоги, поглядела в недоумении по сторонам и приникла ухом к двери. Сделала она это, так как не могла сразу понять, что за звуки доносились из комнаты — всхлипывал ребенок или скулила собака.

Служанка не осмелилась войти в покой царевны и побежала к Карисе: «Простите меня, госпожа, но похоже, что с вашей сестрой что-то неладно». Для Карисы же появление служанки оказалось очень кстати. Четверо сыновей, обступив ее со всех сторон, рычали, как волки: «Ты видишь, что с нами делает твой отец? Мать ты или нет? Помоги нам, пока мы

не спалили здесь все дотла!». Кариса и рада была бы помочь сыновьям, но что она могла сделать для них — несчастливая женщина, раз за разом терпевшая поражение в битве с жизнью из-за своей гордыни и высокомерия; сказочные замки ее мечты оказались на деле такими же непрочными, как песочные башни, которые она лепила в детстве на морском берегу, чтобы тут же их разрушить. Сыновья были далеки от нее. Болезненно обостренное самолюбие не позволяло ей выказывать материнскую нежность, и мальчики не понимали свою мать. Они были мужчинами и готовы были всем пожертвовать для утверждения своей мужественности. Стоило ли продолжать борьбу? Кариса была снова одна против пятерых. При первом же взгляде на чужестранца Кариса поняла, что не сможет удержать сыновей около себя. Этот человек, возможно, в самом деле был родичем Фрикса, но совсем не походил на него; глаза чужестранца блестели по-иному — они светились, как у зверя, который в неволе еще опасней, чем на свободе. Таким мужчинам мальчишки подражают, а женщины покоряются беспрекословно, потому что сопротивляться им не имеет смысла. И Кариса была уже готова перейти на сторону вновь составившейся пятерки, только дело обстояло не так просто, право на это надо было заслужить, она должна была внести свою долю в общую сокровищницу, чтобы войти полноправным членом в лагерь нынешних своих противников.

Кариса, не медля ни минуты, побежала к Медее; служанка увязалась было следом, но Кариса отмахнулась от нее, и та отстала.

Увидев Медею, простертую на ложе ничком, со вздрагивающими плечами, Кариса ужаснулась; она подумала, что Аэт обрек на гибель ее сыновей и что Медея первой узнала об этом. «Горе мне, несчастные мои дети! Почему не рухнет этот проклятый дом?» — простонала Кариса. Медея села на ложе и изумленно уставилась на сестру заплаканными глазами. «Глупая, почему твои дети несчастные? И зачем ты проклинаешь отцовский дом?» — хотела сказать Медея, но какая-то сила сомкнула ее уста, так что она не могла их разжать. Одно Медея знала твердо: что она влюблена и никакие волшебные зелья не могут ее исцелить. От этого ей суждено было умереть, а до тех пор томиться в смятении и тревоге, в восторге и печали. «Смерти хочу, смерти, сестра!» — едва не закричала она, и ей в самом деле хотелось умереть: она даже думала, вероятно, что это и есть любовь, когда жаждешь смерти. Медея была глубоко уверена, что случись беда с таинственно улыбающимся чужестранцем, она и дня не захочет жить, пойдет и бросится в море или повесится на дереве, или, наконец, выпьет яду, оставшегося после ее тетки Камар. Но пока чужестранец с его таинственной улыбкой оставался невредим, она не могла умереть, хотела, но не могла, и в этом заключалась вся суть любви. «Смерти жажду, смерти, сестра!» — кричала она, не разжимая рта, и чистосердечно удивлялась, почему не слышат ее всюду во дворце, почему не сбегаются со всех сторон. Слово «любовь» смущало и пугало Медею, ей даже мысленно трудно было его произнести. Это короткое и, казалось бы, столь безобид-

ное слово вмещало столько препятствий и бед, вызывало столько ужасных видений, что Медея при одном его звуке задыхалась, теряла силы и как бы растворялась в воздухе, бесплотная и легкая, как сам воздух. Стоило лишь произнести это слово, чтобы ощутить тяжесть какой-то огромной вины — словно, полюбив по-настоящему, необходимо было в доказательство любви совершить преступление.

«И с тобой было так? Какое же ты преступление совершила?» — хотела спросить сестру Медея, но когда ей наконец удалось разжать губы, слова, сорвавшиеся с ее уст, удивили ее самое; чутье подсказало ей, однако, что так лучше и что, избрав этот путь, надо с него не сходить. И Медея пошла по нему до конца.

— Судьба твоих сыновей страшит и печалит меня, сестра, — сказала Медея.

Первый шаг к преступлению был сделан, но это было лишь начало пути, за первым шагом должен был последовать второй, потом третий, пятый, тысячный — чтобы Медея научилась ходить по тому головокружительно-таинственному, заколдованному полю, что называется любовью.

— Да, судьба твоих сыновей заботит меня, сестра, — повторила Медея. — Они ведь мои братья. Сколько раз говорила мне матушка, что настоящая моя мать — ты, Кариса.

Вот и пустился в путь, переваливаясь, младенец, оторвавшись от родителей, что, присев на корточки, простирают вслед ему руки с восхищением и страхом.

Медея нуждалась теперь лишь в поддержке и в оправдании.

Сокровенное желание своего сердца, которому она неизбежно последует, случись какая-либо крайность, ей необходимо было подкрепить внешними обязательствами, превратить стремление в долг — и вот, принуждение, долг явились к ней сами! Разве можно было отказать сестре, обмануть ее ожидания? Да еще старшей сестре, которая заменила Медею мать, вскормила Медею своим молоком! Ведь если бы не было Карисы, быть может, не было бы и самой Медеи и она никогда не испытала бы этого пьянящего, как вино, и дерзко-безудержного, как опьянение, чувства!

— Смерти жажду, смерти, сестра! — простонала Медея.

Перепуганная свыше меры необычным ее поведением, Кариса обняла колени сестры, прижалась головой к ее животу и заплакала навзрыд. Медея уже знала, что ей скажет Кариса, — та ведь не колеблясь пожертвовала бы отцом ради сыновей, и не потому что любила их больше, чем отца, а потому что сыновья ей были сейчас нужней — она предпочитала выглядеть в глазах света матерью-покровительницей сыновей, нежели беспомощной, одинокой женщиной, живущей под защитой отца. У Медеи горели щеки от стыда, она знала, что сама толкает сестру на измену отцу, сама принуждает Карису просить у нее, Медеи, помощи ради спасения какого-то чужестранца. «О ком же я плачу, как не о своих сыновьях, моя золотоволосая, умная сестра», — всхлипывала Кариса и целовала живот Медеи. Потом подняла голову, откинула назад сбившиеся на лоб воло-

сы и бросила на Медею такой взгляд, что та даже испугалась: «Да она, пожалуй, способна человека убить!».

Долго смотрели сестры друг другу в глаза — словно только что познакомились и никак не могли преодолеть отчуждения недоверия и отчужденности, свойственного человеку от самого рождения. Кариса терзалась напрасно: Медея знала наперед, что хочет ей сказать сестра, и с замиранием сердца ждала, когда та заговорит; слова Карисы должны были стать для нее законом и послужить надежным прикрытием ее собственного страстного желания.

— Запомни, ни наяву, ни во сне... — бормотала Кариса.

— О чем ты? — спросила Медея.

— ...ни после смерти не дам тебе покоя, даже мертвая не поверю, что ты не могла спасти меня и моих сыновей, — сказала Кариса.

Медея всполошилась, заметалась так, словно хотела взлететь и не могла оторваться от ложа. Она дивилась себе и сердилась на себя, чувствуя, что сыновья сестры, ее братья, за которых она прежде не задумываясь отдала бы жизнь, сейчас не занимали места в ее сердце и судьба их несколько не волновала ее в эту минуту. Она сама нуждалась во всей жалости, на какую была способна. Она не могла делить эту жалость с другими — тем более с четырьмя молодцами, свободными, как ветер, которые могли в любую минуту разлететься на все четыре стороны. «А со мной что будет?» — сокрушалась про себя Медея.

— Дождь пошел, — сказала она вдруг.

Кариса удивленно взглянула на сестру и тут же услышала шум дождя. В окно втекал нагретый воздух; в покое стало душно. Обе прислушались к шелесту капель. Медея увидела идущего в зарослях, промокшего до нитки чужестранца — он держал обеими руками щит над головой. Медея улыбнулась и сказала: «Надо же так промокнуть!».

— Что? — очнулась от мыслей Кариса.

— Надо же так промокнуть, — повторила Медея.

Кариса отерла глаза подолом платья Медеи и увидела Фрикса. Подхватив под мышки по двое мальчишек, Фрикс бежал к дворцу. Дети дрыгали ногами и радостно визжали. Кариса улыбнулась — печально, с сожалением.

Говорят, если очень сильно чего-то захотеть, желание исполнится. Это и верно и неверно в одно и то же время. Неверно потому, что ни одно желание, каким бы сильным и страстным оно ни было, не исполнится само собой — тут не требуется особых доказательств. Верно же это в той мере, в какой все существо человека подчиняется силе его желания, поскольку все его поступки и действия властно диктуются тогда его стремлением. Страстное желание заставляет делать все, что необходимо для его исполнения и что иначе никогда бы не было сделано. Оно заставляет человека найти в себе силу, твердость, смелость, а если нужно, то проявить коварство и даже наглость и бессовестность. Необоримую власть имеет над человеком страстное желание — под стать заключенному в нем соблазну.

Медея и Кариса были сейчас пленницами желания — обе притворялись, хитрили, и каждая была права перед собой.

Что Медея влюблена, Кариса поняла, почувствовала, как только вошла в комнату. И Кариса встревожилась, словно у нее оспаривали то, что принадлежало ей одной и чего она не могла уступить даже сестре. Шум дождя напомнил ей о давней ей тревоге. «Какая дура, — подумала она, — ведь если это так, то ее и просить не нужно!» Кариса встала, прошлась по комнате, потом снова подселла на ложе к сестре и прошептала ей на ухо, как заговорщица: «Чужестранец сказал: «Никто, кроме Медеи, не может нам помочь». Медея покраснела до ушей и невольно закрыла руками лицо. Этого она никак не могла ожидать: сестра взяла над нею верх, захватив ее врасплох. Кариса торжествовала в душе — чутье не обмануло ее. Теперь нужно было только делать вид, что она ни о чем не догадывается — и таким образом оставить и Медею возможность притворства.

— Он сказал: «Попросите Медею от моего имени», — шептала Кариса.

— Зачем мне еще чьи-то просьбы? — невольно тоже перешла на шепот Медея; вздернув брови с обиженным видом, она продолжила громко: — Разве не достаточно твоего слова, чтобы я бросилась в огонь, уплыла в море или дала засыпать себя землей? Ты и твои сыновья — самое дорогое, что у меня есть. А чужестранец пусть будет спокоен. Лишь бы он поскорее покинул наши земли и оставил нас в покое.

Кариса вышла от сестры, окрыленная надеждой. Ее сыновьям не угрожала никакая опасность: она знала, что Медея не пощадит себя ради спасения того, кого она любит. Этого никто не знал лучше Карисы. А перед волшебными снадобьями Медеи сам Аэт был бессилен и беспомощен, как младенец. Но самое главное — Кариса могла теперь смело прийти к тем пятерым, что сплелись как бы в один колючий клубок, и доказать, что напрасно они старались избавиться от Карисы, не верили ей, не ценили ее. Вот, наконец, и она с добычей — есть и у нее, что вложить в общую казну. Карису переполняло счастье, как в былые дни.

Она дословно передала свой разговор с Медеей сыновьям, которые нетерпеливо дожидались ее возвращения, мечась, как голодные волки, в четырех стенах. Увидев во взглядах юношей восхищение и благодарность, Кариса гордо выпрямилась. Хотя дождь лил не переставая, Аргус тотчас же побежал к полноводной реке, братьям же поручил неусыпно наблюдать за Медеей, так как вполне возможно было, что «глупая девчонка» изменит свое решение и в последнюю минуту вновь примет сторону грозного отца. «Этого не опасайтесь», — говорила им Кариса, но они ведь были мужчинами и в женщинах ничего не понимали.

Безрадостной была эта ночь для Медеи. Она не заметила, как понемногу затих дворец, как засияли на небе звезды, смолк лай собак и погрузились в сон земля, вода и мать, оплакивающая ребенка. Лишь Медея не спала, да и как она могла уснуть — эта темная, душная, весь мир объемлющая ночь была последней ночью ее счастливого, спокойного, прекрасного девичества. На рассвете с грохотом распахнется огромная железная дверь и незримая могучая, грубая рука втащит вчерашнюю девочку-Медею в мир неизвестности. Кто знает, что ждет ее

за этой дверью! Одно только ясно: через этот порог назад ей уже не перешагнуть. Возвратный путь заказан навсегда — ей, проклятой и отвергнутой, изменнице, предавшей родителей, которые растили и лелеяли ее, как птенца, на ладони. А она променяла их — и на кого? На какого-то чужестранца, с которым она не обменялась и словом и который, получив свое, спокойно отправится восвояси, потому что зовет его дорога и есть у него кров и очаг. А у Медеи с завтрашнего дня не останется ничего, кроме любви — затаенной, неразделенной, ничем не оправданной любви. Правда, сейчас чужестранцу грозит смерть, и лишь Медея может его спасти — но, собственно, какое ей до этого дело? Отцу ее — так считала она — видней, кого уничтожить, а кого — пощадить: все это — мужские дела. Но почему же она так мучается? Потому что любит чужестранца больше, чем самое себя? А родителей она разве не любит? О да, родителей тоже, но это — совсем другое... И ведь ему грозит опасность!

Как знать, какое испытание готовил чужестранцу Аэт? Наверно, собирался выпустить на него своих черных быков, которые держали запертыми в темной пещере и которым снаружи то и дело совали в морды раскаленные головни. Быки были бешеные и приходили в неопишемую ярость от одного ненавистного им вида человека; окажись человек у них на пути — взденут на рога, изломают, растопчут. Медее представился чужестранец, подхваченный быками на рога. Грозен был отец Медеи, безмерны были и благоволение его, и его немилость. Но хотя Аэт внушал страх, от его гнева тем или иным путем можно было спастись. Однако это была не единственная опасность, подстерегавшая чужестранца. Как только Медея впервые увидела его во дворце, в душе у нее сразу возникло недоброе предчувствие; она была потрясена огромностью угрозы, роковым образом нависшей над этим обаятельным юношей. Хотя чужестранец держался гордо и на лице его играла беззаботная улыбка, Медея не просто почувствовала, а явственно увидела, что жизнь его висит на волоске. Кто-то незримый, могущественный беспощадный держал нить его судьбы в руках и мог в любую минуту ее оборвать — Медея ясно различала даже чью-то зловещую, чудовищную тень, нависшую над улыбающимся чужестранцем. Испытание, которое готовил чужестранцу отец Медеи, грозный и гневливый Аэт, было пустяком по сравнению с той неясной, но неотвратимой опасностью, от которой бежал этот широкоплечий, мужественный юноша. Да, именно — бежал; было что-то в его лице от беглеца, от неудачливого искателя счастья, от цепляющегося за последнюю надежду, едва ли не отчаявшегося человека. Возможно, Медее чудилось все это, возможно, что именно беспечная улыбка, которая так шла чужестранцу, рождала в ней подобное чувство, но одно ей было ясно: он шел по волоску над пропастью. Недоброе предчувствие не покидало с той, первой минуты Медею — она даже хотела упасть в ноги отцу, умолять его защитить чужестранца, не отпускать его, оставить у себя во дворце, так как здесь, под покровительством Аэта, он, быть может, спасся бы от той главной, огромной опасности, которая была уготована ему по чьей-то воле в заморских краях.

Чего только не передумала бедная девушка — ей казалось, что от сумятицы мыслей голова у нее безобразно раздулась. Это своим чередом встревожило ее: и без того чужестранец на нее смотреть не хочет — как же выйти к нему с такой головой? Что ж, если ему суждено умереть — пусть умрет, она тоже убьет себя, вот и все. «Так будет лучше, да, конечно, так будет лучше», — уцепившись за эту мысль, Медея металась по темной келье, как слепая, натываясь на стены, словно случайно залетевшая птица, которая тщетно пытается выбраться на волю.

Тут ей послышались голоса судачащих и хихикающих женщин. Кровь застыла у нее в жилах. Она прижалась к стене, ей хотелось распластаться, прикипеть к каменной кладке, как известка. Женщины насмехались над Медеей: «Посмотрите-ка на эту скромницу с потупленными глазами, какие в ней страсти кипят! На какого-то заезжего молодца променяла и отца, и родную землю! Дался он ей — или у нас своих юношей не хватает? Они хуже?..». И множество таких вздорных пакостей говорили женщины, на самом деле спавшие в эту минуту крепким сном и вовсе не вспоминаявшие о Медее. Сама Медея думала и говорила так вместо них, будто бы их устами. «Дай срок, я сам тебя выдам замуж» — это уже отец смотрел на нее глазами, полными печали. «О-оох!» — застонала Медея, — никто не слушал ее, никто не хотел ее понять.

«Смерти жажду, смерти!» — вскричала Медея и бросилась к шкатулке с лекарствами, села на ложе, поставила ее себе на колени. Шкатулка напомнила ей о давешнем сне, она вскочила как ужаленная: «Не сижу ли на костях?». Долго смотрела она на ложе, по которому пушистым одеялом расстилалось лунное сияние. Тихо провела Медея рукой по постели, и жажда жизни овладела ею — жизни, которая приказывала развернуться туго налившейся почке и которая сбивала с толку, мучила, пугала ее. Жизнь больше не помещалась в этой маленькой горнице, здесь ей уже не было места; Медея не знала этого и страдала. А жизнь в своем восхождении со ступени на ступень увлекала за собой Медею, потому что это была ее жизнь, и без нее, Медеи, она не могла сдвинуться ни на шаг. Медея и этого не знала, но покорно следовала за нею, ибо не могла, была не вправе противиться этой могучей руке, наполнившей все ее хрупкое тело болью и блаженством.

На рассвете Медея уже знала, что поможет чужестранцу и последует за ним, как собачонка, если он только поманит.

Прежде всего Медея посмотрела в умывальную чашу — не раздалась ли в самом деле у нее голова. Голова не увеличилась, но из чаши глядело на нее осунувшееся девичье лицо с бледными щеками и припухшими веками. Медея ткнула пальцем в чашу и, когда прохладная вода зазвенела подобно разбитому стеклу, улыбнулась от удовольствия. «Сегодня я должна быть красивой». — подумала она и зачерпнула воду обеими руками. Умыв лицо, она разделась, умастила тело розовым маслом, плеснула себе под мышки душистой воды и распустила узел на затылке. Легкие, прохладные волосы рассыпались по обнаженным плечам. Медея поежилась от какого-то странного чувства. На дворе защебетали проснувшиеся птицы. Где-то в

другом конце города запел петух, и Медея вдруг стало стыдно своей наготы, словно весь свет смотрел на нее. Снова запел петух, протяжно и хрипло.

Медея надела бирюзовое платье с золотыми пуговицами и пряжками. Комната наполнилась голосами утра, запах дыма и политых водой плит двора донесся снаружи. «Я уже готова», — подумала Медея, и взору ее открылся мир Карисы, звавший ее, повелевавший покинуть эту комнату навсегда и ничего не суливший взамен, ибо там, в этом мире, она должна была все обрести сама. Но именно это и страшило Медею — и в глубин зеркала, обведенного золотой рамой, ей представлялось вместо собственного лица то, что происходило снаружи, за стенами ее девичьей кельи. Рабыни подметали двор, и при каждом взмахе метлы четко, выпукло обрисовывались их крепкие бедра; когда они нагибались, чтобы вырвать пробившуюся между плитами траву, сверкали белизной сильные икры. В каждом их движении, в свежеемытых лицах, в гладко зачесанных волосах все еще чувствовались тепло и тайна только что покинутых постелей, и от этого еще ласковее, ближе и как бы осязаемее казались прозрачность и тишина утра.

В печи для хлеба трещал, сторая, хворост, и его торчащие наружу концы были осыпаны искрами, словно мельчайшими алыми плодами. Пекари несли продолговатую квашню, в которой, казалось, спал кто-то — и впрямь, под холстом душистое тесто дышало в ней как живое.

Двенадцать невольниц из рук кормили овсом запряженных в колесницу Медеи мулов. Только эта колесница и связывала еще Медею с прежним ее миром. Мулы знали только одну дорогу. Стоило Медее взойти на колесницу и взять в одну руку поводья, а в другую — плеть, как мулы немедля устремлялись к саду Дариачанги. И сегодня это должно было произойти точно таким же образом. Почему-то Медея назначила чужестранцу свидание там, в обители своего божества, в мире, унаследованном ею от своей тетки Камар. Это было последнее, отчаянное борение девственной души, уже осознавшей близкую опасность и готовой к встрече с нею, но все же ищущей пути к отступлению не для того, чтобы избежать опасности, а для того, чтобы еще раз, и окончательно, убедиться в ее неизбежности и необоримости. «Если мое божество сильнее, то пусть оно прикончит меня на месте; если моя тетка Камар и вправду может воскреснуть, то сейчас самое время. Я же беспомощна». — думала Медея, пряча под повязкой, которую стянула на своей маленькой девичьей груди, «мазь Амирани». Тот, кто натирал себе тело этим снадобьем, делался неуязвимым, его не брали огонь и меч, у него прибавлялось силы и храбрости, но лишь на один день, через сутки средство теряло силу. Но у Медеи всего-то и просили один день — в этот единственный день должны были уложиться и предательство, и любовь, ибо завтрашнего дня уже не существовало. «Для этого единственного дня я родилась на свет». — думала Медея и гадала в душе: подарят ли ей этот один день всеильные боги и тетушка Камар. Двенадцать невольниц с подобранными до колен платьями, нагнув головы, поспешали за колесницей.

Тягостно тянулись минуты ожидания. Девушки знали обо всем. Они успели даже кинуть жребий — кому из них провести всю ночь в храме, чтобы вместо оставшейся вошел следом за колесницей во дворец переодетый в женское платье чужестранец. «Мы, женщины, всегда должны стоять на стороне слабейшего», — сказала им Медея. Время тащилось, мешкало, цеплялось за все, как узник, которого выволокли из темницы на свет божий для казни, но все же продвигалось вперед, к площади, где должен был свершиться приговор. Долог был только путь до лобного места, пока оставалась еще призрачная надежда, а там, завидев помост и плаху, заслышав рев собравшейся для потехи толпы, оно само заторопится, подбежит к плахе и кинет снизу умоляющий взгляд на палача, чтобы тот скорее покончил с бессмысленной пыткой.

Тринадцать девушек одновременно увидели направлявшегося к ним чужестранца. Золотистые, струящиеся его волосы были схвачены лентой; на нем были короткая белая туника и сандалии с серебристыми шнурками. На боку у него висел широкий меч. Он был бледен от волнения, но улыбался, хотя сам еще никого не заметил. А Медея уже видела плаху и слышала рев толпы. Она едва сумела сделать знак невольницам, чтобы те держались в стороне. На мгновение у нее даже затуманились глаза; подумав: «Уж не почудилось ли мне?» — она посмотрела назад, туда, откуда ее привела судьба. Шаги упорно приближались. Медея стояла одна посредине площади. Все указывали на нее пальцами, все кричали, заглушая друг друга, и Медея не могла понять, жалеют ее или проклинают. Нигде не было видно ни божества, ни Камар. Ослепительно сверкало солнце. «Зачем? Ради чего?» — еще раз подумала Медея, и, когда туман, застилавший ей взор, рассеялся, перед нею уже стоял чужестранец. Долго смотрели они друг на друга. Все молчало — разве что хрустнет сучок под ногой у прислужницы в кустах или просвистит внезапно распрямившаяся ветка. Мир точно онемел.

— Не бойся, — сказал наконец чужестранец, и впервые в эту минуту узнала Медея, что такое страх.

У страха были глаза без ресниц, беззубый рот и скошенный подбородок, по которому стекала слюна. Страх засунул Медею руку за ворот и изо всех сил стиснул ей левую грудь, так что от боли у нее вся спина покрылась потом. «Молчи! Ни звука!» — шепнул Медею страх и потянулся к ней так, словно хотел ее поцеловать. Медея не решилась отвернуть лицо, но страх не поцеловал ее, а лишь мазнул по губам слюнявым подбородком. Вытереть рот Медея побоялась и тут же невольно подумала: «Чего я боюсь?».

А чужестранец говорил, говорил без умолку, но не сразу, не скоро дошел до слуха Медеи его матовый голос, настойчиво стремившийся проникнуть в ее сознание, — подобно тому, как жук, барахтавшийся на спине у ее ног, упорно старался перевернуться на брюшко, беспомощно шевеля в воздухе сухими, мохнатыми лапками. Медея смотрела на жука и слышала голос чужестранца. Этот голос одурманивал ее, как заклинание — змею, и она не могла помочь жуку, хотя достаточно было чуть подтолкнуть его. «Хоть бы у меня была палка, — вновь

беззастенчиво подумала Медея и стала искать глазами прут или хворостину. — А потом пусть бежит куда хочет». Медея внезапно нагнулась и перевернула жука. Перепуганное насекомое бросилось прочь от человеческой руки. «Матери и жены! Простершись у морского берега... Уже оплакивают нас...» — говорил чужестранец, и Медея невольно, как ученица, повторяла за ним: «Жены...», «Оплакивают...», словно впервые слышала эти слова и не понимала их значения, а, не поняв, не могла избавиться от владевшей ею странной одури.

— До смерти буду благодарен тебе, — закончил чужестранец.

Как только умолк его голос, Медея очнулась. Смело, с улыбкой посмотрела она чужестранцу в лицо. Ей больше не было неловко, потому что долг, исполнить который она твердо решила, не вызывал в ней стыда: она ведь помогала человеку, попавшему в беду.


— А потом ступай, куда твоей душе будет угодно, — сказала Медея и почему-то вспомнила жука, в испуге улепетывающего по траве.

Медея взяла обеими руками горячую и тяжелую руку чужестранца и продолжала: «Расскажи мне о девушке, которая тебя ждет». Медея сама удивилась тому, как спокойно, непринужденно произнесла эти слова — так ребенка, пришедшего в гости, спрашивают вскользь о чем-нибудь незначительном, чтобы он разговорился и перестал робеть.

— Милая, — неуверенно сказал чужестранец; он внезапно догадался, что девушка любит его, вернее, понял уже после того, как произнес это слово, и поэтому через несколько мгновений уже смелее повторил его: — Милая! — и сжал в горсти обе руки Медеи.

С моря подул холодный ветерок. Зрелище уединившихся девушки и юноши взволновало невольниц, которые скрывались в кустах, возможно, потому, что они подглядывали исподтишка. Так или иначе, но близилась пора уходить. Когда чужестранец вышел из храма, одетый в женское платье, девушки не вытерпели и с шумом и щебетом выбежали из своего укрытия. Смущенный и растерянный, чужестранец неловко поеживался и улыбался. При виде мужчины в женском наряде девушки совсем осмелели, как будто, надев женское платье, он стал своим, принадлежащим к их женскому лагерю. Они тормозили, вертели, тянули его в разные стороны, одергивали на нем платье, закрывая ему икры, а чужестранец, пунцовый как мак, неуклюже раскидывал руки, крутился, улыбался и... терпел.

Когда Медея вошла к отцу, Аэт сидел на троне, глядя себе под ноги, и лениво почесывал грудь под распахнутым воротом. В последнее время Аэт часто подолгу сидел так — недобрые предчувствия тревожили его, а более всего лишало покоя то, что во всем оказывался виноватым он сам. «Как я мог оттолкнуть бедного сироту, за которым чуть ли не целый свет гнался с ножом?» — спорил с собой Аэт. Он теперь все чаще думал о Фриксе, вернее, о чем бы он ни задумался, под конец мысли его обращались к Фриксу, и ему даже казалось при



каждом дуновении ветра, что он слышит зловеший лязг костей своего зятя. «Чего ты хочешь, в чем винишь меня, чем грозишь?» — огрызнулся временами Аэт на тень Фрикса, печальную и благодарную, жавшуюся у его порога, как побитая собака, и совсем по-собачьи выскальзывавшую за дверь после окрика Аэта, чтобы снова заглянуть через короткое время. Таким вот — кротким и благодарным помнил Аэту Фрикс. Когда его в первый раз привели во дворец, он подбежал к Аэту и поцеловал ему руку. Аэт растрогался. От прикосновения детских губ дрожь прошла по всему его телу и осталась в нем одуряющую дремотную слабость. Не сумев придумать ничего лучшего, он поставил мальчика между своих колен и понюхал его макушку. Запах детских волос совсем размягчил этого человека с львиным сердцем, разбудил в нем далекие детские впечатления — этот запах, нежный, бередящий душу, такой знакомый, хотя уже позабытый, шел как бы из далекого прошлого, но чему или кому он принадлежал, Аэт не мог себе уяснить. Он и впоследствии не раз, поставив Фрикса между своих колен, нюхал его макушку, но так и не смог уразуметь, о чем напоминал ему запах волос мальчика. Аэт мучился, по-детски жаловался близким, что не может ухватить ускользающее воспоминание, но Фрикс и эту тайну унес с собой. Был ли причиной этот странный запах или вся печальная история Фрикса, но Аэт с первого взгляда расположился к нему, исполнился жалости и любви и тотчас же выказал свои чувства: принял царского сына по-царски — разумеется, отчасти наперекор другому царю, родному отцу Фрикса, ибо более всего гневилло его именно существование этого настоящего отца, незримого соперника, властного обречь на смерть своего сына. Ведь Аэт мог лишь защитить этого маленького мальчика, стать его заступником — и только. Поэтому родной отец значил всю жизнь больше для Фрикса, чем приемный, даже если он замахивался на сына ножом, а Аэт протягивал ему пряник. Аэт в ту минуту не продумал всего этого до конца, но почувствовал всем телом, всем существом и впал в гнев, и, когда он воскликнул: «Да его родители недостойны такого мальчика!» — это тоже было неосознанным вызовом, борьбой вслепую против невидимого, но сильного противника, у которого надо было вырвать из рук этого бледного, испуганного ребенка, чьи волосы источали неприятный, бередящий душу запах. Время все утишило, успокоило. Сегодня на стене детской комнаты виднелись три неровных ряда процарапанных ногтем линий, три лесенки, по которым стремилась вприпрыжку вверх набирающая с каждой минутой силу жизнь троих детей. Фрикс рос, менялся, обживался на новом месте, и все это происходило перед глазами Аэта. И вскоре Аэт забыл о существовании настоящего отца Фрикса. Душа его была спокойна, потому что он не знал истины. А истина была горькой и жгучей. Такой вкус был во рту у Аэта сейчас, через двадцать пять лет, когда вошла к нему Медея с черешневой гроздью в руке. И Аэт, не задумываясь, оторвал ягоду от грозди, чтобы освежить себе рот.

Истину знал один Фрикс, и все эти двадцать пять лет, живя во дворце Аэта, он думал лишь о том, как бы она не

обнаружилась. Фриксу исполнилось всего десять лет, когда он в последний раз перешагнул порог отчего дома, но ум у этого мальчика, выросшего в бедности, был взрослый. Он сразу понял, чего от него требуют, какое поручают ему дело и за что платят деньги его нищим родителям посланные величайшего из царей. Одного из них Фрикс не мог забыть всю жизнь — уже зрелым мужчиной порой видел его во сне и, обливаясь холодным потом, в ужасе вскакивал с ложа. У этого человека висело на шее черное гишеровое ожерелье и ногти были выкрашены в черный цвет. Порой он засыпал среди разговора, и Фрикс с родителями затаив дыхание ждали, когда он, проснувшись, откроет свои болотно-зеленые глаза. Эти неожиданные погружения в сон наводили ужас на весь дом. Что если он больше не проснется, если душа его ускользнет, пока он спит, и смерть придворного величайшего из царей будет поставлена им в вину? Бледные, перекуганные родители Фрикса знаками разговаривали друг с другом и Фриксу показывали, чтобы он сидел молча и не шевелился, хотя Фрикс и не нуждался в предостережениях — от страха он деревенел так, что даже если бы на него науськали злого пса, и то не смог бы двинуться с места. К счастью, придворный величайшего из царей неизменно просыпался — сперва улыбался, а потом открывал глаза; казалось, он и спящий все видел и во сне забавлялся зрелищем онемевших от ужаса людей. Проснувшись, придворный величайшего из царей продолжал свою речь с того самого слова, на каком его одолел сон. «Колхида — хорошая страна, — говорил он так, словно только что оттуда возвратился. — Ни один ребенок, родившийся в Колхиде, не может пожаловаться на свою судьбу. Да, да, Колхида — страна детей, слово ребенка там закон, и представьте себе, тамошние дети мудрее, чем у нас взрослые люди, должно быть, потому, что они любят учиться.

Перевод Элизбара АНАНИАШВИЛИ

Окончание следует

ЛИСТЬЯ ПАПОРОТНИКА

Р о м а н

Утром за завтраком Нино несколько раз бросала на Натю тревожный взгляд, но молчала.

Андро ночью тоже проснулся, когда Нино окликнула дочь. Но ведь отчим никогда не вмешивался в их дела. И теперь он знал, что лучше оставить мать с дочерью наедине, и потому, наскоро проглотив яичницу и выпив чаю с молоком, встал из-за стола и сказал:

— Сегодня я очень тороплюсь, Нино. Так что я пойду, не буду ждать тебя. Вечером приду пораньше. Фрукты принесу. Больше нам ничего не нужно?

Это «нам» звучало несколько неестественно. Андро сам это почувствовал, взглянул еще раз на часы.

— Ну, я пошел.

— Интересно, пожалеешь ли ты когда-нибудь этого человека? — не глядя на дочь, произнесла Нино, когда Андро вышел, и сама же ответила: — Наверное, никогда...

— И не надоело тебе говорить об одном и том же, мама?

— Эх! — Нино горько вздохнула. — Да, а чего ты хохотала ночью?

— Аа... Я вспомнила письмо, которое получила...

— Письмо?
— Ну да... Что тут удивительного?
— Да нет, я не удивляюсь. Но...
— Что но?..
— Натиа, прошу тебя, подумай как следует, прежде чем решиться ехать в провинцию... Это письмо от Ардживанидзе?

— Что?
— Натиа, я знаю, что ты кружила голову Теймуразу. Знаю, что он хороший парень, его все хвалят. Но ведь он в провинции... А ты сможешь? Ты и здесь задыхаешься.

— А может быть, там легче дышится, ты об этом не подумала?

— Натиа!

— Письмо не от него, успокойся.

— От кого же?

— А что, я обязана отчитаться?

— Конечно, нет.

— Серьезно?

— Я вовсе не требую этого от тебя.


— Вот и чудесно. А теперь дай щечку. Ты все-таки моя самая хорошая мамуля.

И Натиа, поцеловав в щеку растерянную мать, выбежала из комнаты. Нино села на стул и долго сидела в совершенной прострации, забыв о том, что ей надо спешить на работу. Натиа давно уже не целовала ее... Что происходит с девочкой?

Натии исполнилось двадцать три года. По природе своей гордая и даже надменная, она обладала по-детски доброй и неиспорченной душой. Может быть, потому, прочитав письмо, она только засмеялась, когда любого другого человека такое письмо могло встревожить. В глубине души ей настолько противен был Бесарнион Маглакелидзе, каждое его слово или поступок вызывали в ней такую неприязнь и иронию, что она не могла даже представить себе, как он посмеет дотронуться до нее. Но чисто женским инстинктом она чувствовала также, что нельзя так издеваться над ним, если он сорвется, остановить его будет невозможно.

Анонимное письмо заставило ее подумать о том, что она уже далеко не ребенок, что ей следует быть осторожнее в своих поступках, ибо то, что прощалось ей, как девчонке, все ее фокусы и капризы могут теперь сослужить ей плохую службу. Она даже в зеркало смотрела на себя уже иными глазами, не могла не замечать, что она красива.

Как ни старалась Натиа не думать об анонимном письме, она все-таки нет-нет да возвращалась к нему. Теперь у нее не было никакого сомнения в том, что писал его Мирза Чиракадзе. Как бы там ни было, она должна вести себя так, чтоб Бесарнион не заподозрил, что Натиа знает о его грязных намерениях. Но Натиа чувствовала также, что сделать это будет ей нелегко. Она была гордой и вспыльчивой, вот почему скорее всего следовало ожидать, что, не стерпев, Натиа в один пре-



красный день выложит Бесариону все, что думает о нем, и тогда уже от Бесариона можно ждать чего угодно. Если Натиа догадалась, кто автор анонимного письма, так неужели не догадаются об этом Бесарион или его дружки?

Да, вот когда необходимо, чтоб рядом был друг, настоящий, преданный. Случись все это несколько месяцев назад, Натиа поведала бы обо всем Теймуразу. Теперь же... Теперь, если она и думала о ком-то, то это был Номали. Теймураз — замечательный парень, бесстрашный, смелый, ради Натии он пойдет на все... Но разве можно сравнить его с Номали? Как была бы счастлива Натиа, будь Номали рядом... Но что поделаешь, сейчас он отстаивает честь отечественного спорта, и Натии следует ждать...

А пока что Натиа по-прежнему каждый день в восемь часов утра шла на работу, в перерыв обедала в институтской столовой и в шесть часов вечера возвращалась домой. Работой на кафедре ее пока что не загружали, разве что в течение дня ей приходилось произвести лишь небольшой расчет, и ничего более.

Об анонимном письме она стала уже забывать... Газеты же все чаще публиковали сведения о триумфе тбилисских ватерполистов. Они выиграли даже у всемирно известной итальянской команды. Сам Джакобо Джеральдини, лучший игрок итальянцев, даже сам Джакобо Джеральдини признал Номали Дихаминджия спортсменом номер один. Со страниц газет смотрел на Натию веселый, жизнерадостный, счастливый Номали. Натиа, разумеется, знала, что чуть ли не все красавицы Тбилиси вздыхают по нем, вот почему ей льстило, что Номали заметил, и не только заметил — шестое чувство, присущее лишь женщинам, подсказало ей, что он и остановил свой выбор на ней.

А дни шли за днями. Обычные, ничем не примечательные будни. Но однажды, выходя из здания института, Натиа увидела возле тротуара две знакомые «Волги». Под сводами топей стояли Бесарион и его дружки. Отступить было некуда — они заметили ее. Натиа смело направилась к ним.

Раньше, когда она училась в политехническом институте, Бесарион и его товарищи не раз встречали ее после лекций. Но тогда они были уверены, что Натиа последует за ними. В этом был уверен каждый из них — багровый и бессмысленно улыбающийся Бесарион, всегда угрюмый Булескирия, улыбочивый, но флегматичный, равнодушный ко всему Джавелидзе, рыжий Анзор Купатадзе, который всякий раз, встречая Натю, смотрел на нее так, словно говорил: что бы ни случилось, я всегда буду верен тебе.

Теперь на лицах друзей не было и следа беззаботности. Натиа это почувствовал тотчас. Бесарион был багровее обычного и смотрел на Натю даже как-то робко. Раз два даже отвел взор. Натю это не удивило — она всегда знала, что Бесарион — не совсем пропащий человек, потому-то терпела его ухаживания.

Мирза Чиракадзе сделал вид, что не сразу заметил Натю. Он здоровался с кем-то и вдруг, словно «случайно» увидев ее, низко склонил голову. Натю показалось, что он слегка зарделся.

«Определенно это он писал», — мелькнула у нее мысль.

Тенгиз Джавелидзе был явно не в духе. Всем своим видом выражал он полное безразличие к происходящему.

«Молодцы, ребята, — подумала Натя, — вы в самом деле не шутите. Как же мне быть теперь?».

— Здравствуйте, Натя, — Бесарион ло обыкновенно достал из кармана платок, вытер потное лицо. — Как поживаете?

— Спасибо, хорошо.

— Давно не виделись...

Натя смолчала. Незаметно огляделась, но никого из знакомых не увидела. Да если бы даже видела, не могла же она ни с того, ни с сего бросить старых «друзей».

— Может быть, вас довести до дому?

— Благодарю. Но я предпочитаю идти пешком.

— Ваша воля...

Бесарион пошел рядом с Натией. Остальные шествовали поодаль. Так бывало всегда, с той лишь разницей, что сегодня долго никто не решался первым начать разговор.

— Как сказать... — Бесарион вытер платком потный подбородок. — Эта жара, как сказать... выжгла все... Уже осень, а все печет... Что будет с урожаем?..

«О-о, с каких это пор тебя волнует судьба урожая?.. А что если сесть в машину, посмотрим, на что он способен...».

— Вам не жарко, Натя?

— Нет, Бесарион, представьте, даже наоборот, холодно.

— Ха-ха-ха! Вы всегда острите, Натя!.. В самом деле, будет неурожай...

— Ну, как-нибудь справятся... А вообще-то, как у вас дела? Мы ведь и в самом деле давно не виделись, — Натя говорила это, даже не глядя в сторону Бесариона.

— Да, давно не виделись... Вы, наверное, нашли друзей получше...

— Почему вы так думаете, Бесарион?

— Не знаю.... Кому что нравится, хе-хе-хе...

«Конечно же, не надо садиться в машину. Эти еще умчат куда-нибудь... Вон Булескирия каким волком смотрит...».

У Натю почему-то разболелась голова. То ли от страха, то ли от волнения. Еще бы ей не бояться! Она одна, а их вон сколько!.. Боже, хотя бы показался кто-нибудь из знакомых!..

— Друзья мои утверждают, что вы брезгуете нашей компанией, что вы гордячка, а я говорю, что это не так... Правда, Мирза? — обратился Бесарион к Чиракадзе, идущему поодаль.

— Что? — вздрогнул Мирза. Но тут же взял себя в руки и подошел к ним. — Что ты сказал?

— Я говорю, что Натя совсем не гордячка, помнишь, мы как-то говорили, что...



— А-а... — Мирза, разумеется, ничего не понял.

— Хм... Помните, вы все утверждали, что Ната не желает дружить с нами, а я говорил, что нет...

— А-а... Да-да... — Мирза, правда, подобного разговора не помнил, но все-таки кивнул головой. — Да, должен сказать, Бесарион относится к вам с почтением. Одним словом, в его лице вы имеете верного и достойного рыцаря!

«Приятно слышать. Но кого же имеет рыцарь Бесарион в вашем лице, Мирза? Может быть, скажете? Хотите, я задам этот вопрос вслух?..».

— Как сказать... В самом деле, я должен сказать, Ната, что... — поддержка Мирзы окрылила Бесариона. Он хотел сказать еще что-то, чтоб показать Ната, как он к ней расположен. Но не мог ничего придумать. Рукой вытер вспотевшее лицо, потом только вспомнил, что в левой руке у него платок. Спрятал платок в карман. — Да... Жизнь такая штука... Главное между людьми любовь, потом понимание, уважение... Я так считаю...

«Ты прав в этом, хотя я знаю, что ты подонок и трус. Глупый трус...».

— И Мирза вас очень уважает, — пробубнил Бесарион. — И вообще каждый из нас относится к вам с большим уважением... Мирза особенно... И все ребята стоят на высоком уровне, идут в ногу с современностью... — Бесарион явно молот чепуху, хотя сам думал, что произносит умные речи. Он оглянулся, чтоб снова призвать на помощь Мирзу.

«Да, все вы хороши», — думала в это время Ната.

А Бесарион все оглядывался, ища поддержки в Мирзе Чиракадзе, но тот, воспользовавшись моментом, отстал. Бесарион выпалил весь свой заряд красноречия и теперь, разумеется, молчал.

Две «Волги» не спеша следовали за ними вдоль тротуара.

«Интересно, кто за рулем? Кого они уговорили? Разумеется, таких же головорезов, как сами».

Они прошли площадь Героев. Бесарион снова достал из кармана платок, вытер выступивший на лбу пот.

— Вы, конечно, не обедали, Ната. Если вы не против, вот машины, поедем куда-нибудь. Пока что, слава богу, благодаря отцу... хе-хе-хе... денег достаточно... Давно мы не обедали вместе...

— Да, давно.

— Поехали?

— Нет!

— А? — Бесарион растерянно снова оглянулся.

«Идиот, совсем потерял голову. Видит, что все идет не так, как они разыграли».

К ним подошли остальные ребята, Бесарион, осмелев, нагло оглядел Натаю серыми глазами.

— Что, компания неподходящая?

— При чем тут компания?

— Так в чем дело?



— У меня нет времени.
— Раньше было?
— То было раньше.
— Значит?
— Говорю же, нет времени.
— Куда спешите? — это уже спросил Тазо Булескирия.
— Меня ждет мама. — Натиа перекинула по обыкновению сумку через плечо.
— И спортсмены... Знаменитые спортсмены, — вспыхнул Бесарион.

— Бесарион, успокойся, Натиа, конечно же, спешит, — Тазо Булескирия огляделся. — Ведь она никогда не отказывала нам в просьбе отобедать с нами.

— Разумеется.
— Как сказать... Ну что мы такое сделали, как сказать... Значит, а?

— Ну что ты говоришь, Бесарион. Просто-напросто спешит человек, ждет мама... Отныне мы будем предупреждать Натию заранее. А теперь, раз вы спешите, Натиа, садитесь, вмиг прикатим домой.

— Конечно, как сказать... Садитесь, подвезем...
— Хотите в первую «Волгу», хотите во вторую... Обе к вашим услугам, — Булескирия не спускал с Натии злого взгляда.

«Что ответить?»

— Не хотите? — Булескирия снова огляделся.
— Нет! Не хочу, и не сяду! — резко бросила ему в лицо Натиа. И, не оглядываясь, быстро пошла вверх по улице.

Никто не заметил, как на губах Мирзы Чиракадзе мелькнула довольная улыбка.

Бесарион и его дружки еще долго молча смотрели вслед удаляющейся Натии.

— Догоним? — спросил Бесарион.

— Оставь! — Булескирия язвительно ухмыльнулся.
Откуда-то вынырнул Абдулла (Бесарион даже забыл, что в игре ему принадлежала чуть ли не основная роль). Он протянул Бесариону свою короткую руку и, печально причмокивая, покачал головой, мол, жаль, сорвалось такое дело. Хотя то, что дело сорвалось, ему лишь на руку. Свои пятьсот рублей он уже получил, а делать ему, как выяснилось, нечего. Вообще-то хитрый и опытный во всяких таких делах Абдулла давно уже смекнул, что эта красавица вовсе не собирается садиться в машину, да к тому же и Бесарион принимал в игре очень пассивное участие, мечтая в глубине души «выйти из игры».

— Да, жалко, Бесарион, дорогой, такой девоска, такой красавица! — говорил Абдулла, не переставая качать своей огромной головой.

Бесарион зло стукнул кулаком о решетку зоопарка. Тенгиз Джавелидзе вскарабкался на ту же самую решетку, устроился поудобнее и закурил. Такая усталость, такое безразличие было написано на его лице, словно он пришел на этот свет не каких-то двадцать лет назад, а два или три тысячелетия, был очевидцем и участником всей истории челове-

чества и ему только и остается сказать друзьям: неужели вы еще чего-то хотите или же верите во что-то... Я уже все видел, все испытал, все на свете тщета и тлен, вот почему ни во что и никому не верю.

— Я посол, а, — зашепелявил Абдулла. — Делай нету, посол. а?

— Что, торопишься? — спросил Булескирия.

— Я?.. Да нет...

— Так останься, поговорить надо.

— Пожалста...

— Пошли в университетский сад, — приказал Булескирия.

Ребята молча последовали за ним.

Белое здание университета уже окутали синие сумерки. На посыпанных битым кирпичом аллеях лежали черные тени деревьев. Вдоль главного входа горели лампы. В саду было многолюдно. Гуляли молодые мамы с детьми, на зеленых скамейках группами сидели пенсионеры.

Тазо Булескирия и компания прошли в глубину сада, в сторону зоопарка.

Тазо шел не оглядываясь. Наконец он остановился там, откуда открывался вид на зоопарк и площадь Героев, и бросился на траву. Остальные последовали его примеру. Стоял только Абдулла. Долго все молчали. Наконец Бесарион, сдвигнув брови, деловым, многозначительным тоном произнес:

— Выходит, кто-то нас предал?

— Выяснится. — ответил Булескирия.

— Она даже не села в машину, — словно про себя произнес Бесарион.

— Выяснится, — повторил резче Булескирия.

Тенгиз сделал Абдулле рукой знак отойти в сторону, лег на траву навзничь и подложил руки под голову.

— Сигареты вышли, — Булескирия похлопал себя по карманам.

— У меня «Мзиури», — Бесарион протянул сигареты.

— Я не курю «Мзиури», — бросил Тазо.

Бесарион швырнул сигареты на траву. Даже в сумерках было видно, как он весь побагровел.

«Еще как куришь... — подумал Мирза. — Это ты назло Бесариону говоришь, тебе лишь бы ужалить его».

— Эй ты! — Тазо пальцем поманил Анзора Купатадзе и протянул ему рублевку. — Сбегай-ка, принеси «Колхети».

— Сейчас все магазины закрыты, — пробормотал Анзор, беспомощно моргая глазами.

— Закрыты твои мозги! Вон рядом в одиннадцатизэтажном открыто, сбегай!

Анзор не проронил ни слова, стал спускаться. Вообще Анзор всегда боялся этого желчного и жестокого человека, от которого ему не раз уже доставалось. Сколько раз, особенно когда темнело, он хотел, бывало, уйти от дружков, но тот же страх перед ними, а может, самолюбие удерживали его.

Пока Анзор бегал за сигаретами, все молчали. Абдулла стоял, прислонившись к дереву. Тенгиз Джавелидзе внимательно

но изучал звезды, Мирза и Бесарион были заняты своими мыслями.

Бесарион сидел, стиснув зубы. Вообще-то идея похищения Натии принадлежала не ему. Все задумал Булескирия, а Бесарион в глубине души не верил, что это возможно, боялся, что дело провалится и тогда ему не миновать позора.

Все завершилось для Бесариона как нельзя лучше. Натия явно была предупреждена, значит, ни у кого не возникнет сомнения в дерзком намерении Бесариона. Не вышло дело, причем тут Бесарион? Почему же так взбешен Булескирия? Бесарион давно уже замечает, что Тазо не терпит взять власть над друзьями. Нет уж, дудки. Бесарион не даст ему этой возможности.

— Что будем делать? — спросил Булескирия, ни на кого не глядя.

— Дорогой Тазо, мы ведь не дети, — сказал Мирза. — Мы понимаем, что тебя волнует. Так вот, мне кажется, что сейчас надо оставить в покое Бесариона, ему и своего горя хватит. Ты что, Бесарион, отказываешься от Натии? — повернул он к Бесариону.

— Ни за что! — выпалил Бесарион.

— Ну вот, значит, все еще впереди. А разобраться в сегодняшнем никто лучше тебя не сможет, Тазо, не так ли, — обернулся Мирза к ребятам.

Те молча кивнули.

— Так вот, кто продал нас, пусть признается сам! Все мы здесь, и один из нас предатель! — Тазо снова опустил на траву.

Все молчали.

Бесарион видел, что Булескирия в своей стихии: он найдет изменника, изобьет до полусмерти, тем самым завоеует славу среди тбилисской шпаны, станет «своим парнем», затмит Бесариона. Но что ему, Бесариону, делать? Не может же он сказать Тазо, что не хочет никаких расследований!..

— Ты, конечно, прав, — обратился он к Булескирия, сдерживая гнев. — Изменник должен быть наказан. И будет наказан... так сказать... Но нельзя вот так, сразу... Надо выяснить, подождать, может быть, у того это вышло случайно, необдуманно.

— Ты, конечно, не был на войне, — ответил Тазо. — Там не интересуются, почему ошибся. Ошибка есть ошибка. Ты виноват. И все!

Булескирия не собирался выпускать инициативы из рук.

— То, что нас продали, это факт, — проговорил Мирза.

— Абдуллу надо отпустить, — бросил Тазо.

— Точно, — тотчас согласился Бесарион.

— Вот хорошо, вот молодцы, — Абдулла, видимо, куда-то спешил и, конечно, был несказанно рад такому решению Тазо. — Я ни при чем. Девоску видел первый раз.

— Знаем, иди! — великодушно разрешил Бесарион.

Абдулла пожал руку каждому в отдельности и скрылся в темноте.

— Ничего себе! За рукопожатие — пятьсот рублей, — проговорил в задумчивости Тенгиз Джавелидзе.

— Дело здесь не в деньгах. Он человек дела, на нас у-робил весь вечер, — Булескирия бросил на Тенгиза злой взгляд.

— Разумеется. — тотчас подтвердил Бесарион. — Этот человек сделал свое дело, кто виноват, что мы не годимся.

— Так вот именно это мы и должны выяснить, кто из нас годится, а кто нет:

Это был уже откровенный вызов.

«Смотри-ка, как заговорил? Если он сегодня так разошелся, что будет завтра?» — подумал Бесарион.

— Я уже сказал, не стоит спешить.

— А я и не спешу.

— Ну и отлично.

— Хочешь, до утра будем сидеть в этом саду?

— Я не это имел в виду.

— Я понимаю, что ты хочешь сказать...

— Ну и что же?..

— Бесарион, ты не так меня понял.

— Я все хорошо понимаю!

— Хм! — Булескирия покачал головой и в знак того, что сдается, скрестил руки на груди.

Дело в том, что Тазо все-таки боялся Бесариона: он мог не утруждать себя поисками аргументов, а избить так, что потом не опомнишься. Бесарион тем и прославился, что бил без пощады, и чем немогуще противник, тем он бил беспощаднее. Подобный поворот дела Булескирия сейчас не устраивал.

— Давай успокоимся, — сказал он примирительно Бесариону. — Не надо поддаваться нервам.

— Я спокоен.

— Надо беречь нервы.

— Ты позаботься о собственных нервах.

— Ну вот, молчу!

— Ну и молчи!

Мирза Чиракадзе затаив дыхание слушал их перепалку. Избей сейчас Бесарион Тазо, счастливее Мирзы не было бы на свете человека, но, видя, что дело идет к примирению, Мирза вскочил и обратился к ним:

— Тазо! Бесарион! Мы ведь не дети! Не ругаться же мы пришли сюда!

— Я ни с кем не собираюсь ругаться, а если кто-то и хочет, пусть скажет.

— Никто и не хочет драки.

— Отлично...

— Ты успокойся.

— Я спокоен.

— Вот и хорошо.

— Предатель не скроется, — обратился Мирза к Тазо. — Рано или поздно все откроется.

— Я этого и хочу.

— Ты хочешь чего-то другого! — снова вспыхнул Бесарион и побагровел.

— Бесарион!

— Да прекратите вы! — снова вмешался Мирза, — Бесарион, ради бога...

— Ради бога, ради бога! — нервно повторил Бесарион. Девушка вот-вот улетит... как сказать... а тут ради бога! «Девушка эта, считай, уже улетела от тебя», — подумал Мирза.

— Мне сейчас сочувствие ваше нужно... А выйдите, чтоб я считался с вами, как сказать... А если кто-то хочет расчитаться со мной — я готов, а издеваться, как сказать... не позволю!.. — Бесарион не шутил. Любую минуту следовало ожидать, что Бесарион кинется на щуплого Булескирия, и тогда тому некуда и некогда будет отступать. Все, в том числе и сам Бесарион, понимали, что сегодня он потерпел фиаско, и, чтоб восстановить свое славное имя, остается единственный выход — выместить зло за свой позор на ком-нибудь.

Никто не видел Булескирия таким растерянным. Он курит сигарету за сигаретой и напрасно старался спрятать дрожащие руки. Анзор Купатадзе, изумленный, не спускал с него взгляда.

Постепенно Бесарион успокоился. Волнения последних дней, ожидание, поиски денег, которые следовало заплатить Абдулле, наконец, сегодняшний крах настолько доконали его, что он даже не хотел сейчас драки. Он встал, окинул Булескирия недобрый взглядом.

Встали и остальные. Мирза счел нужным сказать все-таки:

— Что получается? Вместо того, чтоб найти виновного и расчитаться с ним, мы только спорим тут друг с другом. Та-ко в одном прав, виновного надо найти, непременно...

— Постой... — Бесарион похлопал Мирзу по плечу. — Дорогой Мирза, подожди-ка... Я не меньше других хочу найти виновного, я уж расквитаюсь с ним... Но... не надо спешить! Подожди. У каждой женщины, известно, своя психология. Натя стала работать, у нее новые знакомые... Подождем... Не бойтесь... Как сказать... все прояснится... А теперь я пошел...

Бесарион поправил ворот рубахи и пошел к выходу. Он вновь вернул свое влияние на дружков, это он почувствовал. Никто уже не перечил ему, все молча последовали за ним. Сперва Мирза, за ним Анзор, Тазо и под конец Тенгиз. Они прошли небольшое расстояние, и тут случилось такое, чего никто не мог предвидеть и ожидать. Идущий впереди Тазо Анзор Купатадзе почему-то наклонился, видимо, завязывая шнурок на туфле. Вдруг Тазо подошел к нему и что-то спросил. Никто не расслышал, что именно. Не слышали также, что ответил Анзор. Неожиданно Тазо со всей силой ударил Анзора ногой в пах. Тот взвыл от боли, упал и перевернулся на бок.

Наутро сторожа обнаружили в траве труп рыжего парня...

* * *

Джибраила Хелтуплишвили наивным не назовешь. Во-первых, скоро ему уже тридцать пять, к тому же он успел пережить немало — познал радости и печали сей жизни. Испытал и голод и холод, был обделен лаской, познал неблагодарность людей, ненасытность близких и хладнокровие знакомых... Од-

нажды его обвинили в клевете. Поначалу он даже смеялся этому, потом обиделся. Он был тогда прав, но оправдался с трудом. Что поделаешь, человек на то и человек, чтобы попытаться в своей жизни многое. Джибраил устоял. Не сдаваясь, не сломился. Ему можно было только позавидовать. А сколько радости принесло ему рождение Гогутуны, ее первый лепет, первые шаги! Тогда он прямо-таки на крыльях несся домой. И с женой ему повезло. Что греха таить, Джибраил в ранней молодости был любимцем женщин. Но с тех пор, как женился, для него перестали существовать другие женщины. Не пристало говорить мужчине вслух о своей жене, иначе... Джибраил мог долго рассказывать о том, как ему повезло с женой.

И все это исчезло, растаяло, как сон.

...Из Кутаиси они ехали домой так, что Иринэ ни разу даже не взглянула на Джибраила. И даже тогда, когда уснула Гогутуна. Прикорнув рядом с дочерью, она задремала. А к Джибраилу сон не шел.

В соседнем купе ехали молодые парни, судя по разговору — шахтеры... Как обычно, в дороге они немного выпили и потому были чрезмерно разговорчивы. Джибраил подумал было, что ребята, подвыпив, слишком разойдутся, и тогда, конечно, разбудят Гогутуну с Иринэ. Но ребята к десяти часам замолкли, и Джибраил услышал, как кто-то сказал: «Ну, братцы, хватит, в соседнем купе едет Джибраил Хелтуплишвили с семьей. Неудобно все-таки». И в купе затихли, а спустя немного времени, оттуда донесся дружный храп. Джибраил даже усмехнулся — неизвестно еще, что лучше — этот стройный храп или веселый разговор.

Молодые шахтеры, видимо, не знали, что Джибраил уже не начальник шахты, а если бы знали, были бы столь же почетительны?..

...В квартиру, где они провели столько счастливых дней, Джибраил и Иринэ вошли с тяжелым сердцем. В квартире было душно, пахло пылью. Гогутуна бросилась к телефону и стала звонить, как она сказала, «своей подружке». Иринэ, по-прежнему стараясь не смотреть на Джибраила, открыла окна, потом приготовила для дочери яичницу, накормила ее и приступила к уборке. Джибраил зашел к себе в комнату, сел на тахту и тяжело вздохнул. Во всем городе, где у него когда-то было столько друзей, нет теперь ни одного человека, кому он был бы рад в эту минуту.

Джибраил не сомневался в том, что шахтеры обижены. Еще бы! Уехал, бросил их, можно сказать, на произвол судьбы (ну что потребуешь от такого неопытного, неоперившегося птенца, как Теймураз!). Неужто трудно им понять, что ему сейчас не сладко, что обида мучает, терзает его душу, что сомнения не дают ему покоя... За что обошлись с ним так жестоко?! Разве, имея в руках диплом, он работал бы еще лучше?! Почему надо слепо следовать закону и не думать о том, что речь идет о человеке, о живом существе, которое не вечно на этой земле! Так почему надо обязательно отравлять ему жизнь?

Джибраил думал, что уже никто не откроет дверь его квартиры. Но он ошибся. Не прошло и часа после их приезда, как раздался звонок. В дверях стоял Афрасион Гобеджишвили, начальник отделения связи шахты, известный взяточник и пройдоха. Вошел он в переднюю, в которой тотчас запахло винным перегаром. фамильярно обнял Джибраила за плечи. Джибраил убрал его руку с плеча, пригласил в свою комнату.

— С чего это ты вспомнил меня? — мрачно спросил он.

— Э-э, дорогой Джибраил, кому ты это говоришь? Разве я могу забыть тебя?

— И всё-таки?

— Да ты не беспокойся, я зашел к тебе просто так, по-дружески. Хотя, должен сказать, с тех пор, как ты не начал твой участка, многие пристают ко мне, мол, не полагается тебе больше телефон. Но я всем сказал... Ты не смотри, Джибраил, что я сейчас немного пьян... Я всем сказал...

— Мне в самом деле не полагается больше телефон?

— Джибраил, я тебе говорю...

— Отвечай! — повысил голос Джибраил.

Гобеджишвили от неожиданности вздрогнул, опустился в кресло, обхватил голову руками и заскрежетал зубами. Да, выпил он, конечно, изрядно...

— Ты слышишь меня?

Афрасион поднял голову и уставился на Джибраила мутными, бессмысленными глазами.

— По закону? По закону, конечно...

Но тут с шумом распахнулась дверь, и на пороге показалась Иринэ.

— По закону телефон полагается мне, слышишь? Или ты забыл, где я работаю?! Убирайся отсюда немедленно! Немедленно! — закричала она. — И чтоб я тебя никогда больше здесь не видела.

Гобеджишвили, несмотря на то, что был пьян, покраснел, встал и молча поплелся к двери.

— Извините, но я...

— Не нужны мне твои извинения! — Иринэ захлопнула за ним дверь и, не глядя на Джибраила, прошла на кухню.

Сказать правду, Гобеджишвили заглянул к Джибраилу на всякий случай, а вдруг ему что-то перепадет. Он отлично знал, что никто не будет претендовать на телефон Джибраила. Но если все-таки припугнуть его, может статься, он подбросит кругленькую сумму. При мысли об этом Джибраила прямо-таки передернуло. Он еще не переварил историю с аттестатом, надо же было, чтоб следом явился к нему этот новый взяточник...

На следующий день Иринэ отвела девочку в детсад, а сама пошла на работу. Джибраил остался один. Он слонялся по комнатам, бесцельно переставлял с места на место какие-то предметы... И все думал... Думал... Нет, так жить невозможно... Надо что-то предпринимать...

Так вот в этот день выяснилось, что не только Афрасион Гобеджишвили ждал с нетерпением возвращения Джибраила. Ждал его еще один человек. Конечно же, никто и представить себе не мог, что приезда Джибраила ждет не дождется Миту-

ша Каимамишвили, тот самый, который сманил лучшего его комбайнера — Юло Сопромадзе.

Признаться, Джibraил не часто вспоминал о том, что одной из шахт работает некий Митуша Каимамишвили. Каждого из них была своя работа — и никаких точек соприкосновения. Но почему-то всегда случалось так, что того, что было мечтой для Митуши и чего никогда он не мог добиться, Джibraил добивался просто играючи. Будь то внедрение новой механизации, или же испытание новых крепежных конструкций, достижение цикличности на участках, выполнение взятых обязательств или же повышение качества труда, экономия электроэнергии, вспомогательных материалов и фондов зарплаты — одним словом, все, где может проявить себя начальник участка и чем ценится его работа, его человеческие качества, достоинство руководителя. Ни в чем не мог Каимамишвили опередить Джibraила, стать с ним вровень. Вот почему снедала его зависть. И не скрывал он своей неприязни к Джibraилу.

Надо же было, чтоб так повезло Митуше! Он понимал, что отныне Джibraилу нелегко будет вернуть былую славу. И наконец-то для него, Митуши Каимамишвили, открывается широкое поле деятельности. Наконец-то он сможет всем доказать, что не только Джibraил был достоин всеобщего почтения.

И вот однажды, на удивление всем своим шахтерам, Митуша заявил, что, правда, он никогда не считался другом Джibraила, тем не менее, должен отметить, что поступили с ним несправедливо и он с большой радостью протянул бы Джibraилу руку помощи.

— А что ты можешь сделать для него? — удивились шахтеры.

— Как говорится, человек человеком жив... Все равно он долго еще не сможет получить должность начальника. И если он придет ко мне на участок, я приму его с большой радостью. Пусть работает крепильщиком и загребает деньги. Вот заявляю всем: если вам я буду, к примеру, давать рубль, ему за ту же работу я буду выписывать втрое больше...

— Это почему же?

— За то, что он настоящий мужчина.

— Так тебе и дали возможность по-своему распоряжаться зарплатой.

— Это уж позвольте мне знать.

— Ну хорошо... Но ведь крепильщиком он может работать и на своем участке, зачем ему непременно к нам идти?

— Э, нет, работать простым крепильщиком на участке, где был начальником? Дорогой мой, ты совсем не разбираешься в жизни и в людях. Там, где ты был начальником и все склонял перед тобой голову, — не соглашайся на понижение, предпochти смерть! Если тебя понизили в должности, уходи немедленно... Сам испытал это на собственной шкуре... Так-то вот!..

— Мы против Джibraила ничего не имеем.

— Так передайте ему мои слова.

— А чего мы будем передавать. Вот его бывший друг Юло Сопромадзе и передаст.

Юло с радостью взялся за это дело. И узнав, что Джибраил вернулся из Кутаиси, пошел к нему. Поведал обо всем, сказал, что все шахтеры ждут его с нетерпением, а уж там будут его не меньше, чем уважали прежде.

Джибраил задумался.

Возвращаться на свой же участок простым крепильщиком ему, разумеется, не хотелось. В конце концов, это бьет по самолюбию, и побороть в себе это чувство он не в силах. Джибраил знал, что, вернись он на свой же участок, ему обрадуются. Ведь он нужен на участке, нужны его знание дела, опыт работы, интуиция, в конце концов... Но ведь нужно подумать и о себе... Вот Юло пришел к нему с предложением работать с ним, почему же его друзья не сделали этого? К тому же Джибраил помнил слова Иринэ — если даже просто взглянешь в сторону второй шахты, навсегда потеряешь меня и Гогутуну! Иринэ самозлюбива и горда и от слов своих не отступит... Так что о возвращении на свой прежний участок не может быть и речи.

Но Джибраил знал, что Митуша Каимамишвили, чтоб добиться своего, не поступится ничем. Есть у него дутые рекордсмены, уголь больше нормы он «добывает» за счет того, что «берет в долг» на железнодорожной станции или же на других участках. Да, любит он пускать начальству пыль в глаза. И еще много чего говорят о «достоинствах» Каимамишвили, и, по всему виду, в этих разговорах есть немалая доля правды.

— Юло, сам ты ошибся, а теперь и меня толкаешь на это?

— Почему я ошибся?

— А как же...

— Ну что мне скрывать... Не от хорошей жизни ушел я к Митуше. Посуди сам, не лучше все-таки работать с Каимамишвили, чем с этим нашим цыпленком Арджеванидзе?

— Но ведь участок работает по-прежнему хорошо.

— Пока там все еще идет хорошо по инерции. Дай время, и сам увидишь, как там все полетит к чертовой бабушке и что я был прав.

— А как на новом месте?

— Отлично! Слава богу, всегда надеялся только на свои руки. А работать, ты знаешь, я умею.

— Но ведь о Митуше чего только не говорят...

— Верь ты всем! И потом, какое это может иметь отношение к тебе, а? Прошу тебя как брата, послушайся моего совета. На шахте все тебя знают и ждут с нетерпением.

— Подумаю...

Юло ушел обнадеженный, радостный, а Джибраил снова предался мрачным мыслям...

К удивлению Джибраила, выслушав его, Иринэ не вспыхнула, как обычно, не наговорила ему обидных слов, а лишь молча вышла из комнаты. Вечером Джибраил снова обедал в одиночестве, но чувствовал, что постепенно тает лед обиды, что еще немного потерпеть, и смягчится доброе сердце Ири-

нэ, поймет она, что напрасно обижается на мужа, напрасно терзает себя и его.

Было около восьми часов вечера, когда в квартире Джибраила раздался телефонный звонок. Звонил Митуша Каймамишвили. Говорил он по-деловому, сказал, что для него большая честь работать вместе с Джибраилом и что он ждет его.

А еще позднее, когда уснула Гогутуна, в комнату Джибраила вошла Иринэ. Джибраил вскочил было навстречу жене, но она махнула рукой, мол, не надо, сиди на своем месте. Она устроилась в кресле напротив, оглянувшись, плотно ли она закрыла дверь, и посмотрела Джибраилу в глаза.

— Ну что, дожил?

— ?..

— Дожил, говорю, до того дня, когда снова придется работать крепильщиком?

— Иринэ!

— Не беспокойся! Я не ругаться с тобой пришла. Слушай меня. Не будем вспоминать Кутаиси и все, что с ним связано. Этому Ломкация я еще скажу пару теплых слов. А ты запомни: ляг костями, но весной получи аттестат, как положено. Просто я не хочу, чтоб муж мой был неучем. Мне людей стыдно. Я за тебя шла не из-за диплома и должности, ты это хорошо знаешь, но... Но больше не хочу терпеть... Не могу... Если весной не получишь аттестат, я не знаю... Я просто не знаю... что будет... Нет, нет, сиди, не подходи ко мне...

Иринэ разрыдалась и выбежала из комнаты.

* * *

«Не знаю, пошлю ли я тебе письмо. На мое предыдущее пространное послание ты не ответила, Натиа... И все-таки я не могу не писать тебе. Так хочется поговорить с кем-то. Как часто чувствую я себя одиноким.

Участок мой по-прежнему работает, как хороший часовой механизм. Ничего нового. Все мои обязанности заключаются в том, что я делаю вид, что не замечаю, как вместо меня моим участком руководят главный инженер и начальник шахты. И они делают вид, что даже и не думают о моем участке, что абсолютно все, что здесь делается, делается мною, инженером Теймуразом Арджеванидзе. И так день за днем...

Кажется, я уже писал тебе о «романе» моего соседа Геронтия Чапичадзе с Гоголой. С того самого дня, как я стал невольным свидетелем ее «изгнания» из моей комнаты, она лютой ненавистью возненавидела меня. И стоило ей увидеть меня, как она демонстративно отворачивалась и ворчала что-то. Потепления не чувствуется и со стороны Геронтия. Вот сижу я за столом и пишу тебе, а меня не покидает ощущение, что он способен выстрелить мне в спину.

Но прошло время, и я стал замечать, что глаза, прекрасные синие глаза Гоголы не глядят на меня с прежней неприязнью. А на днях, встретив меня в главном штрэке, она даже

заговорила со мной. Ты знаешь, мне кажется, я ей нравлюсь. Интересно, почему бы мне не жениться на этой красавице? Была бы у меня верная жена (да, я уверен, что она ни за что не изменит), ездила бы она в Тбилиси, в гости к моей матери, привозила бы ей внуков... А я... Я тогда забыл бы гордую и своенравную девушку из Тбилиси...

Но нет! Во-первых, если это случится, шахтеры просто-напросто отвернутся от меня. Почему, не знаю, но уверен, что это будет так, а во-вторых, должен признаться, я до сих пор не могу понять, что на душе у моей сокурсницы, гордой девушки из Тбилиси, что она может выкинуть завтра. Хотя... Но не буду больше об этом... Не знаю, как Геронтий узнал о том, что днем я разговаривал с «его» Гоголой, или же почувствовал опасность в «потеплении» Гоголы. Но в тот вечер он явился в общежитие мрачный. Не раздеваясь, лег на кровать и долго ворочался. Потом сел, свесив ноги с кровати, и сказал мне:

- Голова болит, потуши свет.
- А мне надо работать...
- Как же быть? Мне что, уходить отсюда, что ли?
- Хочешь, дам тебе пирамидон...
- Мы не привычные к пирамидонам.
- ?!

Чапичадзе снова лег и заскрипел кроватью. А через несколько минут испустил такой храп, что я вынужден был покинуть комнату.

Я тебе говорил, что чувствую себя одиноким. Это не совсем верно... Одна дружба моя с Иорамом Носелидзе чего стоит! Парень этот сначала принял меня в штыки, но прошло время, и я даже не могу тебе объяснить, почему он вдруг так изменился ко мне. А на днях он, смущаясь, сказал, что если мне что-нибудь нужно, он всегда придет мне на помощь.

Вот еще один случай в моей жизни. Когда я расскажу тебе все, ты поймешь, почему я жалусь на одиночество.

Монтажники, те самые, что пригласили меня в ресторан и намекнули, что они любят хорошую жизнь, теперь со мной почти не разговаривают. Их бригадир Гриша Одыбашев кланяется со мной с такой подчеркнутой вежливостью, что мне кажется, будто меня обдают холодной водой. Поздоровается чуть заметно, улыбнется ехидно и поднесет руку по-военному к шапке (только не пойму, кто из нас двоих генерал, скорее всего, наверное, он) — и тотчас отворачивается. День и ночь думаю над тем, в чем я провинился. Зарплаты получают не меньше, чем при Джибраиле, во всяком случае, разница в зарплате невелика. Работают они столько же, сколько раньше. Чего же им надо?

Я не хотел беспокоить Сардиона Эрастовича и обратился с этим вопросом опять-таки к моему старому другу — Герасиме Цнобиладзе.

— Не волнуйся, сынок, — сказал он мне. — О Джибраиле плохо не думай, — он никого не давал в обиду и никто не разбивался за счет других. Но у него, ты уж не обижайся, было больше опыта, и потому он, бывало, шел на риск, мог сде-

лать такое, что тебе, сынок, повторяю, не обижайся, еще раз новато делать. К примеру, в этом месяце в забоях у нас было неплохое положение, свод был гладок, как зеркало, и ни один ствол не скрипнул. Верно? Так вот, в таком случае, порой Джабраил закрывал глаза и снимал в забое еще один слой — на всем протяжении забоя. Так-то! Вот тебе и лишний уголь и лишние рубли для шахтеров. Почему Джабраил мог пойти на такое? Потому что все мы жили одной семьей, и провались дело, шахтеры не обвинили бы его. А если все обходилось — о лучшем и мечтать не приходилось... Но тебе об этом не следует думать, рано еще... А на болтовню монтажников не обращай внимания.

— А если они сбегут от нас?

— Куда?

— Что им идти некуда? А если все-таки сбегут, что мне тогда делать?

— Не бойся, никуда они не сбегут.

Вот так я и живу, как видишь, беспокойно, тревожно. Но на будущее все-таки смотрю с надеждой, хотя и уверен, что оно будет не из легких.

Теймураз».

Теймураз положил письмо в конверт, заклеил. Но адреса не надписал. Несколько дней письмо лежало на столе. На четвертый день Теймураз разорвал его и выбросил.

* * *

Джабраил вскоре стал сожалеть о том, что, то ли по собственному решению, то ли под давлением Юло Сопромадзе он пошел работать на другую шахту, на участок Митуши Каимаишвили. Дело было не в том, что этот шаг отдалил его еще более от старых товарищей и они никогда не простят ему этого. Главное же — работа на шахте вовсе не походила на почетный и честный труд. Тут и намека не было на дружбу, взаимоуважение, взаимопонимание, чем так гордился коллектив, возглавляемый Джабраилом.

Джабраил слышал о проделках Каимаишвили, но не очень доверял слухам, Думал, это скорее всего злословят его недоброжелатели, завистники. Но не прошло и двух недель, как, поработав на участке Каимаишвили, Джабраил понял, что завистники тут ни при чем. Трудно было поверить, что такое может происходить на шахте в наши дни!

Митуша собрал вокруг себя около десяти человек: трех начальников смены, несколько механизаторов, несколько рядовых шахтеров (видимо, и Юло Сопромадзе примкнул к ним). И эта группа весь участок держала в кулаке. План добычи угля они так или иначе выполняли и «перед государством были честны». А за этим скрывался самый настоящий произвол.

Свои дела «Каимаишвили и компания» решали предельно просто. Большую часть добытого угля они приписывали себе, остальную делили на пятьдесят шахтеров, среди которых у них были «приближенные», и этих последних всегда можно было использовать для того, чтоб заставить остальных замолчать.

И получалось, что честные шахтеры едва добывали денег на хлеб, а Каимамишвили и его «передовые шахтеры» не знали, куда деньги девать. Для того, чтоб вершить подобное, не надо иметь много ума и совсем не надо было иметь совести. А Митуше и его приспешникам бог дал немного ума и вовсе не дал совести.

Начальник этой шахты Кацриэл Арчаидзе был честный человек, но вконец измотанный болезнями. Он только и мечтал дотянуть до пенсии, чтоб отдохнуть. О том, что творится на его шахте, он не знал — у Каимамишвили и его дружков были стальные кулаки и каменные сердца, и они по-своему управлялись со «словоохотливыми».

Однажды на участке объявился паренек, недавно отслуживший в армии. Не захотел он примириться с безобразиями на шахте и все рассказал начальнику шахты, Кацриэл даже растерялся от неожиданности, ни о чем подобном он, разумеется, не подозревал. Потом он вызвал Каимамишвили и повел его всем, что рассказал ему паренек. Каимамишвили и бровью не повел, свалил все недоразумения на бухгалтерию и нормировщиков и обещал все наладить. А на следующий день Каимамишвили нагнал паренька в конце коридора.

— Ты что, собираешься вообще так работать?

— Как?

— Запомни, парень, доносчиков мы не жалуем. Ты почему опоздал позавчера?

— Автобус подвел.

— Меня это не касается. Остановился автобус — ты займай крылья и чтоб ни на минуту не опаздывал, иначе...

Паренек покраснел и низко опустил голову.

— А теперь иди.

На следующий день паренька в одном из забоев остановили трое. Парень был не из трусливых, но один против троих не устоял. Били его в живот, чтоб не было видно следов. А потом посоветовали поработать еще с недельку, чтоб никто ни о чем не догадался, затем написать заявление об уходе и на шахте больше не появляться.

— На шахте?! — тут же вскричал один из них, низкий и широкоплечий, со злыми черными глазами. — Нет, не только на шахте, но и в городе вообще! Здесь все шахтеры, а из доносчика шахтер не выйдет. Ух, ты! — и он дал парню крепкую пощечину.

— В самом деле, — пробасил второй, высокий и рыжий. — Тебе самому так будет лучше.

Бороться с ними не было смысла. И парень поступил так, как ему велели; с тех пор его и след простыл в городе.

Об этом случае рассказал Джибраилу молодой шахтер Гиуна Кикнавелидзе.

— А почему не вмешались другие?

— Поздно узнали.

— А если бы узнали раньше?

Кикнавелидзе задумался. Потом тяжело вздохнул.

— Все равно никто бы не вмешался.

— Но почему? Мне непонятно это.

— Но как вам объяснить... Там, где начальство пустое место, там правды не добьешься. Наш Арчаидзе доволен Минутшей, он выполняет план и даже растит кадры передовиков другие... Да что говорить...

— А как ведет себя Юло?

— Сопромадзе? Он с ними заодно. Здесь шахтеры даже удивляются, как вы терпели такого?..

— Но я за ним ничего не замечал...

— Да, вот так-то.. А мы очень надеемся на вас... Знали бы, как мы радовались, узнав, что вы будете работать у нас.

— Эх! — горестно махнул рукой Джибраил. Нет уж, исправлять он ничего не намерен. Хватит с него. Знает, как могут отблагодарить его...

Но, видать, некоторым людям на роду написано быть в гуще событий и всегда взваливать на себя самую непосильную ношу. К этим некоторым как раз и относился Джибраил. Не прошло и двух дней после разговора с Гиуной Кикнавелидзе, как к Джибраилу в забой пришли к концу смены два пожилых шахтера. Поздоровались, присели прямо на землю. Одного из них, Мелентия Джариашвили, Джибраил знал давно, а со вторым — Ясоном Хурцидзе его познакомили за несколько часов до этого, утром, перед тем как он спустился в шахту. Это был огромный детина, обладающий, видимо, недюжинной силой. Знакомя его с Джибраилом, шахтеры чувтили: «Ты учти, Джибраил, если когда-либо тебе будет лень распиливать крепежный столб, ты крикни Ясона, он запросто переломит его».

Джибраил отбросил в сторону молот, сел рядом с ними.

— Ну что ж, отдохнем немного от работы, — сказал он.

— Отдохнем, — Мелентий улыбнулся Джибраилу.

— А ты, наверное, отвык от такой работы, — пробасил Хурцидзе. — Сколько лет все в начальствах был.

— Да, был... Был, брат... А теперь вот... Но ничего не поделаешь.

— Бывает... — качая головой, сказал Ясон.

Мелентий устроился под крепежным столбом поудобнее, посмотрел Джибраилу в глаза.

— Как ты думаешь, Джибраил, долго еще будет продолжаться такая жизнь?..

— О чем ты?

Мелентий не ответил. И снова пристально посмотрел ему в глаза.

— Делаешь вид, что не понимаешь? — снова пробасил Хурцидзе. — О чем же говорил с тобой Гиуна позавчера, а? — И широко улыбнулся.

«Его, судя по характеру, не очень-то должны волновать здешние дела... А чего они хотят от меня?».

— Ты уже знаешь, что творится у нас, — словно отвечая на мысли Джибраила, начал Мелентий. — Кикнавелидзе рассказал тебе довольно много, да ты и сам все отлично видишь. Чего скрывать, Джибраил, твоего прихода мы так ждали... Ты умный, рассудительный, опытный и достаточно смелый. Мы это знаем. И мы очень надеемся на твою помощь.

— Мелентий, объясни мне, ради бога, что, у этой шахты нет начальника?

— Ты кого имеешь в виду? Кацриэла Арчаидзе? Что это за начальник, ты и сам знаешь...

— А другие? Есть же партком, профком?..

— Эх, что может сделать профком, а партком... Шахта маленькая, освобожденный секретарь нам не полагается... А тот, кого избрали, сам зависит от Кацриэла... Был Амберки Квижинадзе, так тот, чтоб продолжить учебу, должен был представить характеристику с места работы, ну, сам посудит, мог он пойти против начальника? Ироди Чавлишвили должен был устроить на работу жену, опять-таки, значит, зависел от Кацриэла. Так и остальные... А что к нему придираются? Шахта план выполняет, аварий почти нет... К примеру, в прошлом году — ни одной аварии... А как распределяется зарплата — кого это волнует? Разумеется, с голоду мы не умрем... Но самолюбие? Но совесть наша? Скажи, сколько можно терпеть, если знаешь, что работаешь в полную силу, а получаешь копейки, а?

— А зачем вы терпите? Не могу понять... И потом, что я могу?...

— Ты сможешь... Мы уверены... Вот когда все узнаешь, убедишься, что жить так дальше невозможно. Мы надеемся на тебя...

— Эх! — вздохнул Джибраил и встал. — Что мне сказать тебе, Мелентий? Не хватало только мне воевать с начальником участка. А вообще-то... Словом, поглядим, как там будет....

— Дорогой Джибраил, мы надеемся на тебя, как... Ну как мне сказать!.. Не знаю. А уж если мы добьемся справедливости, молиться на тебя будем!

Прощаясь, оба шахтера крепко пожали Джибраилу руку.

Не надо было быть семи пядей во лбу, чтоб понять, что недовольные Митушей шахтеры группируются вокруг Джибраила. И Митуша понял это очень скоро.

В субботу вечером, когда Джибраил получил первую зарплату на новом месте — ему было выписано с точностью до копейки. — его остановил в дверях Каимамишвили, пожал руку и сказал:

— В работе ты настоящий лев, а вот в дружбе каков?

— А что? Кажется, я знаю, что такое настоящая дружба.

— Как сказать?.. Вот уже две недели, как ты работаешь у нас, а ко мне так и не заглядывал.

— Успею еще.

— Верно, но... Ты можешь думать обо мне все, но не думай, что я страдаю самомнением, будто я все на свете знаю. Пока дышу, я не устану учиться.

— Это похвально.

— Помощь моя не нужна тебе?

— Нет...

— В самом деле?

— Точно...

— А как ты смотришь на то, чтоб мы с тобой пропустили по стаканчику, а?

— Пожалуйста...

— Ну, до встречи, Джибранл!

— До свидания!

И пожав друг другу руки, они разошлись.

* * *

В средних числах ноября Сардиону Рачвелишвили позволил управляющий трестом Акакий Нишнианидзе и попросил зайти к нему.

— Я сейчас приеду, — сказал Сардион.

— Отлично.

Минут через пять Сардион был уже у управляющего трестом. Акакий явно был чем-то встревожен. Он протянул руку Сардиону, не отрывая глаз от какой-то бумажки на столе. Потом отодвинул эту бумажку от себя и тяжело вздохнул.

— Присылают одну рекламацию за другой! И в самом деле, что вы сдаете, уголь или мусор?!

— Мусор!

— Так вот, за мусор денег никто вам платить не будет. Так и знай. Как поживает Тэолинэ?

— Как может поживать жена начальника шахты? Сидит в пустой квартире и ждет не дождется меня.

— Помнишь, обещал мне сациви из рыбы?

— Когда?

— Совсем недавно.

— Не припомню что-то...

— Да... бывает...

— А ты?

— Что я?

— Помнишь, обещал новый конвейер?

— Придут конвейеры — получишь.

— А автобус? Обещал ведь мне автобус для шахтеров, живущих на окраинах. И это не помнишь?

— За какое-то сациви из рыбы просишь конвейер и автобус, не много ли?

— Смотря какое сациви.

— Тэолинэ в самом деле готовит отличное сациви. Так слушай, Сардион, как только поступят конвейеры, тотчас перешлю их тебе. А вопрос с автобусом надо будет разрешить в горсовете. Я думаю, не плохо бы к площади еще один маршрут подвести... Вообще-то твоим шахтерам не мешало бы иногда и пешочком пройтись.... Ты порасскажи-ка им о своей молодости, сколько пешком хожено. Да и я могу помочь тебе в рассказе...

Разговор в кабинете управляющего шел самый безобидный, и шутке было тут место и все-таки мрачно было на душе у Акакия Нишнианидзе. Он взял со стола какую-то бумажку, повертел ее в руке и снова положил на стол. Вздохнул и обратился к Сардиону:

— Не гадаешься, почему позвал тебя?

— Нет.

— В самом деле?

— Ей-богу, нет.

Нишнианидзе улыбнулся, посмотрел Сардиону в глаза и покачал головой. Вот уже несколько лет Акакий Нишнианидзе думает о переходе на пенсию. Но найти ему все никак не могут и потому каждый год уговаривают его повременить. Что ему оставалось делать? А в этом году, как раз в этом году, когда Акакий Нишнианидзе твердо решил уйти и никакие уговоры не заставят его изменить это решение, именно в этом году трест не выполняет плана добычи угля, да и другие показатели не лучше. Акакий был человек самолюбивый и никому не позволил бы сказать, что он ушел на пенсию, оставив трест на произвол судьбы.

— Ты в самом деле не догадываешься, почему я тебя вызвал?

— Да ты говори прямо, Доментьевич!

Акакий устало прикрыл глаза.

— Скажу, разумеется, скажу, друг мой... Что мне скрывать? Ты знаешь, я не люблю понапрасну нюни распускать, но... Видишь, ничего не получается у меня с первой шахтой? Вот уже шестой месяц толку от них никакого. А тут еще и четвертую шахту скрючило. С каждым днем дают все меньше и меньше угля. Вот как раз до твоего прихода целых два часа беседовал по селектору с Кикауридзе, а объяснить толком, почему это происходит, он так и не смог. Что делать? Только, казалось бы, управишься с одной, поставишь ее на ноги, глянть, а тут надо протягивать руку помощи другой шахте. Поверишь, дома меня почти не видят... Вот и ты, смотрю, не очень-то помогаешь мне?..

— Акакий Доментьевич?

— Дай сказать...

— Да я знаю отлично, что вы скажете.

— Не знаешь!

— Знаю!

— Не знаешь, говорю!

— Хорошо, я слушаю....

— Я ведь не говорю тебе, давайте четыреста и пятьсот тонн, но сколько можете...

— Какой может быть разговор об этом?

— А немного нельзя прибавить...

— Ни грамма!

— А ты подумай как следует...

— И думать нечего... Я ничего не могу сделать.

— Хм! — Нишнианидзе посмотрел в окно. — Я просто не знаю, что придумать. Не хотят оставить меня в покое и понять не хотят... Я еще в прошлом году сказал вышестоящим товарищам, что план очень большой и мне будет трудно. Но разве убедишь Вардосанидзе? Хотя, ведь и с него тоже спрашивают... Растет страна и угля требует все больше... Одним словом... эх! — Акакий Доментьевич не договорил и горестно вздохнул.

Сардион искренне пожалел этого усталого, немолодого человека.

— Акакий, зря обещать не хочу... Но сколько смогу...

— Спасибо, друг, спасибо. Знаю, и тебе не сладко...

— Я постараюсь помочь... Как смогу... Во всяком случае, будем давать угля не меньше, чем прежде.

— Спасибо, Сардион, дорогой, спасибо!

Нишнианидзе проводил Сардиона до самых дверей.

Сардион вышел из подъезда, постоял, оглянулся. Во всех окнах огромного здания треста было темно, светилось только окно управляющего.

Наутро Сардион вызвал к себе главного инженера.

— Как ты думаешь, Кахабер, если очень захотеть, сможем мы до конца года добыть пять тысяч тонн угля?

— Сверх плана? — расширились глаза у главного инженера.

— Да, что тебя так испугало?! Подумай как следует.

— Тут никакие думы не помогут.

— Пошли-ка на шахту.

Начальник шахты и главный инженер спустились в шахту, обошли ее вдоль и поперек. Вся шахта, все участки — эксплуатационные и подготовительные — работали безотказно. Не было сомнения, Сардион сдержит слово, данное управляющему, шахта выполнит норму по добыче угля, но что касается добычи сверх нормы...

— Вот где нужен Джибраил, — проговорил Кахабер Гурасашвили.

— Но его нет на нашей шахте. Есть у нас Арджеванидзе Теймураз, и на участке у него не должно быть никаких изменений.

«Нет, — подумал Сардион, — на сей раз я не помощник Акакию...».

В тот же день, ближе к полудню, в кабинете Сардиона появились Герасиме и Архипо. Сардион так обрадовался им, что встал и, улыбаясь, пошел им навстречу.

— Неужели это вы? Просто глазам своим не верю.

— Да, это мы, — устало проговорил Герасиме и присел на стул.

Архипо примостился рядом.

— Ну, надеюсь, вы больше не сердитесь на меня?

— Нет...

— Так и быть...

— Пора, друзья мои, в самом деле пора.

Сардиона таким веселым и радушным шахтеры не видели уже давно.

— Вот мы и пришли...

— Вообще-то, признаться, я не понимаю, почему вы ходите обиженные.

— Как сказать... — Архипо бросил взгляд на Герасиме.

— Знаешь, устали мы... Хочется жить спокойно, отдохнуть, наконец... — сказал Герасиме.

— Отдыхать мы будем ты знаешь где...

— Знаю... Слушай...

— Я весь внимание.

— Гурасашвили недавно намекнул нам на что-то.

— Напрасно...

— И мы так думаем...

— Я с него шкуру спущу! Говорил я ему, чтоб он не трогал участок Арджеванидзе! Где сейчас Кахабер, у себя? Сардион схватил телефонную трубку. — Смотрите на него!

— Нет, в кабинете его сейчас не застать. Наверное, уже дома. Придет к концу смены. Ты послушай-ка нас...

Сардион отодвинул от себя телефон.

— Нам, мне и Архипо, не нравится что-то свод нижнего забоя. Нет, ничего серьезного мы не замечаем, но... Мы вышли на прошлогоднюю линию. Помнишь, тогда мы чуть было не поплатились. Так вот, боимся мы, чтоб и сейчас как бы чего не вышло.

— Хм! — Сардион задумался, покачал головой. — Я был вчера в нижнем забое, ничего не заметил.

— Вчера и мы ничего не заметили, а сегодня... Сегодня же... один крепежный столб треснул...

— Вы сказали об этом Арджеванидзе?

— Знает. Хотя, признаться, мы не хотим заранее пугать парня. Кто знает, какой из него выйдет специалист. Так вот... Почему мы пришли к тебе... Мы думаем, в каждой смене должен быть опытный человек. К слову, если я буду в первой смене, Архипо должен быть во второй, в третьей, например, Джигкариани... Только и ты заглядывай на шахту.

— Разумеется... Так ведь я и без этого все время с вами.

— Это верно. Главное, пройти опасный участок... Хорошо бы еще поговорить с монтажниками.

— А что?

— Ты ведь знаешь, что это за народ. Всего им мало. Я-то советовал Арджеванидзе не нарушать законов. Хорошо бы и тебе предупредить его.

— Скажу. Непременно скажу.

— Вообще-то ты не очень волнуйся. Не так страшен черт, как его малюют... Ну, мы пошли...

— Спасибо... Я обязательно буду на шахте в каждую смену.

— Приходи... Один из нас наверняка будет на месте...

— Хорошо, Герасиме... Ну, пока!..

Сардион после ухода стариков долго думал над тем, что же их волновало больше — то, что свод нижнего забоя кажется им ненадежным, или же то, что новый, молодой начальник участка не нашел общего языка с монтажниками. Сардиона вопрос надежности свода волновал меньше. В конце концов, если в забое действительно будет опасно работать, можно прекратить добычу, как следует укрепить свод. Не раз так поступали. Правда, за это время будет добыто на пятьсот, шестьсот тонн угля меньше, и Сардион, возможно, не сдержит слова, данного Акакию Нишнианидзе. Но что ему остается делать? На то и шахта, что каждую минуту ждешь здесь самых непредвиденных событий. А до конца года еще далеко, и, быть может, они еще наверстают упущенное.

Гораздо хуже, если заупрямятся монтажники. Они не придут к Сардиону с жалобой на Арджеванидзе. Закон на стороне молодого инженера — он соблюдает правила техники безопас-

ности. Но ведь монтажники как раз против этого, им-то это вовсе не на руку. Они хотят, чтоб Арджеванидзе иногда закрывал на кое-что глаза, шел на риск, добывал больше угля, а монтажники будут набивать карманы. Если Арджеванидзе не дает этого, — а Сардион никогда не даст молодому инженеру на это права, — тогда монтажники придут к начальнику шахты не сообщая, а в одиночку и каждый принесет заявление с просьбой освободить от работы по семейным обстоятельствам. Тогда как быть Сардиону? Не подпиши он заявления, те все равно через две недели не выйдут на работу — по закону. А найти им сейчас замену не так-то легко, монтажники — народ квалифицированный, — это не отнять! — и найти им замену — задача не из легких... Одним словом, если это случится, Сардион окажется в безвыходном положении. А дело, видать, как раз к этому и клонится.

* * *

В половине двенадцатого ночи Сардион вошел в дежурку третьего участка. Картина, которую он здесь застал, была для него неожиданной. Вот уже полчаса как смена приступила к работе. Обычно в это время в дежурке никого не бывало, не считая начальника участка или его заместителя. В это время шахтеры второй смены уже отдыхали в своих домах, шахтеры же третьей смены были в забоях.

А теперь в дежурке иголке негде было упасть. Здесь были все — шахтеры второй и третьей смен. Дым стоял такой, что хоть топор вешай. За столом сидел Теймураз и о чем-то переговаривался со своим заместителем, который на каждое слово молодого инженера кивал головой, потирая рукой левую скулу.

На скамейках вдоль стены сидели Герасиме, Архипо, Солломон. Утром Герасиме обещал Сардиону, что каждый из них будет в определенной смене, почему же сейчас они вместе и, как видно, ни один из них не собирается уходить. Что случилось? Ведь Кахабер недавно сообщил Сардиону, что вторая смена прошла нормально...

— Здравствуйте, — Сардион снял шапку и не спеша повесил ее на крючок. — Вижу, домой никто из вас не спешит? Арджеванидзе встал, подошел к окну, тем самым дав понять, что место за столом он уступает начальнику шахты.

Сардион неторопливо подошел к столу, сел и остановил взор на трех крепильщиках,

— Что случилось?

— Ничего.

— И все-таки...

В ответ — молчание. Сардион, едва вошел в дежурку, тотчас заметил, что шахтеры чем-то встревожены. Арджеванидзе же, несмотря на усталость, выглядел бодрым и ничто не выдавало его озабоченности. Создавалось впечатление, что шахтерам известно нечто неприятное, но они не хотят говорить об этом начальнику.

Антимоз Чахунашвили нашел свободный стул и поставил его перед Арджеванидзе. Тот сел.

— Выглядишь усталым... — Сардион придвинул к себе засаленный журнал, раскрыл его, внимательно просмотрел какие-то графы, снова закрыл его.

— Что же все-таки случилось? Почему вы все здесь? Герасиме, я спрашиваю, почему вы все трое здесь?

— Так... Заболтались...

— Хм...

И снова наступило молчание.

— А почему здесь шахтеры второй смены? Почему не расходитесь по домам?

Шахтеры (их было человек двенадцать) молча, один за другим покинули дежурку.

— А ты, Антимоз?

— А я все время нахожусь рядом с Теймуразом, во все смены.

— Аа... ты, Герасиме?

— Я, Сардион, останусь. Соломон пусть уходит, а мы с Аруччо останемся...

— Как хотите... Воля ваша... А Теймураз знает?

— Да.

— Ну что ж, тогда пошли.

Они спустились в шахту, вышли в главный штрек.

По пути все молчали. Сардион в глубине души был доволен тем, что с ним идут самые опытные шахтеры, хотя несколько минут назад был раздосадован тем, что, как ему показалось, они только зря сеют панику.

Возле конвейерного штрека Сардиона ждала новая неожиданность. Подойдя к штреку, в кромешной темноте они разглядели человеческую фигуру. Сардион направил луч фонаря и что видит: наклонившись, Иорам Носелидзе воюет со своими резиновыми сапогами.

— Ты что здесь делаешь, парень?

— Да вот сапоги велики, то и дело приходится поправлять их.

— Ты работаешь в третью смену?

— Я?

— Да, ты...

— Нет...

Иорам отвел взор. Стал поправлять на себе пояс, к которому был прикреплен аккумулятор.

По графику с начала этого месяца Иорам как раз и должен был работать в третьей смене, но, учитывая его семейное положение, Теймураз решил оставить его снова в первой. Иорам заупрямился было, но потом согласился, в глубине души еще раз испытав чувство огромной признательности к старшим товарищам и желание тотчас прийти им на помощь, когда в этом будет необходимость.

Сейчас, в эти тревожные дни, когда все шахтеры только и говорили о том, что крепежные столбы в нижнем забое ненадежны, Иорам решил, что его место среди товарищей, и сказал молодой жене, что будет в эти дни приходить домой позднее обычного.

— Что, на участке не обойдутся без тебя? Или я тебе уже надоела? — спросила Иамзе, оторвавшись от теста для хачапури. У молодой семьи почти каждый день бывали гости, Иамзе не отходила от плиты — что поделаешь, мы издавна славились своим хлебосольством. — Если я тебе надоела, тогда...

— Ну перестань, Иамзе... Знаешь, как у нас плохи дела?..

— Где? На участке?

— Да. Вот и придется задерживаться.

— Посмотри мне в глаза... Что тебя может задерживать на участке? Не появилась ли зазноба? — Иамзе тыльной стороной руки убрала со лба непокорную прядь и хитро улыбнулась. — А может быть, тебя прочат в начальники, вот ты и стараешься, а?

— При чем тут это... А если тебе не хочется оставаться одной, пойди к Квернадзе...

— Ты, может, до утра не управишься. Так что, прикажешь мне ночевать у Квернадзе?

— Да ладно уж...

— Принеси-ка мне воды. И не очень-то лезь ты поперек батьки в пекло. Есть на участке люди и поважнее, и поопытнее тебя.

Шахтеры не прекращали работы, хотя все время с опаской оглядывались на свод в нижнем забое. Теймураз вообще не думал о том, что им грозит опасность, он говорил всем, что кое-что и он смьслит в горном деле и никакой опасности в этой лаве не видит. А сегодня к концу второй смены пронесся слух, что столбы в нижнем забое так трещат, что шахтеры не на шутку встревожились, все, кроме начальника участка. Но ведь он молодой специалист, много ли он понимает?! Нет, шахтеры его уважают, парень он неплохой, толк из него будет, но пока что в горном деле он новичок. А какой спрос с новичка? Вот Иорам, слыша подобные разговоры, и решил: надо иметь каменное сердце, чтоб оставить товарищей в такую минуту и сидеть себе преспокойно с молодой женой.

Он быстро поужинал, сказал Иамзе, что вернется поздно, и отправился на шахту. Здесь он, не входя в дежурку, переоделся и спустился вниз. Если бы не эти проклятые сапоги, он был бы уже в забое.

— Объясните мне, в конце концов, в какой смене он работает? — Сардион осветил фонарем лицо Чахунашвили.

— В первой, Сардион Эрастович... Правда, по графику ему работать в третью, но мы, учитывая его положение, оставили в первой. — Чахунашвили широко развел руками.

Сардион нахмурил брови. Что творится на шахте? Почему такая паника? Почему шахтерам не сидится дома? В конце концов ведь не впервые они встречаются с рыхлым сводом, им, слава богу, хорошо известно, как поступать в таких случаях. В чем же все-таки дело?

— Герасиме!

— Да?

— Может быть, скажешь, что вам всем тут мерещится?

— Да ничего, Эрастович... Просто линия забоя проходит по несколько опасному месту, и мы осторожничаем, вот и все.

— Ничего себе осторожничааете! В дежурке — настоящий митинг, все почему-то хотят быть внизу... Что с вами? Неужели вы думаете, что я могу требовать от вас угля, несмотря ни на что?! Эх, вы! — Сардион повернулся, сделал несколько шагов, наклонился и прошел в конвейерный штрек.

Герасиме пошел за ним. Остальные последовали его примеру. На Иорама никто даже не оглянулся. Парень стоял оконфуженный. Выходит, он выскочка, зря панику сеет... И тут он разозлился, поправил на голове шлем и вслед за другими прошел в тот же конвейерный штрек.

* * *

В сыром темном забое было тихо. Меж блестящим слоем каменного угля и рядом крепежных столбов при слабом свете фонарей поблескивал, словно смазанный маслом, конвейер. Откуда-то из верхнего конца забоя донесся глухой короткий гул и тотчас прекратился. Наверное, кто-то положил на конвейер железку или инструмент. У нижнего входа в забой собралась группа шахтеров. Три или четыре человека сидели на конвейере, другие стояли, прислонившись к столбам, и о чем-то тихо переговаривались.

— Здравствуйте. — Сардион остановился. — Сидите, сидите. — повернулся он к шахтерам, которые собирались встать. — Где ваш начальник смены?

— Здесь я, — выступил вперед Габриэл Цхеносанидзе.

— Что у вас нового?

— Только что мы все вместе обошли забой... Ничего особенного... Только на самой середине свод кажется несколько рыхлым. Картина вот такая... А там...

— Пошли, посмотрим еще раз.

— Здесь близко, не больше пятидесяти шагов.

Когда дошли до места, Сардион осветил лампой свод. В тот же миг еще с десятков ламп были направлены в центр свода.

С первого взгляда серая глухая порода не внушала опасности. Правда местами с потолка капала вода. Сардион еще долго освещал лампой свод, осмотрел его вдоль и поперек и наконец заметил узкую, словно нить, трещину. И только. Но ведь сколько раз свод бывал гораздо опаснее — и ничего!

— Где Герасиме?

— Я здесь.

— Ты вот об этой трещине говорил?

— Точно.

— Хм. — Сардион опустил лампу. Помолчал. Потом снова поднял лампу, пролез сквозь столбы и осмотрел на сей раз свод над обработанной поверхностью. Та же самая картина — серая, глухая блестящая порода, местами капает вода и заметны две-три узенькие, с волосок, трещинки. Не больше. Что же здесь опасного?

Сардион вернулся. Шахтеры в молчании ждали его.

— Что еще можете сказать?

— Ничего более. — Цхеносанидзе пожал плечами.

— А где должны производить взрыв?



— В двадцати шагах.

— А если еще ниже? А может, наоборот, подняться выше?

Сардион явно колебался. Он не хотел нарушать данного Акакию Нишнианидзе, да и свод его не очень-то беспокоит, бывали положения гораздо серьезнее, и все обходилось. Вообще-то, видать, Герасиме и его товарищи слишком осторожничают, но... Ждать приходится всего. Этот проклятый свод и в самом деле может рухнуть. И тогда? Куда же запропастился Кахабер? Ведь подобные вопросы должен решать именно он...

— Где сейчас может быть Гурасашвили?

— Он был во второй смене. Наверное, отдыхает.

— Отдыхает...

Да, постарел, видать, постарел Сардион Рачвелишвили! Вот стоят вокруг него шахтеры, отводят взоры, и все-таки Сардион успевает прочесть в их глазах многое. В этих глазах сейчас и жалость, и сочувствие, и удивление, и страстное желание помочь своему начальнику. Но что они могут? Вот молодой инженер полчаса назад смело утверждал, что нет опасности и ночью можно производить в забое работы. Но вот здесь, под землей, в душном и сыром забое, наверное, под влиянием более опытных шахтеров и он стал сомневаться. А Герасиме Цнобиладзе, наоборот, в дежурке советовал быть осторожным, а здесь, поминутно освещая свод и устремляя на Сардиона свой единственный глаз, как бы подбадривает своего старого начальника: «Ну что ты, Сардион, давай рискнем, не такие еще дела мы с тобой проворачивали. А если свод все-таки обрушится, не беда, снова укрепим его. Мы ведь старые волки, нам все по плечу. Не раз мы рисковали, давай рискнем еще. Утром я говорил иначе? Что поделаешь, береженого бог бережет...».

Антимоз Чахунашвили... Хотя этого не стоит брать в расчет. Вот и сейчас он молчит. Эх, был бы здесь Джибраил... как с ним легко работалось! Смекалист, умен, решителен...

— Что мне вам сказать? Ведь никто из вас не поверит, если я скажу, что угля добываем мы достаточно и можно этот забой обойти... А ведь свод здесь в самом деле опасный. Герасиме и Архипо, я думаю, не ошибаются.

Шахтеры переглянулись.

— Герасиме!

— Да?

— Что ты скажешь?

— Да знаешь... трудно сказать... Давай решать вместе, Сардион.

— Хорошо, вместе так вместе. Но ведь кто-то должен начать!..

— В самом деле...

Шахтеры замолкли. Но тут вмешался в разговор молчавший до сих пор Антимоз.

— Даже в Библии сказано: «Сначала было слово...».

— Ну вот, он и Библию вспомнил. — Сардион махнул рукой. — Хорошо, вот вам мое слово. Потеря двухсот-трехсот тонн угля невелика для нас и нашего государства. Но вы ведь знаете, если вызвать сейчас посадчиков...

— Нет, этого не следует делать!.. — замахал руками Герасиме.

— Конечно же, не следует! — повторил Архипо.

— Я об этом и говорю... Если вызовем посадчиков, хуже меня знаете, что последует за этим.

— Знаем, конечно же, знаем... — отозвались шахтеры.

— Так вот, делайте сами вывод. Но мне кажется, все будет в порядке.

— Дай бог.

— Взрывники готовы?

— Готовы.

Вообще-то все решал первый взрыв. Он должен был совершиться в двадцати шагах от места опасности. И если свод выдержит взрывную волну, то все разрешится само собой. Если же нет, шахтеры, конечно, подвергались риску, но относительно меньшему. Дальнейшая судьба забоя была в руках крепильщиков, все зависело от их умения. Герасиме и Архипо не раз приходили на помощь товарищам, и, наверное, они и сейчас не подкачают. Может случиться, что и угля добудут больше обычного. Хотя об этом говорить рано, надо дожждаться результатов взрыва, ведь недаром говорится, хвались урожаем, когда рожь в засеку посыплешь.

Шахтеры вышли из забоя, разбрелись по штрекам. Кто-то уступил на конвейере место Сардиону. Тот сел и, благо, в темноте никто не заметит этого, прислонился лбом к столбу. Да, подошла к нему старость, все труднее и труднее принимать ему решение. Прежде в такой ситуации он лишь посмеялся бы над не в меру осторожными работниками, но теперь? Вообще-то Сардион не имеет права принимать решение вместо начальника участка, вмешиваясь в его функции. Он может лишь советовать. Если сейчас на участке случится беда, с молодого инженера спустят семь шкур — не за то, что ошибся в оценке кровли, нет, а за то, что позволил начальнику шахты вмешаться в свои полномочия.

Откуда-то донесся глухой гул, словно разверзлась земля и сырой, темный свод раскололся надвое. В конвейерном штреке, где собрались шахтеры, со свода посыпалась порода. Треснул какой-то столб. Каково там, в забое?

Несколько минут никто не шелохнулся. Все сидели затаив дыхание. Все, все решалось в эти минуты. До конвейерного штрека донесся запах гари, постепенно им пропитался весь воздух. Вдруг из забоя донесся чей-то крик.

— Что?! — шахтеры испуганно переглянулись.

— Подожди, дай послушать...

Из забоя снова донесся крик. Слов не разобрать и не понять, это крик радости или беды.

— Это голос Чичико? — спросил кто-то тихо.

— Кажется...

И вдруг всех сорвало с места и понесло к забою. Но не успели они добежать, как увидели взрывника, который, размахивая фонарем, бежал им навстречу.

— Где вы, устал кричать, братцы! Ну и свод! Прямо-таки зеркальный. Подобного я даже не встречал. Ну теперь дело за вами, к утру чтоб было пятьсот тонн!

Сардион вдруг почувствовал слабость в ногах и грузно опустился на конвейер.



* * *

С тех пор, как Иорам женился, его словно подменили. Он остепенился, стал больше доверять товарищам и даже гордиться дружкой с ними. Мужественная профессия шахтера придавала ему уверенности в собственных силах, рождала чувство гордости.

Да, профессия шахтера — не из легких, и тем более есть чем гордиться Иораму! Из заносчивого, крикливого и неуравновешенного паренька он превратился в настоящего шахтера, надежного товарища.

Он уже считался опытным крепыльщиком, не раз выполнял ответственные поручения. И все чаще и чаще стал подумывать он о том, что не мешало бы получить и среднее горное образование.

У него и характер заметно изменился. Чем объяснить это, влиянием Иамзе или чем-то другим? Он стал сдержаннее, мягче, внимательнее к друзьям. Но парень был на редкость самолюбив, не прощал никому даже случайной, пустяковой обиды. Он сам страдал от этого, но переломить себя в этом просто не мог.

Надо же было случиться, чтоб Сардион застал его в штреке! Он при всех дал ему понять, что здесь ему, Иораму, делать нечего! Иорам, конечно, понимал, что Сардион обошелся с ним так сурово потому, что он встревожен. Что удивительного в том, что старый человек не удержался и сорвал на нем свой гнев? Это ведь можно понять и объяснить! Другой на месте Иорама давно бы понял это! Но дело было не только в том, что Сардион невольно обидел его. Иорама мучило скорее всего другое — то, что в его поступке и в самом деле можно было увидеть желание покрасоваться. Этой ночью ему ведь нечего было делать на шахте. Он закончил свою работу в первую смену, и ему следовало теперь быть дома. А здесь в таком тесном забое каждый лишний человек — только помеха.

Теперь лучше всего ему, конечно, вернуться домой... А если в самом деле случится несчастье? Что подумает Иамзе, что он струсил? Нет! Иорам пролез в конвейерный штрек и пошел к нижнему забою.

Но в забой он не рискнул войти. Кто знает, как его там встретят. А что если Сардион, разозлившись, прогонит его! Иорам притаился у входа, за рудстойкой, и стал прислушиваться. До него доносился голос Сардиона, хотя сырой воздух шахты сильно приглушал голоса. И когда он услышал, что все-таки решено взрывать и шахтеры направились в конвейерный штрек, Иорам предпочел удалиться. Он вылез на главный штрек, пролез за пустые вагоны, стоящие за углом, прошел шагов пять и присел на мокрый, грязный буфер вагонетки. Здесь его никто не увидит.

Время тянулось медленно. Иорам продрог и подумал, что он зря изводит себя. Но тотчас отбросил от себя эти мысли. Там, в забое, в пятидесяти шагах отсюда находятся его друзья, товарищи, близкие, которым грозит опасность. Какая сила не заставит его уйти отсюда!..

Он сидел на влажном буфере, когда услышал взрыв. Сердце у него тревожно забилося. Он хорошо знал, что судьба его товарищей решается именно сейчас, в эту минуту. Он встал. И тут издалека донесся до него крик. Это не был крик беды. Иорам вылез из-за вагонов, прибежал к конвейерному штреку и увидел в глубине штрека единственный огонек, мерцающий, как светлячок. Огонек устремлялся к главному штреку. Нет, это не мог быть Сардион, тот не мог бежать так быстро. Огонек же все ближе приближался к нему. Минуту спустя Иорам узнал Мириана Мелекедури.

— Ты все еще здесь? — спросил тот удивленно.

— Где же мне быть?

Мелекедури хотел сказать еще что-то, но, видимо, торопился. Он перенес лампу в другую руку и побегал к вагону. Через минуту оттуда донесся лягж железа.

— Эгей-гей! — крикнул Мелекедури.

— Чего тебе?

— Иди-ка сюда, парень, подкати вагонетку, вот-вот пойдет уголь.

Иорам засиял. Значит, все обошлось! Молодцы ребята, молодец Сардион!

— Где же ты?

— Иду!..

Пустые вагонетки легко катить. На мокрых рельсах колеса скользят мягко и бесшумно. Они подкатали к конвейерному штреку двенадцать вагонеток и подставили под первый конвейер. Теперь Мелекедури, стоя здесь, будет следить за тем, как падает в вагонетку уголь, заполненную углем вагонетку откатит и подставит порожнюю. И так одну за другой. А затем электровоз увезет, отсюда груженные углем вагонетки. И все! Все пойдет по плану! Словно и не грозила шахтерам опасность, словно не было подозрительной, с трещинами, кровли над их головой.

— Ты слышишь? — донесся до Иорама голос Мириана.

— Чего тебе?

— Ты останешься здесь или пойдешь в забой?

Кто знает, в каком теперь настроении Сардион, и стоит ли показываться ему на глаза? Но так хочется повидать товарищей!..

— Я пойду в забой.

— Как хочешь... — Вероятно, Мелекедури хотел оставить Иорама у конвейера и сам вернуться в забой. Стоять у вагонеток — не большая честь для шахтера. А сегодня все, понятно, жаждают выгладеть мужественными и сильными. Но ничего не поделаешь... Мириан поднял железку и ударил ею несколько раз по вентиляционной трубе, подавая товарищам сигнал к тому, что можно включать конвейер. Конечно, он мог позвонить и по телефону, но шахтеры любят прибегать к этой старой и безотказной форме связи.

— Ничего не хочешь передать ребятам? — Иорам приладил рудничную лампу.

— Нет, ничего.

— Ну, я скоро вернусь.

Иорам пролез в конвейерный штрек и пошел к забоя, Сардион, наверное, уже не будет сердиться. Да и хватит учить его уму-разуму, в конце концов он уже не мальчишка.

Не прошел он и половины конвейерного штрека, как услышал сверху, из забоя, веселые оклики шахтеров. Почти в ту же минуту заработал конвейер. Широкая черная лента двигалась поначалу пустая, но прошло несколько минут — на ней появились черные, сверкающие куски угля. Огромные глыбы, покачиваясь, подплыли к Иораму, проплыли мимо и еще через минуту из главного штрека донесся оглушительный грохот и лязг. То падали на дно пустых вагонеток первые глыбы каменного угля. Но этот адский грохот и лязг для каждого шахтера звучал соловьиной трелью.

Не успел Иорам появиться в забое, как тут же увидел Сардиона. Начальник шахты освещал лампой свод и что-то говорил стоящему рядом Герасиме. Но вряд ли Герасиме слышал его — такой стоял вокруг грохот. Сардион опустил лампу и не спеша пошел к верхнему концу забоя. Герасиме последовал за ним.

Чуть повыше, как раз в середине забоя, работала очистная группа. Шахтеры легко и свободно орудовали лопатами, ссыпая уголь на широкую конвейерную ленту. Воздух в забое был пропитан угольной пылью. На блестящей поверхности угольного пласта дрожали тени. Сердце Иорама радостно забилося. Никакая сила не способна теперь увести его отсюда.

— А, Иорам, ты все еще здесь? — обратился к нему один из шахтеров, отбросив в сторону лопату и обеими руками поднимая огромную глыбу каменного угля — лопатой такую мощную глыбу не одолеть. Он бросил ее на конвейер и выпрямился.

— Вот будет потеха, когда его увидит здесь Сардион, — засмеялся другой.

— Будь здоров, уж ему влетит...

— Слушай, парень, чего зря топчешься, шел бы ты к своей молодухе.

— А может, ты успел надоесть ей? Уж очень похоже на то, что тебя выгнали из дому.

— Да, брат, незавидная у тебя доля, из шахты гонит Сардион, из дому собственная жена...

Ребята шутили добродушно, и потому Иорам, слушая их, спокойно улыбался. А рядом с ним гудел конвейер, унося добычу.

— Раз уж пришел, так подсоби. Вон лопата, бери ее.

— Ну, будет он марать руки лопатой, он ведь у нас крепильщик!

— И правильно! Человек всегда должен стремиться вперед.

— Молодец, Иорам, так держать!



Сверху к шахтерам стала приближаться светящаяся точка. И вскоре из темноты выплыл Теймураз Арджеванидзе. Начальник участка, увидев Иорам, улыбнулся.

— А что я говорил! — сказал Теймураз, сжав пальцы в кулак и подняв руку. Иорам в ответ широко улыбнулся.

— Ну, ребята, не подкачайте!

Теймураз наклонился, с трудом дотащил до конвейера глыбищу и повалил ее на ленту.

— С этим мы покончим скоро, — сказал шахтер Цхеносанидзе и вопросительно взглянул на Теймураза, как бы спрашивая, а что делать дальше?

— Все учтено... — Теймураз вытер пот на лице. — Крепильщики ставят в середине забоя запасные крепи. На всякий случай. Потом будем снова взрывать. Наверху можно было бы и сейчас.

— А что говорит Сардион?

— Это приказ Сардиона.

— Чей бы он ни был, решение правильное.

Арджеванидзе прошел мимо Иорам, дружески похлопал его по плечу и прошел дальше, к конвейерному.

Иорам же подхватил и увлек веселый, бодрый рабочий ритм. Он жаждал чего-то необычного, готов был совершить подвиг. Не посмеяв обратиться с просьбой к Сардиону, он направился к Теймуразу.

Теймураз шел к нижнему забою, где следовало произвести вруб. Известно, что определение места, где должна была работать врубовая машина, вменяется в обязанности начальника участка. Только после этого туда присылают крепильщиков.

— Значит, врубовую машину включим в эту же смену? — радостно спросил Иорам.

Это не малое дело. Наутро первая смена сможет немедленно приступить к работе.

— Непременно! — ответил Теймураз. — Если завтра ваша смена завершит весь цикл, о большем и мечтать нечего.

— Вот это да! — Иорам засиял, он готов был кинуться Теймуразу на шею и расцеловать его. Это в самом деле им повезло! Напороться на такой опасный участок, и, несмотря ни на что, соблюсти цикличность работы.

— Теймураз, будь другом, ты ведь понимаешь, домой меня никакая сила не погонит. Разреши мне сделать этот вруб. Зачем отрывать от работы кого-то? Я брожу здесь без толку, а душа работы просит. К утру закончу, обещаю тебе.

— Ну что ты говоришь! Я понимаю, тебе не сидится дома, когда на шахте такое творится. Но рабочих рук хватает с избытком, ты иди, отдыхай.

— Я вовсе не устал! И потом — никакой опасности в этой работе нет. А домой я позвоню, чтоб не волновались. Теймураз, будь другом, не откажи, а?

— Не слишком ли ты уверен. Иорам? Опасность грозит нам здесь на каждом шагу...

— Я понимаю... Но я буду осторожен. Теймураз, прошу тебя.



— Нет, Иорам! Не могу, не имею права!

— Теймураз!

— Не проси напрасно, не могу!

Теймураз подошел к концу забоя, проверил кровлю и, убедившись, что все в порядке, пошел наверх. Производителю вруб поручил крепильщику Парнаозу Гогисванидзе, дав в помощники ему молодого парнишку, а сам вместе с Сардионом и Герасиме стал решать вопрос второго взрыва.

И второй взрыв прошел удачно. Теперь уже наверняка им не грозила никакая опасность. Шахтеры ловко орудовали лопатами, ссыпая на конвейер каменный уголь. И снова загудел конвейер. Теймураз подошел к Сардиону, который явно устал за эту трудную ночь, и сказал ему с улыбкой:

— Теперь можно подумать и об отдыхе, не так ли, Сардион Эрастович?

— Я и думаю, дорогой мой Теймураз.

— Как видите, сегодня все обошлось, сегодня я не ошибся в расчетах. Но что будет завтра, никто не знает.

— В самом деле. От ошибок никто не гарантирован. Который теперь час? Смотри-ка, уже три... Так я пойду, иначе утром меня не добудятся. И Герасиме отпусти, пусть старик отдохнет немного.

Сардион похлопал Теймураза по плечу и медленно пошел к конвейерному штраку.

Несколько минут спустя оттуда донесся грохот — кто-то отчаянно колотил железкой по вентиляционной трубе.

— Что это значит?

Выключили конвейер. В тишине раздался тревожный крик Сардиона.

— Арджеванидзе, немедленно ко мне, Арджеванидзе!

Глазам Теймураза, тотчас появившегося в конце забоя, предстала страшная картина. Именно там, где по его приказу должен был быть произведен вруб, среди каменного угля возвышалась гора пустой породы. Из-под нее торчали чьи-то сапоги. Парнаоз стал поспешно разгребать глыбы камней. И тут все увидели Иорама Носелидзе. Он лежал лицом кверху, открытые глаза его были уставлены в свод. Гогисванидзе наклонился и приложил ухо к груди Иорама. Потом тяжело выпрямился и безнадежно махнул рукой.

Весть о гибели Иорама вмиг облетела весь город. Парень погиб так бессмысленно, что многие не хотели поверить в это. Но куда уйдешь от правды? Еще и солнце не взошло, а совершенно обезумевшая Иамзе ворвалась в больницу и отчаянно заколотила кулаками по двери прозектуры. Несколько мужчин с трудом оттащили ее от дверей. В кабинете врача, куда ее буквально внесли на руках, она потеряла сознание, когда же ее привели в чувство, Иамзе, увидев врачей в белых халатах, вскричала на ноги и с криком бросилась к двери.

— Иорам! Иорам, скажи, что все это неправда! Иорам!..

Город гудел, как взбудораженный улей. Жителей его, в особенности стариков, ничем не удивить, но даже они не могли примириться с гибелью Иорама. Одни говорили, что не хотят

и слышать ни о шахте, ни об угле, ни о перевыполнениях плана, лишь бы не быть им свидетелями такой беды...

Сардион Рачвелишвили за эти несколько часов так поставил, что его трудно было узнать. Поднявшись из шахты, он зашел к Кахаберу Гурасашвили, опустился на стул и долго молчал, бессмысленно уставясь в одну точку на полу. Потом встал, подошел к двери, открыл ее, повернулся к Кахаберу, мрачно произнес:

— Ничего, ничего не могу слышать, ничего не хочу знать...

И вышел, не закрыв за собой дверь, прошел коридор, вышел во двор шахты и, с трудом передвигая ноги, пошел к дому, даже не вспомнив о том, что во дворе его ждала машина.

Все хлопоты по похоронам легли на плечи Маргалиты. Гордая, самолюбивая Маргалита, воплакнув, очень скоро поняла, что плакальщиц по Иораму будет предостаточно, важнее, чтоб кто-то занялся похоронами. Шутка ли, сам секретарь райкома велел похоронить Иорама как самого почетного шахтера. Все знали, что Маргалита привела Иорама на шахту, и в том, что взбалмошный паренек стал со временем настоящим шахтером и стоял на верном пути, немалая ее заслуга. Что поделаешь, случилась беда. Но не имеет Маргалита права опускать руки, хотя бы в память об Иораме. Надо похоронить его как положено.

Немало хлопот легло на плечи и Герасиме. Он ссутулился, согнулся под тяжестью горя. Сидел молча в соседней комнате, то и дело вытирая платком единственный глаз, раздраженно отмахиваясь, когда кто-либо обращался к нему с вопросом. И все-таки за советом все шли к Герасиме.

Прошло три дня. Наступили последние минуты прощания с Иорамом. Терентий Чагунава, собравшись с силами, перед выносом тела из здания клуба, произнес прощальную речь. Но на могиле никто не смог вымолвить ни слова. Все стояли молча и смотрели в последний раз на лицо своего молодого товарища, неярко освещенное лучами позднего осеннего солнца.

Женщины оттащили совершенно обезумевшую Иамзе от могилы.

За поминальным столом тамадой был Терентий Чагунава. Он ведь особенно любил Иорама. Он долго, сдерживая слезы, говорил о своем младшем товарище, под конец сказал:

— Да... то, что мы пережили в эти дни, трудно представить... Что ж, такова наша профессия. Пожалуй, только шахтер может думать, выходя на работу: а вернется ли он домой... Пока что это так, ничего не поделаешь. Скоро все это изменится. Я знаю это и верю в это так же, как и вы. Я уверен, скоро наступит время, когда человеку и не надо будет спускаться под землю... Каменный уголь и другие полезные ископаемые будут добываться на глубине только с помощью машин. Мы будем свидетелями этого. А пока что будем свято хранить память нашего дорогого Иорама, не оставим без внимания его семью. За светлую память нашего Иорама!

— За светлую память... — произнесли шахтеры один за другим и выпили стаканы до дна.

В тот день, когда погиб Иорам, Иринэ пришла домой в час дня, вероятно, и в тресте все были настолько взволнованы, что не могли работать. Открыла дверь в комнату Джибраила — давно она не делала этого, взглянула на него огромными, полными тревоги глазами и убедилась, что он уже все знает. И осторожно приоткрыла дверь. Минут через десять она снова открыла дверь и почему-то очень тихо сказала:

— Мне надо сходить за Гогутуной, а ты пойди туда.

Не надо было объяснять, что означало это слово «туда». Джибраил переоделся, захватил с собой все деньги, какие были в доме, и вышел.

Едва Джибраил вошел во двор, тотчас увидел своих товарищей. Он заметил, как Герасиме при виде его пробурчал что-то и отвернулся.

Джибраил побагровел. Если Герасиме, всегда спокойный и уравновешенный Герасиме, не может сдержаться, чего же ждать от других?

Другие его товарищи, правда, не отвернулись так демонстративно, но все как один отвели от него взгляд. Никто не захотел даже обмолвиться с ним словом.

Выходит, не имел он права обижаться, когда с ним поступают несправедливо? Допустим, он умерил бы гордыню, остался на участке, что, не случилось бы этой беды? Но видать, его товарищи еще долго не простят ему измены...

Джибраил остановился в нерешительности, не зная, к кому подойти, к какой группе примкнуть. В дом войти он не решился... И тут, словно почувствовав на себе взгляд, он повернулся. В воротах стояла Иринэ. Она все видела, и краской гнева и обиды залилось ее лицо. За что так суровы с ее мужем его бывшие друзья? Что они сделали для того, чтобы удерживать Джибраила на шахте? И по какому праву они сейчас унижают его?! Глаза ее метали искры. Упрямо тряхнув головой, она гордо, не спеша поднялась по лестнице и, не поздоровавшись, прошла мимо бывших товарищей мужа.

Джибраил постоял еще немного и пошел домой.

Не поужинав, лег в постель и тотчас уснул. Проснулся он от какого-то шороха. Прислушался. Нет, видимо, померещилось. И в доме, и на улице полнейшая тишина. Джибраил потянулся за сигаретами, чиркнул спичкой и тут только увидел — в дверях стоит Иринэ и смотрит на него. Джибраил выронил сигарету. Иринэ стремительно бросилась к нему, откинула одеяло и молча легла рядом с мужем. Всем телом прильнула к нему и крепко сжала его левую руку.

Вернувшись с поминок, Теймураз умылся и собирался уже лечь спать, когда услышал в коридоре нестройный шум шагов. Почти в тот же миг распахнулась дверь, и в комнату вошел пьяный Чапчиадзе. В правой руке он держал кувшин с вином, в левой — какой-то засаленный сверток. Следом за ним в ком-

нату ввалился какой-то худощавый паренек в черной рубашке. Теймураз видел его впервые. У незнакомца под густыми сросшимися бровями ехидно блестели маленькие черные ^{глазки}. Черные волосы спадали в беспорядке на лоб, до самых бровей. На нем были дешевые брюки и сапоги с низкими голенищами. Он, видимо, долго бродил под дождем, потому что был мокрый до нитки. С ним был и третий гость — высокий детина с выпяченным животом, в мокром пальто, накинутом на плечи. Он остановился в открытых дверях, добродушно улыбувшись, живнул Теймуразу головой. Всем своим видом он словно говорил Теймуразу: не думай, что я их поля ягодка, я с ними случайно и совсем скоро уйду. Разумеется, он тоже был пьян.

Чапичадзе и широкобровый вмиг все перевернули в комнате. Чапичадзе снял куртку и швырнул ее на кровать. Сверток газетный он положил сначала на табурет, потом почему-то передумал, шатаясь, подошел к Теймуразу поближе и уставился на него светлыми желтоватыми глазами.

— Товарищ инженер... Разрешите воспользоваться вашим столом... Хотя... Стол ведь не только ваш... а?

Теймураз решил, что с его стороны сейчас самое разумное — покинуть комнату. Но это будет похоже на бегство — Чапичадзе явно нарывался на драку. Теймураз молча встал, взял со стола свои бумаги, кипу конвертов, спрятал их в шкаф. Потом сел на свою кровать.

Чапичадзе поставил на стол кувшин с вином, разложил еду. Потом повернулся к широкобровому:

— Товарищ инженер... освободил нам стол... Чего же еще, а?

Широкобровый окинул Теймураза насмешливым взглядом, оперся руками о стол и склонил голову.

Теймураз хорошо помнил, что на поминках в ресторане был и Чапичадзе, был вплоть до того, как Теймураз ушел. Когда же Чапичадзе успел так нализаться? А может, он притворяется? Этот широкобровый, видимо, не очень-то пьян. Во всяком случае, так Теймуразу показалось. Что-то они задумали, это несомненно.

Чапичадзе принес хлеб, швырнул его на стол, затем поставил на стол стаканы. Нет, он, конечно, притворяется пьяным. Но вот Чапичадзе широко развел руки и крайне вежливо обратился к Теймуразу:

— А теперь, товарищ инженер, прошу вас, мы приглашаем вас! Приглашаем за стол, где будут отмечать поминки по моему любимому брату Иораму Носелидзе. Я, Геронтий Чапичадзе, приглашаю тебя — товарища Теймураза Арджеванидзе. Да...

Теймураз что-то не припоминает, чтоб Геронтий с Иорамом были друзьями.

Было ясно, что Чапичадзе ищет повода свести счеты с Теймуразом. И время выбрал подходящее — в общепитии все потрясены гибелью Иорама и никто, наверное, и пальцем не пошевелит, чтобы помочь Теймуразу. А справиться с двумя, а может быть, даже с тремя противниками ему, разумеется,

не под силу. Выходит, он, Теймураз Арджеванидзе, молодой инженер, начальник участка, должен явиться наутро на шахту в синяках и кровоподтеках? «А вдруг у них к тому же оружье?» — подумал Теймураз.

— Прощу! — широкобровый кивком головы пригласил Теймураза к столу и взял стакан с вином. — Только... уж если я убью человека, я не буду пить поминальный тост за него. Но это я так поступаю, но как поступают другие... каждому воля!..

— Ну! — бросил грозно Чапичадзе и протянул Теймуразу стакан. Но не стал ждать, пока тот возьмет его, поставил стакан и повернулся к широкобровому. — Нет, нет, дорогой мой Пепела! Нет! Инженер вовсе не убивал нашего Иорама. Иорам сам виноват в своей гибели. Проглотил люминал — и конец! Не выпей Иорам люминала, он и сейчас был бы жив... Так-то....

Чапичадзе, видимо, думал, что острит. А этого, широкобрового, оказывается, зовут Пепела¹.

— Ты прав! — Пепела поднял стакан и стал рассматривать его содержимое. — За светлую память Иорама!

Опорожнил залпом стакан.

И Чапичадзе выпил до дна. Но молча.

— Ну, друзья, я пошел! — раздался в дверях голос верзилы.

— Счастливо! — Пепела по-военному стукнул каблукми и вскинул руку.

Верзила поправил на плечах пальто, закрыл за собой дверь.

Воцарилась неловкая тишина. Пепела уставился в порожний стакан. Чапичадзе своими желтоватыми бессмысленными глазами смотрел то на широкобрового, то на Теймураза. Сейчас он снова казался очень пьяным.

— Где вы учились? — спросил неожиданно Пепела.

— Что вы?..

— Спрашиваю, где ты институт кончал, кто давал тебе диплом?

— В Тбилиси.

— Хм... В Тбилиси... Понятно... — Пепела многозначительно покачал головой.

— Ох... — Чапичадзе так тяжело вздохнул, словно у него душа вырывалась из груди.

— Скажите-ка... — Пепела старался быть вежливым. — Вот если я, к примеру, приду в тот институт, мне тоже дадут диплом?

«Что я могу ответить ему?» — думал Теймураз.

— Наверное, нет, а? — не унимался широкобровый.

— Не думаю...

— Что?

— Говорю, не думаю, чтоб дали...

— Значит, нет, говоришь? — уставился Пепела на Теймураза.

¹ Пёпéла — бабочка (груз.)

— Нет! — неожиданно для самого себя твердо произнес /
Теймураз.

— Нет?! — удивился почему-то Пепела.

— Ни в коем случае! — Теймураз встал и подошел к шкафу.

— Ты куда?! — в голосе Пепелы Теймураз уловил растерянность.

«Нет, оружия у него нет».

— Что у тебя в кармане пиджака?

— Платок.

— Хм...

Теймураз достал из кармана пиджака платок и вернулся к столу. Как просто, как неожиданно все прояснилось! Теймураз уже не боится ни этого широкобрового с колючими глазами Пепелы, ни Геронтия Чапичадзе.

— Так в самом деле мне не дадут диплома? — не унимался Пепела.

— И не подумают...

— Да... Ты не выпьешь поминальный?..

— Я уже пил сегодня поминальный тост за Иорама.

— Уже пил... — И вдруг Пепела размяк, откинулся на спинку стула и уставился на Теймураза. — Знаешь, что я скажу тебе? Мне с тобой нечего считать. Сами разбирайтесь, ты и этот вот дегенерат. Здесь какая-то девка замешана. Так вот, если можешь, не обижай этого типа. А если не можешь... Вообще-то я пошел... Но одно я скажу тебе: знаешь, почему ты не испугался меня? Потому что не знаешь меня. Если бы ты знал меня, то наверняка испугался бы. Что такое человек, знаешь? Вот! — Пепела взял со стола нож и показал Теймуразу его кончик. — Человек всего-навсего — вот что... Я так думаю...

Он встал. Осушил еще один стакан и пошел к двери.

Чапичадзе с глупым, тупым выражением лица сидел за столом и бессмысленно моргал глазами. Теперь он снова был трезвым.

«Уйду я сейчас, погуляю немного. К тому времени он заснет...».

Вышедшего из общежития Теймураза обдало холодным осенним дождем.

* * *

Об убийстве Анзора Купатадзе Натиа узнала спустя время, когда его уже похоронили. Трудно было поверить в то, что он убит, ведь у него, казалось, не было врагов. В первое время даже не могли кого-либо заподозрить. Бесарион и его дружки принимали в похоронных делах такое деятельное участие, казались такими удрученными, что о причастности кого-либо из них к убийству не могло быть и речи.

Натиа, как правило, не читала траурных объявлений, помещенных в газетах, ни с кем из компании Бесариона не встречалась. И лишь две недели спустя после похорон Купатадзе она случайно встретила на улице Тенгиза Джавелидзе

и узнала эту страшную новость. Натиа и не представляла, что эта весть может так подействовать на нее. Она с первого же дня их знакомства чувствовала, что Анзор в этой компании самый чайный человек. Джавелидзе долго и путано рассказывал Натии о смерти Анзора. Почему-то Натии не понравилось, как вел себя Джавелидзе, но могла ли она представить себе, что несчастный Анзор убит своими же друзьями?!

А еще некоторое время спустя в жизни Натии произошли коренные изменения.

Номали Дихаминджия с триумфом возвратился из заграничного турне. Газеты словно изощрялись в печатании фотографии этого внешне привлекательного, красиво улыбающегося спортсмена. Бесконечные интервью, встречи с корреспондентами, фоторепортерами — вот чем были заполнены все его дни после возвращения. Корреспонденты не забывали упомянуть, что спортсмен удачно сочетает спорт со сдачей предметов, предусмотренных кандидатским минимумом.

Имя Номали было у всех на устах, его родители не знали, куда деваться от постоянных телефонных звонков — казалось, для всех девушек Тбилиси свет клином сошелся на этом парне.

Номали же...

Номали позвонил как-то Натии, потом приехал за ней на «Волге» и увез ее во Мцхета. Здесь у стен древнего Светицховели он неожиданно попросил ее руки.

— Вы... Вы не спешите, Номали?

— Наоборот... Я опоздал.

Натиа промолчала.

— Ответьте мне, Натиа.

После недолгого молчания она сказала:

— Я согласна...

В декабре Натиа и Номали расписались и уехали в свадебное путешествие.

Перевод Виктории ЗИНИНОЙ

МАЙ, 1945

Ушло, а вот поди же,
стоит перед глазами!
Кружение тише, тише,
и вальс деревьев замер.
И дождевые струи —
как лопнувшие струны.

Вода с листы стекла, но
стоит повсюду праздно,
сверкая то стеклянно,
а то почти алмазно.
От этого светлее
в душе, в дому, в аллее.

Эгей, ребячья стая!
Мир так певуч и звонок!
И тень моя худая
крадется, как котенок.
Вдоль лужиц-луж несется,
где плещет солнце-солнце...

Немало испытаний
и гроз мне перепало.
А все то небо манит,
то водное зеркало,
где память встретить рада
ягнят небесных стадо.

Прозрачен, точно влага,
свет улицы согретой.
Иду и вместо флага
машу, машу газетой.
Вчера война умолкла!
Нам дядю ждать недолго!

Но что-то смотрит мама
таким печальным взглядом.
И глядя строго, прямо,
отец молчит с ней рядом.
Ремень чуть-чуть поправит,
костыль прочней поставит.

А пестрых красок маю
хватает — все в цветенье!



Я не пою — рыдаю,
 дитя, но весь — смятенье.
 Кричу в чудном запале:
 — Ну что, фашисты, взяли?!

Уж тридцать два годочка
 с тех дней, с того сиянья.
 Легло весомо, прочно
 большое расстояние.
 И нынче зрелым мужем —
 по лужам-лужам-лужам.

...Гремит оркестрик лихо,
 спеша в ладу нестрогом
 за пляской инвалида
 с опорожненным рогом.

ХИРОСИМА

Как, в самом деле вы убеждены,
 что это — не мираж, так просто ложь,
 когда мне плач того, кто обречен,
 бьет прямо в сердце, как сапожный нож?!

Неужто мне мерещится толпа,
 которая взывает к небесам:
 — О, господи, что будет?!. Помоги!..
 И женщинам!

И детям их!
 И нам!..

Так, значит, Хиросима в страшный день
 и Нагасаки — это только сны?
 За этот смерч, ровесники мои,
 никто из вас не чувствует вины?
 Но ежели за все добро и зло
 один лишь бог ответствен на земле,
 так что же мнится мне:

я виноват
 в любом не мною совершенном зле!
 И кто меня все кличет по ночам,
 и в голосе — отчаянье и дрожь?
 И страшный плач того, кто обречен,
 бьет прямо в сердце, как сапожный нож.
 От ненависти к самому себе,
 безгрешному, уже немоготу.

...Колышется над Хиросимой дым,
 как будто ветка вишни,
 вся в цвету.

БЫЛА ЕГО ПОХОДКА ТАК ЛЕГКА...

Была его походка так легка!
 Божественный же голос был таков,

проходя, потреплет чуть небрежно
по плечу
сочувственной рукой.

Улыбнется,
словно не с руки
грош терять, где счет ведется тыщам:
так в ладонь, протянутую нищим,
падают со звоном
медяки.

Больше ничего.
И колдовство
мокрой мостовой и голых сучьев.
Тень твоя, двойник твой неразлучный,
тянет шею.
Больше ничего.

* * *

По снегу тень трусливая ползла.
Такою тишью вечер был объят,
что о снежинках,
сгибших от тепла,
вслух размышлял ветвистый старый сад.

Поднялся легкий ветер и поник,
у хижины разбитой лег на снег,
когда послышался негромкий крик,
такой знакомый:
умер человек...

Кто брэнное закончил бытие?
Кто, завещав нам мужество, умолк?
Кто там расстался с жизнью и ее
взвалил на наши спины,
словно долг?

Я позабыл, но буду помнить впредь,
что здесь иной порядок у судьбы,
что здесь без суеты встречают смерть,
без крика,
без стенанья,
без мольбы.

И слава богу, что ошибся я,
приняв свист электрички в этот миг
за женский крик о крахе бытия...
Дай бог, чтоб этот свист опять возник!

Но чуть шумит поблизости ручей,
и ни плетней знакомых, ни арбы...
В России ночи — ночи из ночей.
Чуть виден дым из дымовой трубы.

И ветер взмыл.

И не было с ним сладу:
рубашку рвал — играя, не со зла.
На набережной в чистую прохладу,
как будто в церковь, женщина вошла.

Дельфина увидав на гребне вала,
встречала смехом всяк его прыжок.

И там,

на камне,

где она стояла,
прохлада умирала возле ног.

В ней было столько радости, полета!
Казалась исполнением мечты.

Я чувствовал,

как каменное что-то

растаяло во мне от теплоты.

МОСТ

Как дым иль облако
недолгий миг ушел.
Уйдет и год — здесь все бессильны пути.
И нам вовек не возвратить минуты.
Так пуля, вылетев,
не возвратится в ствол.

Как годы сгнули,
остались позади!..
Как незаметно, тихо и беспечно...
Всему свой срок, ничто не бесконечно:
ни тропы близкие,
ни дальние пути.

Дорога новая —
и новая река.
Она гремит и мутно, и лениво.
И вот уж тень твоя, шустра на диво,
чело вспотевшее
обрызгала слегка.

Да, быть препятствием —
удел реки таков.
Она течет и грозно, и устало,
чтоб жизнь твоя перед тобой предстала,
как мост, проложенный
меж дальних берегов.

Лишь там, за волнами,
и белое бело,
и красно красное, и сосен стая
стремится к склону горному, взлетая
туда, куда, небось,
их солнце завлекло.

Там трепет утренний
почувствуют едва,
и утра ждут в такой слепой отваге,
как только лишь пустыня жаждет влаги
и тени праведной
людского существа.

Там мальчик маленький,
уперши кулачки,
толкнет окно навстречу ветви гибкой
и улыбнется нежною улыбкой,
как будто видит мост
над маревом реки.

Круженье темных птиц
над бездною речной
и над мостом следишь теперь не ты ли?
Как будто сотни шапок в небо взмыли.
Испуган и смятен,
твердишь: — О, боже мой!

С любовью строил я.
Стою перед мостом.
Непрочен, может? Может, ненадежен?
Я раньше всех его проверить должен.
За мной последуют другие.
Но — потом.

Мост рвет пространство,
как могучая рука.
Кто не решится — пусть дрожит, как баба.
Но ты идешь. И волны плещут слабо.
И ближний смотрит вслед.
И мост дрожит слегка.

ДЕРЕВО И ПЛОД

Куда как страшно дереву, когда
на ненадежной ветке спелый плод.
Довольно ветра шалого —
и вот
сломалась ветвь под тяжестью плода.

И он лежит в мокре, в сырой тени.
Полоска света — трещинкой на нем.
А дерево все стонет об одном:
там, за забором, —
хрюканье свиных...

ПЕСНЯ

Посвящается Джине и Ираклию.

Запел я песню —
славная минута!
Есть край родной и вечно будет впрעדь.

Не затоптать врагу, не одолеть
колосьев,
подымающихся круто.

Поймите, дети,
что никто не может
на Родину ворчать. Так не впервой,
эх, подадим ей голос верный свой!
Есть край родной,
он нам всегда поможет.

Когда порой
ты уязвлен судьбою,
душевную открытость сохрани.
Пой, Джина, как бы ни сложились дни!
Есть край родной —
да будет он с тобою.

Есть край родной,
езде он будет близким.
А ну, Ираклий, громче запевай!
Таков народ, хранящий этот край,
что кто уйдет —
вернется обелиском!

Колосьев,
подымающихся круто,
врагу не затоптать, не одолеть.
Есть край родной и вечно будет впрядь.
Запел я песню—
славная минута...

ТРИНАДЦАТЬ СТРОК К СОБСТВЕННОМУ ДНЮ РОЖДЕНИЯ

Иль был я невеждой, забывшим вконец материнское слово,
или род не продолжил, иль впрямь промотал достоянье отцово,
иль презревшего жизнь не удерживал сто раз на дню,
чтоб себя не разбил человек, как снаряд о броню,
или зоркостью глаз я не выручил в жизни слепого,
иль не понял я, дурень, что дело поэта сурово,
и отнюдь не забава неравный с размерами бой,
или не был я с теми, кто дерзок и труден судьбой,
или не был хоть в строчке одной и правдив я, и тонок,
иль святыню мою осквернил бесталанный подонок,
или серьги жены променял я на чашу вина,
или ненависть меньше ко мне, чем моя же вина —

но с утра снисхождением близких душа смущена.

КАК ПОЙМАННАЯ ПТИЦА

П о в е с т ь

Встречать меня на вокзал приехал дядя Миша, водитель институтского грузовика. Обнялись, расцеловались.

— Наконец-то! Давненько не было тебя в Москве! Как доехал, Гурам? Как вы там, в вашей Сибири? — спрашивал он, радуясь мне, словно родному.

— Хорошо, дядя Миша! Вы тут как?

— Нам-то что, мы в столице живем!

Встречать он приехал, собственно, не меня, а мой груз. Пока к платформе подводили кран, чтобы перенести огромный контейнер на нашу трехтонку, я прошел в зал ожидания.

Люблю я этот вокзал с его многолюдьем и суетой. Люблю наблюдать за приезжими, особенно теми, кто впервые в столице — их сразу заметишь по растерянному, смущенному виду.

Людно, шумно, оживленно...

А там, далеко, в моей деревне, совсем иначе было на станции. Вдоль платформы — дубы-исполины; ни справочного бюро, ни толчен, ни машин. Один-единственный автобус отвозит людей в горные деревни: успеешь на него — хорошо, а нет — топай до дому пешком. Правда, красотища вокруг — не заметишь, как отмахнешь пятнадцать километров! А может, и там теперь все иначе — двенадцать лет как не был.

Я выбрался на привокзальную площадь. Дядя Миша подкатил свой так и сверкающий чистотой грузовик прямо ко мне.

Дорога предстает долгая, часа полтора через всю Москву.

Еду по просторным улицам, гляжу на торопливых прохожих, на мелькающие мимо машины и снова включаюсь в стремительный ритм города.

— Не соскучился по Москве? — дядя Миша понимает мое состояние.

— Спрашиваешь! Еще как!

— Заждались тебя ребята! — И помолчав: — Сначала в гостиницу заедешь... или прямо к ним?



...Никогда не забыть мне
февральский день 1962 года.
Мне было тогда 28.

Смущенный и взволнованный стоял я в кабинете редактора журнала «Цискари», известного грузинского писателя, переводчика Вахтанга Челидзе, и пытался вникнуть в ускользающий от меня смысл коротенькой и простой, в сущности, фразы, сказанной Георгием Шатберашвили, который и привел меня сюда: «Вахтанг, этого парня надо простить».

— Успею в гостиницу. Сначала к ребятам...

Вот и знакомые ворота. Вооруженный вахтер проверяет пропуск, скрывается в будке, и, пока нажимает на кнопку, я успеваю воскликнуть:

— Сезам, откройся!

И ворота раскрываются.

Я богаче самого Али-Бабы, но не ведают об этом ни охрана, ни дядя Миша. Содержимое контейнера, то, что я ввез сейчас в наш НИИ, для них всего лишь земля, просто земля, и ничего больше.

К машине подлетает симпатичный молодой мужчина в белом халате, распахивает дверцу и, не давая мне опомниться, подхватывает на руки. Это кандидат технических наук Игорь Озеров. Потом он становится на середине тесного двора — сомкнутый восьмизатяжными зданиями двор похож на глубокий сухой колодезь — и, запустив в рот два пальца и задрвав голову, свистит что есть силы. Наверху мгновенно распахиваются три окна и высовываются три светловолосые головы.

— Гурам прибыл! — орет Игорь.

Еще минута — и я в осаде, окружен тремя блондинами в белых халатах.

— Осторожно, выпачкаю! — остерегаю я друзей, но им хоть бы что — не слушают, не слышат, качают меня, кидают и кидают в воздух. Натешившись, Игорь обращает взгляд на контейнер и уточняет:

— Две тонны?

— Как повелели. Хватит?

— Для заводского эксперимента и тонны хватит. Что нового в тайге? Порядок?

— Порядок.

— Как Александров с Пельменевым? Держатся?

Георгий Шатберашвили — дорогое имя всем нам, пришедшим в грузинскую литературу в 60-е годы. Маститый писатель, радетель родного языка, Георгий Шатберашвили, тогда заведующий отделом прозы журнала «Цискари», был настоящим пестуном молодежи, внимательным, требовательным, заботливым.

С того памятного дня и определилась моя литературная, творческая жизнь.

А до того были учеба в политехническом институте родного моего города — Тбилиси, были без малого десять лет работы по избранной профессии — инженером-геологом.

В настоящее время я автор четырех книг.
Работаю на Грузинском телевидении.



— Как львы!

— И жены?

— И жены не жалуется.

— Прямо сейчас явишься к директору?

— В таком виде? Неловко. Вымоюсь, приму человеческий вид. К нему — утром, а сегодня вечером...

И все пятеро дружно по слогам возглашаем:

— Вечером ровно в восемь встречаемся в «Волге»!

Как бы между прочим интересуюсь:

— Тетя из кассы взаимопомощи здорова?

— На здоровье не жалуется, о вашем прибытии осведомлена. Можете заглянуть к ней, — Игорь понимающе улыбнулся. — А мне к директору надо — послезавтра начнем эксперимент.

— Послезавтра выходной, — напомнил один из блондинов, отлично зная, что ему возразят.

— Потому и хочу зайти к нему.

— Все! Приехал Гурам — прощай отдых! Целый месяц будем без выходных. — В тон первому замечает второй блондин.

— Ну нет, на месяц не рассчитывайте. Ответ нужен раньше, спешу.

— Тогда возвращайся и ждите радиопрамму! — недовольно советует третий блондин.

— Не могу, ребята. Честно. Александров на десять дней командировал.

— Все ясно, нечего говорить впустую, — заключает Игорь.

Расстаемся до вечера.

В вагоне метро люди отодвигаются от меня, моя телогрейка вызывает, конечно, сомнение в чистоте.

Странное дело: пока я в тайге, мечтаю надеть костюм и белоснежную сорочку, но, попав в город и вырядившись, не дождусь, когда снова облачусь в телогрейку.

Пять месяцев не был я в городе.

Это сказать легко — пять месяцев.

А попробуй посетовать на свою профессию, сразу оборвут — самая достойная мужчины профессия, самая мужская.

Не спору, быть геологом действительно хорошо, но представлять занятие геологией в ореоле романтики и восторгаться, как восторгалась одна девушка: «О, как прекрасно быть геологом!», смешно. «Чем хуже быть врачом или строителем? — спросил я ее. — Думаете, геологи прогуливаются по горам и долинам, совершают этакую «этнографическую» прогулку? Наблюдают жизнь разных людей, их нравы, обычаи, да?».

И многие именно так представляют нашу работу. Выполнили бы они хоть один маршрут в тайге! Да что там в тайге — по берегу Черного моря!

Я вот пять месяцев по-человечески не мылся, пять месяцев не ел того, что хочется. Пять месяцев оторван был от дорогих мне людей...

В институтской гостинице мое появление вызовет радостную сумятицу — любят тут меня, своего давнего постояльца, ну а раз так, легко догадаетесь, плохо обернется дело. Что меня ждет, в этом и себе боюсь признаться. Страшно... Страшно? Нет, вырвалось, ничуть не страшно! Когда один, и то не опускаю рук, а уж среди друзей...

Увидите, как радостно встретят меня в гостинице — в ней останавливаются только исследователи и изыскатели, имеющие отношение к комплексной теме «Наш элемент».

— Ваш пропуск?

А-а, новый вахтер.

— Сейчас, дорогой, — я изучаю карманы. — Вы, верно, недавно здесь...

— Какое недавно! Целый век! Пять месяцев уже! Меня не проведешь. Нет пропуска, не ищи. Не для всех эта гостиница.

Видите, ему пять месяцев веком кажутся! А я эти пять месяцев...

Ко мне уже спешили мои «старушки»: администратор — «хозяйка гостиницы», как я ее называю, дежурная по этажу, горничная и парикмахер.

— Здравствуй, Гурам! Гурам наш приехал! Наконец-то, милый!

— Как поживаете, мои красавицы, мои проказницы! Не соскучились по вашему Гураму?

— Соскучились, соскучились, проказник! — за всех ответила дежурная по этажу. — До сих пор помню, как досталось из-за тебя, когда ты дядю через окно впустил.

— Подумаешь, не девушку ведь — дядю впустил. Не мог же человека на улице оставить, если в гостиницах мест нет... Эх, был бы я директором — заменил бы вас молоденькими и хорошенькими! Набрал старушек!

— Молоденьких сам находи!

— А что в моем номере делается, красавицы?
— Твой номер убран, все выстирано, выглажено... Идем,
сынوك, идем.

Хозяйка пошла впереди, отперла комнату под № 266. В гостинице всего-то сотня номеров — мой на первом этаже, но по директорской прихоти они пронумерованы произвольно. Наш директор крупный ученый, но любит шутку. Видимо, он был в веселом настроении, когда занимался нашей гостиницей.

— Снимешь грязное, сложи тут, на стульчике. Заберу потом, — сказала хозяйка и самолично приготовила мне ванну.

Я взял из шкафа чистое белье, выбрал сорочку и прошел в ванную. Музыкальная программа для ванной определена мной раз и навсегда: я успеваю исполнить каватину Фигаро Россини и «Элегию» Массне. Ванная наполняется ароматом хвои. Бережет врач твою нервную систему, Гурам! Врач. Чего я вспомнил врача? Видно, примется за меня с утра... Что ж, объект наблюдения в вашем распоряжении, дорогой Даниил. Милый, необходимый человек! Но пойми, тяготит твоя опека, твое излишнее внимание. У меня ведь нервы, те самые, что ты пытаешься успокоить хвойными ваннами! Видишь, как неукоснительно выполняет твои указания хозяйка! Ладно, проявим послушание! Ну-ка, в ванну! Не спеши, осторожно — вода горячая! Нет, тебе кажется, Гурам, температура измерена. Сто пятьдесят дней горячей водой только голову мыл, отвык от нее. Давай, давай, вытянись, поблаженствуй. Может, скажешь, и твой дед в Москве хвойные ванны принимал да не выдержал хорошей жизни и оттого помер? Бедный дед, не баловала его жизнь. А отец?.. Не без твоей вины покинул он этот мир расстроенным. Нет чтобы жениться, порадовать старика внукам — в тайгу махнул: работа ждала, видите ли. Да, работа, а что? Главное для человека — работа, дело. Разве не так? Так, конечно, но когда отец умер, тебе даже сообщить не сумели — без следа-пути затерялся в тайге с Юрием Александровым. Неопытны же были мы тогда! Хотя, что опыт, с тайгой всегда надо быть настороже.

Стук в дверь. Значит, пора. Лежать дольше не следует. Вредно. Хозяйка ждет за дверью. Не отойдет, пока не зашумит душ. Что ж, я не враг себе, как ни приятно, больше дозволенного лежать не стану. Видишь, Даниил, как покорно следую твоим указаниям. Помогаю тебе продлить нашу драгоценную жизнь. Но надолго ли? Долго ли смогу продержаться? Верно, придет час, когда сдам позиции, не смогу уже сам справляться. Приду тогда и препоручу себя тебе и твоим медикаментам. Слышишь, Даниил! Но, по-моему, тебе, проницательному и наблюдательному, и без меня все известно. Чем иначе объяснить чрезмерную заботу и внимание со стороны наших «старушек»? Неужто только привязанностью и любовью?

Ария Фигаро допета. Я одеваюсь и звоню в парикмахерскую. Там уже ждут меня. Прекрасно.

Лицо мое скрывается под пеной, и в большом зеркале сияют одни глаза.

— И не сбрызнуть твою щетину! — сетует моя парикмахер.

— Не ворчи, постарайся сделать меня красивым. Вечером с ребятами встречаюсь.
— С ребятами или девочками?
— Будто не знаешь.
— В «Волге»?
— Кроме «Волги», нигде не готовят шашлыка по-нашему!



Вернувшись в номер, надел белоснежную сорочку. Старательно повязал галстук. Облачился в лучший костюм. Галстук слишком давил, пожалел себя и расслабил узел.

Который же теперь час? Спросим у телефона. Восемнадцать часов семь минут.

Пешком до метро — минут сорок. Загляну на почту — за письмами. Это минут двадцать, если не будет очереди. Там же отведу на письма. Точнее — на мамины письма, от других не ожидается. На ответ ей понадобится минут пятнадцать. Оттуда до «Волги» полчаса — без четверти восемь буду на месте. Итак, в путь, Гурам!

Вахтер открыл мне двери.

— Поздно вернусь, старина!

— Я на дежурстве — спать не собираюсь, — успокоил он меня, показывая прокуренные зубы.

— Счастливо оставаться.

— Вас машина ждет у ворот.

— Врач у себя?

— Да.

— Передай шоферу, пусть отдыхает.

— Хорошо, как вам угодно.

Эх, Даниил, Даниил, плохой из тебя Штирлиц! Но, видно, чувствуешь — надежный я объект для твоих наблюдений — эксперимент в естественных условиях... И все же я сам... пока что — я сам... Сам постараюсь справиться.

Большую услугу оказал грузинам замечательный русский архитектор Иван Иванович Рерберг: в самом центре Москвы, на улице Горького возвел Центральный телеграф, кратко именуемый всеми: «Ка-девять». Где будешь? Где встретимся? Куда тебе писать? Ответ один — «Ка-девять». Сюда сходятся приезжие по делу и без дела. Бездельники, кстати, собираются здесь для «деловых» переговоров, а деловые люди могут зайти сюда как раз просто так, поболтать со знакомыми.

Письмо от мамы коротенькое — она жива, здорова, только обо мне беспокоится. А я из-за тебя переживаю, мама. Бедная ты моя, за двенадцать лет всего три раза дано было меня видеть, потому что девять раз приходилось проводить отпуск в санатории — с профилактической целью. Но об этом ты никогда не узнаешь. А знала бы, что прозлит твоему сыну, так в железную обувь обулась бы, железный посох взяла бы и пустилась искать меня по всей тайге. Одним утешаешься — гордишься мной, важным делом занят твой сын... Мечтаю повидать тебя, мама! И еще мечтаю — дожить бы тебе жизнь, не видя больше горя.



Сегодня приехал в Москву и получил твое письмо. Не представляешь, как обрадовался. И тут же на почте отвечаю тебе. Я здоров, крепок как камень, ем хорошо, аппетит волчий. Все еще не женился. Ни в чем не нуждаюсь. В Москве пробуду дней десять. Напиши, если что нужно. Хотел бы по-видать вас всех. Думаю, скоро увидимся. Скоро — значит месяца через три-четыре. Что у вас нового? Обо мне не беспокойся, ни о чем не тревожься, мамочка! Следи за газетами, не сегодня-завтра о нас на всю страну заговорят.

Обнимаю, крепко целую. Твой Гурам».

Когда я пришел в «Волгу», Игорь уже искал метрдотеля, демонстрируя свой красный пропуск официантам и возмущаясь:

— В кои веки в Москву приехал человек, пять месяцев тут не был, посидеть у вас захотел, а вы место найти не можете?!

«Трио блондинов» твердо надеялось на умение Игоря. Не сразу, но все-таки добился он столика. Зато не успели мы усесться, как подлетел знакомый официант:

— Меню прежнее?

— Мне бы его память... — помечтал один из блондинов.

— Салют, «лейтенант»! — приветствовал я официанта.

Мы единодушны — остановили свой выбор на любимой «Старке». А что подходит к «Старке», официант и сам отлично знал. Пол-литровой «Старки» хватает на три тоста, иначе говоря — каждому по 33 грамма зараз.

Водка требует деликатного отношения — хочешь вкусить ее, ощутить — хватит одного глотка! Еле приучил своих друзей пить из маленьких стопок. Пропустив первую стопку, мы молча и усердно принялись за еду, а после третьей все возжаждали слова. Все бурно высказывались, и очень скоро выяснилось, что мы по-прежнему братски любим друг друга, хоть и не являемся единоутробными сыновьями одной матери. Когда же тамада, Игорь, предложил очередной тост за «наше дело», трио блондинов пустилось в пространные рассуждения и со своей стороны провозгласило тост за неколебимый союз геологов с физиками и химиками, за союз с экспериментаторами. Тост был дельный и вылился в целую дискуссию, и, признаюсь, небесплодную: я, Игорь, Юрий Александров и директор института получили премию. Премию тут же распределили, причем директору досталась, конечно, меньшая часть, и, довольные этим, мы долго смеялись. Вообще-то, благородства при этом решении мы явно не проявили: комплексная тема «Наш элемент» как-никак детище директора, возникла по его идее и инициативе. Последующие тосты и дальнейшее развитие затронутой темы показали, что каждый из нас вынашивает идеи всемирного значения, направленные на благо всего человечества. Игорь доверительно обрисовал захватывающую картину бурного развития одной области физики, если, разумеется, запасы руды нашего месторождения будут достаточными. Трио

блондинов лелеяло мысль о целой серии химических экспериментов, если, разумеется, запасы руды нашего месторождения окажутся достаточными. Однако я подсек им крылья, остудив их пыл ледяной водой, заявив: руда в разведанном месторождении содержит «наш элемент» в значительных количествах, почти без примеси, но на увеличение запасов пусть не очень-то рассчитывают. А потом сжалился и обнадежил все-таки: попытаюсь, говорю, разведать новые жилы, не падайте духом. Это развеселило их, и прозвучала здравица в мою честь — столь великодушного, находчивого, энергичного! Потом мы занялись футболом и, наконец, переключились на вечную тему мужских разговоров — и было высказано немало остроумных соображений о женщинах. Из участников застолья один я был холостяком, что, естественно, тоже стало предметом обсуждения, и ребята дружно заключили, что я достоин сочувствия и сострадания. Однако явно чувствовалось — завидуют мне втайне, сокрушаясь об утраченной свободе. Я все же дал слово, что через год у моей жены будет ребенок. Стол наш между тем постепенно обретал грузинский вид — появились жареный сулгуни, жареная форель, шашлык. Пир завершился шампанским и фруктами. Официант по своей инициативе прекратил наши возлияния, видя, что мы сами не остановимся.

— Лейтенант! — окликнул я его. — Вызови мне такси.

Блондины самозабвенно танцевали.

Игорь глянул на часы.

— Не пойму — как ты терпишь! Столько времени — ни слова о Наташе!

— Тсс! — я приложил палец к губам, призывая его молчать.

— Тсс, — передразнил Игорь.

— Знаешь, позвоно-ка ей сначала. Мало ли что за пять месяцев...

— Одобряю, так и положено поступать благовоспитанному и благородному!

— А может, прямо так нагрнуть? Нагрнуть и устроить тарарам?!

— Лейтенант выполнил приказ — такси подано! — официант, подыгрывая мне, вытянулся в струнку.

— Не укатит? Дал деньги, чтоб ждал?

— Трояк.

— Хвалю, старший лейтенант! Постарайся к моему уходу заслужить чин капитана!

— Что потребуется для этого?

— Телефон и еще такси для наших прекрасных молодых людей!

— Тогда прошу за мной!

— Ровно в девять — у директорского кабинета! — наказал я друзьям, направляясь за «старшим лейтенантом» в кабинет администратора.

Администратор деликатно оставил меня одного.

Набираем: сто девяносто девять, ноль два, восемь — восемь. Ту-ту-ту — с долгими паузами. Нас нет дома? В 23 часа 50 минут нас нет дома!

— Слушаю!

— Наташка, привет!

Молчание.

Какая актриса пропадает!

— Ой, Гурам, Так неожиданно! Удар может хватить!

А может, все-таки любит?

— Ладно, гони гостей — еду к тебе!

— Вижу, у тебя ни ума не прибавилось, ни смелости.

— Прости, Наташа! Как ты живешь?

— Не теряй времени, успеешь спросить!

— Капитан!

— Что прикажете? — заулыбался официант.

— До такси — шагом марш!

Официант взял меня под руку и, дружески беседуя, направил к выходу.

— Спокойной ночи, капитан!

Официант по-военному отдал мне честь.

Я повернулся к водителю, назвал адрес...

Едва машина остановилась, из подъезда выскочила Наташа, отворила дверцу и кинулась ко мне — села рядом, обняла.

— Гурамчик! Глупый мой Гурам! Пьяный, да?

— Да, пьяный я, Наташка.

— Давай руку, упадешь еще!

— Положим, не такой уж я пьяный! Взгляни-ка, сколько на счетчике, бумажник в кармане пиджака.

— Деньги уплачены, вам еще сдача полагается, — заявил шофер, бренча мелочью.

— Оставь себе.

Наташа отпирает дверь и по старому русскому обычаю кланяется мне в пояс.

— Добро пожаловать! Да будет счастливым ваш приход!

— Аминь! Аминь!

Родители Наташи уже несколько лет за границей. У них двухкомнатная квартира, но Наташа надеется, что, когда они вернутся, получат трехкомнатную.

Одна комната — гостиная, вернее, выставка пепельниц. Наташа не курит, просто коллекционирует пепельницы. Число экспонатов подбирается к сотне. Вторая комната — спальня. В ней одна кровать, зато необъятной ширины, и несколько зеркал, любуйся на себя с разных сторон. Любят красивые женщины вертеться перед зеркалом. И можно ли их осуждать?

— Наташ, ровно в девять я должен быть у директора.

— Дать тебе боржом?

— Нет, поставь у постели.

— Больше ничего не нужно?

— Ничего, который час?

— Через восемь часов ты должен быть у своего директора.

— Скажи, который час — нашла время для высшей математики.

— Ноль часов пятьдесят минут!

— А ты не ложишься?



— Сейчас, сделаю только кое-что...

Постельное белье накрахмалено. Как приятно, черт побери! Не то что в спальном мешке! Хочешь закутайся в одеяло, хочешь — откинь! Можешь растянуться во всю длину, заскучать, кинуть руки. А в спальном мешке... А что, собственно, в спальном мешке? Бывала нужда, так и вдвоем умещались... Глаза слипаются. Чувствую, проваливаюсь в сон. Интересно, кому это Наташа звонит в середине ночи? Отчетливо слышу, как крутится диск. Нет, снится, верно.

Проснулся я в половине девятого. Завел часы. Подозрительно тихо.

— Наташа!

Ни звука.

— Наташа!

Куда она делась?

На столе в кухне три бутерброда — два с ветчиной, один — с маслом и сыром. Чашка, термос и записка: «Гурам, я на новой работе. Ехать туда — целых сорок минут. Расскажу все вечером. Вернусь без четверти семь. Кофе — в термосе. Целую своего глупыша. Наташа».

Проспал! Я одеваюсь в темпе, глотаю кофе, запираю квартиру и, сунув ключ под половик, слетаю вниз по лестнице.

У подъезда в черной институтской «Волге», улыбаясь, дожидается Игорь.

— Молодец, Озеров! Опаздываем?!

— Здравствуй, Гурам, — напоминает мне шофер.

— Здравствуй! Здравствуй!

— Хорошо спалось? — Игорь хлопает меня по плечу, что означает — ладно, можешь не отвечать, догадываюсь.

— Прекрасно!

В жизни не говорил большей правды!

— Давай жми! Как можно быстрее! — заторопил Игорь шофера.

В приемной директора трио блондинов обсуждало вчерашний вечер.

— Соленого огурчика не хочется? — заботливо спросил меня первый блондин.

— Спасибо, кофе пил.

— Проходите, шеф ждет, — пригласила нас Инка-секретарша. — Здравствуйте, Гурам.

— Смотрите — заалела вся! — не замедлил отметить второй блондин.

— Поистине любовь слепа! Что общего между ними — северное сияние и таежный медведь! — патетически молвил третий блондин.

— Здравствуй, Инка, прекраснейшая дочь севера!..

— К шефу, Гурам, к шефу! — прервал меня Игорь.

— Если не выйду из кабинета живым, сообщите моей маме, что...

Ребята не дали договорить. Открыли дверь, спрашивая: «Можно?», подхватили меня под руки, и мы предстали перед директорскими очами.

— Привет сибиряку! — директор улыбнулся и тут же принял строгий вид.

— Здравствуйте... — я тяну, медлю. Ребята смотрят выжидающе. Чувствую, и директору любопытно, как обращаюсь к нему в этот раз. Мы с ним при всякой встрече придумываем новое обращение, это приняло характер спортивного соревнования. — Здравствуйте, дядя Гриша.

Этого явно не ожидали. Признаюсь, я и сам удивился — не собирался так по-приятельски, фамильярно...

Пауза. Потом дружно смеемся.

— Времени у нас мало, — начал директор. — Ровно через сорок минут уеду на заседание совета. Рассказывай, Гурам, что у вас в тайге? Как идут дела? Какие трудности? Слышал, тамошнего секретаря райкома сменили? Что новый, ничего?

— Хороший.

— Оказывает нужную помощь?

— Не мешает.

— На ваше месторождение возлагают большие надежды. Выделение «нашего элемента» промышленным способом будет происходить по обновленной схеме, предложенной Игорем и мной. Игорь, вероятно, познакомил вас с положением дел.

— Да.

— Наше совместное предложение намного облегчит и удешевит выделение элемента. Это означает, что обогатительная фабрика, проект которой уже готов...

— Готов? — удивился Игорь.

— Да, сегодня утром представлен. Обогатительная фабрика требует измененных кондиций. Замечательная руда.

— Замечательная, но мало ее, — заметил первый блондин.

— Геологические карты, согласно которым составлены проектные работы, «чуть-чуть» не точны. Юрий Александров просил передать, что смету надо изменить.

— Средства нам выделены неограниченные. Не возражаю.

— Средства неограниченные?! — переспросил третий блондин.

— Почему же в таком случае нам отказали в приобретении ЭВМ? — спросил первый блондин.

— Это было неделю назад.

— Институт физики на другой же день оформил договор, — сообщил Игорь.

— Прямо для нас была создана та машина! — мечтательно сказал второй блондин.

— В наше время неделя — большой срок. Повторяю: средства нам отпущены неограниченные.

— Но вы же знаете, бухгалтерии нужен документ, приказ с печатью, подписью.

— Представьте мне проект сметы.

— Хорошо.

Я достал из портфеля смету.

— Мы вас, разумеется, не подстегиваем. Спешка не всегда бывает эффективной, однако есть вышестоящая инстанция, весьма заинтересованная... — директор просмотрел проект.

— Мы стараемся...

— Мы тоже. — прервал меня Игорь. — В воскресенье начнем эксперимент.

— Сколько понадобится времени?

— Все от них зависит, — Игорь кивнул на трио блондинов.

— На этот раз в десять дней не уложимся. Будь у нас вычислительная машина...

— В таком случае, разрешите мне завтра же уехать назад, — сказал я директору.

— Если считаешь нужным, не возражаю.

— О результатах сообщим радиogramмой, — утешил меня третий блондин.

— Игорь просил вчера разрешить вам работать и по выходным, — директор оглядел блондинов.

— Игорь знает, что делает. Мы сами предложили ему, — ответили они дружно.

— Кажется, все. Обо всем доложу Александрову.

— Ладит он с Пельменевым?

— Очень даже!

— Привет им от меня, — директор поднялся. — В гостиной все нормально?

— Да. Идеальная тишина, покой, строжайший порядок, — сказал я выразительно.

— Первую же ночь вы провели в другом месте. А это уже непорядок. Вы же не развлекаться приехали. Я просил бы не забывать о дисциплине, о правилах внутреннего распорядка института.

— Поразительная бдительность и оперативность некоторых наших сотрудников просто потрясает! — ухмыльнулся я.

— Сколько вы не были в городе?

— Пять месяцев и два дня, — сообщил я точно.

— Хорошо, этой ночи касаться больше не буду, поскольку знаю, где изволили провести ее.

— Бедная хозяйка дома! Подверглась перекрестному допросу!

— Простите, мне пора ехать.

— До свиданья, дядя Гриша!

Директор рассмеялся, собрал со стола бумаги, сунул в портфель, взял что-то из сейфа, вложил туда же и кивнул нам, прощаясь.

— Позвоните перед вылетом, Гурам.

— Хорошо.

Он вышел, и Озеров плюхнулся в директорское кресло.

— Все ясно. Туго нам придется — сократят сроки, требуют бешеных темпов.

— Зря, что ли, отпустили неограниченные средства, — заметил первый блондин.

— Обычный способ ускорить решение вопроса — там, — второй блондин указал пальцем вверх.

— А может, постараемся за десять дней?! — предложил третий блондин.

— Думаешь, Гурам останется, если его обнадежить, вспылит первый.

— Дураку ясно, что за десять дней не провести такого эксперимента.

— А если дни и ночи работать... — третий выделил слово «ночи».

— Спасибо ребята, но я не заставляю вас убиваться.

— Ладно, пора за дело, — Игорь взглянул на первого блондина.

— Уже сделаны необходимые распоряжения. Руду готовят.

— Пойду проверю температуру, — сказал второй.

— Я буду в аппаратной, — первый блондин нехотя поднялся.

— А я — в гостинице, соскучитесь — звоните. — Я тоже встал и пошел к двери.

Ребята озадаченно умолкли.

В приемной что-то сказала мне Инка-секретарша. Я согласился — машинально. У подъезда стоял «Москвич». Я сел, назвал шоферу адрес институтской гостиницы и откинулся на сиденье.

Начинается! Третий месяц происходит со мной такое! Главное теперь — опередить и одолеть — справлялся ведь несколько раз. Держаться, держаться до последнего! Может, сумею раз и навсегда побороть? Вот и твержу себе: я сам, я сам одолею...

«...Окно в троллейбусе заиндевело. Надо дохнуть на стекло, и в оттаявшем кружочке видно, по какой улице мчится троллейбус, но крохотный прозрачный кружочек быстро затягивается льдистой пленкой, и опять исчезают улицы, деревья, люди. Я снова и снова дышу на стекло, но легкие не выдыхают больше тепла. Дую яростно, иступленно — тщетно. Троллейбус мчится стремительно. У меня подламываются ноги, не чувствую их. Троллейбус пустеет, а я повисаю в воздухе в мучительной невесомости. «Почему не объявляют остановок?! Объявляйте остановки!» — кричит кто-то. «Микрофон испорчен!» — объясняет водитель, и троллейбус неудержимо несется дальше...».

— Приехали!

— Спасибо.

Вход в гостиницу.

— Ваш пропуск?

— Пожалуйста.

Вот и комната № 260. Кровать...

«...Глухая, все поглотившая тишина. Обугленный лес. Ни одной веточки — голые черные стволы. И спекшаяся почва. Пестрый от разноцветья мшистый таежный ковер лишился цвета и отвердел. В черную землю вбиты длинные черные палки. Ни конца ни края черной тайге. Шаги оглушают в тишине. Слепяще полыхает на синем небе опромный круг солнца, но обгорелые деревья не бросают тени. И не обозначиться им на обуг-

ленной почве. Бежишь, и не бежит за тобой твоя тень. Устали глаза, не могут больше глядеть на мертвый мир! Станешь, вскинешь взгляд на солнце. После угольной черноты раскаленный диск, вбитый в голубой простор, выжигает глаза. Невольно жмуришься, и блекнет синь неба, а солнце становится белым-пребелым. Глаза наполняются слезами. И снова черная земля кругом, черные стволы-исполины, и ты один-единственный здесь, даже без тени. Раскинув широкие крылья, надвигается огромный ворон, опускается все ниже, налетает на зернышко, сиротливо белеющее в почве, и, склонув, взмывает ввысь, хлопая крыльями. И нет конца черному подъему. Я должен оглядеться с вершины горы, может, найду дорогу, выберусь.

Все ты — солнце! Ты виновато, солнце! Тебя считают животворным, мирным, безобидным, а ты... Что ты сделало с этим лесом?! Зачем испепелило?! Обуглило нежные березы, задушило в баряных плащах мохнатые ели и ликуешь? Насытилось твое желтое око траурным зрелищем? Тебе что, плывешь себе по голубому морю, а я задыхаюсь, задыхаюсь в этом черном лесу, в этом черном море, и нет возможности выбраться! Не знаю, куда податься. Компас не работает. Надо оглядеть окрестности, оглядеться с вершины горы. Тогда выберусь, обязательно выберусь! Но и за горой — обугленная земля, обугленные ели. А за мной все тянутся вороны, терпеливые, уверенные в добыче.

Я в черной яме! Задыхаюсь! Радуетесь?! Насытилось твое алчное око, жгучее, пепеляющее солнце?

Забираюсь еще на одну вершину. И за ней — мертвая черная тайга, и мечусь из стороны в сторону, как зверь в клетке...».

Над головой белизной сияет потолок. Кажется, я в своей комнате, в гостинице. Да, так и есть. Как же это началось? Ребята спорили — успеют ли провести эксперимент за десять дней или нет, а я вдруг почувствовал, как Оно мягко обвилось вокруг ног и медленно поползло вверх... Просто поразительно — никогда не охватывает грубо, резко, подкрадывается деликатно, осторожно, подобрав когти, обвивает колени. Всегда подбирается с ног... Тогда-то я и сказал, что пойду в гостиницу. Ребят озадачило, почему я внезапно ушел, не остался до начала эксперимента. В приемной что-то сказала мне Инка-секретарша. Но что? Что именно? Нет, не помню. В ту самую минуту оно уже когтило сердце. Сердце — единственное, на что набрасывается алчно, безудержно, беспощадно. Схватит и душил, душил. Глотаю воздух, пытаюсь дышать глубже, но тщетно — нет воздуха!.. Что было дальше? Ничего не помню. Видно, попался знакомый шофер, доез до гостиницы... От сердца тянется к мозгу, запускает в него мягкие пальцы-щупальцы. И если отпускает при этом сердце, я еще одолеваю его. Но когда обвивает, обхватывает, сковывает всего — с головы до пят — торжествует Оно. Как мне сразить его тогда — тысячерукого, тысячепалого, упрямого и упорного, не меньше меня коварного и многоопытного. У меня ведь всего две руки, всего десять пальцев! Не нашел я пока верного приема против

него. Ничего, найду. Нет неодолимых. Одолею врага, сам одолею! Скручу, прикончу тебя, если даже каленым железом придется выжигать. Привязался ко мне, пристроился в моей душе, так берегись, вместе с душой вырву тебя. Покончу с тобой раз и навсегда.

За дверью голоса:

— Уснул, видно, не буди.

Это хозяйка.

— Может, срочное что в письме!

А это дежурная по этажу.

— Красивая, говоришь, была?

— В жизни красивей не встречала.

— Красивая девушка в курьеры не пойдет. Просто узнала, что он приехал, и...

— Эй вы, там! Что происходит?

— Проснулся, Гурам?

Врагу бы просыпаться после такого сна!

— Вам письмо принесли.

— Давайте сюда.

Дверь отворилась, дежурная по этажу застыла на пороге.

— Вы одетым спали?

— Разве я спал?

— Больше получаса.

— Да нет, ошибаетесь.

Плохо же дело — такого долгого приступа еще не бывало.

— Если и ошибаюсь, на каких-нибудь пять минут.

Разве понять ей, что значат для меня «каких-нибудь» пять минут! Никогда не продолжалось больше двух-трех минут.

— Где письмо?

— Пожалуйста.

Дежурная повернулась уйти.

«Гурамчик! 2 июля, 14 часов 18 минут».

Письмо от Наташи. Сейчас 15 часов 10 минут.

— А почему сразу не передали мне письмо?

— Вахтер хотел передать, а вы показали пропуск и прошли мимо.

— Ладно, спасибо.

«Я теперь собкор «Известий». Сегодня утром меня вызвал зав. отделом, сообщил, что надо срочно вылететь в Среднюю Азию на один из объектов. Вернусь через несколько дней, точнее — 6-го. Каким рейсом — сообщу по телеграфу. Где спрятан ключ — знаешь. Целую, Наташа».

P. S. Целых пять месяцев и три дня не целовала я своего глупого мальчика. Что делать! Потерплю еще немного. Хоть на бумаге поцелую! Твоя Наташка».

Я схватил телефонную трубку. Разве дозвонишься в аэропорт... Спрошу свою Мирандолину, свою «хозяйку гостиницы» — она все знает. Звоню ей, спрашиваю, не знает ли, когда ближайший самолет в Среднюю Азию.

— Минутку. — «Минутка» ей не понадобилась, вспомнила, не заглядывая в расписание. — В 15 часов 30 минут — в Ташкент. Последний рейс, кстати.

— Благодарю.

Да, но я-то завтра собираюсь лететь.

— Завтра собираешься лететь?

— Я не говорил этого, про себя подумал!

Странно. Я положил трубку.

Телефон тут же зазвонил. Хозяйке поговорить охота?

— Слушаю.

— Гурам? — И не дожидаясь ответа: — Это я, Инка.

— Да, Инка, слушаю, дорогая.

— Вы просили в три часа позвонить, извините, не смогла я.

— Так и быть — извиняю.

Черт побери, зачем я просил, интересно?

— Вы очень спешили и...

— А который час сейчас? — я пытаюсь оттянуть время

— Двадцать минут четвертого.

— А куда я спешил? — Ну вот, выдал себя!

— Сказали, что едете в Домодедово, провожать, а до вылета совсем мало осталось.

— Совершенно верно, самолет в Ташкент вылетает из Домодедова! — ответил я машинально. — А откуда я узнал?! Я же не знал этого?!

— Что вы кричите на меня, Гурам? Не желаете говорить, так...

— Извини, Инка, не соображаю ничего... Слушаю тебя. Молчу и слушаю.

— У меня просьба к вам, Гурам...

— Слушаю тебя.

Как я мог ей сказать про Домодедово — откуда мне стало известно? Кто мне сказал?

— Я не могу говорить по телефону — вдруг подслушает кто и дойдет до директора. Вы свободны вечером?

— Конечно.

— Не могли бы мы встретиться?

— Где и когда?

— В восемь на станции «Сокол»?

— «Сокол»? Хорошо, договорились.

Выходит, я телепат, ясновидец? С каких пор?!

Я побрел в столовую, нехотя съел свой диетический обед и вернулся к себе.

Ошалеть можно. Говорят, при этом недуге бывают иногда видения. Но ясновидения?! Новые способности приобрел?

Все, начнешь теперь ломать голову, устанавливать себе новый диагноз! В медицинскую энциклопедию уткнешься. Нет, нельзя так, дорогой. Нельзя по случайному факту предполагать, что у тебя появилось новое свойство. Не морочь голову, не забивай ее всякой чепухой, голова еще понадобится для дела. Слышал ведь — средства на нашу тему отпущены неограниченные, а к средствам нужны еще головы — много «качественного» ума.

Подумай лучше, в какой все же стороне стоит искать продолжение нашего месторождения.

Видите ли, руда в уже открытом месторождении высококачественного качества, но запасы ее невелики. Месторождение должно иметь продолжение, потому что в огромных однотипных геологических структурах редко бывает такое конкретное ограниченное проявление руды.

А в какой стороне искать дальше — спорят много лет. Проведенные до сих пор изыскания подтверждают лишь одно — бессмысленно искать продолжение месторождения как на востоке, так и на западе. В свое время изыскатели и исследователи — академики, доктора и вся мелкая сошка настаивали на разведке в восточной стороне. Миша Пельменев, настоящий сибиряк, много смеялся над этим, смеялся, пока его не отстранили от темы. Сменивший Пельменева Юрий Александров подтвердил его правоту, но сам он почему-то все стремился к западу. Возможно, его, ленинградца, манила родная сторона, кто знает. Но западное направление тоже не оправдало надежд, и разведка, как тогда говорили, «стратегического элемента» в том районе была прекращена. Но тут зашумели академики: говорили же, дескать, ищите в восточном направлении! Разведка возобновилась. При чем директор снова поручил ее Александрову. Александров призвал Пельменева, а тот меня, и снова образовалась «антивосточная» экспедиция. Мы даже не пытались искать на востоке, хотя директора вынуждали к тому. Он согласился, но это был последний компромисс с его стороны. Когда директор приехал осмотреть месторождение, мы убедили его в том, в чем убеждены были сами. И он распорядился не тратить больше времени на восточное направление. Вскоре от института потребовали схему выделения «нашего элемента» промышленным путем. Я привез две тонны руды и вот узнал, что средства нам отпустили неограниченные. Юрия Александрова интересуют сейчас две вещи — результат эксперимента и наш «дебет—кредит». Вопрос финансов ясен. Результатов эксперимента я ему не повезу, их еще нет. Неясно одно: в каком все же направлении искать руду — в северном или южном? Геологические условия в обе стороны одни и те же, абсолютно одни и те же отложения и структуры.

Определи, Гурам Отарашвили, угадай, коль скоро стал прощателем! Ну а если серьезно? Видимо, надо исходить из одного стоящего внимания факта — наша структура сужается к северу, значит, в северном направлении легче будет выявить рудоносную жилу. И времени понадобится меньше, чем если идти на юг.

Миша Пельменев давно ратует за «север», с некоторых пор и Юра Александров склоняется к его мнению. Один я колебался до сегодняшнего дня. Но сейчас словно прозрел. Буду же решителен. Мы вышли на передовую линию фронта. Так вперед! Вперед на север, где сужается структура...

Хотел бы я знать, почему структуры сужаются к северу?.. Думай над этим, Гурам, думай, а пока что займись билетом.

Хорошо, когда телефон рядом!

— Это хозяйка?

— Да.

— Билет заказали?

— Заказала, понятно. На завтра — в три часа из Домодедова. Александрову отправила радиogramму, сообщила, когда прибудешь.

— Потрясающая женщина! Спасибо!

— Не говорите в трубку все, что думаете.

— Извините, дорогая «хозяйка гостиницы», извини моя прекрасная Мирандолина!

До встречи с Инкой больше двух часов. Самое разумное — отдохнуть немного, прийти в себя после приступа... Интересно, что нужно Инке? Молоденькой, хорошенькой, легкомысленной Инке. Говорят, что она и наш директор... Выдумки, верно. И у нас в институте распускают сплетни. А Инка прямо создана быть объектом пересудов. Хорошенькая, легкомысленная — или, как сейчас говорят: сексуальная особа. Да, в Инке много секса. Вот и ходят о ней разные сексуальные сплетни, хотя никто ничего достоверно не знает. Не станешь ведь спрашивать директора: а правду говорят о вас с Инкой? У директора достаточно красивая жена и достаточно много работы, но как-то по институту пошел слух, что долгая работа с «нашим элементом» лишила его интереса к женщинам. Директора задело это, и, желая опровергнуть сплетни, он решил покорить самую красивую женщину в институте. Уверяли, что успеха не имел, но это не так. Директор восстановил попорченную было мужскую честь, а красивая сотрудница покинула институт. Сейчас она видный ученый. Появление Инки в должности директорского секретаря совпало с уходом той особы, и досужие да не в меру «любопытные» тотчас занялись молоденькой, хорошенькой Инкой.

Злоязычники, верно, и меня с Александровым и Пельменевым не обошли своим вниманием — мы тоже давно работаем с «нашим элементом». Обнаружили его, кстати, неожиданно. Сначала производились поиски совсем другой руды; кто-то случайно измерил содержание «стратегического элемента» и закричал — спасайтесь, братцы! Многие слабовольные сбежали, но мы — мы удовлетворились удвоенной нормой молока и стали ломать голову: в какой стороне вести разведку — в восточной, западной, южной или северной? Надеюсь, вы поняли — в том же самом районе, в тех же самых структурах мы искали совсем другую руду, о «нашем элементе» тогда речь и не шла. А потом, когда ее обнаружили, наш милый директор сосредоточил главные силы на поисках этого элемента, как мы говорим, «нашего элемента». Теперь, кроме геологов, «элементом» заняты ученые и инженеры самых разных профилей. Для исследовательских работ, связанных с «нашим элементом», создан целый институт, в собственной гостинице которого я и пребываю, коротая время до встречи с Инкой-секретаршей.

— Не могу я больше сидеть без дела! Разве это работа — сиди и отвечай на звонки! — без обиняков начала Инка. — Мне 20 лет — думаете, маленькая? Пожалуйста, устройте меня на работу в вашу геологическую партию! Найдется ведь работа и по моим силам?

— Ты рассуждаешь совсем как положительный герой. Люди в Москве стараются остаться, а ты рвешься в тайгу! А потом надоест — и назад в столицу?

— Представьте на минутку себя секретарем дяди Гриши — я слышала, вы называли его так.

— Не могу. С секретарской работой справился бы, конечно, но недостает вашего очарования.

— Вам шутки, а мне будущее надо определять... — У Инки навернулись слезы. — Пожалуйста, устройте меня в геологическую партию, кем угодно.

— Послушай, Инка, у меня и в Москве достаточно друзей, давай попытаемся тут.

— Я там хочу работать, в вашей экспедиции, с товарищем Александровым, с Пельменевым. Нигде больше не смогу работать, не найду покоя.

— Не выдержишь! Красиво, прекрасно, но условия — слишком суровые, тяжелые, дикая природа. Ты хорошая девочка, хорошенечкая...

— Знаю, знаю, что скажете. Я много думала и решила заочно учиться на геологоразведочном в Новосибирске.

— Вижу, подготовилась к разговору..

— Пожалуйста, умоляю вас, подыщите мне что-нибудь.

— Что ж, не стану уверять, что без вас экспедиция не справится со своим заданием, но и для вас найдется работа, даже интересная.

Прямо на лоб Инке шлепнулась крупная капля дождя. И тут же серый асфальт покрылся темными пятнышками. Пророкотал гром.

— Приятельница моя живет рядом. Ее нет в Москве, но я знаю, где спрятан ключ.

Не знаю, правильно ли я поступаю, но как быть, не стоять же в подъезде, пока будет лить дождь?

— Может, неудобно?

— Удобно! Мы оставим ей записку — поблагодарим за кров, ей будет приятно...

— Вы так уверены, наверное, часто здесь бываете?

«Я сладко проспал здесь прошлую ночь, но понять это может одна лишь Наташа. Впрочем, кто знает, может, и она думает, что я...».

— У нее пластинки есть и магнитофонные записи. Послушаем музыку.

— Далеко еще?

— Видишь, вон тот дом?

Пока я возился на кухне и готовил бутерброды, Инка включила магнитофон. Медленное танго. Вот, оказывается, в каком настроении была Наташа перед моим приездом. Хотя, кто знает, чье душевное состояние отражала эта музыка. Кто последним включал магнитофон. Ревную? Да, это называется ревностью.

— Так вы замолвите за меня слово? Попросите Александра и Пельменева? Вам они не откажут, — снова начала Инка, опуская руки мне на плечи.

Мы танцуем.

— На любую работу согласна, хоть на физическую, даже лучше будет.

— У тебя белые тонкие пальцы, Инка!

— Думаете, я белоручка? — Инка остановилась на минутку. — Когда хочу и когда надо — все делаю. Стиральную машину чинила, покрывку меняла.

Инка обвила меня руками, и мы продолжали танцевать.

— Покрывку меняла?! — мне не верилось.

— Честное слово. У «Волги».

— Молодец!

— Увидите, я и в тайге заслужу похвалу, так буду работать, — сказала Инка, кладя голову мне на грудь. Я погладил ее по волосам. Инка вскинула на меня глаза. Наши взгляды встретились.

Я продолжал танцевать.

Дождь за окном все лил.

— Осточертело мне быть секретаршей, что интересного в этой работе — одно и то же, а годы уходят.

Я промолчал. Инка остановилась.

— Знаешь, — Инка перешла вдруг на «ты», — все что болтают про меня и дядю Гришу — ложь. Выдумки все.

— Знаю, — сказал я спокойно. Отошел от Инки, выглянул в окно.

Инка стала возле, склонила голову мне на плечо.

— Может, сочтешь меня глупой, не поверишь, но я — счастлива..

И, заметив мое удивление, пояснила:

— Впервые встречаюсь с таким, как ты.

— С каким — таким?

— Порядочным, верным, преданным.

Я смешался. Инка заметила мою растерянность.

— Будто не понимаешь. Ты любишь Наташу, любишь так сильно, что другие для тебя и не существуют. Это — счастье.

Я привык держаться с Инкой фамильярно, по-свойски, но приводить ее сюда, кажется, не следовало.

— Ты права... Откуда тебе известно ее имя?

— Нам все известно, — усмехнулась Инка.

Дождь утихал.

— Что, и тебе поручили за мной следить? Даниилу понадобились новые сведения о безропотном объекте эксперимента?

— Ответила б я тебе, не будь так счастлива! Я счастлива, потому что убедилась — есть порядочные, чистые, верные любимой мужчины! Ты всегда будешь мне надеждой..

— Прости, Инка, не идеализируй меня, я вовсе не ангел.

— Молчи, — Инка прижала к моим губам длинные теплые пальцы. — Я пойду... Прибрать тут?

— Нет, не надо.

Да, сам виноват, зачем привел ее сюда.

— Ты не ангел, Гурам, это точно, но ты первый из мужчин, кого я могу уважать, единственный пока, кому могу ве-

рнить, доверять. И если ты понимаешь слово «счастье», как все простые смертные, поймешь, что значит для меня этот вечер. Честное слово — счастлива. Неловко говорить об этом, высокопарно получается, но искренне говорю. Правда, Гурам. До свидания.

Я остался один, испытывая горечь, грусть и чуть печальную радость. Нет, со мной осталась моя Наташа, которая весь вечер ангелом-хранителем стояла за моей спиной!

Хотел было прибраться, но передумал, оставил все как есть — две тарелки, два стакана...

Потом взял бумагу и крупными буквами написал:

«Наташа!

Завтра улетаю. Я свинья. Плохо придется мне без тебя.

Целую. Гурам».

В аэропорту Домодедово было настоящее столпотворение... Оказалось, только час назад возобновились полеты, отмененные с утра из-за плохой погоды, и скопилась тьма народу. Самолеты, хоть и с опозданием, один за другим вылетали в очередную рейс.

Весь день мотался я по магазинам, выполняя поручения товарищей. Я вынул длиннющий список, еще раз проверил, не упустил ли чего-нибудь. Не достал кофемолки. Обрушит на мою голову громы и молнии супруга Пельменева! Не позерит, скажет — ни на что ты не способен, и пойдет! Тверди сколько хочешь: «Нельзя достать!» — скажет: в Москве давно позабыли слова: «Нельзя достать!».

— Внимание! Объявляется посадка на самолет Москва — Богульник, вылетающий рейсом № 102. Выход через секцию... — и так далее...

Сяду сейчас в исполинский мощный лайнер, и за пять часов перекинёт он меня через просторы, на преодоление которых не в столь уж давние времена требовалось пять месяцев.

Самолет грозно взревел, устремился вперед, взмыл в небо.

Хорошенькие стройные блондинки снабдили нас необходимой информацией и мятными конфетами. Поудобней расположившись в кресле, я залюбовался белым облачным морем за бортом самолета. Облака казались сверху очень плотными — хоть шагай по ним. А над белым морем — безоблачная и безбрежная синева. Все тучи и все горизонты остались на земле. Когда гляжу из иллюминатора самолета на ясное сияющее небо, то забываю обо всем неприятном, будто все беды оставил на земле. И болезнь тоже. И безмерно счастливый, здоровый лечу прямо к радости. А радость обитает высоко-высоко в небе. Слетает временами к людям и тут же уносится назад в свою обитель. Добраться бы до ее жилья! Разорил бы и заставил переселиться на землю, жить среди простых смертных — в типовой однокомнатной квартире, вполне хватит одной! В самом деле, почему нельзя оставить где-нибудь свою болезнь? Как было бы здорово... Правда, одно такое место люди придумали — больницу, с белыми палатами, просторными окнами, но ведь не любую болезнь оставишь там... Болезнь болезни разнь...

Удивительное вытворяет со мной моя болезнь. Астрономическое время останавливается. Останавливаются Земля и планеты. Зато с бешеной скоростью начинают крутиться бесчисленные невидимые колесики, закрепленные в мозгу читателя. Завертится одно, и следом закрутятся все остальные, будто сцеплены друг с другом зубчиками. Это колесики души! Физическое бытие не удлиняется ни на миг, но душа разветвляется, разрастается, то есть — старится. Потому-то и уверяют, видимо, некоторые, что им все двести лет! По-моему, это вполне возможно. Душа немислимо разрослась и состарилась, а тело — нет. И так мучительно обострены мои чувства, ощущения, все, что я испытываю и переживаю, что хватило бы составить десяток людей...

Девушки обнесли пассажиров обедом.

Жареное мясо пробудило во мне голод. Я с удовольствием пообедал, выпил кофе. Просмотрел газеты и снова долго смотрел в бескрайнюю синеву, пока не уснул. Спал блаженным сном. Разбудила бортпроводница — попросила пристегнуться ремнями, самолет шел на посадку. Не выношу, когда он снижается. Но вот шасси касаются бетонной дорожки, и я сразу успокаиваюсь.

— Погода в Богульнике хорошая, — объявляет бортпроводница. — Плюс восемнадцать. Помните, пользуясь самолетом, вы экономите время. Спасибо за внимание! Всего хорошего!

Ступил на землю, и сразу дохнуло родным воздухом! На душе стало светлее.

Я прошел в зал. Дожидаясь, пока подвезут чемоданы, вспомнил вдруг, что не позвонил директору! Настроение испортилось. Что он подумает! Мальчишке непростительно такое!

Я назвал телефонистке пароль нашей геологической партии и попросил соединить с Москвой. Девушка записала номер и тут же соединила; телефон зазвонил, прежде чем я вошел в кабину. В трубке зазвучал голос супруги директора.

— Не могли бы позвонить позже? Он только что уснул.

— Сожалею, но не могу.

— Хорошо. Сейчас. — Она привыкла к тому, что будит его в неурочный час.

В трубке свистел ветер.

— Да, слушаю, — послышался сонный голос директора.

— Не сердитесь, дядя Гриша, из Богульника звоню.

— Знаешь, что я тебе скажу, Гурам... — Он долго и сердито отчитывал меня, а в заключение «порадовал»: — В конце квартала ждите комиссию. Думаю, и я прилечу. Информируйте о делах по вторникам в девять утра по-московскому, я у себя. Ну, всего.

— Всего хорошего.

— Счастливо. Привет ребятам.

От аэропорта до железнодорожного вокзала рукой подать, автобус в два счета подвез, а до отхода поезда осталось еще часа два.

Вокзал в Богульнике большой, красивый, современной архитектуры, но ветка, по которой ходит мой поезд, — на отшибе, обойдена вниманием, и курсирует по ней один-единственный поезд местного назначения. Я пока что мирюсь с фактом, но скоро... Скоро все изменится. Невдомек гражданам-пассажирам, что она станет самой значительной, и как знать, возможно, не только для великолепного вокзала Богульника!

Подали состав. Началась посадка.

Александров не любит, когда я летаю самолетом, и сам никогда не летает, но не трястись же несколько дней в поезде от Москвы до Богульника! Хватит того, что из Богульника до Голубихи тащиться поездом двенадцать часов, а потом еще «газик» вытрясет душу, пока довезет до нашей главной базы.

О Голубихе вы вряд ли слышали. Ничем еще не прославился этот конечный железнодорожный пункт с двумя путями для маневрового паровоза. В одноэтажном станционном здании Голубихи два небольших помещения, в одном размещается диспетчер с начальником станции, другое отведено кассе и пассажирам, откуда навстречу мне, а лучше сказать, поезду выбежал Юра Александров.

— Наконец-то, — облегченно воскликнул он, словно не веря, что я вернулся жив и невредим.

Он был в старомодном костюме, через плечо свисала полевая сумка, туго набитая картами и документами. Видавший виды берет в пятнах скрывал одну бровь и ухо, на другую половину лица падали длинные волосы.

— Не ждал тебя так скоро, думал, застрянешь в Москве, — говорил он, довольный моим возвращением, и душил меня в объятиях. — Признайся, хотел еще побыть в столице?! Что поделаешь, такая у нас участь. Как там наш директор? В самый раз приехал, у Пельменева новые факты появились, настаивает вести разведку к северу. Твоего слова ждет. Ты ведь тоже склоняешься...

— Не только склоняюсь! Убежден в его правоте.

Не мог же я сказать, что убеждение пришло ко мне внезапно, после приступа.

Шофер нашего «газика», поздоровавшись, молча уступил мне место за рулем. Александров ухмыльнулся. Давно и твердо установилось — днем машину в тайге вожу я, а как стемнеет, уступаю шоферу его законное место. Не люблю ездить ночью. А днем... Сказочно, чудесно в тайге днем! Особенно летом. Сколько я о ней читал, слышал и по фильмам представлял, но увидел своими глазами — оказалась совсем иной.

В детстве Сибирь была для меня лишь местом ссылки декабристов, революционеров, всех, кто боролся против царского самодержавия. Потом Сибирь закрепилась в моем сознании как место заключения уголовников и других преступников. Я вообразить не мог, что в Сибири растут цветы! Окончив Тбилисский политехнический институт, поехал работать в тайгу и тогда-то увидел ее во всей красе. Тайга неповторима. Лето коротенькое, но поражает по необычному зною, то необычными ливнями. Высоченные ели чуть не до самой верхушки не могут расплести-развести мохнатые лапы. Но больше всего по-

ражает первозданная чистота — в тех местах, во всяком случае, где мы работаем. Под ногами сплошной хвойный ковер. Идешь, а земля пружинит, мышцы ног напряжены и очень устают. Я с трудом приучился ходить в тайге.

Зима в Сибири властвует долго, подавляет весну, пока может, и поляны разом вспыхивают от яркого многоцветья, а цветы, только вырвутся из почвы, бурно, неудержимо тянутся ввысь.

В таежной глубине промоздятся «курумы» — так местные жители называют образовавшиеся еще в ледниковый период морены. Каждая глыба в этих нагромождениях стоит, как оставил ее ледник, и от одного неверного шага каменная машина срывается с места и летит вниз, увлекая за собой целую лавину. Курумы эти заросли кедровым стлаником, ломоносом, жимолостью, голубикой, боярышником, арктической ежевикой.

В южной части Сибири среди сосен и елей белеют стройные березы. После дождя смешанный лес сплошь в прибах — не знаешь, куда ступить. И каких только нет, особенно много сыроежек и груздей.

Когда наши ребята уходят в маршрут после дождя, лишний рюкзак берут с собой — для грибов.

Я вертел головой, словно впервые видел тайгу, — соскучился!

— Не волнуйся — все на месте, каждый камешек, каждый цветочек, ничего не трогали, — уомехнулся Александров. — Могу порадовать: новые приборы получили, пока тебя не было, — удобнее старых, а главное — легче и к «нашему элементу» весьма чувствительны, на самую малость реагируют.

— Надо ускорить темпы, добыть к приезду комиссии новые факты в пользу...

— Какая еще комиссия? Опять прикрыть хотят?

Тут я передал ему разговор с директором.

— Добудем руду! И премию отхватим, увидишь! — Александров убежденно прижал руку к груди.

Лагеря достигли к вечеру. Все были в сборе, с нетерпением ждали нас.

— Собирайте лагерь! — с ходу всполюшил всех Александров, выскакывая из машины.

Он тут же собрал людей и объяснил причину перехода на новое место.

Мужчин новость обрадовала, женщины заворчали — не любят они покидать обжитое место.

Когда Александров пожелал всем спокойной ночи, я роздал письма, сигареты, свертки с покупками и услышал от Людмилы Пельменевой то самое, что и предвидел, а вдобавок она снисходительно похлопала меня по плечу — никчемные вы, говорит, создания, мужчины.

Лагерь притих, только из одной палатки лилась музыка — там всегда слушали «Маяк».

Александров призвал меня с Пельменевым в рабочую палатку детально обсудить принятое решение. Во время моего отъезда Пельменев успел выполнить три дополнительных маршрута — к северу от нашего разведучастка и сообщил о но-

ых фактах, о которых успел рассказать Александров. Факты заслуживали внимания и явно говорили в пользу «северного направления», вот почему уже до моего возвращения Пельменев с Александровым почти решили перебраться к северу, а я пошел лишь моего приезда и согласия.

— Сейчас многое зависит от «секретной» буровой скважины. К концу месяца обязательно надо добраться до рудоносного слоя и выяснить, содержит ли он «наш элемент».

— Будет чем порадовать комиссию, судя по последним данным, будут новые факты! — Александров не мог унять радостного возбуждения. — Впереди целый месяц, а за месяцемного добьемся!

Определив на карте место для лагеря, он поднялся.

— Хватит, полночь уже, не успеем выспаться.

— Будто дашь выспаться! Чуть свет разбудишь! — засмеялся я.

— Времени мало. Спешить надо.

В моей палатке было прибрано, все вычищено, вымыто, выстирано. А кто позаботился — не узнаешь. И Александров мог потрудиться, и Пельменев, и вообще любой из нашей партии. Я и сам не раз убирал чью-нибудь палатку. Плохо приходится в экспедиции, если каждый делает все только за себя, только то, что должен. В нашей партии не то что уборку друг за друга, но и работу выполняют без лишних просьб — все равно какую — шурф прорыть, машину отремонтировать или обед состряпать. В геологической партии не счесть, сколько разных дел, обязанности четко не разграничить, и тот, кто не понимает этого, не считается с этим, или никудышный человек, или никудышный геолог. Нам иной раз и свои деньги приходится тратить на товарищей — если оказались в глуши, далеко от базы, если из-за нерадивости или черасторопности снабженца несколько человек, а то и вся партия оказались без продуктов. У начальника партии много трудностей еще и оттого, что он не располагает наличными деньгами для мелких трат, а сумму, выделенную на одну статью расхода, не может использовать на что-нибудь другое, пусть и нужное, скажем, из суммы, определенной на канавные работы, не может копейки истратить на установку буровых или покупку продуктов, если даже с голоду перемрут.

Я влез в спальный мешок. Он был теплый: добрая душа, убравшая палатку, видно, проветривала его на солнце, а мешок долго хранит солнечное тепло.

Выспаться не пришлось. Ни свет ни заря прогремела команда Александрова:

— Подъем!

На всю жизнь сохранит, верно, он привычку старшего пионервожатого. Мало того, что будит, еще носится, покрикивает:

— Вставайте, сони, поднимайтесь! Вставайте, лодыри! Шесть часов, а они все спят! Кукушки и те проснулись (причем тут кукушки, и сам не знает)! Сколько можно дрыхнуть!

Сегодня «на помощь» ему подоспел и Пельменев.

— Вставайте! Вставайте! Не подводите, земляки! обра-
щался он к экспедиционным рабочим, сплошь сибирякам.

Да без шума, не разбудите мне грузинского князя!

Он влез в мою палатку.

— Проснулся? Я всю ночь не мог уснуть, все думаю о нашем решении.

— А я спал бы и спал!

— Как себя чувствуешь?

— Спасибо, ничего.

— Как себя чувствуешь, спрашиваю? — Пельменев пристально поглядел мне в глаза.

— А как я должен себя чувствовать?

— Ладно, не поднимай тяжести. Не надсаживайся.

— Почему, что я не такой, как все?!

— Не знаю, говоришь — радикулит у тебя... — Он отвел глаза и выбрался из палатки.

И взгляд, и тон его ясно говорили — из столицы послали донести весть о приступе, который был у меня там. Неужели всем здесь известно? Знают и делают вид, будто не знают?! Стараются не выдать себя! Плохи, значит, мои дела... Радикулит! Знаю, мой Миша, что ты подразумеваешь, отлично понимаю, да не время предаваться черным мыслям. Впереди действительно решающие дни.

Ровно через полчаса со сборами было покончено. Два тяжело нагруженных грузовика прицепили к двум вездеходам — по таежному бездорожью грузовой машине не проехать.

Все заняли свои места — жены Александрова и Пельменева на сиденьях рядом с водителями вездеходов, а в кабинах грузовиков — наша стряпуха тетя Марфа и самая старшая из женщин. Молодежь расположилась в кузовах, Александров и Пельменев, вооружившись двустолками, восседали на кабинах вездеходов, и горе той птице или косуле, которая окажется на расстоянии выстрела. Оба пулю в пулю всаживают, мне ничем не научиться так стрелять, хотя и у меня есть пистолет.

Александров напоследок оглянул наше «городище» и дал знак включить моторы. Вездеходы загромыхали, лагерь на колесах тронулся в путь.

День ушел на переезд. В тайге вездеходу большой скорости не развить, а нам еще рени приходилось одолевать. Когда мы выгрузились, уже темнело, и хоть измотаны были дорогой, но все же разбили наш «палаточный город», пока женщины готовили, а потом даже у костра посидели, как обычно.

Признаться, час у костра самый желанный для меня: пляшут языки огня, потрескивают дрова, и чувствуешь себя уютно, будто дома. Завязывается разговор: бывает, серьезный — вспыхнет вдруг «дискуссия» по вопросам геологии; бывает, пустячный — о том о сем, что-то вспоминают, что-то сочиняют, сидим в телогрейках и слушаем друг друга, развлекаем. Иногда поем — и грустные, и веселые, только песни о геологах у нас не в почете — не трогают душу... Похоже, их авторы мало что знают о жизни геологов.

Следующий день Александров объявил днем отдыха и освоения местности. Пельменев не выдержал — отправился к месту «секретной» буровой. Скважина уже достигла рудонасыщенной зоны, и он со всеми своими пожитками переселился туда, «разведясь» с женой. В отличие от меня с Александровым Пельменев больше уповает на шурфы и буровые скважины, а не на редкие в тайге естественные обнажения.

Александров наметил все маршруты и распределил их. Самый сложный участок выделил мне — с моего согласия, разумеется. Со мной отправлялись техник и рабочий.

— Здесь сам черт ногу сломит, — пояснил он, — но я надеюсь на тебя.

— Судя по карте, кое-где придется «раздваиваться», дай еще одного человека, — попросил я. — Местность сложная, а времени мало...

— Это-то верно, но и людей мало. Кого же тебе дать? Может, попросим Людмилу Пельменеву? Раз Миша «бросил» ее, пусть идет в маршрут с тобой.

— Людмила с ее опытом — лучший вариант.

Начались напряженные будни. Кого не будили крики Александрова, тех он прямо в спальнях мешках выволакивал наружу. Нелегко с ним. Сам спит мало, в маршрут пойдет, передохнуть забудет, может целый день не есть, не пить. Словом, работает как одержимый и от всей партии требует того же. И резок не в меру, даже груб бывает «санкт-петербуржец», орет, словно понятия не имеет о тонах и полутонах, хотя музыкальную школу окончил, да на пятерки! В полсилы работать не позволяет, а уж за ущерб делу голову готов снести. И хоть все понимают — прав он по сути, часто возникают острые ситуации, и разрядить накаленную атмосферу удается лишь Мише Пельменеву. И Пельменев требовательный и по головке гладить не любит, но он спокойного нрава, а главное, умеет осадить Александрова. Вместе они хорошо «правят» нашей партией, а в ней, как и в любой другой, люди разного склада, разных взглядов...

Как-то вечером у нашего костра прямо из темноты появился старик. Откуда он взялся в этой глуши, было непонятно. Поздоровался и объяснил, видя наше удивление:

— У меня хижина поблизости — километрах в двадцати. Лошадей пасу для геологической партии. Михаилом Трофимовичем звать, а вообще-то все называют «Богом японским» — с молодых лет привычка у меня говорить «бог японский»... Понимаете, жеребеночек у меня сорвался с привязи и махнул через ограду. Я за ним, погляжу, думаю, куда его несет бог японский! А он к вам примчался.

Поодаль в самом деле стоял белый жеребенок. Мы окружили его, он не испугался, словно давно знал нас.

— Сделайте милость, дайте почитать свежие газеты и журналы. Прочту, верну.

— Свежих, увы, не имеется, — сказал Александров.

— Ничего, какие есть за свежие сойдут. Геологи два месяца назад наведывались — на вертолете продукты завезли, газеты, журналы, обещали скоро опять навесить. Насколько

я знаю, в этих местах собираются работать, и лошади потому нужны им будут.

— В таком случае наши газеты для вас свежие,  — старик явно был рад.

— Давайте, давайте их сюда, — старик явно был рад встрече с людьми, соскучился по живому слову. — А если и книги у вас найдутся, совсем хорошо. Долго думаете тут пробыть?

— Долго. Напите гостя чаем! — распорядился Александров. — А может, и от горячительного не откажетесь? — спросил он старика.

— Нет, нет! Не пьющий я. Давно бросил, не пью и не буду пить, прокляни бог японский!

— Почему! — удивился Александров. — В тайге жить да не пить?

— Да... Полсотни лет живу в этой глуши и не пью. И не буду. — Старик оглядел всех и, уверившись, что вызвал к себе интерес, радостно предложил: — Если охота послушать и не собираетесь спать, расскажу, почему не пью. — И, отхлебнув чаю из протянутой ему кружки, начал: — До революции я забойщиком был в шахтерском поселке. Сил и здоровья не занимать было, работать умел, ну и скопил кое-какие деньги. Однажды — не забыть мне этого дня — 30 мая 1915-го — к владельцу шахт дочка приехала из Петербурга. Шутник я был, балагур, и полюбился ей, нашел общий язык с воспитанной гувернантками барышней. Полюбили мы друг друга... Так полюбили, слов нет сказать. Да разве отдали бы ее за меня?! Взяли мы и сбежали. Родич мой в Западной Сибири новое дело затевал, принял меня в компаньоны. Стали мы разрабатывать мраморный карьер. Супруга моя давала уроки музыки и обучала языкам детей промышленников, купцов. Счастливые были дни, хорошие, благослови их бог японский! Жили в любви, согласии, весело, нажил я состояние... Да все пошло прахом... Что-то случилось с моей супругой, переменилась она вся. Затосковала, ко всему потеряла охоту, одному мне еще радовалась, плакала от счастья, когда я возвращался домой. Что-то снадало ее, иссохла вся, на глазах увял мой полевой цветочек... Говорил ей, езжай, погляди на мир, я прикован к делу, не могу их оставить, так хоть ты езжай, а она ни в какую — без тебя, говорит, весь мир мне не нужен. Я, конечно, радовался ее словам, целовал ей руки...

Я пил, как все пьют, меру знал, но вино в доме не переводилось. Скардным не был, но стал примечать, что вино в бутылках вроде бы убывает. А однажды поцеловал ее, и в нос ударил перегар, думал, померещилось, устыдился своей подозрительности. А потом понял — пристрастилась она к вину и сама уже не скрывала, запила открыто. Как ни упрашивал ее бросить, одуматься, ничего не помогло. Махнул я рукой, примирился с бедой, что было делать. Какое-то время жили тихо, спокойно. А потом наступил тот злосчастный день, прокляни его бог японский. — Исчезла она из дому. Думал, в гости пошла. Ждал, ждал, не вернулась она больше! Что я не предпринял, где не искал, куда только не разослал своих людей на поиски — и следов ее не нашли. К родным в Петербург не за-

езжала, без денег ушла. Стинула, пропала, лишила меня покоя и радости. Сколько лет минуло с тех пор, а все кажется вот-вот откроет дверь, войдет ко мне. Тогда-то и перебрался в глубь тайги — не хотел никого видеть. Вот уж полсотни лет живу тут одиноко. Бросил пить, не пью с тех пор и не буду пить. Люто возненавидел водку, прокляни ее бог японский...

— Куда она могла деваться без денег!

— Не знаю... Ну хватит, надоел вам, небось. Поздно уж... А вы, верно, Черные скалы ищете? Кто ни придет, все про Черные скалы спрашивают. Ваша партия золото ищет? — старик обращался к Александрову, учуял в нем начальника.

— Да, вроде того, — ответил тот.

— Вам Черные скалы надо найти.

— Что за Черные скалы? — заинтересовался я.

— Бог японский! Про Черные скалы не слыхали? — изумился старик. — Ладно, расскажу, как приду к вам в другой раз. Засиделся, спать пора, пока мы с моим жеребенком доберемся до дому, светать начнет.

— А вы верхом, быстро доедете.

— Жалко жеребенка, мал еще, пешим пойду, — старик залпом, словно водку, выпил остывший чай и, сунув под мышку газеты и журналы, попрощался с нами.

— Приходите еще, всегда будем рады, — крикнул ему вслед Александров.

— Спасибо, приду как-нибудь.

Я нагнал его и попросил:

— Обязательно приходите, расскажите про здешние места.

— Чего не прийти, приду, — и, улыбаясь, добавил: — Если очень понадобится, пожелайте-помечтайте, и мигом объявлюсь — как в сказке. Сказки-то помните?

— Нет, позабыл!

— Ничего, вернетесь домой, почитаете детишкам, вспомните.

— Не обзавелся детишками!

— Это негоже! Прокляни бог японский, без детей жизнь не жизнь! Дети жизнь красят. И добрая жена — хорошее дело.

— Может, останетесь переночуете у нас?

— Нет, кони чуют, когда меня нет, и волнуются.

Старик погнал белого жеребенка перед собой, как собаку. Тьма была кромешная, но жеребенок пробирался по одному ему известным тропкам, ведя за собой доброго, одинокого старика.

Не знаю как другие, но я за день выматывался так, что тряский вездеход, подвозивший нас вечером к лагерю, казался паланкином.

Однажды моя группа обследовала ущелье, где, как я и предполагал, было много обнажений. Я отбивал молотком образцы и диктовал Людмиле Пельменовой — она вела полевой дневник. Техник измерял содержание «нашего элемента» и записывал данные, рабочий заворачивал образцы и укладывал в

рюкзак, а когда он набивался битком, я помогал ему тащить до вездехода.

Маршрут оказался изнурительным. В одном месте неожиданно раздвоилось. Неожиданно для нас, поскольку водораздел не был отмечен на карте. Надо было разбиться на две группки. Обычно я шел с техником, Людмила Пельменева с рабочим. Но тут техник-геолог проявил инициативу, попросил отпустить его в самостоятельный маршрут с рабочим. У него был большой опыт, и я согласился. Он взял прибор для измерения «нашего элемента», нам же подкинул лоток и пустой рюкзак. Поделили еду, договорились сойтись у вершины водораздела и пошли по склонам вдоль речки.

Часто попадались водопады, ноги разбрызгивались на влажных замшелых камнях. Людмила перескакивала с камня на камень, как коза, а я несколько раз шлепался, веселя ее.

Метров через двести Людмила остановилась, говоря:

— Пора промыть шлих, а заодно и закусим, — и, достав из рюкзака лоток, пошла к речке. Опустилась на корточки, ловко загребла лотком песок и стала качать его, как сито. Солнце припекало. Людмила сначала рукава засучила, потом ворот расстегнула. «А она красивая, между прочим», — отметил я вдруг про себя и смутился. «Непозволительные» мысли сразу надо было пресечь, и я раскрыл дневник — мой черед был вести его. Но записывал машинально — глаза против воли смотрели на Людмилу. Она все так же мерно качала лоток, и стиснутые сорочкой груди перекачивались в такт из стороны в сторону, как мячики.

«Что с тобой! — обзлился я на себя. — На кого загляделся! Совсем голову потерял?!»

Людмила рассматривала в большую лупу шлих и диктовала.

— Золото! — вскрикнула она. — Золото! Золото!

Людмила обернулась ко мне, и восторг застыл на ее лице. Потом спокойно повторила «золото» — и еще внимательней всмотрелась в меня.

— Не беспокойся, ничего не упустил, все записал, но то, что занимало меня при этом, означает измену.

— Что же тебя занимало?

— Ты, Людмила, ты и еще...

— Гурам! — она оборвала меня.

Я подвинулся к ней, погладил по волосам. Всего на миг мелькнула в ее глазах тревога. Она не пошевелилась. Настороженно и понимающе разглядывала меня. Она была спокойна.

Меня не взволновало ее «открытие», потому что знал про золото в этом районе. И ее оставило равнодушной мое признание, потому что знала, заговорит во мне однажды мужчина — столько времени я в этой глуши.

Людмила усмехнулась. Застегнула сорочку, спустила закатанные рукава, говоря, что комары кусали, и взяла у меня дневник.

— Все записано точно, — заявила она, просмотрев. Значит, тебе кажется. Придумал — измена! — и спокойно, выложила из рюкзака еду.

Мы расположились перекусить.

Я с трудом проглотил кусок.

— Ешь, ешь, не терзай себя, нам еще долго идти, — рассмеялась Людмила, ободряя меня.

В нашей партии Людмила задает тон и служит неким образцом. Она всегда одета аккуратно, со вкусом. Это вынуждает и других следить за своим видом, неловко ссылаться на усталость и занятость, ведь Людмила наравне со всеми ходит в маршруты, наравне со всеми работает в партии, да еще за мужем ухаживает, и в палатке у них порядок. В каждой геологической партии есть своя «Королева» или «Работяга», «Красавица-белоручка» или «Палочка-выручалочка»; Людмила воплощает в себе и то, и другое. Более того — она мать экспедиции, хотя ей всего двадцать четыре года.

— Ошалевает Миша, как увидит золото! — говорит она.

— Не беспокойся, не ошалевает! Мы знали про золото здесь.

— Почему же нам не сказали?

— Не знаю. Юра решил — незачем.

— Понятно. Он прав, пожалуй...

С заречной стороны донесся шум — в густых зарослях на опушке затрещали ветки. Людмила вздрогнула, я выхватил пистолет, и тут появился знакомый старик — бог японский. Старик направился к нам.

Поздоровались.

— Как вы сюда попали? — удивился я.

— Тебе что за дело, — перебила меня Людмила. — Садитесь, пожалуйста, разделите с нами трапезу.

— Нет, нет, спасибо, недавно ел. Опять белого жеребенка ищу. Ускакал. Вам не попадался, случайно?

— В этом ущелье его вроде бы нет.

— И где его носит, прокляни бог японский!

— Найдется, не беспокойтесь. Посидите с нами.

Старик присел, вытащил из кармана кисет с самосадом, скрутил папироску, предложил и нам.

— Спасибо, не курим, — ответил я и за Людмилу.

— Это хорошо. Не про вас такой крепкий табак... А вы, вижу, верным путем пошли. Теперь понимаю, что ищете.

— Что все-таки? — спросила Людмила.

— Ясно что — золото! Чего иначе шли бы сюда! Но вы же не знаете историю про Черные скалы!

— Расскажите, если не спешите, — попросила Людмила.

— Ежели охота послушать, можно и рассказать.

Старик расположился поудобней. Людмила пристроилась у его ног. Я привалился к рюкзаку.

— Раньше тут жизнь ключом била. Самые известные и богатые золотоискатели мыли песок в этих местах. Кому везло, тот богател, кому нет — разбрелись кто куда. Был среди старателей некий Глеб Симагин, шакал сибирский. На все зо-

лото, какое имел, приобрел новые участки, но форта ему не было. Разорился Симагин и все равно не уехал отсюда. Есть тут Черные скалы, так вот он обнаружил возле них какую-то минеральную воду. Из Западной Сибири, где я работал, завез в эту глушь ванны из белого и черного мрамора, поставил их возле источника и пустил слух, будто вода излечивает от всяких болезней. Понаехали владельцы приисков — лечиться да развлекаться. Минеральная вода и вправду помогла от ревматизма, от болезни желудка и еще от какой-то хвори. Симагин разохотился, расширил свое дело, завез через подручных красивых девок из Иркутска, Омска, Казани и открыл небольшой бордель. Женщин набрал Глеб Симагин одну краше другой, и золотопромышленники все свои деньги проматывали тут. Вы представьте себе — прокляни бог японский! — белые и черные мраморные ванны в цветущей тайге, поодаль друг от друга, чтоб укромно было, а воду подавали по деревянным желобам. Со временем оградил ванны, перекрыл их. Потом Симагин открыл тут ресторацию, гостиницу. Работали на него местные жители — все соки из них выжимал. Одно портило на строение кутилам. Не помню точно, но где-то поблизости были две деревеньки, какие-то непутевые люди жили там. Бродили они все по окрестностям, и потому их тут лунатиками называли, головокружением страдали, видения мучили...

— Видения? — переспросил я. Сердце отчаянно заколотилось. Людмила вскинула на меня удивленный взгляд и приподнялась.

— Да, видения были, и голову часто кружило, прокляни бог японский, чего не бывает на свете, чего не услышишь. Рано умирали, говорят, еле доживали до зрелых лет, а худощие — кожа да кости. Ели что придется, жили подавнием, выпрашивали милостыню, ну и беспокоили, ясное дело, богачей, покой их нарушали. Взял Симагин да и сжег те деревеньки, а жителей переселил отсюда подальше.

— Слышала, Людмила?! — воскликнул я, а сердце металось в груди, ошеломленное сообщением старика — вот это «сюрприз»!

— Мало ли что сочиняют люди! Выдумки все! — бросила Людмила, укладывая рюкзак.

— Никакие не выдумки. Так все и было, как рассказал. Одному дивлюсь, сколько лет живу в этих краях, а нигде не попадались ни желобы, ни ванны, ни пепелище — должно же было что-то остаться?! Диву даюсь, клянусь богом японским, куда все девалось?

Не ведал Симагин, какое доброе дело сделал для несчастных людей! Моим собратьям по недугу? Если у них были видения, какие сопутствуют иногда... Неужели в самом деле не осталось следов пепелища? Где могли находиться эти деревеньки? Надо найти какие-нибудь следы... Страшно подумать, но если у меня с ними одного рода видения — месторождение руды найдено.

— Как по-вашему, где могли находиться деревни? — попытался я.

— Не знаю. Чего не знаю, того не знаю. — старик под-
нялся. — Вроде бы где-то у Черных скал. И куда упрятал
жеребенка бог японский... Идете, нет? — спросил погода.

— Идем, идем, — ответила Людмила и снова взглянула
на меня.

Мы молча прошли ущелье. Когда наши группки встретились у вершины водораздела, техник сообщил, что содержание «элемента» незначительно, но неуклонно возрастало вдоль ущелья.

— Знаю, — сказал я спокойно, как если б давно был уверен в этом.

— Знаете?! Откуда? Прибор же у меня был!

— Нам бог японский покровительствует, — я кивнул на старика. Они поздоровались.

Мы молча двинулись вдоль по гребню, к Медвежьему перекрестку, где ждал нас вездеход, забрались в него. Рядом со мной что-то рассказывали, чему-то смеялись. Я ничего не слышал. Оцепенел. Страшная история, рассказанная стариком, потрясла меня. Кажется, надо откровенно выложить все Александрову и Пельменеву, все о моих приступах и видениях... Если тот же недуг... Я попросил старика поехать со мной в лагерь. «Бог японский» должен быть рядом — мы сообща представим бесспорные доказательства! Не подозреваете, какая новость ждет вас, Юрий Александров и Михаил Пельменев! Старик и мой недуг укажут путь к месторождению. Аргументы веские.

— Ты хорошо себя чувствуешь? — встревожилась Людмила.

— Хорошо, как никогда. Но мне нужен твой супруг — немедленно.

— Все шутишь.

— Правда, Людмила, срочно нужен!

— Заседание триумвирата?

Людмила остановила вездеход и отправила за Пельменевым одного из рабочих.

Уже смеркалось, когда мы вернулись в лагерь. Я поспешил к Александрову, Людмила — за мной. Тут-то все и случилось...

«Дождь лил сплошным потоком. Я брел по пояс в воде. Со всех сторон грозно надвигались ледяные потоки. Дрему-чая тайга захлебывалась, задыхалась. Все было залито водой. Ее неверная бурливая поверхность ломала дрожащие отражения полузатопленных елей. Ели стояли недвижно, оцепенели, не шевелилась ни одна веточка, но в воде, в неумной воде тайга качалась, металась, будто ураган хлестал и трепал ее. Я продвигался вперед, к солнцу, медленно. Вода была уже по грудь, я с трудом удерживался на ногах. Неожиданно очутился в широком заливе. Над пустынной водой возвышался бугор, а посреди него стояло пораженное молнией дерево. Я направился туда, тащился из последних сил, изнемог, выдохся. Мышцы онемели, выбрался наконец кое-как из воды и растянулся на спине. Бугор оказался глыбой льда, но дерево на нем было обуглено. Над черными ветками расплывались струйки дыма.

На один сук опустилась вдруг черная ворона и подмигнула.
Потом ворона побелела, обратилась в седую косматую ведьму.
Не вся — одна голова у нее стала ведьминой.
— Перешел-таки через мост, Адиханджал?! — спросила старая.

- А ты что думала! Назло тебе перешел!
- Подыхать не собираешься?
- Не дождешься, ведьма, не собираюсь!
- Это почему?
- Какое время умирать, столько дел впереди!
- Только поэтому?
- Мать должен пережить, не дам ей увидеть горе!

Услыхала это ведьма, улетела. Исчезло и дерево, исчез бугорок, а я снова погрузился в ледяную воду».

— Если его слушаться, дождемся — на глазах у нас умрет! — прозвучал голос Пельменева.

— На каком вездеходе отправим?

Это голос Александра.

«— Сердце матери гибель твою чует.

— Слышал я про эту сказку!

— Не боишься, значит?

— Чего?

— Смерти.

— Не дождешься, говорю тебе, ведьма.

— Ох и тяжело будет слечь, видишь, пташка твоя приезжает?

— Какая еще пташка?!

— Инка-секретарша! Молоденькая, хорошенькая, глупенькая.

— Инка работать приезжает.

— Ох и тяжело тебе будет умереть. Наташа сына родит.

— Наташа... Наташа...

— Сердце матери гибель твою чует.

— Не дам ей видеть горя, хоть на день да переживу.

— И ляжешь потом с ней рядом, да?

— Не дождешься, карга, слышишь, не дождешься! Если не врешь, если правда сын родится, ничего уж тогда меня не убьет!

— Убьет, мраморная ванна убьет.

— Спасибо — остерегла! Не лягу в мраморную ванну.

Я вскочил, убежал. Впереди пылал висячий мост, мост через глубокую пропасть. Кинулся в огонь, перебежал на другую сторону.

— Перешел-таки мост, Адиханджал?! — настиг меня хриплый голос.

— А ты что думала! Назло тебе перешел!..».

Вездеход тарыхтит, потряхивает. Нестерпимо долго ползет куда-то. Зарокотал вертолет. Неужели мне так плохо?! Вертолет в исключительных случаях вызываем.

¹ Герой грузинской сказки.

16 0353 20
510-1110333

Я приподнял голову — на большее меня не хватило. Ребята осторожно понесли меня к вертолету.

— Связались с Шакино? — спросил летчика Пельменев.

— Да, ждут уже, — ответил тот.

— Зачем вызвали вертолет? Не понимаю, чего испугались. — Я говорил спокойно, словно в самом деле не понимал.

— Лежи, лежи. — Пельменев опустил руку мне на плечо.

— Никуда я не поеду! — Я попытался приподняться.

Ребята силком поместили меня в вертолет и надежно замкнули дверцу. Вертолет оторвался от земли. Люди и вездеход на земле уменьшились, исчезли из виду. Под нами морем простиралась тайга.

Летчик обернулся ко мне и, увидав, что я пришел в себя, пошутил:

— Может, вернемся?

— Пить не найдется?

— При исполнении служебных обязанностей не пью.

— А вообще много пьешь? Сколько осилишь зараз?

— Семьсот-восемьсот.

— Ого!

— Не веришь?

— Поверни-ка свой драндулет и спусти меня прямо над лагерем, слышишь! А то выпрыгну.

— Тебе отдохнуть нужно. Не помешает. Заодно диагноз поставят.

— Диагноз! Диагноза московские врачи не поставили! Пойми, со дня на день нагрянет комиссия из министерства.

— Я выполняю приказ.

Приказ! Знаю, милый, знаю! Не приказ, а любовь ко мне движет тобой! Ничто не заставит изменить курс. Будто не знаю, сколько раз нарушал ты и приказы, и дисциплину! Когда требовалось, мы и приказ меняли с тобой, и курс. Забыл, как носились мы на твоей «стрекозе» по-нашему хотению, по нашему разумению. Не начальства боишься! Знаю, друг, чего опасаться!

— Лети назад, слышишь!..

— Потерпи чуток, вот-вот будем в Шакино.

Вертолет медленно пошел на посадку.

Нас встретил секретарь Шакинского райкома партии, прикатил на аэродром в своей черной «Волге». В этих краях всего месяца полтора можно ездить в машине, а в остальное время такой снег, что любой предпочитает сани или просто лыжи. Но секретарь райкома решил — и на эти месяца полтора нужна машина. Дела у него в районе налажены, и пошли ему навстречу, выделили «Волгу» по первой же просьбе.

— Переночуете у меня, а завтра на моей «Волге» отправим вас в центр. — тон был непререкаем, а слова «на моей «Волге» он выделил особо.

— Здравствуйте, уважаемый Всеволод Сергеевич.

— Здравствуйте, здравствуйте... — смутился он. — Извините — как вас по батюшке?

Секретарь отлично знал и мое имя, и отчество, и фамилию тоже. Просто не захотел оставаться в долгу.

04.10.59
302.00.000000

— Зовите просто Гурам, уважаемый Всеволод.

— И ко мне можете обращаться просто — без этого «уважаемый», — улыбнулся он.

Мы попрощались с летчиком, уселись в «Волгу» и покатили, взбивая пыль шакинского шоссе.

— До отдыха ли, когда такая погода для работы! — возмущился я.

— Осмотрит вас в центре врач и решит — отдыхать или работать.

— У нас времени в обрез, понимаете? Комиссию ждем из министерства.

— Понимаю, туго придется вашим без вас, — помолчал. Потом сказал вдруг: — Знаете, давно собираюсь спросить да забываю всякий раз при встрече. Как вы, грузин, переносите наш климат, как привыкли к нему? Если не ошибаюсь, вы двенадцать лет в наших краях, верно?

— Да, тринадцатый год пошел — несчастливый. К климату привыкнуть работа помогла. Работа, сибирские пельмени и разбавленный спирт.

— Разбавленный? Спирт водой разбавляете?! — поразился секретарь и перекинулся взглядом с шофером. Дюжий сибиряк выразительно ухмыльнулся.

Замелькали окраинные дома Шакино.

— Вот и доехали, — успокаивая меня, сообщил секретарь. Машина остановилась перед двухэтажным домом.

Пышнотелая супруга секретаря в розовом платье поджидала нас у входа.

— Добро пожаловать, здравствуйте, — голос был неожиданно тонюсенький, никак не соответствовал дородной женщине. — Вот вы какой, оказывается, «таежный волк»! Не обижаются? Все тут вас так называют или просто «грузином». Верно, и сами знаете?

Да, это-то я знал. Но вот почему щуплым невзрачным мужчинам лобы дородные — не могу уразуметь. Видимо, существует в человеке неистребимая потребность в реванше!

Я смущенно улыбнулся хозяйке и представился.

— Евдокия Македоновна, — представилась и хозяйка. — Можно просто Доки.

— Неудобно, уважаемая Евдокия.

— И без «уважаемой», пожалуйста. Сева не выносит. — Женщина испуганно приложила палец к губам, искоса глянув на мужа, и просто, как члену семьи, сказала шоферу: «Заходи».

В прихожей шофер стал на куски войлока и, заскользив, как на коньках, понесся прямо к письменному столу, заваленному газетами и журналами.

— Обед готов? — спросил хозяин дома, не обратив внимания на слова жены.

— Стол накрыт. Не знаю только, что подать гостю — сухое или...

— Ничего, — прервал ее муж. — Гостю ничего!

— Это почему?! Что я, провинился? Видите — здоров, прекрасно себя чувствую.

— Ни капли — и точка!

— Сказал, значит, все, приговор окончательный, обжалованию не подлежит! — разъяснила мне Евдокия, расплываясь в улыбке, и пригласила в просторную столовую на верхнем этаже.

Стол действительно был накрыт для пиршества: пельмени сибирские, соленые белые грибы и прославленный байкальский омуль. Глаза мои поедали соблазнительную закуску, а мысли мои были на аэродроме — улизнуть бы как-нибудь, пока там летчик. Мне в самом деле хорошо, а когда случится следующий приступ, никому не ведомо! Может, и вовсе не случится.

— Не угодно руки помыть? Заговорила, забыла предложить.

— Конечно, с удовольствием!

Хозяйка снова провела нас в нижний этаж и распахнула передо мной широкие двери в ванную. Не только двери были слишком солидные, но и сама ванна для сравнительно небольшого помещения.

— Не люблю маленькие ванны, сами видите, какая я, не вмещаюсь. Митенька, — Евдокия кивнула на шофера, стоявшего рядом, — раздобыл где-то вот эту опромную ванну, и пришлось переделать двери, не проходила ванна, — объяснила хозяйка и ушла в столовую.

Передо мной была ванна из белого мрамора!

Грубо высеченная ванна из белого мрамора!

Я онемел.

— Входите, полотенце справа висит, — пробасил шофер.

— Митенька, откуда вы притащили эту ванну?

— Издалека. Слыхали про Черные скалы? Оттуда. Давняя история.

— Сумеешь указать на карте то место?

— Сумею, понятно. Я в топографическом техникуме учился, между прочим, а потом в шоферы подался...

— Митенька, слушай внимательно. Мы сейчас улизнем отсюда. Летчик еще на аэродроме. Пометим на карте то место и вернемся назад.

— А как же... Неудобно! Всеволод Сергеевич...

— Будь другом, не возражай, не трать слов. Пошли.

И я буквально поволок его к выходу.

К аэродрому мы неслись на бешеной скорости — прохожие озадаченно поворачивали головы вслед. Митенька ворчал, Доки говорит, голову мне оторвет, но я успокоил его, заверил, что он совершает общественно полезное дело, на благо всему человечеству.

Летчик спал в комнате отдыха. Мы разбудили его, попросили карту. Митенька приблизительно очертил место, где в 1952 году по чрезвычайному заданию комсомола вел поиски беглого военного преступника. Место это оказалось километров на сто севернее нашего лагеря.

— Значит, в верном направлении ищем! — вырвалось у меня.



Летчик
3023-1101033

— Там золото? — удивился Митенька.

— Да, Митенька, да! Самый ценный металл!

Я расцеловал от радости шофера и повернулся к летчику!

— Готовь свою стрекозу!

Летчик попытался было возразить, но, видя, как я возбужден, махнул рукой, понял, что не отступлю.

Еще полчаса шумного разговора в кабинете начальника аэродрома, и нам разрешили вылет.

Митенька брел за нами и ныл, словно медведь с большим зубом: «Убьет меня Доки, убьет». Проводил до вертолета, пожелал успеха и, буркнув: «Черт с ним, что будет — будет», затрусил к черной «Волге».

Вертолет взлетел.

— Посадишь стрекозу точно в тот квадрат, который помнил Митенька, — велел я летчику. — Говорит, там осталось еще несколько ванн, если только другие секретари не растащили. Но сначала сделаешь два-три круга над ним, осмотрим сверху.

— Полетаем, как в старину? Сколько лет прошло с той поры!

— Сколько? Лет десять-двенадцать!

— Горячее было время! Хорошее!

— А чем сейчас плохо? Разведучасток определился, и вертолет нам больше не нужен. Не так мотаемся, хотя ходьбы и теперь хватает.

— Каждый со своей колокольни смотрит. Меньше стало полетов — меньше и зарплата.

— Брось пить, хватит тебе твоей зарплаты.

— Давно бросил.

— С чего это?

— Почки пошаливают, взялся за ум — сам знаешь, какое у нас требуется здоровье.

— Знаю, знаю. Я и сам давно б загнул, верно, не будь таким здоровым.

— Да, здоровья тебе не занимать, — летчик глянул мне в глаза. — И здорово освоился у нас. Комары и то признали своим, не трогают, — и засмеялся.

— Ты смеешься, а они в самом деле меня не кусают — им моя кровь не по вкусу!

Не по вкусу... Не нравится им моя кровь, всеужели отличают здоровую от... Ничего — наступит конец их раздолью тут...

— Представляешь, какой тарарам поднимется в лагере, когда свалишься им на голову!

— Это точно — ошалеют!

Стали снижаться. Летели совсем низко, над самой тайгой, но сколько ни вглядывались, ничего особенного не заметили.

— Давай опускайся вон на ту поляну, — я указал летчику место.

Поляна была размером с небольшой стадион, вся в цветах. На краю ее, у опушки, заметно выделялась прямая темно-зеленая полоса. Мы пошли туда и обнаружили широкий про-

гнивший деревянный желоб, весь заросший высокой травой, мхом. Желоб тянулся к лесу. Как колотилось у меня сердце, сами можете вообразить. Летчик обогнал меня и побежал вдоль желоба, отбиваясь от комаров. Внезапно я обернулся, как от толчка, и увидел продолговатую глыбу, какое-то подобие саркофага под зеленым саваном. Не успел я заорать: «Вот они!» — как летчик уже выпрыгнул в разбитую ванну, забитую хвоей и палой листвой. Чуть поодаль я заметил еще одну зеленую глыбу, метнулся к ней — и она тоже оказалась ванной! Деревянный желоб соединял ее с первой. Мы пустились вдоль желобов. Сравнительно узкие, они соединялись, сходясь к одной большой деревянной трубе, а та привела нас к высоким скалам. По пути попало несколько источников, вероятно, минеральных, каждый показывал высокое содержание «нашего элемента». У летчика был прибор. У скал прибор буквально трещал — шкала не была рассчитана на такое содержание элемента.

— Что за допотопный у тебя прибор, — разозлился я, словно летчик был виноват.

— Такой, какой положен по инструкции.

— Ладно, не все ли теперь равно, — бросил я почти безразлично. Возбуждение разом улеглось.

Летчика озадачил мой безмятежный тон. Мне бы кричать, орать от радости, а я стою себе — будто ничего особенного не произошло! Странно все-таки устроен человек.. Как мы ждали этого часа! А теперь, дождавшись, думаешь, ну и что, так и должно было быть. Рано или поздно я ли, другой ли — кто-то добрался бы до этих скал.

Передохнув немного, я стал брать образцы, сделал нужные записи. Весь взмок, по лицу струился пот. Усталость навалилась внезапно.

— Плачешь от радости? — улыбнулся летчик.

— Нет, лью трудовой пот, — усмехнулся я.

Мы двинулись к вертолету.

Взяли курс к нашему лагерю.

— Слушай, тебе доводилось сбивать вражеский самолет?

— Я не был на фронте.

— Чем же занимался в войну?

— Новые самолеты испытывал.

— А что ты чувствовал, когда приземлялся после испытания?

— Выпить хотелось.

— Потому-то и уволили.

— Нет, не пил тогда.

— Может, скажешь, и сейчас не пьешь! Брось обманывать! И вообще!.. — взорвался я и налетел на летчика, стиснул в объятьях.

Вертолет дернулся, рванулся в сторону, и я мгновенно пришел в себя.

— Извини.

— Ты что — спятил?! — заорал летчик и тут же сообразил: — Наконец-то прорвало тебя!

041035320
3023010033

— Парашют есть? Спрыгну над лагерем!

— Веревоочная лестница к твоим услугам — опустись же!
как Ромео!

— Ладно, спущусь как Ромео.

Смеркалось, когда вертолет пролетел над лагерем, но я видел, как выскакивали из палаток люди и неслись к ближайшей поляне. Поляна завалена была валунами, поэтому вертолет повис над ней метрах в десяти.

— Всего хорошего, Монтечки! Скоро увидимся, наверное! — сказал я летчику, прощаясь.

— До свидания, Ромео. Желаю успеха!

— Спасибо! Плюнь через плечо на черта! — потребовал я озорно и, помахав на прощанье, стал спускаться.

Я боялся смотреть вниз — слишком свирепые были лица у Пельменева и Александрова. Они держали нижний конец лестницы, как держат в цирке униформисты для воздушных гимнастов.

— Может, не стоит спускаться? — спросил я с лестницы.

— Что случилось?! — крикнул, не вытерпев, Александров.

— Что случилось?! Почему возвратился? — Пельменев грозил мне кулаком.

— Последний раз в этом сезоне! Знаменитый эквилибрист на батуте! — закричал я и прыгнул, перекувырнулся несколько раз, раскинул руки: — Алле гол!

Мне дружно захлопали.

Вертолет сделал над нами два круга, что означало: «Желаю счастья» — и жужжа устремился в небо.

— Ну, выкладывай, не тяни! — сердито потребовал Пельменев.

— Конец нашим мучениям! — заявил я. — Собирайте пожитки. Опять переносим лагерь! — и зашагал к рабочей палатке.

Александров с Пельменевым последовали за мной. Триумфировать заседал недолго. Мое сообщение было кратким.

Я не успел досказать все, как Александров вышел из палатки.

— Подъем ровно в шесть! Выступаем чуть свет! — голос его прервал на всю тайгу.

Вслед за ним вышел Пельменев, а немного погодя явился с Людмилой и пригласил нас отметить долгожданное событие. Александров позвал Светлану. Я кинулся в свою палатку за копченой рыбой. Проходя мимо палатки геологов и услышав звон стаканов, я прошел к палатке рабочих. Там тоже пили. Тогда я громко воззвал ко всем:

— Чего пить порознь! Выходите, вместе отметим!

На зов откликнулись — весь лагерь собрался в большой столовой палатке. Мы поздравляли друг друга. Пили за мое здоровье, я возглашал здравицу за других, но старался не пить. Людмила взялась за гитару. Кто-то запустил белую ракету. Хмель быстро одурманил головы. Среди шумного веселья никто не заметил, как я покинул товарищей — не терпелось забраться в спальный мешок. Измотался за день, наволновал-

ся, и стакан спирта сделал свое дело — я давно не пил. Забыл мгновенно.

Проснулся поздно — часы показывали девять. Усомнил-ся — работает ли будильник, может, остановился вчера вечером? Выглянул наружу. Все палатки убраны, все уложено на машины. Выходит, готовы сняться с места и ждут, когда я проснусь! Попробуй не расчувствоваться!

Я выскочил из палатки и тут же угодил в руки притаившихся по сторонам ребят. Они подхватили и торжественно понесли меня к реке, осторожно опустили на землю — совершить утреннее «омовение». Потом, как я ни противился, таким же манером доставили назад к палатке, накормили и напоили чаем. Пока я завтракал, свернули мою палатку, уложили вещи.

Кто-то подкрался сзади и закрыл мне глаза ладонями. Оказалось — летчик. И тут-то я заметил на поляне, которую успели очистить от камней, вертолет!

Я понял — сопротивляться бесполезно.

Меня усадили в какое-то подобие кресла, увитое цветами и гирляндами шишек. Собрались все члены экспедиции. Долго прощались.

— Пишите хоть раз в неделю, не ленитесь! — попросил я.

— Не беспокойся, забросаем письмами! Обо всем будем сообщать! — дружно заверили ребята.

— Не только писать, звонить будем в госпиталь. Твои советы понадобятся.

Еще раз попрощались и разошлись. Мы с летчиком направились к вертолету, остальные расселись по своим местам на машинах, продолжая махать мне руками и кричать: «Поправляйся, Гурам! Скорей возвращайся! До скорой встречи!».

Вертолет взмыл в небо. Отдалился, скрылся из глаз наш лагерь на колесах.

Под нами зеленела бескрайняя тайга.

Мы летели к солнцу.

«Дорогой наш Гурам!

Обещала часто писать, а сдержать слово не удалось. После твоего отъезда тут такое закрутилось, минутки выкроить не могла. Знаешь ведь Александра! Черные скалы, те самые, где ты ванны обнаружил, обследовали до конца. Миша поставил новую буровую — результаты отличные, лучше и не надо! Сам понимаешь, как это нас окрылило, работаем, как говорится, не покладая рук, без выходных. Особых новостей нет. Хотя есть: рядом стоит знакомая тебе девочка и просит оставить ей полстранички — приписать несколько строк. Оставлю, конечно, страдает бедняжка! Береги себя, не падай духом. Что думаешь врач, не пора ли отпустить тебя назад в тайгу?

Дружески обнимаю и целую. Привет от всех наших. Ждут тебя с нетерпением, уверяют, что не могут без тебя, велют энергичней лечиться.

Кланяется тебе Михаил Трофимович, все справляется, как ты, да поможет, говорит, ему бог японский.

Людмила».

«Гурам, мой добрый Гурам!

Еле упросила Людмилу Пельменеву оставить мне место. Догадываешься, кто пишет? По почерку не узнаешь, никогда ведь не писала тебе, хоть и очень тянуло. Все вспоминаю вечер, вспоминаю твой грустный взгляд. Вспоминаю потому, что благодаря тебе по-другому взглянула на отношения между людьми. Можешь поздравить, я уже студентка-заочница. Как только Пельменев согласился взять меня на работу, тут же начала готовиться к экзаменам. Целый месяц провела в Новосибирске. Конкурс был большой, но я прошла! Очень, очень тебе благодарна. Не будь тебя, вряд ли сумела бы изменить свое положение и стать на «правильный путь». Спасибо. Тысячу раз спасибо.

Твоя Инка.

13 сентября».

«Милая моя Людмила!

Удостоила-таки меня письмом! Давно могла бы порадовать хорошими результатами, знаешь ведь — переживаю вместе с вами. Лечение идет успешно. Чувствую себя прекрасно и при каждом обходе донимаю профессора просьбой отпустить в тайгу, а он смеется, предлагает потерпеть еще немного. Я терплю — что мне остается, как не терпеть! Лишь бы вылечили. Очень соскучился без вас. Надоело лежать в белоснежной комнате, в палатку бы, в спальный мешок! Живу надеждой увидеть вас скоро. Что касается Инки, передай — благодарить меня не за что, ничего исключительного я для нее не сделал. Экзаменов за нее не сдавал, а подыскать работу в партии и другие могли. Видно, толковая девушка. Возьми ее под свою опеку, влияй и воспитывай. Может, станет похожей на тебя! Потерпите еще немного, скоро буду с вами.

Обнимаю и целую всех. Гурам.

Р. С. Миша и Юра считают писание писем женским занятием, и все же скажи им, пусть нацарапают несколько строк и пусть не беспокоятся, разберу их каракули. Раз уж сделал приписку, пользуюсь случаем и еще раз обнимаю и целую.

20 сентября».

«Брат мой Гурам!

Только вчера уехала комиссия. Пишу подробно, понимаю, как тебе все интересно. В составе комиссии были ответственный работник из Центрального Комитета, заместитель министра, директор нашего института, академик Ларин, секретарь Шакинского райкома. Рассмотрели все данные, пешком обошли разведучасток — район Черных скал, даже полевые дневники изучили. За «секретную» буровую еще «выдадут» и, надеюсь, тебя не обойдут! Результатами остались довольны. Не говорю — были в восторге, я суеверный, но ты и сам можешь сообразить это. Ожидаемые запасы руды Черных скал вдвое превышают промышленные потребности. Теперь слово за Игорем Озеровым и обогатителями. Недавно отправили Озерову еще полторы тонны руды, а он придумал еще один но-

вый способ выделения металла. Первые два способа его не удовлетворили!

Заместитель министра сначала пропесочил нас как дует, а потом обещал премию по результатам квартала. Сначала отчитал за нашу «секретную» буровую, а потом распорядился составить проект установки еще двадцати одной. Сетку расположения буровых будешь делать ты. Пельменев, наверное, придет к тебе для консультации. Судя по всему, мы скоро закончим здесь свою работу. Наше «скоро» значит дватри года, как сам понимаешь. Жаль уезжать, прирос к этим местам!

Как твои дела? Слышал, еще месяц продержат, но ты, конечно, времени даром не теряешь. Напиши, над чем работаешь, чем занята твоя голова? Как себя чувствуешь, не нужно ли чего? Обязательно пиши, не стесняйся «беспокоить» нас.

Брат твой — Александров Юрий.

5 октября».

«Юра!

Сетку расстановки буровых уже сделал, не надо приезжать Пельменеву. Врачи не разрешают работать, очень уж оберегают, можно подумать, что я тяжелобольной.

Обо мне не тревожьтесь, мне ничего не надо, все есть.

Недавно был тут корреспондент «Известий». Сфотографировал. Очерк собирается писать о нашей экспедиции. Сохрани фото, может, последним окажется... Шучу, Юрка, знаешь ведь, не люблю красоваться перед объективом. Учтите, никому больше не стану «позировать» — не шлите репортеров, морочат мне голову нелепыми вопросами, да еще так держатся, словно мы о них пишем очерки. А от работников «местной прессы» просто спасения нет. Говорю им, чем со мной беседовать, лучше раз побывать на месте, увидеть все своими глазами. Да разве решатся поехать так далеко? Если Пельменев придет забрать сетку, отправлю с ним одного корреспондента, узнаете, каково с ними.

Не надо ли сделать еще что-нибудь? Не стесняйтесь, изнываю от безделья. Я здесь совсем как в санатории, а мечтаю быть с вами, соскучился по всему тамошнему. Подумай — целый месяц я тут! Жду писем и новых заданий.

Брат твой — Гурам.

12 октября».

«Мой запропавший грузинский брат!

Прежде чем потешать тебя столичными новостями, порадую — металл получен! Понимаешь — выделен металл! Не представляешь, какой чистый! А запасов руды больше чем надо — это, конечно, тебе уже сообщили ваши. Молодец, Гурам, сообразил найти «элемент» в таежной ванне! Только тебе могло прийти такое в голову.

А теперь здешние новости. Ходит слух, что министерство ходатайствует перед вышестоящими органами о присуждении премии. Нас-то вряд ли помянут, но тебя не забудут, сибиряки

постараются! Сегодня в центральной газете очерк о вашей экзепедиции, вырезал и посылаю тебе.

Из госпиталя тебе придется лететь прямо в Москву, ведь? Об остальном поговорим при встрече в «Волге»

Еще одна новость, и, пожалуйста, не убивайся, хоть и расстроишься: на твоей любимой, не знакомой тебе и недосыгаемой кинозвезде Светлане Голубовской женился наш замдиректора! Так-то! Взял ее за руку, повел к себе домой и усадил там женой. Тебе никогда не проявить такой решительности, а давно бы следовало. Давно бы следовало закатить знатную грузинскую свадьбу! А может, вообще не намереваешься приглашать нас в Тбилиси на свадьбу? Пишу и от имени «трио блондинов».

Обнимаем, целуем

Игорь Озеров и «трио блондинов».

14 ноября».

«Дорогие мои друзья!

Пишет «позабывтый» вами ваш грузинский побратим! Столько времени никаких вестей от вас, хотя я мог бы раз десять получить письмо. Конечно, найдете оправдание, сошлетесь на «гигиенически» чистый металл, но при ваших способностях и трудолюбии вполне могли выкроить часок для письма.

Молодцы, ребята! Честное слово, поражен, как вам удалось выделить элемент в таком чистом виде?! Игорь, по-моему, ты кое-что держишь в секрете.

Хотел бы я знать, над чем теперь будете ломать голову? Чем заниматься, какую проблему разрешать бессонными ночами?! И как вы смиритесь с отдыхом по выходным дням и нормальным сном по ночам? На что станете расходовать силы, нет — «энергию» мозга, разрешив «проблему века»!

Что до обожаемой мной Светланы Голубовской, то разве можно так сразу ошарашить! Надо было подготовить меня — постепенно, осторожно подвести к потрясающей новости, а ты взял и сразу обрушил на мою бедную голову весть о ее замужестве! Ладно, я устоял! А вообще, судя по твоим словам, не так уж сложно покорить и самую прекрасную.

Прошу — пишите чаще, чтобы новости не устаревали, пока дойдут до меня.

Целую вас и обнимаю.

Солист Гурам и квартет медсестер.

21 ноября».

«Мой дорогой!

Твои друзья упорно скрывали адрес, но я все равно добыла его. Не знаю только, верный ли он.

Как я соскучилась по тебе, по твоему голосу, глазам, рукам, по твоей ласке! Соскучилась по своему сумасшедшему, ревнивому Гураму!

Что с тобой стряслось? Чем болен? Целый месяц лежишь, и говорят, еще месяц не дано будет тебя увидеть!

Мы и так уже целую вечность в разлуке.

Не сердись, что я улизнала в то утро. Причина «уважительная», но бумаге ее не доверю. Узнаешь, как увидишь меня, без слов станет ясно!..

Ты теперь в тысячу раз дороже мне и ближе, мой любимый, далекий, недостижимый Гурамчик. Уверена, ты все выдержишь, одолеешь свою болезнь и вернешься здоровым! Правда ведь?

Ни о чем не беспокойся. Я здорова, чувствую себя очень хорошо — у меня просто нет теперь права не чувствовать себя хорошо.

Гурам, знаю, что ты меня любишь, а нравлюсь ли я тебе? Нравлюсь ли? Ты же сам сказал, что это разные понятия — любить и нравиться.

Напиши, нравлюсь ли тебе, очень ли нравлюсь? И все так же ли любишь?

Поскорей справляйся со своей болезнью и приезжай. Жду тебя. Никто другой мне не нужен.

Родители мои вернулись, получили квартиру, и теперь мой дом — твой дом. Приезжай, и не забудь прихватить какую-нибудь пепельницу для моей «коллекции».

Целую тебя крепко, крепко. Твоя Наташа.

29 ноября».

«Моя Наташа!

Моя умница!

Моя единственная, неповторимая Наташка!

Держу ручку и не знаю, что писать. Как всегда, пытаюсь избежать тех слов, что сами просятся на бумагу, потому что, прочитав их, ты подумаешь — расчувствовался Гурам! Мучаюсь, терзаюсь, но в конце концов прихожу к решению — быть откровенным. И после этого скованности как не бывало, а понятие «самолюбие», так много значащее для нас, грузин, и удерживающее от откровенности, представляется нелепым. До самолюбия ли, когда душа вот-вот покинет тело, а время летит, истекает срок жизни. И невольно спрашиваешь, что ж нам остается, что остается мне и тебе? Мне — твоя любовь и благо, заключенное в ней (да, именно — благо, и оно так многообразно, наполняет меня такой гордостью). А тебе? Что дает тебе мое безмерное чувство любви? Если бы ты могла ощутить хоть сотую долю его, оно бы свело тебя с ума, испепелило душу, сделало бы еще прекрасней!

Не представляешь, что происходит сейчас со мной. В душе боль, плоть задыхается. Если тебе доводилось испытать подобное, поймешь, что творится со мной, а если нет, поверь мне на слово, моя маленькая, моя любимая!

Не смейся и не сравнивай меня с восторженными романтиками прошлого столетия, но твой образ действительно связан для меня с цветом розы, а мое отношение к тебе, мое чувство напоминает голубизну неба.

Я не просто соскучился и хочу тебя видеть.

Я мечтаю о тебе! Не могу выразить, что я вкладываю в это слово, но это не жажда встречи после долгой разлуки. Я начинаю мечтать о тебе с минуты расставания. Где бы я ни

был, невольно, подсознательно, всегда мечтаю о тебе, моя любимая.

Может, я чрезмерно откровенен? Но нет. Я просто не стесняюсь тебя больше, не смущаюсь. А значит, могу довериться любым словам, которые рвутся из души, потому что они правдивы. Поэтому не буду задумываться над ними, не буду выбирать выражения, сравнения, не буду, не буду!.. Они сами идут из глубины сердца. Поверь мне, верь всему, что я говорю, не сомневайся в моих словах, любимая!

Что мне написать о себе?

Мне вспомнилось сейчас одно место из статьи, которую прочел недавно в каком-то иностранном журнале.

«Меня образ жизни, вступая в связь с вещами, людьми, средой или теряя их, получая новую информацию, воспринимая новые идеи, мы адаптируемся, то есть живем.

При каждом изменении ориентаций, при каждой адаптации механизм души и тела изнашивается. А наше свойство восстанавливать физические и духовные силы не безгранично!»

Да, действительно не безгранично — убедиться в этом можно и на моем примере. Видно, изнашился уже механизм, изнашились «колесики» души и тела. Но сердце трепещет, бьется, как пойманная птица. Однако я не сдаюсь, не бросаю оружия. Скоро увидишь меня в столице, я еще покажу себя, такое там устрою!.. А если правильно тебя понял, то вообще не стану больше болеть. Не хотел я, чтобы ты подумала — расчувствовался Гурам, но ничего не вышло.

Несмотря на все, что со мной случилось и может еще случиться, ты все равно всегда будешь во мне, мой голубой цветок.

6 декабря. Твой Гурам».

«Здравствуйте, Гурам».

Составленная Вами сетка расположения буровых скважин оказалась безупречной. Все они пересекли рудоносную жилу. Рудоносный участок оконтурован, запасы определены. Скоро получишь весьма радостную весть.

Держись, Гурам! Разве время болеть?!

Твоя дядя Гриша, 12 декабря».

«Уважаемый Григорий Васильевич!

Спасибо, большое спасибо за внимание. Очень рад, если сделанное мной принесло пользу. Задание, которое я выполняю здесь, вызывает у меня сомнение. Я стал почему-то мнительным.

Ребята из нашей экспедиции пишут, что скоро нас перекинут на работу в другое место — интересно, куда на этот раз?

У вас, конечно, уже новые идеи, новые планы..

Надеюсь, по-прежнему буду в «передовых рядах боевого отряда» ваших геологов.

Гурам Отарашвили. 19 декабря».

«Сынок!

Прежде всего — желаю тебе здоровья, счастья. Почему не пишешь? Совсем пропал! Неужто хоть одно письмецо не мо-

жешь послать? Извелась вся, думая о тебе. Мало было тебе места в родном краю, занесло за тридевять земель! Будешь брать отпуск, скажи начальнику, не вернешься назад — не пущу тебя! Не сегодня-завтра смерть за мной явится, так ужко последние дни мои не можешь скрасить?

Как ты там? Здоров ли? Хорошо ли питаешься? Да и что вы там едите в своей глуши?

Эх, сама виновата, зачем позволила тебе уехать? Приедешь — всыплю тебе. Береги себя, не простудись. Здесь холодно, каково же там, в вашей Сибири.

Кланяются тебе все наши.

Ждем с нетерпением, приезжай скорей.

К Новому году вышлю посылку.

20 число месяца декабря».

«Мамочка!

Поздравляю вас всех с Новым годом. Желаю вам здоровья, много радостных счастливых лет.

Обо мне не беспокойся, я здоров. Аппетит у меня отличный, и повариха готовит очень вкусно. Наша экспедиция перешла на новое место. Письма шлите пока по адресу, что на конверте. Посылку посылать не надо, все тут есть. Разве что пришлешь соус-ткемали и гозинаки. Неужели вам еще не поставили телефона? Почему не сообщишь номера? Прошу тебя, пошли гозинаки и Наташе. Помнишь ее? Голубоглазую Наташу, которая повсюду ходила с тобой в Москве. Адрес ее в твоей записной книжке.

Еще раз подраваю вас с Новым годом, мои хорошие. Как хотел бы я быть с вами! Целую всех и обнимаю.

Потерпи мама, скоро увидимся! Береги себя.

Твой любящий сын Гурам.

25 декабря».

Выписка из газеты.

Центральный Комитет ЦК КПСС и Совет Министров СССР, рассмотрев представление Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР в области науки и техники при Совете Министров СССР, постановляют присудить Государственные премии СССР:

5. Солнцеву Григорию Васильевичу, доктору геолого-минералогических наук, директору НИИ; Александрову Юрию Владимировичу, кандидату геолого-минералогических наук, научному руководителю экспедиции; Озерову Игорю Ивановичу, доктору физико-математических наук, заведующему экспериментальной лабораторией НИИ; Отарашвили Гураму Георгиевичу, главному геологу экспедиции (посмертно); Пельменеву Михаилу Денисовичу, кандидату геолого-минералогических наук, начальнику экспедиции, — за открытие и разработку н-ского месторождения.

Перевод Элисо ДЖАЛИАШВИЛИ

К 61-Й ГОДОВЩИНЕ

ВЕЛИКОГО

ОКТАБРЯ

Михаил ДАВИТАШВИЛИ

«СТРОИТЕЛЬ НОВОЙ ГРУЗИИ»

Случайная встреча в Ликани помогла мне найти забытый клад, представила его во всем блеске.

С балкона санатория я почти час наблюдал, как заходящее солнце, собрав последние лучи, укрывалось в Боржомском ущелье.

Почти все отдыхающие спустились в парк. Одни прогуливаются, другие, устроившись на скамейках, увлеченно беседуют.

— Уважаемый Михаил, сегодня вы, должно быть, предпочитаете уединение, — услышал вдруг я голос снизу.

— Пожалуйте сюда, батона Владимир. Отсюда великолепно видно, как наступает вечер в нашем ущелье, а когда стемнеет, здесь отлично мечтается, да и воспоминания бывают приятные...

Председатель научного общества микробиологов Грузии профессор Владимир Антадзе садится рядом со мной, по привычке потирая лоб и улыбаясь.

Беседуем о прошлом, о сегодняшнем.

В парке заглялись все лампы.

— То, что я хочу рассказать вам, касается друга моей юности. Приближается юбилей Великого Октября, и я все ча-

еще вспоминаю о нем. А сейчас мне напомнили о нем: именно эти лампочки. Да, лампочки Ильича...

— Слушаю вас, — приготовился я, зная Антадзе как интереснейшего рассказчика.

— Лет двадцать назад. — начал он, — я был в командировке, в Ленинграде. Ленинград я люблю особенно. Здесь на каждом шагу сталкиваешься с редчайшими памятниками прошлого и настоящего. Моя командировка совпала с дружественным визитом в Ленинград французской эскадры. Французские корабли выстроились вдоль берега Невы, и почти весь город устремился смотреть их. Отправился и я. Моим соседом по катеру оказался генерал, грудь которого украшало множество орденов. Он вдруг повернулся ко мне и спросил:

— Простите, вы, случайно, не грузин?

— Да, грузин.

— Не доводилось ли вам слышать что-нибудь об одном хорошем грузине, военном комиссаре Петроградского военного округа Владимире Джикия?

— Слышать?! Да он был другом моей юности и вдобавок — тезкой, товарищ генерал, — радостно ответил я.

— О, так, значит, вас тоже зовут Владимиром? — оживился генерал. — Вы, наверное, знаете, что Владимир Джикия учился здесь, в Ленинграде, здесь вступил в большевистскую партию, здесь участвовал в разрушении старого мира. Защищал революцию от врага. Поэтому мы, старые петроградцы, любим и ценим Джикия как своего, питерского.

Немного помолчав, генерал продолжал:

— А знаете ли вы, чем я ему обязан? За то, что я сегодня стал тем, что есть, мне следует благодарить Владимира Джикия!

Октябрьская революция ураганом неслась по городам и селам. Я был тогда желторотым юнцом. Мать моя, напуганная «светопреставлением» (так называла она революцию), хватала меня за рубашку и не пускала на улицу. А я лишился сна от пламенного призыва тех дней — записывайтесь на курсы красных командиров! — и мечтал только о них. С превеликим трудом добрался до начальника курсов. Этим начальником был именно ваш прославленный земляк Владимир Джикия, который внимательно выслушал меня. Узнав о страхах моей матери, он добродушно усмехнулся и сказал:

— На мать обижаться нельзя. Она напугана вчерашней несправедливостью. Поверь мне, революция помогает угнетенным, а завоевания революции надо отстаивать. Постарайся сделать это сам.

Владимир Джикия согласился принять меня на курсы, а вот согласия родной матери я все никак не мог добиться. Как только ни уговаривал, к каким только доводам ни прибегал, все тщетно. Мать не хотела даже слушать меня...

— Мама, — сказал я ей наконец, — пойди сама к начальнику курсов, может, он тебя убедит, что мой выбор правилен.

— Хорошо, сынок, я пойду! Уверена, что он уступит тебя мне.

И моя мать пошла к Владимиру Джикия. А за этим последовало то, что вскоре она бодро вышла из кабинета начальника курсов, сопровождаемая Джикия, который успокаивал ее:

— Не бойтесь, мамаша, ваш сын станет по-настоящему хорошим командиром, будет настоящим красным офицером.

Довольная мать, улыбаясь, распрощалась с Джикия...

— Вот так сбылось мое желание, — сказал генерал и вновь вспомнил Владимира Джикия. — Перед этим человеком буквально преклонялись слушатели курсов. Его любили за редкую храбрость, ум и сдержанность, за его способность быстро и точно анализировать любое положение и оперативно принимать единственно правильное решение, сплачивать тысячи людей на достижение единой цели. Этот молодой человек был подлинным большевиком, горячим патриотом, преданным рыцарем революции.

— Я очень рад, генерал, что Владимир Гаврилович Джикия был мне дорог так же, как и вам в те памятные дни, — сказал я генералу.

— Да, есть люди, которые даже при короткой встрече оставляют такое сильное впечатление, что запоминаются на всю жизнь. Между прочим, большинство слушателей наших курсов хорошо помнят Владимира Джикия. На курсах выросло много прославленных людей. Вот хотя бы видный военачальник, Главный маршал артиллерии в годы Великой Отечественной войны Николай Николаевич Воронов. Он был слушателем первого выпуска курсов красных командиров. Хорошо помню, как он, так же как и мы, был очарован личностью Владимира Джикия, его молодежавшей выправкой, организаторским талантом, честностью.

Будущий Главный маршал часто вспоминал, как он попал на наши курсы. Однажды, рассказывал Воронов, отец протянул мне газету, в которой было напечатано объявление об открытии в Петрограде, в здании бывшего Константиновского артиллерийского училища, командных артиллерийских курсов, и решительно сказал:

— Поступай, сынок, на эти курсы.

Конечно, я послушался доброго отцовского совета. И утром следующего дня, волнуясь, уже открывал старинные дубовые двери старейшего училища. Дежурный направил меня к Джикия, тот приветливо встретил меня, подробно расспросил обо всем и сказал:

— Такие, как ты, нам нужны. Будешь принят, но принеси рекомендации от двух членов партии. Можно и так: одна рекомендация — от члена партии, вторая — от организации, поддерживающей Советскую власть...

Во второй половине того же дня я вручил Джикия рекомендацию и заявление. Он тут же наложил резолюцию: «Принять, выдать обмундирование, зачислить на довольствие курсов».

Вот так и собирал наш земляк Джикия слушателей этих курсов. С каждым, кого принимали, он тепло беседовал, приглядывался, кто чем дышит, проверял свое впечатление и решение рекомендациями партийных товарищей.

Я, в свою очередь, рассказал генералу о юности Володи Джикия. Володя (так звали его при жизни) и я учились в девятидесятых годах в Кутаиси.

Меня познакомил с ним мой учитель и друг, директор нашего Института экспериментальной и производственной бактериологии (ныне Институт вакцин и сывороток) профессор Георгий Элиава. Джикия был щеголеватым, подтянутым парнем. Любил во всем ясность и четкость. Ко всему подходил прямо и честно, внимательно и серьезно. Поэтому его любили и уважали не только сверстники, но и люди старше и младше возрастом. Его слово для нас, младших товарищей, было законом.

Именно тогда подружился Володя с кутаисскими гимназистами — Владимиром Маяковским и Василием Киквидзе, Тицианом Табидзе и Паоло Яшвили. Вместе с ними получил Володя революционное крещение на улицах Кутаиси. Именно тогда, в грозные, бурные дни 1905 года, они поклялись друг другу до конца бороться против тирании и несправедливости.

— После победы революции и разгрома контрреволюции, — продолжал профессор Владимир Антадзе, — Володя ввязался за строительство гидросооружений и считался в стране одним из ведущих строителей в этой области. Строительство РионГЭСа осуществлял именно он. Помню, тогда об этом много говорили в Кутаиси. Вы, наверное, помните, каким событием было сооружение РионГЭСа.

— Помню, уважаемый Владимир! И не только помню. Мне выпала честь работать на строительстве РионГЭСа и знать Джикия как отличного руководителя.

В тот вечер наша беседа затянулась. В памяти моей воскресли страницы прошлого. Перед глазами встали Кутаиси тридцатых годов, РионГЭС и Владимир Джикия, человек, еще при жизни ставший легендой.

* * *

Вернувшись из отпуска, я перерыл свой архив, нашел газеты 30-х годов, записные книжки, письма, пересмотрел материалы по строительству РионГЭСа и ХрамГЭСа, восстановил историю этого строительства, встречался с членами семьи В. Джикия, его близкими, теми, с кем ему приходилось работать и дружить, привлек ценные сведения из биографии Владимира Джикия, чудом сохранившиеся в житейских бурях фотографии этого человека, статьи и корреспонденции о славной жизни нашего соотечественника, публиковавшиеся к юбилеям в тогдашних и сегодняшних центральных, республиканских, городских и районных газетах. В них рассказано о человеке, жизнь которого действительно была принесена на алтарь Отечества.

Да, Владимир Джикия, бесстрашный рыцарь революции, герой гражданской войны, один из видных деятелей электрификации нашей страны, достоин того, чтобы его помнили, достоин человеческой благодарности за то, что он сделал для потомства, сделал бескорыстно, от всего сердца, с подлинным революционным пылом...

Передо мной — редкие фото. Вот снимок, сделанный на Дворцовой площади в Петрограде, на котором запечатлен Владимир Джикия. Дворцовая площадь раньше всех в нашей стране услышала первый грохот Октябрьского штурма. И в день, когда был сделан этот снимок, в 1919 году, на Дворцовую площадь пришло огромное количество людей в связи с историческим событием. Затаив дыхание суровые питерцы слушали оратора, стоявшего в автомобиле, — молодого, видного мужчину в военной форме, при шашке. На снимке видно, что он читает важный документ, читает, видимо, громко, чтобы слышала вся площадь. Особенную значимость документа подчеркивают стоящие рядом с оратором командиры, отдающие честь.

Этот снимок, хранящийся ныне в Центральном музее истории Великой Октябрьской социалистической революции в Ленинграде, сделан в грозном 1919 году, во время гражданской войны. Оратор — военный комиссар Петроградского военного округа Владимир Джикия — сообщает участникам митинга радостную весть об очередной победе молодой Красной Армией на подступах к Петрограду, о разгроме банд Юденича...

Как оказался зугдидский парень Володя Джикия в центре важнейших для нашей страны событий?

Выросший в просвещенной по тем временам семье, 19-летний выпускник Кутаисской классической гимназии в 1913 году продолжил учебу на физико-математическом факультете Петербургского университета.

Парень из Одиши с первых же дней пребывания в Петербурге включился в водоворот бившей ключом жизни.

Когда началась первая мировая война и была объявлена всеобщая мобилизация, Владимира Джикия определили в артиллерийское училище. Он и здесь налаживает связь с революционно настроенными курсантами и офицерами, продолжает работу, с молодым энтузиазмом и восторгом слушает речи большевиков, принимает их близко к сердцу. Он активно включается в студенческое революционное движение, распространяет газету «Правда», другую большевистскую литературу, нелегальную партийную прессу. Твердо и решительно становится на ленинские позиции, целиком примыкает к партии, которая в октябре 1917 года повела народ на штурм старого, прогнившего мира. Джикия вовлекает в революционное движение многих студентов, приехавших в Петроград из Грузии. Проникновенные, поленински правдивые речи Джикия и его ближайших друзей Виссариона Ломинадзе, Серго Кавтарадзе, Шалвы Гегенава, Коте Кочиашвили, Ильи Дгебуадзе и других раскрывали молодежи глаза, сплывали ее вокруг большевистской партии.

В бурные дни октября семнадцатого года, как и во время февральской революции, Владимир Джикия выполняет ответственные задания партии. В эти исторические дни группа павловских юнкеров примкнула к восставшему народу. Среди юнкеров был и Джикия, но не все знали, что он выполнял специальное задание находившейся до того на нелегальном положении партии.

Большевистская партия под руководством Центрального Комитета и Ленина готовила революционные силы к штурму старого мира. Военный революционный комитет назначил комиссаров во все полки, на военные заводы и склады, в Петербург, Павловскую крепость. Одним из комиссаров стал Джикия. Великий Октябрь Владимир Джикия встретил членом партии большевиков. Эту честь коммунисты Петрограда оказали ему еще в период февральской революции за особые заслуги перед партией.

Владимир Джикия выступает с пламенными речами на митингах и собраниях в Петрограде. Здесь он лично знакомится с великим вождем революции В. И. Лениным, устанавливает связь с И. В. Сталиным и Г. К. Орджоникидзе. Под их руководством и по их заданию активно участвует в создании петроградской Красной гвардии, в работе по ее вооружению и военному обучению.

В Зугдиди сестры Владимира — Лида и Ксения, брат Аполлон узнавали детали студенческой и революционной жизни любимого брата. Они тщательно скрывали это от отца, который среди своей паствы (Гавриил был священником) считался образцовым верующим.

Когда весть об Октябрьском вооруженном восстании семнадцатого года с быстротой молнии облетела города и села Грузии, до Зугдиди дошло не только это известие, но и то, что сын священника Гавриила — Владимир был с революционерами и «стрелял» по временному правительству.

Одно время Гавриил не выходил из дому, но потом скинул рясу, сбрил бороду и написал сыну: «Ты, оказывается, такое творишь там, что мне здесь оставаться нельзя... Снимаю рясу, сынок, боюсь помешать тебе в чем-либо».

В ответ Владимир прислал отцу обильно одобренное юмором письмо: «Видимо, твоя вера оказалась не такой уж и устойчивой, отец мой, иначе ты так легко не расстался бы со своей рясой. А то, что ты священник, мне совершенно не мешало...».

Еще не умолкло эхо залпов «Авроры», а Ленин уже заботился о том, как сохранить завоевания Октября, закрепить их.

Революция должна уметь защищать себя — в этих словах вождя был заложен глубокий смысл, подчеркивалось большое значение того, чем Джикия, профессиональный революционер, был занят в последовавшие за победой революции годы. Необходимость создания армии была очевидна, как и необходимость ускорения подготовки, в первую очередь, красных офицеров.

Джикия много и активно работал по созданию, формированию Красной Армии. Не прошло и года после Октябрьского вооруженного восстания, как в грозный для нашей страны час, 9 сентября 1918 года, созданные под руководством Владимира Джикия специальные курсы подготовили и выпустили первое поколение красных командиров — числом четыреста, преимущественно из рабочих. Заслуги Джикия в этом не остались незамеченными великим вождем. 18 сентября 1918 года Ильич специальной телеграммой поздравил его с большой победой.

На следующий день эта телеграмма была опубликована в «Правде».

«Петроград. Васильевский остров, Кадетская линия, 3.
Окружному комиссару Джикия

Приветствую 400 товарищей рабочих, оканчивающих сегодня курсы командного состава Красной Армии и вступающих в ее ряды как руководители. Успех российской и мировой социалистической революции зависит от того, с какой энергией рабочие будут браться за управление государством и за командование армией трудящихся и эксплуатируемых, воюющих за свержение ига капитала. Я уверен поэтому, что примеру четырехсот последуют еще тысячи и тысячи рабочих, а с такими администраторами и командирами победа коммунизма будет обеспечена.

Предсовнаркома Ленин».

Проявляя такую заботу о подготовке красных командиров, Ленин прозорливо предвидел и судьбу тех кадров, которым предстояло защищать от любых посягательств первое в мире социалистическое государство и которые столь блестяще оправдали возложенные на них надежды и выполнили свою миссию в Великой Отечественной войне.

Непосредственную угрозу колыбели пролетарской революции представляла подготовленная империалистами Антанты белогвардейская армия под командованием генерала Юденича. Эта армия дважды наступала на Петроград и оба раза в дни, когда Красная Армия успешно вела тяжелые бои на главных фронтах гражданской войны. Поэтому Юденичу удавалось близко подойти к Петрограду, создавая ему смертельную угрозу. В эти решающие дни важнейшую роль сыграли специальные отряды рабочих. Именно тогда Джикия назначают военным комиссаром Петроградского военного округа и, по совместительству, комиссаром одного из вспомогательных отрядов тяжелого участка фронта.

У нас под рукой мартовский номер военного журнала «Красный командир», вышедший в Петрограде 59 лет тому назад, в 1919 году. В нем помещена серия фотоснимков. Смотришь на эти фотографии и понимаешь, почему так высоко ценили нашего талантливое земляка будущие красные командиры. На одном из снимков он запечатлен в солдатской гимнастерке, сидящим в глубоком кресле за старинным, темным, массивным столом в просторном кабинете. За ним восседает царский генерал с тройным подбородком и огромными усами. Задумчивый взгляд комиссара, устремленный на висящую на стене карту боевых действий с поразительной точностью выражает серьезность, целеустремленность, твердость военного комиссара. Возможно, он снят сейчас за столом после многих бессонных ночей и готовит подробный анализ создавшегося вокруг Петрограда военного положения.

Это было время, когда над Петроградом вновь нависла смертельная угроза. Полчища интервентов перешли в наступление, достигли Пулковских высот, захватили Ямбург, Лугу, Гатчину и другие города на подступах к Петрограду. На призыв партии — во что бы то ни стало отстоять колыбель Октябрьской революции — части комиссара Джикия отвечали

самоотверженной борьбой. Преследовавшему по пятам отступавшего к Гатчине врага Джикия в пути встречались висельники с повешенными мирными гражданами. Однажды, когда Джикия увидел повешенного на дереве седовласого старца, он поклялся отомстить тому, кто так зверски его замучил.

Вот еще один фотоснимок в «Красном командире». Комиссар Владимир Джикия вместе с боевыми друзьями на бронеевтомобиле. На этом автомобиле вслед за красными курсантами он въехал в освобожденный от белогвардейцев Ямбург.

На долю Джикия выпала честь вместе с другими лучшими представителями Коммунистической партии быть избранным питерскими трудящимися в Петроградский Совет солдатских депутатов.

В марте 1921 года контрреволюционные силы подняли в Кронштадте мятеж против Советской власти. Разбитые в гражданской войне, они возлагали последние надежды на мятеж в Кронштадте... Джикия был в первых рядах тех, кто взял штурмом мощную крепость врага. Видные заслуги Джикия в подавлении мятежа были отмечены высшей наградой — орденом Красного Знамени. Затем с отважными воинами-кронштадтцами сфотографировался Ильич. Среди них — и Владимир Джикия.

Воинские заслуги пламенного революционера, его бескорыстное служение народу были отмечены многими наградами — памятным почетным оружием, вещами и грамотой. В Почетной грамоте, которой Владимира Джикия наградили к 10-летию Красной Армии, читаем:

«Владимиру Гавриловичу Джикия. Революционный Военный Совет Союза Советских Социалистических Республик за проявленные Вами энергию и распорядительность по формированию в 1918 году артиллерийских частей и с 1918 по 1922 г. по организации военно-учебных заведений в Ленинградском военном округе — награждает Вас к 10-летию РККА Почетной грамотой».

Владимир Джикия высоко ценил все награды, полученные за успешные бои на фронтах гражданской войны. Но самой главной наградой для него были большая любовь и уважение петроградцев. Эта любовь нашла свое выражение в волнующих проводах, когда в 1922 году он возвращался в Грузию.

В Грузии Джикия со свойственной ему настойчивостью берется за новое дело — формирование и подготовку грузинской национальной Красной Армии. Одновременно он работает начальником Управления военных училищ Закавказья.

В годы мирного строительства Джикия влечет работа, ответственную его высшему техническому образованию. В Грузии, работая на новом месте, он продолжал учиться в другом вузе — на заочном отделении Петроградского технологического института. Он стремился все свои возможности, всю свою энергию и способности отдать делу электрификации страны, строительству новых электростанций. И вот Джикия вновь в Ленинграде — оканчивает заочно второй факультет, получает диплом электромеханика и отправляется на первую гидроэлектростанцию, строящуюся по ленинскому плану электрификации страны ГОЭЛРО — ВолховГЭС. Здесь он работает за-

местителем главного строителя, известного гидроэнергетика, академика Генри Графтио.

Четыре года провел Джикия на строительстве главной электростанции страны. 19 декабря 1926 года Волховская гидроэлектростанция вступила в строй, но это не успокоило его пылкого сердца. Его манит Грузия, желание поставить на службу народу ресурсы полноводных рек всего Кавказа. Прославленный энергетик возглавляет Закавказский трест «Гидроэнергострой». В республиках Закавказья строились несколько электростанций. Джикия был начальником строительства и главным инженером самых крупных у нас гидроэлектростанций — РионГЭС, а затем — ХрамГЭС.

В то время РионГЭС была самой мощной и самой сложной с точки зрения строительства гидроэлектростанцией не только в Грузии, но и во всем Закавказье.

В конце 1931 года, когда широко развернулись строительные работы, завершилось возведение плотины, быстрыми темпами шла прокладка главного деривационного канала, стройка неожиданно встала перед трудностями. На канале, соединявшем первый и второй тоннели, появились трещины. Проверка выявила, что геологи неправильно определили плотность склонов и что на этом участке прокладывать канал нельзя. Пуск РионГЭСа, намеченный на 1933 год, оказался под угрозой срыва. Руководители растерялись. Темпы работ упали на всех участках. Необходимы были срочные меры.

Именно в это напряженное время строителям стало известно, что решением правительства начальником строительства и главным инженером РионГЭСа назначен управляющий трестом «Закавказгидроэнергострой» инженер Владимир Джикия.

— Джикия непременно найдет выход, спасет РионГЭС, — говорили строители.

Опытный гидроэнергетик вскоре разобрался в сложившейся ситуации, быстро наметил и оперативно осуществил ряд неотложных мер в области сложных технических вопросов и организации строительства. Особое внимание уделил он отстающим участкам стройки.

Автор этих строк не раз встречался с Владимиром Джикией, был свидетелем проявления его поистине необычного таланта и способностей. Все считали встречу с ним, даже простую беседу большой честью. Его неустанная деятельность в полной мере раскрывала его здоровый дух и большой организаторский талант. Где бы он ни находился — на каналах ли, или в тоннелях, на плотине или генераторной станции, где шел монтаж турбин, — всюду Джикия был деловит, исключительно скромен, общителен.

На стройке Рион-ГЭСа было туго с продуктами, особенно с хлебом, Владимир Джикия получал рабочий паек, и никто не смел предложить ему порцию побольше или получше. Он мог бы счесть это за личное оскорбление. Именно из-за его такого характера даже домашние не осмеливались получать то, что заслуженно полагалось их семье. Супруге Джикия выдали карточку в Тбилисский закрытый распределитель (по которому можно было наряду с другими продуктами

получить даже белый хлеб). Узнав об этом, Джикия отобрал карточку у жены и сказал:

— Не обижайся, Тина, но эту карточку мы должны вернуть!

И одевался Владимир Джикия подчеркнуто просто, по рабочей моде.

Джикия отлично знал силу и значение прессы. Он хорошо понимал, что пресса играет огромную роль в мобилизации масс, успешном выполнении нужных стране дел, был у него и опыт в этом деле — ведь по заданию партии он редактировал центральный военный журнал «Красный командир».

И сейчас, когда развеялся пороховой дым гражданской войны, когда мирное строительство охватило в Стране Советов города и поселки, когда закладывались основы развития социализма, пресса была тем мощным оружием, посредством которого партия и правительство могли вести постоянную, открытую беседу с каждым рабочим и крестьянином, чтобы сплотить их на достижение единой, общей цели. Начальник РионГЭСстрая сам требовал от редакций выявления недостатков и острой их критики.

В то же время Джикия настойчиво добивался показа в газетах подлинных героев стройки, видя в их самоотверженном труде пример для других. А таких героев на стройке было много.

В середине декабря 1932 года в командировку на строительство РионГЭСа прибыл молодой сотрудник республиканской комсомольской газеты «Ахалгазрда комунисти», ныне академик Георгий Джибладзе, чтобы подготовить разворот о стройке.

Конечно, получив такое серьезное задание, каждый журналист волнуется. Волновался и Георгий Джибладзе. Приехав на РионГЭС, он встретился с Владимиром Джикия, забота и чуткость которого во многом помогли журналисту. Выяснилось, что Джикия довольно основательно знаком с работами начинающего литературного критика. А когда Джибладзе попросил начальника строительства дать статью в газету, причем предложил написать статью сам, чтоб Джикия, прочтя текст, лишь подписался, Владимир Гаврилович обиделся: если вам нужна моя статья, то я напишу ее сам.

На следующий вечер статья была готова. Когда разворот был опубликован, Джикия, как положено, был выписан гонорар. Узнав об этом, он, будучи в Тбилиси, попросил редактора: «Если можно, выдайте полагающийся мне гонорар как премию тому, кто подготовил этот хороший разворот, заострил внимание на недостатках нашей стройки».

Или такой факт, Старый журналист, заслуженный работник культуры Грузинской ССР Шалва Джикия, узнав, что я работаю над этим очерком, вспомнил: однажды я и работник республиканской газеты «Комунисти» Володя Габуния приехали к Владимиру Джикия на стройку за материалом для газет. Принял он нас очень тепло и долго беседовал с нами. Увидев, что мы не очень-то сильны в русском языке, он от всей души посоветовал: грузинский язык — это очень хорошо, но работник прессы должен хорошо владеть и русским язы-

ком, это необходимо ему для работы. Для меня эта встреча незабываема. Я начал усиленно изучать русский язык, а Володя Габуния уехал в Москву, окончил там институт, стал профессором.

Писатели, как местные, кутаисские, так и из Тбилиси, часто бывали непосредственно на строительных участках, читали строителям свои стихи, в которых воспевали героев РионГЭСа. Особенно частыми и желанными гостями были известные поэты Галактион Табидзе, Георгий Леонидзе, Паоло Яшвили, Тициан Табидзе, Георгий Кучишвили. В дни, когда Владимир Джикия только что принял стройку, на ГЭС приехали Галактион Табидзе, секретарь Кутаисского горкома партии Григорий Габуния и другие товарищи. Дорогих гостей встретил на плотине знатный проходчик Ираклий Оболадзе.

— Покажи-ка, братец, какой тоннель ты проложил. Хочу первым пройти по нему, — попросил Галактион Ираклия.

Ираклий Оболадзе провел гостей в тоннель. Поэт стал рядом с молодыми рабочими, подробно расспросил каждого — кто он и откуда родом. Это были уроженцы Годогнани, Цудцваги и других окрестных сел, вчера еще крестьяне, осознавшие значение стройки на Риони для прогресса социалистической Отчизны и строившие своими крепкими руками будущее страны.

Даже по некоторым книгам, сохранившимся от некогда богатой личной библиотеки Джикия, видно, с каким уважением относились к нему наши выдающиеся писатели. Восхищенный колоссальным трудом, энергией и энтузиазмом, талантом и эрудированностью В. Джикия, прославленный Гогла — Георгий Леонидзе от имени всей интеллигенции подарил ему свою книгу с надписью:

«Строителю новой Грузии и большому другу грузинских поэтов Владимиру Джикия.

Г. Леонидзе.

7 июня 1935 г.»

«Строитель новой Грузии» — так называли его все, кто знал лично и кто видел, с каким увлечением занимался он большими и малыми делами, как радовался каждому шагу, сделанному страной во имя блага народа.

Недавно мы с нашим выдающимся поэтом Ираклием Абашидзе вспоминали далекие уже времена первых пятилеток. Вспомнили многое. И естественно, разговор сразу зашел и о РионГЭСе, и о Владимире Джикия.

— Изумительно большим человеком был Владимир Джикия, — сказал Ираклий Абашидзе, — по-моему, это один из наиболее популярных и авторитетных командиров гидроэнергостроительства во всей нашей стране...

— Да, в Грузии знали о нем, слышали о нем, когда он еще работал в Ленинграде.

— Именно потому, вернувшись в Грузию, он почти сразу оказался в гуще ее народа, ее интеллигенции. И знаешь, что поразительно, Владимир находился в гуще не только технической, но и художественной интеллигенции — писателей, ху-

дожников, творческих работников театра и кино. Он был добрым другом, а порой подлинным вдохновителем этих людей благодаря своему большому жизненному опыту и масштабной практической деятельности. Удивительно умел он привлечь, расположить к себе людей...

Владимир Джикия был работником крупного масштаба, строителем-коммунистом нового типа. Он не только создал новое, но и берег памятники старины, заботился о них.

Многое сделал Джикия для городского строительства нового Кутаиси, второго индустриального центра нашей республики, считая это обязательной составной частью строительных дел РионГЭСа. С его именем связано возведение гостиницы «Кутаиси», которая и сейчас считается одним из лучших архитектурных сооружений города. По его же инициативе был уложен первый асфальт на улицах Кутаиси, городские больницы получили новый медицинский инвентарь, была оказана помощь в строительстве дорог, мостов и школ в прилегающих к Кутаиси селах.

Все это обусловило ускорение темпов строительства, население города оказывало большую помощь стройке рабочей силой. Отстававшие еще недавно участки стали передовыми. Уже зимой 1933 года строители поставили под давление плотину, летом пустили воду в деривационный канал. А это значило, что Риони был усмирен, близился момент пуска РионГЭСа.

Еще не были завершены работы на строительстве электростанции, как уже начали переводить высвободившихся рабочих и инженеров, перебрасывать механизмы на строительство новой — Храмской ГЭС. Под непосредственным руководством Владимира Джикия началась подготовка к сооружению первого гидроузла на Храми.

Сорок лет тому назад большой энтузиаст электрификации Советского Союза В. Джикия говорил:

— Реку Храми мы уже оседлали. Мы построим здесь целый комплекс электростанций и в изобилии снабдим электроэнергией Тбилиси, Ереван, Баку. Но меня волнует другое, друзья! Ингури! Какая сила, какая энергия теряется бесцельно!

Джикия ни на минуту не прекращал думать о том, как поставить на службу народу мощь Ингури. Когда однажды летом в гости к нему в Грузию приехал академик Графтио, он предложил своему учителю и старшему другу:

— Дорогой Генрих, вы должны побывать в моем родном Зугдиди. У меня есть очень интересное соображение: поставить непокорный Ингури на службу людям. Там, в Джвари, должна быть построена самая высокая в мире плотина и создано огромное искусственное водохранилище...

Джикия не дожидаясь осуществления заветной мечты — замысел воплотили воспитанные им энергостроители. Джикия прожил всего каких-то четыре десятка лет, но в отведенный ему судьбой короткий срок успел сделать столько, на что ушло бы несколько человеческих жизней.

ПРЕКРАСНАЯ ГРУЗИЯ

Марчел Пэтришор — известный румынский писатель — проза и к, философ, эссеист, переводчик русской литературы. Ему принадлежат переводы произведений Гоголя, Достоевского и др.

М. Пэтришор неоднократно приезжал в СССР, путешествовал по стране, нежно полюбил грузинскую землю, стал большим другом нашей республики и журнала «Литературная Грузия».

Мы предлагаем его впечатления от первого посещения Грузии.

Волнение и любопытство от предстоящей встречи с Грузией завладело мной еще в Москве, когда я свежей утренней ранью прогуливался по Малой Грузинской. А потом в одном из московских ресторанов с интересом отведал совершенно неповторимое ни в одном уголке мира — сациви. Позже я убедился, что не одни только «гастрономические» запросы интуриста может удовлетворить Москва. Посетив выставочные залы, музеи столицы, Выставку достижений, я узнал много ценного из области искусства, истории, культуры древней Грузии. Как, впрочем, и других союзных республик. Я заметил, что в СССР не только пресса, но и люди в разговоре между собой называют союзные республики на первый взгляд необычным, но прекрасным по своей лексической сути словом — «сестры».

Республики — сестры... Звучит это как хорошая песня. Да это и есть слова из одной песни. Нестареющей, вечно молодой песни, которой уже 60 лет.

СССР... Союз Советских Социалистических Республик. Союз пятнадцати республик. Одна из них — сестра моя Грузия. Всего четыре буквы — СССР, но как много стоит за ними.

Об этом я думал по дороге в Грузию. От центра Москвы до одного из аэропортов — час с небольшим езды. В Москве русская зима. Образ России не мыслится без нее. Медленно идет снег, легкий и светлый, как тополиный пух. Он слегка шуршит, цепляясь за воздух. Как шуршит журнал своими страницами, заголовками, «лише...

Домодедово... Огромный стеклянный дворец. В нем быстрота исполнения транспортных формальностей совпадает с ошеломляющей быстротой нашего времени: едва вошел в просторный зал и глянул на телевизор, как был приглашен на посадку. Белолицая девушка в аэрофлотской униформе попросила следовать за ней. Идем по длинному стеклянному коридору. Там, на его конце — воздухокрылый корабль с четырьмя волнующими буквами на фюзеляже. Заняли места в салоне и через несколько минут легко отрываемся от земли. Вскоре земля теряется из виду за белогрудыми облаками. Рядом с нами — небо. Оно кажется светло-фиолетовым, как чернила далекого детства. А внизу — снежная неоглядь, похожая на чистый лист бумаги, вернее, на огромное белое поле, которое еще не успели избородить сани, запряженные разудалой тройкой гнедых. У Анны Ахматовой есть стихотворение, которое так и называется — «С самолета». В нем есть такие слова:

**Как в первый раз я на нее,
На Родину, глядела.
Я знала: это все мое —
Душа моя и тело.**

Это вершина искусства. Так видится мне, писателю. А как переводчику русской литературы слова эти кажутся просто непостижимыми. Так написать! Всегда, приезжая к вам, «как в первый раз» смотрю я восторженными глазами на эту удивительную страну по имени СССР.

Летим. Внизу меняются природные зоны и временные пояса. Вот уже показалась на горизонте вздыбленная конница серых скал, припорошенных снегом. Еще полчаса лету, и нас встретит Батуми — одна из прекрасных жемчужин солнечной сестры Грузии.

Горы... Кавказ подо мною... Если бы Пушкин увидел его с такой высоты, он, наверное, сказал бы по-другому, но в том-то и дело, что написанное им даже на малой высоте — есть вершина, до сих пор не покоренная в мировой литературе. Шагать нам и шагать до нее.

Острые пики вершин. На одной из них перестало биться сердце великого поэта России. Стремительно, как лермонтовские раздумья, плывут над скалами нетающие льдины облаков.

Кавказ и русская литература. Многим они обязаны друг другу. Связь их нерасторжима. Это целая область исследования.

Слышу знакомый уже голос. Он мало-помалу возвращает к действительности: «Пристегнуть привязные ремни. Через несколько минут наш самолет совершит посадку в аэропорту го-

рода Батуми». А кажется, недавно мы взлетели в ^{Москва} Большая страна СССР, но нет в ней окраин: все рядом.

Идем на посадку. Сейчас я лицом к лицу встречаюсь ^с и от этого волнуюсь, как при встрече с незнакомым, но очень нужным тебе человеком.

Подали трап. В салон врывается ароматный воздух гор. Сколько весны вокруг: в воздухе, на земле, в лицах прохожих. Весна в... январе. Где-то на другой оконечности Союза, наверное, трещат морозы, пурга заметает следы на земле и птицы замертво падают на лету, а здесь цветут розы. Как же ты многолик и многокрасочен, Советский Союз!

Пальмы. Солнце. Ровный шепот листвы.

Такое впечатление, что наш самолет приземлился на какой-то далекой тропической земле и только красные неоновые буквы «Б-А-Т-У-М-И», энергично выписанные на фасаде аэропорта, говорят: это Кавказ. От аэропорта в сторону Кобулети, куда лежит наш путь, бежит стройная колоннада пальм. Путешествие продолжается. Стараемся все увидеть, запечатлеть навсегда в своей памяти. Разнородная смесь архитектурных стилей варьируется здесь от чисто национальных до родных мне балканских. Балконы, лоджии, веранды, островерхие крыши — все это наводит на размышления. Не здесь ли проходили караваны с шелком?

А дальше — серпантины дорог, обрывающихся у моря. Но это только кажется. Дороги продолжают. Они идут на запад, к Констанце через сердца моих соотечественников. Много народов живет на берегах этого моря. И всех их объединяет Черное море дружбы.

Через минуту попадаем в мандариновую рощу. Это одно из владений пригородного совхоза. Смуглые аджарки чем-то напоминают румынок, они проворно собирают фрукты. Урожайная страда в разгаре. И мы, группа румынских писателей, засучив рукава, тоже принимаемся за работу, стараясь не отстать от сборщиков.

Слово за словом, быстро находим общую нить разговора с сельскими тружениками. А затем они нас пригласили в гости по всем правилам кавказского гостеприимства. Мне показалось, что началось чудо. Зазвучали за столом, ломящимся от кавказских яств, обрядовые приветственные песни. Глядя с любопытством на стол, я подумал, что они собрались накормить весь мир. Виноград, фрукты, баранина, острые соусы. Благоуханное виноградное вино текло ручьями, и тамада говорил так, что нельзя было не заслушаться его речами. Тосты в наш адрес по мудрости напоминали цидероновские трактаты. А потом сборщики винограда показали свои виртуозные танцы, в которых столько неожиданных движений, столько зажигательной энергии! Это — Кавказ. Таким он останется в моей памяти. Гостеприимство — визитная карточка Грузии, за которой труд и еще раз труд.

На другой день — встреча в Батуми с писателями — представителями многоязычной литературы.

Говорит Нодар Думбадзе. Легко, с веселой искоркой в глазах. Его сменяет мой земляк переводчик Аурел Ковач, он

читает по-русски стихи о Грузии. Пройдет немного времени и они станут доступными и румынским читателям.

В тот день мы много говорили о творческих связях, о месте писателя в современном мире, о его вкладе в разрядку напряженности, в борьбу за запрещение чудовищной нейтронной бомбы. Литература — это наука о человеке. И долг каждого служителя слова встать на его защиту.

Не забудутся встречи в Тбилиси с Морисом Поцхишвили, Чабуа Амирэджиби, Гурамом Хараидзе — старыми моими друзьями. Встретил я здесь и своего соотечественника Думитра Иона.

А потом — знакомство с Кахетией, Имеретией — родиной Шота Руставели. Виднелись разбросанные в горах селения. Зажиточно и счастливо живут в них люди. Красивые каменные дома, клубы, комбинаты бытового обслуживания. «Такого не было раньше, все это пришло к нам после революции», — прокомментировал Гурам Хараидзе.

В Чиатура нас встретили люди, словно бы присыпанные черной блестящей пудрой. Это — шахтеры марганцевых рудников, властелины подземных глубин.

Разговор зашел о литературе, о проблемах взаимообогащения социалистических культур, о нелегком ремесле добытчиков недр. Трудятся они хорошо, с опережением графика. Можно сказать, что здесь «выпекается» хлеб для металлургической промышленности. Черный хлеб, политый горячим потом грузинских шахтеров. В этом небольшом городке есть еще одна достопримечательность — дом великого поэта Грузии Акакия Церетели. Теперь мне стало понятно, почему так заинтересованно говорили шахтеры о литературе.

Вечером осматриваем прекрасные памятники древней страны: Икалто и Гелати. Еще в XII веке — в эпоху грузинского Ренессанса — здесь существовали первые академии. От волнения заплетается язык: здесь учились Шота Руставели, Петрици, Икалтоели — великие просветители и философы...

Наверно, прекрасно жить на этой земле. — подумалось мне. — Ведь это земля с вековыми традициями. Прекрасная Грузия... Горжусь, что встретился с ней.

Всеволод ЗЕНКОВИЧ

МОРЕ УГРОЖАЕТ

Еще в 1946 году автору этих заметок довелось работать в Сочи в составе Государственной комиссии для выяснения причин размывов и разработки мероприятий по защите черноморских берегов от разрушения морем. В составе ее был также один из моих учителей, крупный инженер Петр Константинович Божич.

Сочи запомнились с тех предвоенных лет, когда в ожидании автобусного рейса можно было любоваться широким морским пляжем, пройдя по нему от устья реки к тому месту, где сейчас высится колоннада городского театра. Порта еще не было, и пароходы в то время останавливались на рейде, а пассажиров подвозили к короткому свайному пирсу на малых катерах.

В 1946 году ландшафт сочинского берега стал неизвестным. Южнее порта, построенного в 1939 г., пляж исчез целиком. Прямо в воду падали отвесные обрывы из коренных пород. Пройти вдоль них понизу было невозможно, и мы осматривали берег с моря.

— Ну, вот вам картина та же, что я описывал в своей статье по Гагра, — грустно сказал Петр Константинович. — Работаем, пишем, а никто, видимо, и внимания на это не обращает. А ведь обязаны обращать. По проекту теперешнего Сочинского порта я писал специальную докладную записку в высокие сферы. Предупреждал в заключении, что портовый мол прервет поток береговых наносов и к югу от порта берег будет размыв. Предлагал я порт расположить на участке Мацесты. От нее к югу места неосвоенные, да и горные породы попрочнее. В этом случае такой катастрофы, как здесь, не возникло бы.

Что такое береговой поток наносов? Волны могут подходить к берегу с разных сторон. Если наискось, то морской прибой и течения увлекают пляжевые гальку и песок в одну

сторону, и они все массой путешествуют вдоль берега. В следую-
щую шторм волна с другой стороны может потащить их
обратно. Волна, идущая прямо в лоб, перекачивает гальку и
песок вверх и вниз по склону. Важен итог таких перемещений
за длительный период, скажем годовой. Алгебраическая сум-
ма противоположных подвижек наносов может оказаться рав-
ной нулю: сколько гальки ушло в одну сторону, столько ее и
вернулось обратно. Такой берег устойчив. Он имеет постоян-
ную защиту от волн в виде широкого пляжа. Но если сумма
подвижек наносов в одну сторону намного превысит итоговый
перенос их в сторону противоположную, то поток наносов нали-
цо. Такой пляж продолжает существовать до тех пор, пока
происходит транзит наносов, а потери и поступления сбаланси-
рованы. Стоит нарушить баланс, как пляжевый материал стан-
ет накапливаться перед препятствием, а за ним пляж будет
становиться все уже и может вообще исчезнуть.

Для Черного моря мы знаем сейчас максимальные и сред-
ние значения параметров вдольберегового потока. У кавказ-
ских берегов объем наносов, перемещаемых за один час через
данный поперечник пляжа, достигает при 7-балльном шторме
600 кубометров. Скорость передовых единичных галек со-
ставляет до 230 метров в час; для всей массы она в 4—5 раз
ниже. Годовая мощность потока точно определена для Пицун-
ды, где в отдельные годы она превышает 200 тысяч кубомет-
ров. Ширина потока у галечно-песчаных берегов доходит до
250 метров, и осязаемое движение наносов прослеживается до
20-метровой глубины. Таким образом, это действительно очень
интенсивный природный процесс, с которым необходимо счи-
таться при любом строительстве на морском берегу.

В Гагра П. К. Божич показывал комиссии остатки недостроенного портового мола, которые сохранились с 1914 года, и с увлечением объяснял:

— Представьте, это — малая модель сочинской катастрофы. Меня пригласили сюда сразу после первой мировой войны, когда мол еще не был достроен. Но и те полтора метра, которые успели возвести, причинили немало бед. Забили тревогу, когда волны стали размывать этот дивный парк. Полоса его уже исчезла. Ну что можно было сделать? Оставалось одно — южнее мола построить буны. Вы ведь знаете, что это такое? В Англии они дают блестящий эффект, и опыт там накоплен уже за двести лет. Только вот в наших условиях при глубокого берега мы не умеем рассчитать их необходимые размеры.

Сейчас, наверно, все знают, что такое буны. Это серия коротких (30—50 м) бетонных молов. Их сооружают для того, чтобы задерживать материал потока наносов именно в данном месте. Получается как бы плотина на пути каменной или песчаной реки.

— В Гагра, — продолжал П. К. Божич, — я построил серию ряжевых бун с каменным заполнением. И знаете, эффект они дали хороший. Я, правда, понимал, что успех этот временный. Однако природа сама помогла. Плащ гальки мешал стоку жоэварских вод, и она в 1923 году прорвала себе русло

сразу к югу от мола. Все ее наносы пошли на восстановление пляжа, и через пару лет буны оказались целиком на суше.

Жаль, что мы не знаем природного режима всех берегов Грузии. Тогда можно быть уверенным в любых прогнозах и проектах. Вы — человек молодой, — обратился Божич ко мне, — вот бы вам за это взяться...

Эта мысль сразу запала в голову. А что если кто-то из членов комиссии сделает такое предложение на заключительном заседании? П. К. Божич сделал и его приняли. В Институт океанологии АН СССР было направлено распоряжение, и браться за это дело пришлось мне. Но об этом дальше.

Берег западной части Сухуми в 1946 году выглядел страшно. Пляж почти исчез. Оставалась кайма из валунов, над которой свисали асфальтовые пласты разрушенного шоссе и упавшие эвкалипты.

Здесь поток наносов тоже оказался перегорожен, но особым образом. В 1942 году фашисты разбомбили в западной части бухты танкер «Эмба» и крупный военный корабль. Их корпуса сели на мелководье и торчали над водой. Волны — тот двигатель, который приводил в движение гальку в обход Сухумского мыса, — теперь разбивались о стальные громады и теряли свою энергию. В результате берег против кораблей стал нарастать и образовал большую галечную выпуклость. Дно перед ней обмелело. Поток остановился. Поэтому пляж западной части бухты оказался смыт. Что делать? Взорвать суда и растащить их обломки? Но это стоит больше миллиона рублей, а кроме того, вмешались местные власти.

Вблизи берега, в «волновой тени» за корпусами разбитых кораблей получилось прекрасное место для мелких рыбачьих судов. Они могли там спокойно отстаиваться во время господствующих западных штормов. Корпуса кораблей целы и до сих пор, а под их защитой возвели небольшой мол, углубили акваторию и врезали ее в сушу. Там сейчас судоремонтный завод и небольшой удобный порт, которого так недоставало Сухуми раньше. Зато берег пришлось укреплять бунами и засыпать между ними искусственный пляж, благо природные условия были для этого вполне подходящими.

Над полученным заданием Институт океанологии работал целых 7 лет. Полный отчет мы выдали в 1954 году. Тогда же мне пришлось выступить с большим докладом на межведомственном совещании с итогами исследований.

Не вдаваясь в детали, скажу, что основным тезисом, вытекавшим из громадного материала наблюдений, был следующий. Запаса наносов на морском дне фактически на Черном море нет. Они очень медленно поступают на пляж, местами из рек, а местами при разрушении обрывов, сложенных коренными породами. Поэтому по всему морю следует немедленно запретить изъятие пляжевых гальки и песка для строительства. Нужно открыть в подходящих местах карьеры на суше. Пляж — лучшая защита для берега. Если мы его не сохраним, то море будет вгрызаться в сушу и придется расходовать на защиту берегов — колоссальные средства.

Совещание приняло правильное решение, но добиваться его исполнения пришлось еще много лет. Полным размахом шло курортное, городское и дорожное строительство, а инертные стройматериалы (гальку, гравий, песок) брать было неоткуда. Сами того не понимая, местные организации приносили в жертву главный лечебный фактор курорта — морской берег и при этом упорно сопротивлялись любым запретам эксплуатации пляжей. Ведь они здесь же, под руками, и казалось, никогда не иссякнут! Эту вредную практику удалось (да и то не полностью) прекратить много позже лишь правительственным постановлением.

Сказанное выше относится прежде всего к берегам Грузии. Именно здесь начались размывы пляжей раньше, чем в других местах, и их интенсивность была максимальной. На грузинских берегах мы работали тогда два года.

Какими средствами располагала к 50-м годам техника берегозащиты? Поясню на примерах.


Издавна считалось, что достаточно возвести массивную стенку перед защищаемым участком, как волны уже ничего не смогут повредить. Они будут просто откатываться назад после удара. Такие стенки возводили еще в конце прошлого века на Батумском участке, где волны стали угрожать железнодорожному полотну. Очень быстро против стенок исчез пляж, и волны стали бить прямо в бетонное сооружение. Вместе с пляжевой галькой откат прибойной волны стал уносить в море грунт из-под стенки, а в ее основании волны пробили глубокую нишу. Через несколько лет стенки опрокинулись.

Возвели вторую линию стенок, уже совсем вплотную к железной дороге. Результат получился прежний. Полотно пришлось отнести подальше, заняв для этого новую полосу земли. Упала вторая стенка, возвели третью. Для удешевления ее сделали вообще без фундамента, а поставили в канаву и основание завалили грунтом. Когда и эта стенка рухнула, транспортную магистраль пришлось в двух местах увести в туннель. Весь большой участок между Батуми и Кобулету потерял свое курортное значение. Отдыхающих теперь приходится возить автобусом на крошечные участки сохранившегося пляжа. Да и те сейчас под угрозой. А на 20-километровом протяжении на месте изумительного природного морского берега остался навал бесформенных бетонных глыб.

В меньшем масштабе пример «пользы» волноотбойных стенок давали тогда Очамчире и Гагра.

Так что же делать? После Божича ведущим инженером в области морской берегозащиты стал Александр Михайлович Жданов. С его именем связана следующая эпоха — эпоха широкого строительства бун.

Как они должны работать? На размываемом участке берега буны воздвигают сериями, примерно через 40 — 50 метров. Галечный поток задержится у первой буны, обогнет ее и продолжит свое движение. Галька попадет в следующий отсек. Заполнит его и перейдет еще дальше. Так постепенно вся серия окажется заполненной наносами и на ранее размывавшемся участке будет создан устойчивый пляж.



Однако, пока происходит естественный процесс заполнения межбунных «карманов», ниже, за пределами сария, море продолжает свою работу. Но ведь там поток будет на несколько лет лишен «питания» новой галькой и песком, а всю, которая там лежала, унесут волны в прежнем направлении. Берег будет оголен, и в результате начнутся низовые размывы.

Поэтому прежде чем приступить к строительству бун, нужно изучить мощность и длину потока наносов; профиль пляжа и морского дна, а также заранее принять меры, чтобы не было низовых размывов. По этим вопросам Жданов выполнил громадный объем исследований. В итоге им были разработаны точные технические указания, как и где можно строить бунч, каковы должны быть их профиль, взаимные расстояния и длина. Расчет показывал, с какой скоростью буны заполняются наносами и какова степень опасности возникновения низовых размывов. В тех случаях, когда они действительно угрожают, Жданов предложил после постройки сразу заполнить межбунные промежутки привозным материалом. Так и пришлось сделать там, где железная дорога проходит вдоль самого берега. Стоимость укрепления бунами, по сравнению со стенками, сильно возросла. Но зато там, где буны построены правильно и где за ними следят, они хорошо служат. Эта техника получила широкое распространение.

К сожалению, на практике разработанные Ждановым предложения выполнялись далеко не всегда и не полностью. Поэтому низовые размывы принесли на многих участках большие убытки и разрушения. Сама идея бун этим отнюдь не скомпрометирована. Стало ясно лишь, что их применение требует внимательного и квалифицированного подхода.

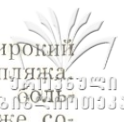
Экспедиция Института океанологии дошла в 1950 году до Грузии. К концу ее работы впечатление сложилось тяжелое.

В Гагра тревожаще сократилась ширина пляжа южнее парка. Строились волноотбойные стенки. Курорт быстро развивался в южном направлении, где еще не было признаков размыва.

Южнее Гагра действовал хорошо организованный, грандиозный механизированный карьер. Песок брали не с самого пляжа, а отойдя от него метров на 20. На месте разработок получился глубокий ров. Впоследствии стала известна величина изъятий. Здесь было выбрано около 5 миллионов кубометров наносов. Тем самым была подготовлена почва для будущих разрушений.

К северу от Очамчире в 1939 г. был возведен мол, и здесь целиком повторилась сочинская история; громадные низовые размывы к югу и накопление наносов к северу от мола. Там экскаваторы грузили в самосвалы гальку, а в городе берег представлял хаос из нагромождений бетона. Одна стенка свалилась, и строили новую. Фасады некоторых красивых зданий на набережной были уже повреждены.

С довоенных лет я запомнил водонапорную башню и несколько двухэтажных домов на невысоком плато севернее города. От них за полосой садов и огородов к морю спадал за-



росший кустами откос, а дальше сверкал на солнце широкий пляж. Сейчас все неузнаваемо изменилось. Не стало пляжа. Над морем высится глинистый обрыв. Берег отступил, еще чем на сотню метров. Домики и башня оказались уже совсем близко от края.

Признаки активного размыва берега прослеживались далеко на юг от Очамчире. Прямо из пляжа и даже из-под воды торчали стволы и пни погибших деревьев. В канавах, прорытых для спуска болотных вод, мы могли видеть свежее налегание пляжевых песков на глеевую болотную почву с травой, еще сохранившей свою зеленую окраску. Такая картина наблюдалась почти до устья мощной реки Ингури. В верхней зоне пляжа до этих мест прослеживалась галька, характерная для выносов реки Кодори. Отсюда вывод: поток наносов от устья Кодори проходил до постройки мола мимо Очамчире. Он был достаточно длинен и, очевидно, имел значительную мощность.

О Потийском участке расскажу особо. В отчетах и статьях инженеров прошлого века указывалось, что против северного устья реки Риони на дне расположена «яма». Эта депрессия рельефа морского дна, с относительной глубиной в несколько десятков метров, тянется далеко в море. По крупномасштабным гидрографическим картам можно было понять, что здесь к берегу подходит вершина крупного подводного каньона, каких у берегов Грузии расположено достаточно много. Однако Потийский каньон особенный. В начале 30-х годов повторные промеры показали продвижение его вершины к берегу и, что еще опаснее, к южному портовому молу со скоростью до 8 метров в год. Над молом нависла непосредственная опасность, так как до свала в каньон оставалось всего 50 метров. Каких только мер не принимали тогда инженеры! Били свайный часток, загружали на дно хворостяные тюфяки с камнем и, наконец, два старых судна потопили с тяжелым балластом. Все исчезло в пучине. Положение создалось критическое.

В данном случае обстановка разрядилась совершенно неожиданно. Река Риони прорвала себе новое русло и стала впадать в море не у южного мола (как раз против каньона), а на несколько километров севернее порта. После этого положение резко изменилось. Продвижение каньона сначала остановилось, а потом он начал мелеть и мелет до сих пор. Из активного он превратился в отмирающий.

Порт был спасен, но нагрянула новая беда. Стали размываться пляж и берег в пределах города Поти. В 50-м году мы застали там страшную картину разрушенных домов и остатки исчезнувших улиц. По данным изысканий Черноморниипроекта, размыв охватил широкую полосу дна до глубины 8—10 метров. Подводный береговой склон отступал вместе с пляжем, и остановить этот процесс известными к тому времени техническими средствами было заведомо невозможно. За последующие годы море «съело» полосу суши 800 м шириной. Одновременно с этим против нового устья с очень большой скоростью начала формироваться вторая дельта Риони. Эта река вы-

брасывает в море полтора миллиона кубометров наносов в год. Почти весь материал представляет собой ил и лишь на 10-15 процентов образован мелким песком. До переброса песка песок оставался у берега и еще в прошлом веке определял медленное нарастание пляжа. Устье реки было приурочено к главному выступу береговой линии. Следовательно, здесь не было единого вдольберегового потока наносов, а материал, выносимый Риони, как бы растекался в обе стороны от устья. После прорыва Риони в новое русло равновесие берега в черте города оказалось резко нарушенным. Поступление наносов прекратилось, а волны продолжали угонять пляжевый материал к югу. Поэтому море и стало так энергично наступать на город.

Интересно, что разрушения морских берегов иногда имеют временный характер и затем самоликвидируются. Южнее Батуми впадает в море мощнейшая река Грузии — Чорохи. В 1908 году часть паводковых вод Чорохи пошла по заброшенному северному рукаву Меджина-Су. Из речных наносов против устья Меджины сформировалась заметная выпуклость берега, и она сыграла роль громадной буны. Поток наносов, идущий от Чорохи к северу, оказался на этом месте задержанным, и в пределах города начались размывы крупного масштаба. За этим процессом наблюдал бывший городской инженер Д. Д. Свищевский. Он предсказал, что выступ берега будет разнесен волнами за три-четыре года, и его прогноз оправдался. Батуми больше не страдает от натиска моря, и пляж там непрерывно разрастался до последних лет.

К 60-м годам, несмотря на принимавшиеся меры, а отчасти и вследствие неумелого гидротехнического строительства, грузинские берега почти повсеместно являли собой печальное зрелище. Размывы продолжались. Буны, за которыми не было надлежащего ухода, во многих местах разрушались. Низовые размывы продвигались все дальше по ходу потоков береговых наносов. Многие организации вели исследования, необходимые для прогноза дальнейших изменений. Прогнозы были неблагоприятны. Реки стали выбрасывать к морю меньше наносов.

Из числа выполненных исследований следует отметить большую работу, проведенную в 1965—66 гг. Геологическим управлением Грузии (руководитель А. Г. Кикнадзе). По всему протяжению грузинских берегов (305 км) им были исследованы состав минералов пляжевых песков и виды горных пород, составляющих гальку. Теми же методами исследовались и выносы рек. Подсчет полученных данных позволил точно установить число потоков (их оказалось шесть), а также мощность, протяжение и границы каждого из них. Удалось также уточнить источники наносов и участки их потерь.

Когда в 1967 году Госстроем СССР была поставлена задача разработать для Грузии генеральную схему берегозащиты, то результаты указанной работы А. Г. Кикнадзе легли в основу принятых мероприятий. Генсхема составлялась при участии ученых, работавших в данной области. Несмотря на то, что ряд их предложений, направленных на удешевление строительства, был принят, общая сумма затрат составила громадную сумму

— 137 миллионов рублей, которые предстояло израсходовать до 1990 года.

Ввиду недостатка средств и необходимой техники защитные мероприятия в последние годы сильно отставали от плана, а море продолжало свое черное дело. Длина бунных рядов и участков размыва берегов Грузии все увеличивалась. По указанным выше причинам генсхема морально устарела уже несколько лет назад, а одновременно надвинулись новые угрозы. Строительство ИнгуриГЭС заставило перебросить сток воды из Ингури на 20 километров к северу в речку Эрисцхали, расширив последнюю специальным каналом. По прогнозу А. Г. Кикнадзе, размыв берега в результате прекращения стока по Ингури охватит участок до 40 километров длиной, а его максимум придется как раз на нижний отрезок течения Ингури, где за 30 лет берег отступит на целый километр.

В очень тяжелом положении оказался один из лучших курортов — Гагра. Учеными уже давно было установлено, что поток наносов подходит сюда с запада и огибает всю вогнутость Гагрской бухты, подавая наносы к устью р. Бзыби. Однако инженеры-гидротехники не поверили ученым и стали строить буны не против, а по ходу потока. В результате пляжи на курорте сокращались, размывы усиливались, а у новых санаториев на восточном краю Гагра вместо пляжа топорчатся навалы 15-тонных тетраподов. Купаться здесь невозможно.

Продолжает отступать западный край Пицунды и, особенно, берег бухты Инкит. Размывается берег и вблизи устья Бзыби, где мероприятия по реулированию русла заставили речной сток переместиться в западную сторону. Здесь в более крупном масштабе повторилась история Батуми, где в начале века выступ у устья реки Меджина-Су лишил город пляжа на несколько лет. Надеемся, что Бзыбь сама прорвет себе новое русло и эти размывы также окажутся временными. Но сколько лет придется ждать и сколько прибрежных сосен погибнет, предсказать невозможно.

Обобщение всех данных по размывам берегов (мы рассказали лишь о небольшой их части), а также результатов исследований, прежних и ведущихся сейчас, взяла на себя Лаборатория береговой зоны Института географии им. Вахушти АН Грузинской ССР. Коллектив лаборатории работает уже 4 года под руководством А. Г. Кикнадзе при консультациях автора статьи. Сопоставление получаемых данных за несколько лет уже дало убедительную картину «жизни» берега и его «болезней». На основе полученных выводов можно теперь предложить ряд необходимых поправок и изменений в генсхему, составленную 10 лет назад.

Размывы морских берегов за последние десятилетия превратились в глобальное явление. Они усилились в связи с вмешательством человека на освоенных участках практически у всех континентов. Об этом было рассказано в докладах на специальном береговом симпозиуме, проходившем в Грузии во время XXIII Международного географического конгресса летом 1976 г. Узнали мы и о методах борьбы с размывами. Буны, которые еще недавно считали панацеей от всех береговых

«бед», сейчас уже потеряли свою былую популярность. Наиболее эффективным и экономически целесообразным средством оказались отсыпки наносов прямо на берег (без бун), которые нужно повторять по мере их истощения. Материал для отсыпок, как правило, берется здесь же, прямо с морского дна. Увы, на Черном море это невозможно, ввиду отсутствия запасов. Берега Черноморской впадины слишком круты, а береговая отмель слишком узка, особенно в Грузии, для того чтобы на ней могли накопиться мощные толщи пляжевого материала.

Так что же делать? Вот над этой проблемой и работает упомянутая лаборатория.

О необходимости создать наземные щебневые карьеры для отсыпок пляжей говорилось уже давно и у нас, но никто толком не знал, сколько же потребуется материала для питания пляжей. В лаборатории проанализированы и уточнены уже имевшиеся расчеты. Удалось определить величину дефицита пляжевых наносов, вскрыть его причины и, главное, найти новые возможные источники пополнения.

Ежегодно в разные сезоны, преимущественно штормовые или паводочные, мы вместе с Арчилом Григорьевичем Кижнадзе, вооружившись картами и таблицами цифр, составленными молодыми сотрудниками лаборатории, обходим различные участки грузинского берега. Разговоры наши очень напоминают те, что происходили у нас с П. К. Божичем более 30 лет назад.

— Ну что делать, Арчил? Работаем, пишем, а нас или не читают, или написанному не верят. Все идет по-старому. Помните: вы мою книгу еще 1958 года? Там, например, было сказано-раздоказано, что буны в Потии не помогут и никакие каменные сооружения тоже. Все развалится и утонет в песке. Так нет же! Построили, сколько денег ухлопали зря и еще Горисполком обнадежили, что берег будет спасен. А сейчас море зашло далеко за развалины этих бун...

— Боремся мы, Всеволод Павлович, с таким отношением к науке. Нас слушают, но техники нет и средств не хватает.

— Да, некоторых проблем без техники не решить. Но есть и такие, где инженерам нужно просто «пораскинуть мозгами», и вы эти проблемы знаете...

— Конечно, знаю, и лаборатория наша со своими предложениями выступала. Мы докладные записки писали...

— От записок до дела — дистанция огромного масштаба. В свое время я про Гагра тоже писал докладные. Писал о том, что поток наносов проходит мимо Гагра до самой Бзыби. Все равно инженеры не поверили. Какие-то сложные вычисления провели и стали строить буны не против потока, а с западной стороны. Результат: буны стоят, а пляж есть только там, где его самосвалами привезли.

Уселись мы с Арчилом Григорьевичем на одном таком пляже, закурили и продолжали беседу. Как внедрить в практику те новые и рациональные идеи, которые родились в голове после первых лет работы лаборатории?

— Ведь на их основе, — продолжал А. Г. Кикнадзе, может быть составлена новая генсхема. Сумма затрат умен- шится, а эффекта можно ожидать большего.

И тут А. Г. Кикнадзе предложил мне попытаться написать о наших научных «горестях» в одном из общественно-политиче- ских журналов. Так и родилась эта статья. Попробую дальше привести некоторые новые подходы к делу.

Почти на 20-километровом участке Хашупсе — Гагра по- ток наносов сохранился, но он идет по дну. Во время сильных западных штормов волны и течения проносят мимо этого бе- рега тысячи, а иногда и десятки тысяч кубометров гальки. К берегу они не прижимаются, так как этому препятствует об- нажившийся крутой горный склон. Но когда на двух неболь- ших участках (у Тхеми и железнодорожной станции Гребешок) построили буны, то они оказались быстро заполненными природной галькой, принесенной со дна. Донный поток в ре- зультате этого получил «дефицит нагрузки», что плачевно от- разилось на пляже Старой Гагра. Проблема решается, если вблизи устья Хашупсе из существующего карьера мы смо- жем загружать на пляж около 40 тыс. кубометров щебня в год. Этот материал волны будут перемещать к юго-востоку и за несколько лет восстановят пляжи гагрского участка.

Что делать с западным берегом Пицунды? Здесь рекомен- дуется «хирургическая» операция. За последние примерно сто лет близко к берегу подошла вершина подводного каньона «Акула». Он поглощает за год до 80 тысяч кубометров нано- сов. «Акула» продолжает медленно углубляться и прибли- жаться к берегу. Результатом «низового размыва» явилось об- разование бухты Инкит, а ее западный край превратился в од- ноименный мыс. Берег бухты за последние годы отступает со скоростью 1 метр в год. В свою очередь, по этой причине тер- яет свою устойчивость и пляж между бухтой и Пицундским мысом.

Из этой природной ситуации вытекает необходимость срез- ки Инкитского мыса хотя бы на 100 метров. Здесь располо- жен пустырь, и материальных затрат для этой операции не по- требуется. Наоборот, материал срезки галечного берега можно будет использовать в других местах. Если берег здесь отодви- нуть от вершины каньона, то минимум на сотню лет мы сни- маем проблему сохранности Пицунды. А уж за это время ин- женеры-гидротехники наверняка разработают методы борьбы с активностью каньонов.

В сторону Нового Афона размывы снова усиливаются. Бун там настроено уж слишком много, а результат пока отри- цательный. Придется и здесь для засыпок пляжа разведывать участки карьеров на суше. Их достаточно много на древних морских террасах вблизи берега.

Трудную проблему создал мол к северу от Очамчире. На промадном протяжении от дельты р. Кодори и до устья р. Ин- гури (80 км) существование пляжей поддерживалось потоком наносов, идущим на юг от Кодорской дельты. Поток этот мощ- ностью около 40 тысяч кубометров в год обеспечивал стабиль-

ность очамчирского берега, ока в 1939 г. не построили мол, о чем говорилось выше.

Можно привести сейчас этот берег хотя бы в относительный порядок? По этому поводу А. Г. Кикнадзе высказал следующие предложения. Наносы должны пройти на юг до Очамчирского мола (20 км). Но как перебросить поток через эту преграду? Для таких целей за рубежом уже давно и во многих местах применяется простой способ, который называется «байпасинг» (буквально—обход чего-либо). С наветренной стороны препятствия (а это всегда или мол, или морской канал) устанавливается рефулер. Это — мощный насос, всасывающий пульпу, то есть смесь воды с песком, илом и даже с гравием. От рефулера по дну канала или портовой акватории прокладывается трубопровод для перекачивания пульпы на подветренную сторону, и, таким образом, весь материал наносов снова поступает в распоряжение волн.

Такую установку можно легко создать на Очамчирском молу и, таким образом, пропустить поток наносов на юг. Однако одного этого мероприятия недостаточно для восстановления нарушенного равновесия. Южнее порта море «выгрызло» широкую бухту (см. выше), вдоль которой весь поток наносов пройти при создавшихся условиях не сможет. Сюда нужно предварительно завезти балластный материал для ликвидации создавшейся вогнутости. А материал этот почти под рукой. Это грандиозные отвалы Ткварчельских угольных месторождений. В 25 километрах от моря высятся бесформенные холмы пустой породы, которые занимают драгоценную землю, и иным способом этот материал использовать невозможно. Для строительных целей он не годится, а как пляжевый подойдет вполне, тем более что он будет, собственно, лишь заполнителем. Этот же материал придется завозить и на участок южнее города Очамчире. С его помощью мы не только остановим идущие здесь размывы, но и нарастим берег.

На первый взгляд, сделанные предложения нереальны. Однако перевозка отвалов пневмотранспортом составляет всего лишь 5 копеек за тонно-километр, а полная ликвидация размывов обойдется по стоимости на порядок ниже, чем защита бунами, ибо последние стоят более двух миллионов рублей на каждый километр берега.

Против устья Ингури расположена вершина крупного подводного каньона. В результате постройки плотины река перестанет течь и питать пляж. Каньон поглотит пляжевый материал с большого участка, и берег будет интенсивно отступать. Этот процесс начался в последние два года. Можно ли здесь избежать вредного влияния каньона? На этот счет автором статьи сделано предложение построить два мола по обе стороны каньона. Цель этих молов обеспечить вход крупнотоннажным судам в будущий порт. Его акватория может быть создана в низовьях бывшей реки путем дноуглубления. Потребность в таком порте для рыбной промышленности очень велика, и лучшего места для него, по мнению автора, просто не найти. Будет исключена заносимость подходного канала и одновременно защищен от размыва берег на большом протяжении.

А что можно сделать в Потти? Как спасти приморскую часть города от натиска моря? Здесь тоже нужно питать пляжи искусственно, но возить сюда тыварчельские отходы было бы слишком дорого. Риони уже потеряла часть наносов после строительства Гуматского и других водохранилищ. Но тем не менее огромные запасы песка накопились и даже сейчас постепенно пополняются на участке разделительного узла старой реки и нового русла.

Песок отсюда не так сложно перебрасывать гидротранспортом (по трубам) за семь километров на бывший городской пляж, туда, где бесславно окончили свою жизнь разрушенные морем бунны и каменные наброски.

Установлено, что размывы пляжа в южной части Кобулет-и возникли в результате изъятия трех миллионов кубометров наносов против устья реки Кинтриши.

Вдоль берега над пляжем на несколько километров проложена узкоколейка. Так почему бы не грузить периодически в вагонетки гальку с северного конца пляжа и не выбрасывать ее на южном? Она будет медленно смещаться обратно. Можно повторять эту операцию ежегодно вне курортного сезона. Просто и дешево.

Очень трудным для «окультуривания» является участок берега к северу от Батуми, о котором написано выше. Здесь на выручку приходит Зестафонский металлокомбинат. Около него накапливаются сотни тысяч и миллионы тонн шлаков от производства ферросплавов. Эти шлаки уже применены для защиты берега района Чакви и немного севернее. Их возят достаточно для создания длинного пляжа, ибо поставлена и успешно решена частная задача локальной защиты железнодо-рожного полотна.

Наблюдения последних лет показали, что обломки шлака в массовом количестве перемещаются отсюда на север, огибают мыс Цихисдири и дошли уже до пляжа Кобулет-и. Шлаки дешево, транспорт недалек, и в перспективе можно говорить о восстановлении всего обезображенного массивами берега от города Батуми до Кобулет-и включительно.

Приближенный экономический расчет приводит к выводу о том, что стоимость всех намеченных А. Кикнадзе мероприятий составит примерно половину средств, запроектированных по генсхеме берегозащиты Грузии, составленной в 1967 году. Но даже если бы она была не меньше первой, то все равно ценность стабилизированного морского берега, лишённого обломков бетона и окаймленного нормальным пляжем, несоизмерима с величиной затрат. Она несравненно выше.

Предстоящие расходы на сохранение природы берега и его защиту окупятся с лихвой и в Грузии, если на это взглянуть с широкой государственной точки зрения.

А в тот памятный день на гагрском берегу, когда мы беседовали с А. Г. Кикнадзе, он развивал автору и другие аспекты проблемы берегозащиты Грузии, уже экономического

и социального порядка. Если подходить к защите природы береговой зоны в комплексе с другими мероприятиями, то удельный вес «береговых» расходов можно значительно уменьшить. Скажем, транспорт пустой породы Ткварчельских угольных месторождений можно использовать для засыпки заболоченных прибрежных территорий, которые могут и должны быть превращены в сельскохозяйственные угодья. Тогда с лихвой окупится строительство шоссе и других необходимых сооружений. В низовьях бывшей реки Ингури, построив дамбы из того же материала, можно создать каскад бассейнов для рыбозаведения.

А откуда взять десятки миллионов рублей на берегозащиту! Их можно и должно выделять не из республиканского бюджета, а заставить платить те ведомства, которым принадлежат прибрежные санатории, кэмпинги, дома отдыха, туристские лагеря. При этом вовсе не обязательно, чтобы эти средства расходовались на участке против данного санатория. Вся суть в том, что берег Грузии образует несколько динамических систем в пределах каждого из шести больших потоков наносов. Неумелая защита на одном небольшом участке может пагубно отразиться на десятках километров длины берега. И наоборот, отсыпка наносов во многих километрах выше по потоку от данного санатория спасет и его «собственный» пляж. Таким образом, со всех них пришлось бы взимать нечто вроде налога. Этот вопрос сейчас обсуждается в руководящих органах.

Легко заметить, что мероприятия, рекомендуемые А. Г. Кикнадзе, требуют гибкости в работе и поддаются регулировке. В основном это отсыпка пляжевого материала, работа систем байпасинга и гидротранспорта, срезка мысов и даже перевоз гальки вдоль пляжа вагонетками. Регулировка может осуществляться лишь в том случае, если за берегом ведется постоянное наблюдение. Выводы из них должны сразу повлечь за собой необходимые изменения в режиме работ. Решать эти вопросы должны специалисты. Требуется постоянное наблюдение и служба бун. Сейчас необходимые ремонтные работы выполняются строителями, которые не искушены в вопросах динамики морских берегов. Очередность работ и их характер определяются совершенно произвольно, что порой вредит делу.

Не ясно ли, что всеми «береговыми» вопросами должна весть одна организация? Это под силу лишь научно-техническому объединению, в которое вошли бы исследователи, проектировщики и строители. Таким путем может быть успешно реализовано основное требование эффективности: быстрее, дешевле, лучше. В нашем случае можно добавить и термин «красивее», ибо эстетическое воздействие уникальных прибрежных ландшафтов само является могучим оздоравливающим фактором. Необходимо восстановить былую красоту грузинских берегов и для молодежи, и для грядущих поколений. Госкомитет по охране природы должен уделить этому вопросу самое серьезное внимание.

Акакий ВАСАДЗЕ

Внимая образам мелодий

Одна из важнейших сторон таланта Г. Табидзе, одна из особенностей его творческого процесса заключается в его способности слышать предметы и явления, охватывать и переживать их через слух. Без учета этой способности анализ и оценка его лирики будут не только неполными, но во многом и ошибочными.

Эвфония стиха Галактиона Табидзе по сей день является предметом исследований не только литераторов, но и языковедов, однако о благозвучности его стиха рассуждают в основном исходя из конечного продукта процесса опредмечивания замысла, из уже данной формы стихотворения. Музыкальность его стиха объясняют отточенностью мастерства, верностью интонации, чистотой тона, тем, что поэту в результате упорного труда удалось выработать блестящие рифмы, удивительные аллитерации, консонансы, диссонансы, тем, наконец, что он был необычайно музыкальным от природы, в подтверждение чего приводится даже тот факт, что в молодости он неплохо пел (к сожалению, упуская при этом из виду другой, не менее важный факт — почему Г. Табидзе в зрелом возрасте уже не пел и, имея сильный, звучный голос чудесного тембра, говорил почти фальцетом, с нарочитой хрипотцей и наигранной слабостью в голосе).

Таким образом, природа и суть благозвучности галактионовского стиха сводятся к его внешней мелодичности, к ритму и рифме. Основе же, предопределяющей эту особую манеру выражения мыслей и чувств, обуславливающей оригинальность интонации, не уделяется должного внимания. Мастерство, виртуозная техника и верность слуха, несомненно, заслужи-

вают внимания и частично определяют силу поэзии Г. Табидзе — но только частично и не в самой ее сути. Высокой техникой стихосложения и хорошим слухом обладают и другие поэты, среди которых многие весьма профессиональны и виртуозны; и тем не менее вершины поэзии остаются для них недостижимыми. А ведь именно в этой «достижимости» заключается суть. Существенная сторона, особенность творческой силы Г. Табидзе заключается в том, что его вдохновение пролегает за пределами видения, в сфере «постижения слухом» — вдохновение поэта не только видит, но и слышит образы. Поэт словно слухом постигает суть и образ явления и с помощью слов передает музыкальный код, адекватный «услышанным образам». Вот почему значение слов в его стихотворениях дается нам через их звучание, через звуковое восприятие, через музыку.

Выражаясь языком психологии, можно сказать, что целостно-личностное состояние Г. Табидзе, его внутренняя направленность предельно насыщены музыкой. Этот момент произвольно отмечает сам поэт в своих стихотворениях: «Я слышу хаос творимого мира и образы мелодий» («Вагнер»). Поэт жил «с крылатыми волнами песни в груди», душа его была «переполнена звуками» именно потому, что предметы и явления объявлялись ему звучащими образами. «В слове, подобном мерцанию чистого звука волшебного» («Примирение»). Вдумаемся в эту метафору: в слове звук — звук в предмете — слово как звук, и к тому же звук «мерцающий» или видимый, то есть превращение образа (слова, предмета) в звук и наоборот — звука в образ. В стихотворении же «Нежданно во мне узнается поэт» Г. Табидзе признается, что ему «ведомы только свирели волшебные».

Галактионовская манера изображения предметов и явлений не просто оригинальна, но и чрезвычайно редка. В своих стихотворениях Г. Табидзе передает пережитые им явления как бы с первозданной непосредственностью, словно впервые нарекает именем тот или иной предмет. Как предмет получает название в силу своей особенности, непохожести на другие предметы (и это название, рассчитанное на слуховое восприятие, уже само по себе является музыкальным кодом), так и стих Г. Табидзе возникает в результате характерного для этого поэта непосредственного переживания особенности объекта отражения и выражения этого переживания с адекватной непосредственностью.

Всякое явление сознания, в большей или меньшей степени, связано с эмоцией, тем более — речь. Однако речь, в том числе и речь поэтическая, постепенно интеллектуализируясь, постепенно же утрачивает свою эмоциональность: ее эмоциональный характер слабеет, блекнет. Г. Табидзе же, благодаря специфичности его таланта, удалось сохранить в этой уже интеллектуализированной речи силу ее первозданной эмоциональности. Его фразы в большинстве случаев не подчиняются устоявшимся языковым нормам, зарождаясь в виде своего рода «эмоциональных стихий». Та высшая непосредственность в передаче переживаний, которая завораживает нас при первом


же чтении его стихов, стала достижимой для поэта в силу внутреннего чувства слова, его потаенных возможностей и наиболее полного использования музыкальных свойств языка.

Музыка галактионовского стиха не является только внешней стороной его поэзии, она — проявление самой сути его творческой направленности, поскольку музыка, или внутренний слух—звук—голос, представляет собой одно из важнейших средств постижения явлений, провидения их глубинного смысла. В аспекте такого понимания творчество Галактиона Табидзе выходит за пределы поэзии (как искусства опосредованного, изобразительного) и вторгается в сферу музыки (как искусства непосредственного, неизобразительного). Именно с этого угла зрения следует подходить к объяснению тех слов и выражений в его стихотворениях, которые исполняют там функцию не семантического, а музыкального кода. Так, например, в стихотворении «Довен-довли» слова «довин, довен, довли» являются не чем иным, как музыкальным средством выражения творческой направленности поэта, недискурсивными символами, с помощью которых особенно ярко выявляется художественный феномен стихотворения и значение которых постигается непосредственно, интуитивно, путем «вчувствования» в стихотворение в целом.

Этот момент в поэзии Галактиона Табидзе нельзя объяснять склонностью к формалистическим изыскам и духищрениям. Поэт не выдумывает слова, являющиеся музыкальным кодом, — они самопроизвольно зарождаются в нем и рвутся наружу, к опредмечиванию, как звуки или созвучия, адекватные первичному, «чистому» переживанию.

Во многих своих стихотворениях Галактион Табидзе «вверяется музыке больше, нежели словам, возлагает самовыражение не на слова-понятия, а на слова-звуки. Этим он как бы пытается преодолеть «ложь слов» (вспомним тютчевское: «Мысль изреченная есть ложь») и овладеть непосредственностью, правдой музыки. Стремление вырваться из плена «живых слов» проявляется уже в раннем периоде творчества поэта, когда он заявляет: «Не надо слов, не надо слов! Родившись, слово душит пламя правды...».

Многие поэты выражали такую же неудовлетворенность семантическими возможностями слова, недоверие к нему. Это и понятно: ведь слово является для поэта средством описания и передачи уже осознанного опыта, уже познанной внутренней направленности, средством воспроизведения явлений окружающего мира в образных формах — такими, какими они отразились в сознании поэта, — то есть средством выражения предметности мысли. Конечно, слово является действенным, гибким, могучим и разносторонним средством выражения процессов сознания, однако возможности его все же ограничены — сила его воздействия, его «всесовершенство» в определенном аспекте не беспредельны. Эта «предельность» или «ограниченность» особенно ощущается в двух отношениях: во-первых, слово само по себе бессильно изобразить индивидуальную неповторимость предмета, и во-вторых, оно не в состоянии с адекватной непосредственностью передать оттенки, ритм и на-



пряженность человеческих чувств, их единственность и неповторимость. Эта «ограниченность» слова объясняется прежде всего тем, что оно по самой своей природе есть обозначение общего, а не единичного; с другой стороны, слово есть непосредственная реальность обобщающей мысли, а не эмоций и чувств. Правда, для поэта слово является основным средством выражения не только мысли о предмете, но и чувства, вызванного переживанием этого предмета. Однако слово беспрочно выразить вызванные предметом эмоциональные переживания с той непосредственностью, с какой это доступно звукам. Еще Батте заметил, что слово — «орган разума», тогда как звук — «орган сердца». Это, конечно, не следует понимать так, будто слово призвано выражать только интеллектуальное, тогда как музыка — только эмоциональное. Сущность и назначение всякого искусства заключаются в олицетворении, в художественном воплощении человеческих мыслей и переживаний в их единстве, однако глубина проникновения в различные «пласты» этого интеллектуально-эмоционального целого, тонкость познания и точность выражения, то есть именно мера, граница конкретности у каждого вида искусства своя, особая и неповторимая. Тем не менее представители различных видов искусства зачастую не удовлетворяются возможностями «своей» сферы, присущими и доступными ей средствами постижения и выражения сущности предмета. История искусства знает немало примеров, когда художники обращались к принципам литературы, поэты же «осваивали» принципы живописи.

Привнесение принципов музыки в поэзию, если подойти к оценке этого процесса с определенного угла зрения — явление не только естественное, но и закономерное — не есть ли движение форм словесного творчества от прозы к поэзии то же обращение к музыке? Это обращение к музыке заключается в усилении художественной роли звуковой стороны словесной ткани образа и тем самым в усилении его воздействия на основе постепенного усложнения и совершенствования «инструментовки» стиха посредством аллитерации, ассонансов и консонансов, активизации ритма и рифмы, рафинирования фонетических созвучий. Данте говорил, что поэзия не что иное, как риторическая фикция, положенная на музыку. Музыкальность стиха можно охарактеризовать не как музыку в прямом смысле этого слова, а лишь как тяготение слова к музыке, стремление «значения слова» дополниться «значением звука». Этот процесс происходит как бы в силу неудовлетворенности слова пределами своих возможностей и желанием расширить их за счет своей звуковой стороны. В поэзии Г. Табидзе этот момент — тяготение слова к восполнению «значением звука» — проявляется с несомненной очевидностью и, что главное, действует в его творческом процессе бессознательно, в силу внутренней направленности. Так, например, при чтении стихотворения «Шумело море» становится ясно, какую огромную роль сыграл в его создании музыкальный феномен. Возникает даже вопрос: что в этом стихотворении важнее — слово или звук? Содержание фраз или их звучание? Что несет на себе большую нагрузку, что оказывает более сильное воздействие —

слово или музыка? Конечно, вне своей смысловой, содержательной стороны стихотворение не существует. И все же, если учесть непосредственно вызываемое им настроение, предпочтение придется отдать элементу музыки, поскольку это настроение создает именно музыка. При чтении стихотворения не может не возникнуть мысль, что поэт написал его под впечатлением не столько увиденного, сколько услышанного. Видение здесь происходит через слух, через вслушивание. И соответственно в нас самих начинается отдаваться глухой и грозный гул моря, завывание ветра, скрежет мачты, с характерными для них ритмом и напряжением. Появляется даже ощущение, будто именно через музыку дается нам сам образ, именно через музыку передается значение, смысл изображенных в стихотворении явлений. Если бы нам удалось подавить в себе это ощущение музыки и вдуматься в лишившиеся мелодии слова, мысли и образы, мы с удивлением и разочарованием обнаружили бы, с одной стороны, несколько наивную патетичность, с другой — перепев созданного поэтами-романтиками (Кольриджем, Байроном) и порядком истрепавшегося впоследствии от частого употребления образа (мачта, влекомая бурей). Но попробуем вернуть словам музыку, вернуть строкам ритм, интонацию, мелодию — и... образы оживают, патетичность и банальность бесследно исчезают, стих вновь наливается силой, обретает самобытность и подлинность, вновь превращается в поэзию. В атмосфере музыки образ становится индивидуальным и полнокровным. Так чему же отдать предпочтение — образу или музыке? Слову или звуку? В стихотворении Г. Табидзе образ-метафора имеет значение постольку, поскольку он неотделим от музыки, поскольку, только слившись с музыкой, он приобретает индивидуальное значение и становится явлением целостного характера.

Не говоря уже о таких стихотворениях, как «Воет ветер», которое только благодаря музыке превращается в чарующее нас поэтическое явление, даже в таком стихотворении, как «Синие кони», музыка сохраняет свое самостоятельное и доминирующее значение. В «Синих конях», где с очевидностью выявляется сила образного мышления и интуитивного проникновения поэта в сущность явления, где философия трагизма бытия достигает своего наивысшего воплощения и претворяется в утонченную и в то же время поражающую своей точностью поэтическую мысль, где ирреальные видения отмечены сложнейшими, рафинированными словесными образами, где слова удивительно емки и многозначны, — явственно слышна музыка, не заглушаемая интеллектуальной, смысловой стороной образов и понятий. Музыка «Синих коней» — это аккорды, сопровождающие процесс интуитивного постижения явлений, передающие звучание, синхронное биению пульса поэта, и претворяющиеся в звуковую форму, посредством которой с предельной точностью выражается замысел стихотворения. Это стихотворение — тот редкий случай, когда мысль, зрение и слух слиты воедино, когда семантическая, изобразительная и звуковая стороны слова действуют с равноправной, равноценной силой. Таким образом, стих Г. Табидзе воздействует на

читателя не только содержанием, смыслом, но и звучанием слов, внутренней и внешней мелодичностью. Звучание слов является тончайшим инструментом общения поэта с читателем, поскольку необычная, оригинальная, полная экспрессивность языка его стихов создает у читателя особое настроение, наполняет его особыми чувствами, настраивает его мысли на особый лад.

В этом отношении представляет интерес природа созданных Г. Табидзе слов, его неологизмов. Весьма примечательно, что, если, например, Георгий Леонидзе создает слова по принципу видения образов, с целью более впечатляющего выражения поэтической картины, рисунка, то Галактион Табидзе создает слова по принципу достижения музыкального эффекта, стремясь к усилению звуковой стороны словесных образов. Поэтому, если неологизмы Г. Леонидзе, условно выражаясь, более вещественны, имеют более конкретное, прямое и предметное значение, то неологизмы Г. Табидзе носят «астральный», более отвлеченный и абстрактный характер. Это, естественно, не означает, что галактионовские неологизмы не несут в себе семантического значения, не создают конкретного образа — просто они оказывают не столько смысловое, сколько музыкальное воздействие. Слова, созданные Г. Табидзе, мы скорее слушаем, нежели осмысливаем, скорее непроизвольно подпадаем под власть их эмоционально - музыкального строя, нежели вдумываемся в их предметный смысл и значение.

К сожалению, мы лишены возможности привести здесь в качестве примера блестящие словообразования и словосочетания Г. Табидзе, поражающие грузинского читателя своей необычностью и неожиданностью, заключающие в самих себе художественный эффект. Эти словообразования так же не поддаются переводу (и не просто не поддаются, а, как точно подметила Белла Ахмадулина, «одушевленно упорствуют в непреклонном желании остаться в естественной и неприкосновенной гармонии родного языка, не хотят нести неизбежного убытка»), как блоковские «утреет» и «вампиристский век», пастернаковские «Тристанова заходошь» и «повечерья тканые» и т. п. Так, например, в стихотворении Г. Табидзе «Оттенок» основное настроение создается словом «небесноликий» (в оригинале это слово намного более необычно, а момент создания нового слова из двух компонентов — «небо» и «лик» — гораздо ощутимее). На звуковом эффекте этого слова, которое имеет значение не столько семантического, сколько музыкального кода, построена вся мелодика стихотворения. Аналогичные слова исполняют функцию музыкального кода и во многих других стихотворениях Галактиона Табидзе.

И это относится не только к неологизмам. Поэт преобразовывает обычные слова, переделывает их в соответствии с музыкальным принципом. Он так неожиданно перестраивает грамматическую и фонетическую системы слова, так широко использует характерную для грузинского языка флективность, что слово приобретает необыкновенную звучность, удивительную эмоциональность и экспрессивность.

Было бы ошибочно думать, что Галактион Табидзе преобразовывает обычные слова только ради рифмы. Скорее он делает это, подчиняясь внутренней мелодии стиха, ощущению музыкальности слова.

Сказанное относится и к фразеологической системе лирики Галактиона Табидзе. Если поглубже вдуматься в галактионовские фразы, нетрудно заметить, что зачастую они несут на себе не смысловое, а музыкальное ударение. И все же главное не в этом. Главное в том, что и в тех случаях, когда смысловое и музыкальное ударения совпадают, доминирующее положение сохраняет звучность фразы. Главное в том, что в большинстве случаев мы переживаем сказанное не просто через содержание фраз (их осмысление), а через их мелодичность. Если большинство поэтов используют инверсию для более экспрессивной передачи смыслового и визуального моментов, то необычное построение фразы у Галактиона Табидзе осуществляет музыкальную акцентировку, в результате чего образ предстает перед нами как бы сотканный из музыки. В качестве примера можно привести строфу из стихотворения «Песнь песней Никорцминда»:

Лиру держа на груди,
Остановившись в пути,
Вижу я луч впереди,
Словно во мгле лабиринта.
Чудо твой зодчий воздвиг,
С благостью отчей воздвиг,
Небом венчая твой лик,
Тебя, Никорцминда!

.....

Высекло здесь ремесло
Дивную фресок поэму.
Благоговейно сплело
Время из них диадему.
Кто же тебя расписал!
И по узорам зеркал
Искры свои разбросал
Костер — Никорцминда!

.....

(Перевод М. Синельникова)

Если вдуматься, объект этого стихотворения дается нам не с помощью тех поэтических средств и выражений, которые могли бы создать «красочную картину» Никорцминда, — здесь мы имеем дело с непосредственным отражением самого процесса становления индивидуального эмоционального отношения к предмету, совершающегося в первую очередь через музыку. В этом случае Галактион Табидзе и не ставил себе цели нарисовать образ-картину; его целью было передать более сложный момент, передать образ через музыку, зародившуюся в нем во время созерцания и вчувствования в явление. И

эту цель можно считать достигнутой, поскольку музыка со-
дана и атмосфера этой музыки рождает впечатление видения,
созерцания образа-картины. В этом стихотворении с помощью
музыки дается образ как чувство, образ как эмоция, образ
поразительно конкретный и оригинальный, который можно по-
стичь и прочувствовать лишь путем непосредственного вос-
приятия, а не логико-рационального осмысления.

Несмотря на то, что фразы Галактиона Табидзе всегда
точны и логичны (поскольку подчинены внутренней закономер-
ности интуитивного постижения), их истолкование и оценка
часто связаны с немалыми трудностями. Правда, его фразы
непосредственно запечатлеваются в сознании читателя, однако
запечатлеваются не как понятия, а как настроение, как пере-
живание, как музыкальный аккорд. Именно поэтому читатель
проникает в смысл стихотворения, как бы не задумываясь, не
прилагая никаких усилий, как бы бессознательно. Если же он
попытается осознать, осмыслить, проанализировать прочитан-
ное, это окажется не так-то легко и потребует весьма продол-
жительных размышлений и глубоких раздумий. Объяснить не-
которые фразы Галактиона Табидзе непросто даже для спе-
циалистов. Во многих его стихотворениях музыка, со своей
стороны, поставляет читателю информацию. Правда, музыкаль-
ные интонации стихотворения, вне смысловых значений слов,
не в силах выразить что-либо предметное; зато в их власти
впечатляюще и непосредственно передать самые интимные, са-
мые глубинные движения души, едва уловимые оттенки настр-
оения, скрытый смысл явления. Интонация фразы и вырази-
тельность мелодий создают неповторимую атмосферу образа,
которая хотя и не объясняет предмет, то есть не передает со-
держания замысла, зато передает то конкретное индивидуаль-
ное душевное состояние, которое заключает в себе замысел,
подразумевает в себе объект творческого переживания.

Именно поэтому в лирике всех истинных поэтов, в том
числе и Галактиона Табидзе, музыка играет не формальную,
а существенную роль. В его творчестве музыка — явление
такого же самостоятельного значения, как и метафорическое
видение предметов, поскольку умение слышать — важнейшее
свойство вдохновения Галактиона Табидзе, главнейшее средство
постижения, проникновения в суть явлений.

Перевод Нелли СОЛОД

Губаз МЕГРЕЛИДЗЕ

СТРАНИЦЫ ДРУЖБЫ

Экономическое и общественно-политическое развитие всего Кавказа, в частности Закавказья, усилило значение города Тбилиси. Это обстоятельство привлекало к нему не только торговых деятелей, но и передовых представителей Азербайджана, Армении и других соседних стран.

Таким образом, уже в первой половине XIX столетия Тбилиси стал не только административным, но и культурным центром Закавказья.

С присоединением к России традиции дружбы закавказских народов приобрели совершенно иную основу и новую направленность. Благодаря еще большему сближению, непосредственному знакомству с лучшими представителями этих народов, приобщению к культуре и их взаимовлиянию дружеские отношения перерастали в осмысленное стремление жить по законам подлинного братства.

Как известно, в тридцатые годы прошлого века в Тбилиси на положении политических ссыльных жили некоторые декабристы, участники польского восстания 1830 года и т. д.

Именно тогда в Грузии и обосновался основоположник азербайджанской драматургии Мирза Фатали Ахундов, в лице которого прогрессивные силы Закавказья видели выразителя лучших чаяний азербайджанского народа, а представители прогрессивных кругов Грузии — вообще глашатая идей свободы, братства и дружбы народов. Кстати, из 60 прожитых им лет 44 он провел в Тбилиси, где и скончался 100 лет назад.

В те годы в Грузии постепенно начали утверждаться демократическо-прогрессивные устремления Российского общества, все больше ощущалось влияние революционных идей западноевропейских просветителей. Для Ахундова все это было уни-

верситетом, в недрах которого развивалась писательская натура этого самобытного мыслителя. Все это имело колоссальное значение для формирования его общественных и творческих взглядов.

В разное время и в разных условиях Ахундов дружил и общался в Тбилиси и с представителями прогрессивной русской интеллигенции, и с декабристами, и с деятелями грузинской литературы и искусства, и, конечно же, с азербайджанскими общественными деятелями. Среди них были писатель, историк и философ Аббас-Кули Бакиханов и Мирза Шафи, который с 1840 года преподавал здесь азербайджанский и персидский языки. Он же основал в Тбилиси литературно-философский кружок под названием «Диванехекмет», посещаемый наряду с Бакихановым и Ахундовым находившимся тогда тут Фридрихом Боденштедтом, немецким поэтом и переводчиком восточной, в частности азербайджанской, лирики. В этом кружке бывали также основоположник армянской литературы Хачатур Абовян, поэт-декабрист А. А. Бестужев-Марлинский, декабристы А. Одоевский и Я. Полонский, председатель Закавказской археологической комиссии А. П. Берже, бывший иранский консул в Тбилиси, а затем посол в Париже, прогрессивный деятель Персии Юсуф-хан и многие другие.

Ахундов лично был знаком и переписывался со многими известными деятелями культуры того времени. Но, к сожалению, фактические сведения об их отношениях крайне ограничены. К тому же в дошедших до нас письмах имена многих из них названы не всегда.

Работая много лет в аппарате канцелярии заместителя, Ахундов был близко знаком с известными грузинскими деятелями, находившимися на службе там же. В частности, он дружил с Д. Кипиани, П. Иоселиани и М. Туманишвили, общение с которыми значительно обогатило его знания о Грузии и грузинской культуре.

Мы имеем также основание предполагать, что через польского поэта Лада-Заблоского (сегодня его дружба с польским поэтом не подлежит сомнению) и русских демократических поэтов, с которыми Ахундов близко был знаком, он общался с великим грузинским поэтом-романтиком Николозом Бараташвили.

Кроме вышеназванных он мог иметь контакты и с известным журналистом Н. В. Ханниковым, с театральным деятелем В. Сологубом и другими.

С 1837 года в Тбилиси выходила газета «Закавказский вестник», а с 1846 года — «Кавказ», где Ахундов начал печатать свои драматические произведения.

Для него как для драматурга большую роль сыграло открытие здесь в 1845 году русского драматического театра, где в разное время ставились пьесы Гоголя, Островского, Мольера, Шекспира, Грибоедова и других классиков.

Театр и драматургия были фундаментом дружбы между основоположником грузинского профессионального театра, первым представителем критического реализма в грузинской драматургии — Георгием Эристави и М. Ф. Ахундовым. Они жили и тво-

рили в одну и ту же эпоху, когда в социально-экономической и политической жизни закавказских народов происходили коренные сдвиги. Оба одновременно сказали новое слово в своей родной литературе.

Реализм Георгия Эристави — зеркало определенного периода XIX столетия. Его социальной подоплекой является, с одной стороны, деградирующая грузинская феодальная аристократия, с другой — новый общественный класс в лице буржуазии и с третьей — царское чиновничество...

Г. Эристави был идеологом той части феодальной аристократии, которая сложила оружие перед новой действительностью и торговым капиталом.

50-е годы прошлого века в жизни закавказских народов отмечены событиями особого значения. В этот период здесь зарождался капитализм, внедрялся буржуазный уклад, намечался упадок феодально-патриархального строя, тормозившего развитие края.

Этот исторический процесс получил отражение и в литературе благодаря зоркости и таланту таких выдающихся драматургов, как Георгий Эристави и Мирза Фатали Ахундов, для которых объектом художественного интереса была современная им общественная жизнь и ее социальный характер.

При сравнении их творчества очевидным становится поразительное сходство, с одной стороны, Арчила («Скупой» Эристави) и с другой — Хандар-бега, Асхар-бега и Сафар-бега («Приключение скряги» Ахундова). Еще идентичнее Гаджи-кара — Ахундова и Микиртум Гаспорич из «Раздела» Эристави.

Оба драматурга прошли нелегкий путь, прежде чем смогли проложить в своей родной литературе дорогу критическому реализму.

Как критику феодально-патриархального строя Азербайджана и Ближнего Востока, Ахундову пришлось также выступать против отжившего свой век защитника и покровителя восточного феодализма — ислама. Поэтому первые его комедии направлены против религиозного фанатизма и суеверия. И лишь последующие затрагивают социально-экономические стороны и связанные с ними проблемы.

Характерно, что, несмотря на вековые традиции азербайджанской литературы, в которой поэзия всегда являлась ведущей, Ахундов основным жанром своего творчества избрал комедию, встав на путь изобличительной литературы.

Первая же постановка его пьесы «Медведь — победитель разбойника», осуществленная в 1852 году в Тбилиси на сцене русского театра, явилась большим событием в культурной жизни города. 26 января того же года газета «Кавказ» писала о предстоящем спектакле: «Будущий четверг, 31 января, будет ознаменован небывалым литературно-драматическим событием. Мы увидим в первый раз на сцене татарские нравы, татарские костюмы, татарские кибитки, всю татарскую жизнь в верном изображении и, что всего замечательнее, мы встретим в первый раз на афише имя татарского сочинителя. Читатели «Кавказа» помнят еще, конечно, комедию Мирза Фатали Ахундова «Медведь — победитель разбойника», которая издавна

украшала столбцы нашего фельетона. Это произведение даровитого сотрудника «Кавказа», изобличающее истинный юморизм и редкую наблюдательность, не могло бы, однако, выдержать испытание без некоторых изменений. Автор сам это почувствовал и со свойственной истинному таланту скромностью обратился к лицам сведущим за советами, в которых, разумеется, не было отказа. Таким образом, автор имел случай переделать свою комедию по условиям сцены, и в четверг, в бенефис госпожи Арнольд, он представляет на суд публики свое первое сценическое произведение».

7 февраля того же года состоялся второй спектакль в пользу актера Максимова. Об этом 2 февраля 1852 года газета «Кавказ» сообщала: «В Тбилисском театре русскими актерами в четверг 7-го февраля представлен будет в пользу актера императорских театров г-на Максимова в первый раз «Медведь — победитель разбойника», оригинальная комедия в трех действиях, соч. Мирза Фатали Ахундова, в которой роль бразильской обезьяны исполнена будет г. Перво».

Необычайный успех первой комедии Ахундова обусловил обращение руководства театра ко второй его пьесе. В феврале 1853 года состоялась премьера комедии «Везир Серабского ханства», поставленной в бенефис суфлера труппы — Петровского.

Таковы сведения о постановках ахундовских комедий на тбилисской русской сцене, почерпнутые из прессы того времени. Эти факты свидетельствуют об огромном интересе, вызванном их постановкой, о серьезной работе над сценическими вариантами пьес и успехе, выпавшем на их долю. Названные спектакли были первыми шагами в сценической жизни ахундовских пьес, первыми страницами интересной, яркой и своеобразной книги, запечатлевшей судьбу творений драматурга (А. А. Лиева. М. Ф. Ахундов и театр, Баку, 1966).

В те же годы пьесы Ахундова не только ставились на сцене, но и печатались. Так, например, «Везир Ленкоранского ханства» в авторском переводе впервые был напечатан в Тбилиси в 1858 году.

Нельзя не отметить без истинного удовлетворения и тот факт, что первым из грузинских писателей обратил внимание на азербайджанскую литературу Акакий Церетели, который и перевел на грузинский язык вышеназванную пьесу (небезынтересно и то, что в годы учебы в Петербургском университете на факультете восточных языков он очень серьезно относился к изучению азербайджанского языка (Л. Асатиани, Жизнь Акакия Церетели, Тбилиси, 1943)).

Но при этом произошел такой инцидент. Переведя пьесу в 1897 году на грузинский язык, А. Церетели отдал рукопись для переписки переписчице-каллиграфу грузинского театра Елене Антоновской. В ту пору в грузинском театре часто устраивались бенефисы. Один из таких вечеров был организован в честь театрального кассира Свимона Калибегашвили. В театре ходили слухи, что Акакий Церетели написал новую пьесу, которую С. Калибегашвили и избрал для своего бенефиса. В те дни великого грузинского поэта не было в городе, и местные газеты

известили, что в бенефис С. Калибегашвили ставится новая пьеса А. Церетели «Везир хана» (так тогда ее называли). Узнав об этом в день спектакля, взволнованный поэт, не имея уже возможности объявить об ошибке в газетах, обратившись жалобой к руководству театра. После спектакля зрители требовали выхода на сцену «автора» новой пьесы. Тогда бенефициант объявил публике, что истинным автором комедии является Ахундов, а Акакий Церетели — только ее переводчик.

Рецензент газеты «Иверия», знавший об этом и присутствовавший на спектакле, так и не внес ясности в этот вопрос.

Тогда А. Церетели поместил в газете «Цнобис пурцели» (1899, № 447) следующее сообщение: «Пьеса (имеется в виду «Везир Ленкоранского ханства». — Г. М.) принадлежит перу Мирза Фатали Ахундова... Он вышел на писательское поприще одновременно с Георгием Эристави и проявил большую одаренность. В его произведениях жизнь азербайджанцев видна так же ярко, как в зеркале... Произведения Ахундова переведены также на иностранные языки. Известный критик тех времен Аполлон Григорьев сравнил его с Мольером...».

Успех постановки этой пьесы в Тбилиси определялся близостью грузинскому зрителю быта и нравов, обличаемых автором.

И в дальнейшем пьесы М. Ф. Ахундова не раз ставились в Грузии, в особенности на сцене существовавшего в Тбилиси азербайджанского театра. Они привлекали внимание своей высокой гражданственностью, обличительным пафосом и стремлением защитить народ от насилия чиновничества, ханов, невежественных и жадных служителей религии.

Пьесы его — «Гаджи Гара», «Хан Сараб», «Везир Ленкоранского ханства» и «Дарвиш Местали Шах» шли также в функционировавшем с 1933 года в столице Советской Грузии профессиональном азербайджанском театре и пользовались любовью не только азербайджанского, но и грузинского зрителя.

Знаменательно, что и в Баку как до, так и после революции существовал грузинский театр, в репертуаре которого были лучшие произведения грузинских и азербайджанских драматургов.

Как известно, в июле 1935 года в Баку гастролировал Тбилисский театр имени Руставели, руководимый Сандро Ахметели. После триумфальных выступлений этой труппы руководители Бакинского грузинского театра обратились к Ахметели с просьбой помочь им. Грузинский режиссер посоветовал руководителю театра Сико Вачнадзе поставить пьесу Ахундова «Гаджи-Гара». Затем С. Вачнадзе ознакомил Ахметели со своей режиссерской экспозицией, в которую тот внес свои коррективы.

На грузинский язык эта пьеса переведена известным писателем Шалвой Дадiani, который до революции сам руководил в Баку грузинским театром.

Эскизы костюмов и грима принадлежали народному художнику Азербайджана Азимзаде. Музыкальное оформление осуществил композитор Ниязи.

С. Вачнадзе вспоминает, что с помощью Ахметели удалось создать весьма оригинальный и интересный спектакль (Сборник А. Ахметели, Тб., 1957, на груз. яз.). Действие происходило не на сцене, а в самом зрительном зале.

«Мы, — пишет С. Вачнадзе, — создали макет верблюда. Разделили его на две части. В эпоху, описанную в пьесе, верблюд был единственным средством транспорта, с помощью которого Азербайджан сообщался с соседними странами и устанавливал с ними торговые связи...».

Ахметели и Вачнадзе стремились в этом спектакле слить воедино народные традиции грузин и азербайджанцев так, чтобы не нарушить колорита и формы пьесы Ахундова, создать представление, выдержанное в национальном духе.

Ахметели собирался показать этот спектакль тбилиским зрителям со сцены театра имени Руставели, но, к сожалению, этому намерению не суждено было осуществиться...

СЛОВО О СОВРЕМЕННОМ

Довольно широко распространено и почти приобрело право гражданства мнение о том, что для полного признания ученого, деятеля литературы и искусства нужна определенная временная дистанция. Считается, что современники часто не бывают объективными — они или преувеличивают, или, наоборот, принижают значение и заслуги той или иной личности. Конечно, время наиболее строгий и неподкупный судья. Несомненно, что будущие поколения более спокойно и беспристрастно выносят окончательный приговор своим предшественникам, но это отнюдь не значит, что современники всегда должны воздерживаться от общественной аттестации тех, кто жил и творил на их глазах, — ведь именно современность воздала должное великому Галактиону. Поэтому заслуживает всяческого внимания и поддержки любое авторитетное и впечатляющее слово о тех, кого мы знали и знаем, кто еще не приобрел «хрестоматийный глянец» и не взмолился на пьедестал неоспоримости.

Книга известной журналистки Софьи Гвелесиани

сразу же располагает к себе простым, совершенно непретенциозным заглавием: «Востоковед Георгий Церетели». Грузинский читатель (нечего греха таить) прямотаки оглушен эпитетами, дифирамбами и панегириками, поэтому спокойное заглавие очерка С. Гвелесиани настраивает читателя в пользу книги, тем более что она посвящена выдающемуся грузинскому ученому, интересному и сложному человеку — Георгию Васильевичу Церетели.

Автор этих строк имел счастье близко знать и сотрудничать с Георгием Васильевичем, что несколько затрудняет написание канонизированной рецензии. Ограничимся отдельными наблюдениями и замечаниями.

Организатор и глава школы грузинских востоковедов, современный лингвист высокого ранга, блестящий знаток истории, литературы и искусства — Георгий Васильевич Церетели был типичным ученым международного класса. Широкий диапазон научных интересов Георгия Васильевича был весьма далек от дилетантского универсализма, а его патриотизм никогда не противоречил научной добросовестности (у нас, к великому сожалению, часто популярны наукообразно пригудренные квазипатриотические небыллицы, а это тянет наше общество в болото провин-

циализма и местничества). Рафинированный интеллигент, доверчивый и открытый с достойными людьми, замкнутый, почти нелюдимый в кругу недостойных, — Георгий Церетели так и не удостоился однозначной оценки современников.

Одно из достоинств книги С. Гвелесиани состоит в том, что она создала не штампованную фотокопию «прославленного мужа науки», нечто безликое, бесстрастное и аморфное, а нарисовала очень индивидуальный портрет ученого и человека, которому ничто человеческое не было чуждо. Любители штампов и трафаретов могут упрекнуть автора книги: стоило ли писать о том, что Георгий Васильевич был несколько мнительным, «взрывоопасным», что порой вредило и делу, и, особенно, ему самому, но подобные упреки относятся к той категории замечаний, которые надо терпеть, но совершенно не обязательно учитывать.

Достоинством книги Гвелесиани является и то, что главные стороны и черты научного наследия Церетели изложены просто, ясно и вместе с тем с завидной профессиональной глубиной. Надо тут же сказать о том, что повествование о наиболее выдающихся открытиях ученого отмечено истинной поэтичностью (очерк об «Армазской билингве»).

Но основное достоинство талантливо написанной книги С. Гвелесиани — это любовь к грузинской науке и культуре. Очерк Софьи Гвелесиани апеллирует не только к разуму, но и к чувствам, а это значит, что цель достигнута, ибо подлинная пропаганда положительного, значительного, прогрессивного удается при том условии, когда веришь и любишь, понимаешь и чувствуешь.

Дэви СТУРУА

ПЕРВАЯ ПОПЫТКА ОСВОЕНИЯ БОЛЬШОЙ ТЕМЫ

Обусловленная давними культурными и литературными грузино-азербайджанскими связями тема дружбы и взаимного уважения друг к другу проходит красной нитью в литературе обоих народов.

В последнее время наши литературные взаимосвязи все более пристально исследуются как азербайджанскими, так и грузинскими литературоведами. Примером тому — и книга Лейлы Эрдзе «Дружба — мост от сердца к сердцу», вышедшая в издательстве «Сабчота Сакартвело».

До сих пор не было специального исследования, целиком посвященного проблеме изучения азербайджанско-грузинских литературных связей советского периода.



когда начался невиданный процесс сближения и взаимообогащения социалистических культур народов СССР. И хотя исследователи, работающие в области изучения предыдущих столетий, в той или иной степени затрагивали нашу эпоху, книга Лейлы Эрадзе является первой попыткой монографического исследования этой большой и ответственной темы.

С интересом читается уже вступление, в котором автор говорит о значении изучения литературных связей народов в укреплении их дружбы и взаимопонимания. Это введение естественно продолжено первой главой книги «Исторические корни литературных взаимосвязей Грузии и Азербайджана». Здесь автором использован весь богатый материал о литературных контактах прошлых веков, содержащийся в трудах как грузинских, так и азербайджанских литературоведов.

В этой части приведены уже известные факты из истории литературных отношений наших народов, но Л. Эрадзе стремится дать им свою интерпретацию. Она останавливается в основном на малоизвестных фактах и этим придает свежесть уже известным материалам. В частности, мы имеем в виду касиду (оду) азербайджанского поэта XII века Фелеки Ширвани, посвященную грузинскому царю Дмитрию I, знакомство грузинского поэта XIX века Григола Орбелиани с выдающимся поэтом и историком того же времени Аббас-Кули Бакихановым и другие.

Говоря о развитии азербайджанско - грузинских литературных связей в советский период, автор акцентирует внимание на благотворном воздействии содружества азербайджанских и грузинских писателей на культуру обоих народов, которое в нашу эпоху приобрело еще более действенную силу.

Продолжая славные традиции прогрессивных деятелей литературы прошлых времен, советские азербайджанские и грузинские писатели своим творчеством способствуют укреплению дружественных связей между братскими народами. Совместные пленумы закавказских писательских организаций в первые годы Советской власти, взаимные художественные переводы знаменовали качественно новый этап культурного сближения азербайджанского и грузинского народов. С первых десятилетий Советской власти писатели Грузии призывают к расширению переводческой деятельности своих собратьев по перу. Так, в 1927 году Паоло Яшвили говорил: «Мы плохо знаем культуру наших соседей армян и азербайджанцев. Поэтому нужно переводить и издавать произведения писателей наших соседей, которые отражают современное социалистическое строительство своего народа».

В этой связи читатель сможет почерпнуть из книги Лейлы Эрадзе много нового и характерного для творческой деятельности азербайджанских и грузинских советских писателей.

С особым интересом читается история перевода на

азербайджанский язык поэмы великого грузинского поэта Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Этот вдохновенный гимн дружбе, любви и патриотизму привлек внимание не одного поколения азербайджанских писателей. Поэма дважды была переведена на азербайджанский язык. Читатели по достоинству оценили перевод, выполненный поэтками С. Вургуном, С. Рустамом и М. Рагимовым. Другой же перевод — поэта Ахмеда Джавада — недавно подготовлен к печати и скоро выйдет в свет. Этот факт также свидетельствует о большом уважении азербайджанского народа к литературному наследию своего ближайшего соседа. Сравнивая перевод с оригиналом, автор убедительно и наглядно выявляет мастерство переводчиков. Интересны также высказывания поэтов-переводчиков о бессмертной поэме Ш. Руставели.

В главе «Азербайджанская тема на страницах грузинской печати» говорится в основном о творчестве азербайджанского драматурга М. Ф. Ахундова, о переводах его произведений на грузинский язык.

Пьеса М. Ф. Ахундова «Везир Ленкоранского ханства» была переведена на грузинский язык Акакием Церетели и поставлена на грузинской сцене. Тогда же грузинская печать живо откликнулась на это произведение.

Жизнь и творчество М. Ф. Ахундова тесно связаны с Грузией. Долгие годы он жил в Тбилиси. Здесь им были созданы и опубликованы все его творения, здесь

же ставились его пьесы. И особенно приятно, что книга Лейлы Эрадзе дает примеряющийся материал о связях М. Ф. Ахундова с Грузией.

Далее автор рассказывает о романе замечательного азербайджанского прозаика Исмаила Шихлы «Буйная Кура» (кстати, этот роман переведен на грузинский язык Лейлой Эрадзе).

Книга Лейлы Эрадзе завершается главой «Грузинская тема в азербайджанской советской поэзии». Думается, это не только самая большая, но и самая удачная часть работы, в которой особенно ярко проявились исследовательские способности автора. Кропотливый труд, упорные и последовательные поиски в архивах и рукописных фондах Азербайджана и Грузии дали свои результаты. Именно здесь на основе новых архивных материалов освещены многие интересные факты азербайджанско-грузинских литературных связей советского периода.

Эта последняя глава, в свою очередь, состоит из трех разделов. Первый посвящен творчеству классика азербайджанской советской литературы Самеда Вургуня, которого связывала личная и творческая дружба со многими грузинскими поэтами. Не случайно, что дружба народов — одна из главных тем творчества этого замечательного поэта. Самед Вургун был верен своему идеалу с первых своих шагов в литературе и до конца жизни.

Лейла Эрадзе уделяет большое внимание творчест-

ву этого замечательного поэта. Она особо останавливается на таких его стихотворениях, как «Клятва», на пьесах — «Вагиф», в которой с большой художественной силой воссозданы картины совместной борьбы закавказских народов против иранского тирана Ага Мухаммед Хана, «Ханлар», показывающей революционную борьбу бакинского пролетариата.

В этом разделе речь идет о неизвестном до сих пор стихотворении Вургуня «Руставели», устанавливается дата и история его создания. Отрадно, что в книге уделено внимание и нескольким неизвестным статьям азербайджанского поэта о грузинской литературе.

Далее говорится о Сулеймане Рустаме и Мамеде Рагиме, в творчестве которых тема Грузии занимает видное место. Подробно разбирает Л. Эрадзе стихотворения «Акакий Церетели», «Грузинка», поэму «Саят Нова» М. Рагима. Здесь автором использованы новые

неизвестные материалы из личного архива поэта. 04.10.53 10033

Стихи азербайджанских поэтов, приведенные в книге, даны в поэтическом переводе автора. Знание азербайджанского языка, непосредственное использование первоисточников одно из несомненных достоинств Лейлы Эрадзе, автора этой хорошей работы. Благодаря упорным поискам она выявила новые факты, подтверждающие тесные взаимосвязи азербайджанской и грузинской литератур. Как явствует из книги, литературные контакты отдельных писателей в прошлом стали в нашу эпоху не только обычным явлением, но и одним из важнейших условий взаимообогащения национальной литературы. Сотрудничество и дружба писателей обоих народов плодотворно влияют на их творчество, обогащая тематику и художественные достоинства обеих литератур.

Дилара АЛИЕВА

ПО ПУТИ ПОИСКА И ОТКРЫТИЙ

В книгу В. Алпенидзе «День лунного божества» вошли литературные очерки и эссе, касающиеся актуальных вопросов грузинской литературы, а также статьи, разъясняющие те или иные

стороны русско-грузинских взаимоотношений.

Говоря, например, о монографии Г. Цицишвили, посвященной Шалве Дадиани, отмечая достоинства этого исследования, автор стремится проследить его социально-культурное значение. Это тем более важно, что пока никто не дал этой работе соответствующей оценки, точно не оп-

ределил ее общественной ценности. А ведь Ш. Дадиани — деятель на редкость много-сторонний, и Г. Цицишвили в своей монографии вос-станавливает его творческий портрет, отводя этому боль-шому писателю вполне оп-ределенное место в грузин-ской культуре и литерату-ре. И вместе с автором В. Алпенидзе вполне спра-ведливо отмечает приоритет Ш. Дадиани в создании оп-тимистической трагедии как таковой. Автор книги все-цело разделяет также ут-верждение Г. Цицишвили, что пьеса Ш. Дадиани «Пря-мо в сердце» — первая со-ветская грузинская комедия.

Эссе Элгуджи Маградзе о Леване Готуа — неболь-шая по объему, но емкая по содержанию работа, к тому же написанная эмо-ционально и впечатляюще. И В. Алпенидзе, в свою оче-редь, смог сказать о ней столь же кратко и емко: «В этой книжке сказано больше, чем можно было в ней уместить, и это потому, что автор говорил от всего сердца».

Историческая трилогия Г. Абашидзе стала сегодня едва ли не настольной кни-гой грузинских читателей.

До появления историче-ских романов Г. Абашидзе XIII век воспринимался как эпоха, когда царил непро-глядный мрак. Но XIII век, как, впрочем, и последую-щие столетия, все же не столь мрачен, чтобы не раз-глядеть в нем хоть единый луч света. И Г. Абашидзе находит эти проблески в не-преходящих нравственных ценностях.

История народа — не только торжество. Это «смертельные схватки, фронтаны крови», муки, падение и возвышение. И нужно по-длинно диалектическое мы-шление, чтобы в художест-венной хронике падения на-ции показать красоту ее возрождения, ренессанс ее души... Как раз это и смог-ли сделать — по словам В. Алпенидзе — талант и интеллект Григола Абаши-дзе.

Сотнэ, каким показал его Г. Абашидзе, пришлось по сердцу грузинскому чи-тателю и навечно обосо-бался в нем. Подвиг этого героя писатель сделал куль-минационной точкой всей трилогии. В. Алпенидзе отмечает глубинный патриотизм ее автора, побудив-ший его взяться за столь тяжкий труд по поиску, со-биранию и осмыслению ог-ромного исторического ма-териала. «В истории грузинской литературы известно не так уж много дило-гий, трилогий и тетралогий, поэтому такое широко-масштабное полотно, какое создал Г. Абашидзе, боль-шое событие в нашей лите-ратуре», — пишет В. Алпе-нидзе.

Не прошел он и мимо такой замечательной книги, как «Хроники из жизни Картли» В. Челидзе. Это художественное повествова-ние об истории Грузии, ав-тору которого удается вы-плавить из истории поэ-зию, заставить исторические факты заговорить ее язы-ком, повернуть их к нам под поэтическим углом. Рассматривая основу этого произведения, В. Алпени-дзе говорит о широкой об-

разованности автора в смежных областях истории и литературы — в археологии, этнографии, фольклористике...

И действительно, без знания этих отраслей науки создание сочинения такого типа оказалось бы невозможным. Помимо правильной интерпретации исторических фактов, в нем привлекают «чистота» повествования, верно выбранный стиль и та убежденность, которая сопровождает авторские суждения, какого бы вопроса они ни касались. И нельзя не согласиться с В. Алпенидзе в том, что предположения, гипотезы, прогнозы В. Челидзе обусловлены внутренней логикой и не выходят за рамки общей логики исторических фактов. В этом очерке автор «Хроник из жизни Картли» предстает перед нами глубоко эрудированным писателем-историком, талантливым беллетристом.

В. Алпенидзе разбирает четыре романа Н. Думбадзе, в которых писатель проявился наиболее полно. Это — «Я, бабушка, Илико и Илларион», «Я вижу солнце», «Солнечная ночь», «Не бойся, мама». Возможно, кому-то они понравятся меньше, кто-то, наоборот, придет в восторг от них, но не прочитать их невозможно. В свое время В. Белинский писал о Гоголе, что он нравился не всем, но прочли его все, поскольку он был событием в русской литературе XIX века. Пожалуй, то же можно сказать и о романах Н. Думбадзе.

Нельзя не согласиться с замечанием В. Алпенидзе,

что во всех расказах Н. Думбадзе четко виден один герой — сам автор. И это, безусловно, так. Но там же критик заключает, что с этим героем мы знакомимся в самых различных ситуациях, в разной обстановке, с различных точек зрения. Значит, с помощью этого героя мы постигаем все разнообразие жизни. В этом и состоит суть истинно художественного произведения, которое, показывая жизнь в разных измерениях, неизменно верно одному — гуманизму.

Романы Н. Думбадзе дают возможность критику охватить историю романа вообще, грузинского романа в частности. И тут автор книги обращается к фундаментальному труду Г. Мерквилладзе «Роман и эпоха», отмечая при этом несогласие с теми буржуазными критиками, которые доказывают, что в настоящее время жанр романа испытывает кризис. Он критикует такой вульгарный подход к роману, по которому его сущность определяется количеством страниц. «Роман из пятисот страниц может оказаться «малым романом», а из ста пятидесяти страниц — «большим романом». Все зависит от того, что сказано в нем». С этим утверждением нельзя не согласиться, поскольку главным признаком романа является не объем, а отражение в нем образа эпохи, эпохальных событий и т. д.

В ходе исследования характера творчества Н. Думбадзе В. Алпенидзе приходит к следующим выводам: «в романах Н. Думбадзе развиваются и чувство и мысль».

«герои его романа люди мыслящие», «стиль Н. Думбадзе создает не языково-стилистическое мастерство, а то оригинальное повествование и юмор, которые подстерегают вас на каждом шагу как мина».

Статья «Шаг за горизонт» касается социально заостренных романов Гурама Панджикидзе: «Седьмое небо» и «Камень чистой воды».

«Параметры прозы Г. Панджикидзе будто рассчитаны с инженерной точностью: ничего лишнего, только то, что необходимо» — так уже в первых же фразах точно охарактеризована форма этих произведений.

В. Алпенидзе анализирует социально-культурную ценность романов Г. Панджикидзе. Отдельные наблюдения критика и его общие выводы логически вытекают из верных посылок. Вот, например, как определяет он сущность романов Г. Панджикидзе: «От истинного писателя не требуется высчитанная с бухгалтерской точностью процентная оценка положительного и отрицательного в произведении. Нам интереснее не бухгалтерия положительного и отрицательного, а их диалектика и художественное отображение этой диалектики».

Такой подход тем более важен, что было время, когда отдельные критики занимались выяснением соотношения в романах Г. Панджикидзе положительных и отрицательных героев.

Вся третья глава книги посвящена поэзии Георгия Леонидзе. В ней рассказа-

но о многих интересных фактах, касающихся жизни и творчества поэта.

В статье «Перевал» Хута Берулава сделана попытка в основном очертить тот круг, в радиусе которого стихи и поэмы Х. Берулава распространяют свое влияние на читателей, одаряя их любовью к грузинскому сердцу, к русской душе, к человеческим, гуманным мыслям и переживаниям.

В. Алпенидзе считает, что Х. Берулава — выдающийся мастер передачи красоты колхидского пейзажа. Названы его лучшие произведения, такие, например, как стихотворения «Владимиру Ленину», «Поэт», «Колхидские мелодии», «Тбилиссские серенады», поэма «Русское сердце». Проанализирована любовная лирика поэта. Должным образом оценен его неустанный труд в интересах грузинской культуры.

Статью о Ревазе Маргари, где сквозь призму поэтического видения очерчен творческий профиль поэта, с определенной точки зрения можно считать и его литературным портретом.

Более пространны «Раздумья о лирических поэмах Джансуга Чарквиани», поднимающие немало злободневных вопросов. Чтобы установить основные свойства поэзии Джансуга Чарквиани, критик прибегает к образам из произведений Т. Элиота, В. Маяковского и других поэтов. Он говорит о лирической поэме Дж. Чарквиани как о новом жанре. И это вполне естественно, так как Дж. Чарквиани как мастер

лирической поэмы хорошо известен в нашей литературе. Его перу принадлежат поэмы — «Стена веры», «Открытое письмо», «Железная кольчуга», «Мечта», «Предостережение».

Касаясь истории в поэмах Дж. Чарквиани, критик говорит, что прошлое, настоящее и будущее в них представлены не самоцельно, а определяют и обуславливают друг друга, указывают перспективу будущего. В. Алпенидзе отмечает высокий гуманизм лирического героя Дж. Чарквиани, его героический дух, патристический порыв.

Наряду с публицистическими поэт создал и богатую сложным философским подтекстом поэму «Стена веры», принесшую ее автору наибольшую популярность. И естественно поэтому, что В. Алпенидзе разбирает ее подробнее, чем другие произведения поэта.

Любители поэзии ценят Резо Амашукели за его сдержанную, эстетически утонченную лирику. В стихах Р. Амашукели отсутствуют прозаизмы, неотшлифованные строки. Все это и аргументировано в статье «Поэт и время». В. Алпенидзе особенно высоко оценивает цикл стихов Р. Амашукели «Средиземноморская тетрадь».

Весьма значителен раздел, касающийся друзей грузинской литературы. Беседа о книге Николая Тихонова «Писатель и эпоха», в которую вошли статьи о грузинской культуре и литературе, критик побуждает

читателя подробнее познакомиться с этой книгой.

В совершенно ином курсе повернут разговор о Кайсыне Кулиеве. Автор бережно перечисляет его высказывания о грузинской культуре. Вот одно из них: «В храмах Кахети я видел пронзенные вражескими стрелами фрески, и мне показалось, что с них до сих пор стекает кровь». И вот как интерпретирует его В. Алпенидзе: «Это — грузинское видение балкарского поэта, грузинская эмоция, грузинское переживание, и это тем более удивительно, что он — поэт, пришедший из исламского мира; волшебство поэзии именно в том и состоит, что только она способна заставить балкарского или какого-либо иного поэта увидеть грузинскими глазами и пережить грузинским сердцем нашу радость и боль...».

Это процесс обратимый, случается и наоборот. Так, капитану Бухаидзе балкарская земля показалась грузинской землей, и это потому, что «поэзия Ираклия Абашидзе тоже дышит этим волшебством». Говоря о статьях К. Кулиева, В. Алпенидзе определяет их роль и значение в деле пропаганды грузинской культуры.

В главе «Метаморфозы грузинского феномена» наиболее интересны статьи «Г. Джугашвили — исследователь литератур народов Африки» и «Раздумья о новом труде Г. Джугашвили». В. Алпенидзе дает всесторонний обзор исследованного талантливого ученого в области африканистики. И тут внимание привлекает

несколько пластов. Сначала автор делает обзор того круга африканской литературы, который входит в компетенцию Г. Джугашвили, затем рассматривает труды ученого и в заключение приходит к соответствующим выводам, отводя заслугам Г. Джугашвили должное место среди советских африканистов.

Третья статья этой главы посвящена большому другу грузинской культуры и литературы Ираклию Андроникову.

Интересны эссе об Илье Эренбурге, Константине Паустовском, Илье Сельвинском. В эссе, посвященном И. Сельвинскому, вкратце рассказано о его взаимоотношениях с А. Мирцхулава.

Мысль о том, что поэт в России — это больше, чем поэт, вынесенная в заголовок статьи о Евгении Евтушенко, взята из произведения самого поэта. Но В. Алпенидзе рассматривает ее в органической связи с известным призывом Некрасова. На основе анализа этого положения критик разъяс-

няет сущность поэзии Евтушенко.

Если в ходе выявления характера поэзии Е. Евтушенко преобладал аналитический подход, то, говоря о поэзии Беллы Ахмадулиной, В. Алпенидзе преимущественно прибегает к приему иллюстрации поэтических образов.

Небезынтересны также статьи об Андрее Вознесенском, Владимире Солоухине, Булате Окуджаве.

В целом интересны восточные мотивы, касающиеся грузинских мамелюков. Многие узнаем мы и из абхазских, американских, украинских заметок.

В новой книге В. Алпенидзе поиск соседствует с поэтическими раздумьями о том или ином поэте, деятеле. В ней поставлен и решен ряд вопросов научного порядка. Касаясь важных, кардинальных вопросов грузинской литературы и культуры, автор отводит каждому из них должное место в истории нашей литературы.

Борис МИРЦХУЛАВА

На особо родной волне доносится до нас голос дневниковых записей Зои Афанасьевны Маслениковой — скульптора и страстной любительницы поэзии, которой выпала счастливая доля работать над скульптурным портретом Бориса Пастернака на протяжении последних полутора-двух лет жизни большого русского поэта и благородного друга грузинских поэтов и грузинского народа. Собственно грузинские мотивы этих записей весьма скупы — это естественно в контексте непосредственных интересов их автора, близость которой с Грузией нашей публикацией и завязывается... Но нам в равной мере дороги любые грани образа поэта, любые штрихи, которые могут быть добавлены к его портрету. Для каждого, знавшего Бориса Пастернака, достоверность записок З. А. Маслениковой несомненна (хотя в них нет той, я бы сказал, стереофонической точности, которая присутствует, скажем, в воспоминаниях А. Гладкова). Однако, кроме музыки и интонации, существуют еще смысл и содержание, а они бережно и любовно воссозданы и донесены Зоей Афанасьевной Маслениковой — низкий ей поклон и благодарность наша от имени ее будущих читателей. Мы, естественно, публикуем сокращенный текст этих обширных дневниковых записей.

Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ

Зоя МАСЛЕНИКОВА

ПОРТРЕТ ПОЭТА

(Из дневниковых записей)

22 июня 1958 г.

Как все это началось? В конце апреля мы отправились в Мичуринец искать дачу для дочки, но, выйдя из вагона, оказались в Переделкине: сошли станцией раньше по ошибке.

Месяц спустя ко мне зашел С.

— Вы сняли дачу в Переделкине? А вы знаете, что там живет Борис Леонидович?

— Нет, понятия не имела.

— Это кismet. Вы должны его лепить.

С тех пор эта мысль не выходила у меня из головы. Я не верила в возможность ее осуществления. Слишком давно, слишком глубоко жили его стихи у меня в душе как самое драгоценное и заветное впечатление от встреч с искусством. Слишком подлинно тайной славой был овеян его образ. Но я знала, что не прощу себе, если не сделаю этой попытки.

И вот в это воскресенье я подходила к двухэтажной деревянной даче, за которой черной стеной стоят сосны.

В сад ко мне спустилась Зинаида Николаевна, жена Б. Л. Я назвалась и объяснила цель прихода.

— Не думаю, чтобы Б. Л. согласился позировать, — сказала она. — Но я ему передам, сейчас его нет дома, а вы приходите во вторник или среду около часу за ответом.

25 июня 1958 г.

На этот раз с крыльца сошел хозяин дома. Первое впечатление: юношеская легкость и лицо давнего друга. Он был в летних серых брюках и голубой рубашке с засученными рукавами и раскрытым воротом, чуть загорелый. И если бы не белая голова, то и в голову не пришло бы, что он уже очень не молод.

— Пойдемте, Зоя Афанасьевна, поговорим. — И, разговаривая о погоде, он повел меня по немятой траве к террасе. Мы сели друг против друга за большой, покрытый клеенкой стол.

— Должен вас огорчить, Зоя Афанасьевна. Я сам из художнической среды, отец мой был художником, может быть, вы знаете. И меня не раз просили позировать — и Кончаловский, и Фаворский (он еще называет имена, которых я не запомнил). Года два назад скульптор Григорьев просил меня. Надо быть идиотом, чтобы хотеть видеть себя изображенным: выходишь или непохожим или, если уж похожим, то обезьяной. И, кроме того, я полгода болел, теперь хочется наверстать упущенное.

— И потом вы, наверно, думаете: почему именно она и почему именно меня хочет лепить? Ну, имя и все такое прочее.

Я объясняю, что люблю поэзию больше того искусства, которым занимаюсь, а в современной поэзии выше всех ставлю его и что особенно ценю его нравственный облик.

Потом разговор зашел о другом, и я вернулась к цели своего прихода, предложив посмотреть фотографии с моих работ.

Он внимательно разглядывает снимки, расспрашивает о портретах.

— Очень жизненно и выразительно. И я верю, что похоже, потому что убедительно. Внутреннюю сущность все хотят передать, без этого желанья в искусство не идут, но владение формой, умение передавать сходство — это очень важно. Ну, что ж, когда вы хотите начать?

Я чуть не вскакиваю со скамьи. Мы назначаем первый сеанс на второе воскресенье июля.

— Вам, вероятно, будет интересно познакомиться с моим «Биографическим очерком», — говорит Б. Л., — я могу вам дать.

Он уходит в дом, возвращается с зеленой папкой.

— Огромное вам спасибо. А можно «Очерк» перепечатать?

— Да, конечно. Я очень рад, что с вами познакомился. Жду вас в двенадцать, — говорит он, прощаясь.

Я ухожу степенным шагом, но мне стоит большого усилия не оторвать ног от дорожки и не полететь над землей.

Неужели все это правда?

13 июля 1958 г.

В дни, оставшиеся до первого сеанса, я волновалась: а вдруг раздумает.

Поэтому мои первые слова, когда я увидела З. Н., были:

— Не передумал?

— Он пошел гулять и скоро придет, — отвечала она.

Мы сидели с ней на нижней веранде, где решено было работать, когда, наконец, пришел Б. Л.

— Простите, бога ради. Я больше не буду опаздывать. Где мне сесть?

Я ставлю соломенное кресло на нужное место, достаю приготовленный эскиз. Он застывает. Лицо неподвижное. Я принимаюсь за работу.

Проходит время, и он говорит:

— Я, кажется, повернул голову.

— Сидите совершенно свободно. Можете менять положение, двигаться, разговаривать с кем-нибудь.

— Нет, нет, я вам хорошо буду позировать.

— Хорошо позировать, значит существовать независимо от меня.

Он садится свободнее, и через некоторое время, когда, как мне кажется, он отрывается от мыслей, на которых был сосредоточен, я отваживаюсь заговорить.

— Б. Л., от кого это пошло, что вы похожи сразу и на араба и на его коня? От Ахматовой?

— От Цветаевой. Правда, есть что-то лошадиное? — улыбается он милой улыбкой. — А вас ничто не задело из того, что я писал об Ахматовой в «Биографическом очерке»?..

Я заговорила о «Биографическом очерке»; сказала, что он действует на меня так же, как музыка: порождает ток внутренней жизни, будит мысли, прямо даже не связанные с ним.

— Это как раз то, чего я хотел. Чтобы реальные картины вызывали к жизни какие-то состояния, настроения. Но вы заметили, он как бы распадается на две части, неодинаково написанные. Первая состоит из таких вот реальных картин жизни, а вторая — из портретов. Мне доставляло огромное удовольствие заключать в несколько строк знакомый образ. Мне вообще всю жизнь хотелось писать прозу. Стихи писать легче...

— А сейчас вы что-нибудь пишете. Б. Л.?

— Только письма. Но мне хочется писать. Хочется написать пьесу о русском театре, об обаянии русской интеллигенции. И в реальной жизни, где-то на рубеже, где кончается крепостное право и начинается другая жизнь. Так, как это делал Островский, но у него среда — купечество, а я хочу взять другую среду — разночинную интеллигенцию. Это должен быть очень талантливый человек, ищущий и мятущийся.

И еще мне хочется написать шпионский роман. О том, как из лучших патриотических побуждений, но нелегально в Россию возвращается эмигрант. Ему приходится скрываться, его ищут, сюжет должен быть острый и не такой банальный, как обычно.

Поработав молча, я говорю:

— А знаете, кто мне вас открыл? Асеев.

— Николай Николаевич? Что вы говорите! Расскажите! Не о том, как он вам меня открывал, а о том, как вы с ним познакомились.

Я рассказываю о том, как пятнадцатилетней севастопольской школьницей стала партнершей Асеева по теннису в Ялте, и о том, как впервые услышала о Б. Л. и его стихи из уст Асеева.

— Асеев чудный человек, он гораздо лучше меня. Но ему хотелось бы услышать от меня о его стихах то, чего я не могу сказать. Им чего-то не хватает. Страстности, той силы, которая заставляет не останавливаться на достигнутом, не удовлетворяться им, той требовательной жажды совершенства, из-за которой Толстой семь раз переписывал «Анну Каренину»....

20 июля 1958 г.

В этот сеанс я продолжала работу над эскизом.

— Б. Л., мне понадобятся ваши фотографии разных лет. Вы их мне дадите?

— У меня их очень мало. Я редко снимался, а из того, что было, почти ничего не сохранилось. Но кое-что наберу. Удачных мало. Я, когда снимаюсь, опускаю вниз челюсть, чтобы лицо казалось удлинненным. Хочется выглядеть более красивым.

— Я в портрете стараюсь выразить человека не только таким, какой он сейчас, но и таким, каким он был на протяжении всей жизни. Вы помните себя в 14 лет?

— Отлично помню.

— Расскажите!

— Я в это время страстно увлекался музыкой, находился под сильным воздействием Скрябина. Уже тогда была и до сих осталась жалость к женщине, как к существу поруганному, оскорбленному. Был крайне застенчив, излишне целомудрен и в отношениях между полами боялся всего, что называл пошлостью. Это, вероятно, была обратная сторона просыпающейся мужественности. Это признак здорового естественного развития, и через это обычно проходят нормальные испорченные дети. Мог влюбляться в товарищ и страшно ревновал, когда такой товарищ оказывал кому-нибудь предпочтение, ну, например, становился в паре не со мной. Уже тогда знал Рильке, увлекался Белым, Шишгородским, вкусы в искусстве были самыми левыми, отрицал всю классику, чем очень огорчал отца.

Об этих его огорчениях я узнал сравнительно недавно. Отец умер в 1945 году в Оксфорде. Там живут мои сестры. После гастролей МХАТа в Лондоне Зуева привезла мне от них большое письмо. Я думал, что они что-нибудь интересное для меня напишут, а они подробно описывали, какие у меня племянники.

Но они прислали мне фотографии последней выставки работ отца, а также его записки. Это разрозненные заметки разных лет — тут и счета, и деловые письма, и записи в дневнике. И вот я прочел прекрасное описание переезда на дачу и встречи с весенней природой, и слово о ссоре с Борей. И в другом месте: «после скандала с Борей...».

— Повлиял на творчество вашего отца контакт с современным западным искусством?

— Нет, он, по-видимому, еще больше укрепился в реалистическом направлении.

— Б. Л., а вы никогда не рисовали?
— Рисовал, как все, до 10—12 лет, и, кажется, плохо.
Отец у нас был молодец, говорил: бросайте! И в самом деле к чему поддерживать слабые потуги. Если человеку дано и сам выберется.

— Я спросила потому, что это часто сочетается: поэзия и рисование.

— Да. Вот был такой крупный польский поэт и художник Выспяньский.

— Его выставка или уже открыта или на днях открывается.

— Выспяньского? Что вы говорите! Вы непременно сходите. Отец часто и очень хорошо о нем отзывался.

Поработав молча, я говорю:

— Б. Л., вы выглядите так, как будто занимались спортом. Это верно?

— Нет, я никогда спортом не занимался. Я люблю ходить. До болезни возился на огороде, копал. В молодости ходил на охоту.

— Но ведь вы не можете убить!

— Я вам даже хуже скажу. В 1915 году я жил в имении Морозова на Урале. Это замечательные места, там, между прочим, Чехов бывал. Я ходил с ружьем. То ничего не встретишь, то промажешь. И вот, возвращаясь, я как-то увидел птичку. Она взнеслась высоко в небо и пела себе. Я подумал — все равно не попаду, и выстрелил. И попал. До сих пор неприятно, когда об этом вспомнишь.

Но вообще-то глаз у меня неплохой. В 1941 году мы тут проходили обучение. Я стрелял лучше других писателей, об этом даже говорили.

До конца сеанса он расспрашивал обо мне, о семье, интересовался, как устроена моя жизнь. Он понял и одобрил мою позицию в искусстве.

27 июля 1958 г.

...Я долго сосредоточенно работаю молча. Чувствую, что Б. Л. начинает привыкать ко мне. У него напряженное, размышляющее лицо, в нем идет еле уловимая работа. Потом губы начинают шевелиться, мне кажется, что он про себя произносит стихи. Вдруг он спохватывается, бросает на меня быстрый взгляд и смущенно улыбается. И, видимо, велит себе перестать.

Я рассказываю, как сегодня случайно увидела, что вахтерша из нашего дома читает Цветаеву, и как сменяла у нее стихи на три других книжки.

— Для меня стихи — лишь окошечко в душу поэта. — замечая я. — Когда я говорю, что люблю Лермонтова, Байрона, Пастернака, я имею в виду не стихи, а их самих, узанных благодаря стихам.

Он чуть смущен и принимается говорить о Лермонтове и о Байроне.

— И для меня тоже Лермонтов, пожалуй, скорей, чем Пушкин. Пушкин был первым, кто выстроил дом русской поэзии, а Лермонтов...

— Был первым жильцом в нем, — подхватываю я.

— Умница. Это как раз то, что я хотел сказать, обрадовался он. — Между прочим, мое отношение к Лермонтову многим на Западе непонятно. Мои стихи переводит один профессор Калифорнийского университета, он и раньше занимался мною. Так он мне прислал письмо, в котором просит объяснить мое отношение к Лермонтову.

— Что же вы ответили?

— Я еще не отвечал. Ему и другое кое-что непонятно... Мое упоминание его имени в одном ряду с Байроном (сделанное случайно) его, видимо, удивило.

— Романтизм, с его построениями, не проверенными жизнью, я скорее отвергаю. Заслуга Байрона в том, что в «Дон Жуане» он ввел в поэзию разговорный, повседневный язык, события обыденной жизни. Настоящее искусство может быть только реалистическим.

По какому-то поводу я упомянула, что Некрасов, как поэт, для меня не существует.

— Я встречал такое отношение к Некрасову. Оно меня удивляет.

— Я ему не верю, и я не выношу стилизации.

— Ну, это другое дело. Это касается какой-то части его поэзии. Но «Мороз—Красный нос» великолепен. Как он там волшебство зимнего леса описывает! Ни у кого больше нет такой русской зимы...

...Я работала над нижней челюстью, и мы замолчали.

— Б. Л., меня очень смущает это изречение: если можешь не писать — не пиши. Я вот могу не работать.

— Это сказал Толстой, и тут он впал в преувеличение. Нам иногда бывают неподвластны дурные побуждения, мы часто не можем преодолеть темные звериные инстинкты, но добрые наши поступки всегда в нашей власти. У меня иногда бывает очень сильное, страстное желание писать, но в то же время я могу и не работать, это от меня, к сожалению, зависит. Вот этим летом я писал прекрасные стихи. Но я мог бы переключиться и вместо них написать статью или письмо...

3 августа 1958 г.

Войдя на веранду, Б. Л. увидел на столе иллюстрированный каталог выставки Выпянского и стал с интересом его рассматривать...

Расспрашивал о моих впечатлениях.

— Б. Л., скажите, рисунок вашего отца «Портрет пианистки Пастернак» — это портрет вашей матери?

— Карандашный рисунок, она за роялем?

— Да.

— А где вы его видели?

— Я недавно была в Третьяковке на выставке Серова и, проходя по нижним залам, посмотрела работы вашего отца.

— А что еще там сейчас есть?

— Картина «Вести с родины» и еще один рисунок.

Он спрашивает о выставке Серова.

Многие работы он отлично помнит и поправляет меня, когда я неправильно называю имя модели одного из портретов. На мое замечание, что при всем обаянии Серова-художни-

ка ему недостает дара перевоплощения, нужного портретисту так же, как и актеру, он возражает:

— Вы очень строги к нему. Разве плохо, что ощущается индивидуальность художника? А кого из художников вы больше всего цените?

— Безоговорочно я люблю Клода Моне.

— Правильно! Я тоже люблю больше всего французских импрессионистов.

— А кого особенно?

— Пожалуй, Ренуара. Еще мне очень нравится Фонтен-Латур.

Спрашивает о моем отношении к Сомову, к Петрову-Водкину, к Родену. Предлагает взять у Нейгауза для меня книгу о Родене.

Я отвечаю, что Роден не вполне меня удовлетворяет, и одна из причин, почему я стала заниматься именно скульптурой, это то, что у меня нет в ней бога.

— Как? — не понял он.

— Нет бога в скульптуре.

— А-а, понял. Это очень веское соображение, очень серьезное.

Я принялась рассказывать грустную историю Эрзи. Он задавал много вопросов, вставлял реплики...

— Вы говорили, что в детстве жили в Крыму, — сказал Б. Л. — Вы давно оттуда уехали?

— Да, во время войны. Но я до сих пор не могу здесь акклиматизироваться. До нелепого. Что бы мне ни снилось — место действия — всегда Севастополь, и даже на лыжную прогулку я выхожу из нашего севастопольского дома, хотя его давно уже нет.

— Когда вы говорили, я представил себе степной сухой Крым. Белое солнце, ровный, горячий ветер, степь, заросшую ковылем, молочаем и волчцами, и как она обрывается невысоким уступом в море. И пахнет чебрецом. Земля седая, а море темное, в резких барашках.

От его скупых точных штрихов вдруг вспыхнула до боли знакомая картина.

— Но ведь вы не можете любить все это! — воскликнула я, пораженная этим маленьким чудом.

— Да, — смущенно улыбнулся он. — Я люблю север, среднерусскую природу.

— А любить Севастополь меня научил Паустовский. Мне было лет 14, когда я прочла его «Черное море», и я была ошеломлена тем, что столько есть прекрасного в реальной окружающей меня жизни.

Б. Л. принимается горячо хвалить Паустовского, говорит о нем с азартом и воодушевлением.

— Не знаю, так ли надо писать прозу, но никто сейчас лучше него прозы не пишет.

Я ему рассказала о доведшем меня до слез рассказе «Ночной дилижанс» из «Золотой розы». «Золотой розы» он не читал.

— И еще я люблю его за его любовь к Грину, — замечаю я.

И тут я услышала нечто удивительное — целую поэму о Грине, я не берусь ее пересказывать, это надо было слышать!

И когда я сказала, что у меня давно есть мысль сделать когда-нибудь Грину памятник, он воскликнул:

— Молодец!

Расставаясь, он сказал:

— Простите, что я совсем заговорил вас сегодня. Но я очень рад, что мы с вами одинаково воспринимаем эти вещи...

...Б. Л. стал говорить о состоянии нашей литературы.

— Вот писатели отправляются в творческие командировки изучать жизнь. Но ведь жизнь не изучают, жизнью живут. Что можно понять о жизни из такой поездки? Мне тоже предлагали поехать на бакинские морские нефтепромыслы, написать серию очерков для газеты. Вы знаете об этих нефтьвышках на искусственных островах среди моря? Люди работают в страшно трудных условиях, рискуют жизнью, иногда гибнут, а я приеду на гастроли! Надо не уважать их труд, чтобы согласиться!

17 августа 1958 г.

— Я прочла «Царь-Девуцу», — сказала я, — но она мне не понравилась — смесь эротики и стилизации. Расскажите мне о Марине Цветаевой. Она начинает небескорыстно интересоваться мной.

— небескорыстно? — переспросил Б. Л. — Хорошо.

Он помолчал, собираясь с мыслями.

— На том месте, где сейчас институт Маркса-Энгельса за Волхонкой, и перед ним раньше был большой сад. Часть его сохранилась на территории института.

В этом саду стоял дом, где жили Серовы. Мальчиком я часто туда ездил, мы всегда бывали у Серовых на елке, а они у нас. Я очень люблю Рождество и елку, и до сих пор осталось ощущение чего-то сказочного, праздничного. И я хорошо помню, как вырубали этот сад, корчевали деревья, потом рыли котлован. Мне было очень жаль этот сад. А потом стали возводить стены Музея изящных искусств.

Вдохновителем этого дела, создателем и первым директором музея был профессор Цветаев, отец Марины. Это был просвещенный и эрудированный в искусстве человек. Он ездил в Италию, Германию, Францию — отбирал образцы для копий.

Марина воспитывалась в женском монастыре во Франции. Она рано начала писать стихи. У нее была сестра Ася — тоже одаренная и своеобразная, но рядом с Мариной она меркла. В их доме бывал поэт-символист Эллис, и он начал портить девочек, в том смысле, что забивал их головы стихами, приобщал их к декадентской поэзии. В то время существовало Общество эстетики, туда входили многие поэты-символисты, и этот кружок стали посещать сестры. Так как они были очень молоды и застенчивы, то читали стихи в унисон, держась за руки. Их там даже Брюсов слушал.

Цветаева была похожа на Наполеона: круглое решительное лицо с правильными чертами. Все ее поступки, жесты,

движения были целесообразны. Так она была воспитана: каждый ее час должен был быть занят определенным делом.

Вначале я ее не оценил. Прочел ее стихи и как-то не воспринял их. Мы были знакомы, но не коротко. Помню, она приходила ко мне приглашать выступить на каком-то благотворительном вечере...

...В 1935 году в Париже был Антифашистский конгресс. Туда поехала наша делегация. Мне сказали, что я должен ехать. Я отказывался, объяснил, что болен, но мне говорили, что это необходимо.

Я поехал через Германию. Мои родители жили в то время в Мюнхене и ждали, что я проеду через Мюнхен, чтобы с ними повидаться. Но я не поехал из глупого самолюбия. Мне не хотелось, чтоб они видели меня в таком жалком, раскисшем состоянии.

— Так вы их и не повидали?

— Нет. Оказалось, что это была единственная возможность. Я думал встретиться с ними на обратном пути, но назад я возвращался через Англию. В Берлин, правда, к приходу моего поезда приезжала сестра, но отца с матерью я так больше никогда и не видел.

На конгрессе почему-то меня приняли восторженно. Весь зал поднялся, когда я появился. Я стал говорить, сказал, что я болен, но вот все-таки приехал.

С утра ко мне в номер являлась дочь Марины Цветаевой Аля. Она приходила с клубком шерсти, вязала и болтала со мной. Потом приходила Марина, и мы отправлялись куда-нибудь в Булонский лес, Фонтенбло или Версаль. Я начал понемногу спать.

Марина Ивановна много говорила о том, что хочет вернуться в Россию...

...После поездки мы много переписывались, она присылала стихи.

— А сохранились у вас ее письма?

— Нет. Во время войны я отдал ее письма и кое-какие другие, в том числе Ромена Роллана, на хранение одной женщине. Она была сотрудницей музея Скрябина, преданный и надежный человек. Она их хранила необычайно тщательно, никогда с ними не расставалась. Но именно эта тщательность и погубила письма. Она жила за городом и однажды вечером возвращалась домой. Письма были с ней в чемоданчике. В электричке, видно, она задремала, была очень усталой, и вышла на платформу без чемоданчика, опомнилась, когда поезд уже ушел. Так все и пропало...

22 августа 1958 г.

С этого дня начались дополнительные сеансы по будням, когда я работала одна по фотографиям.

В доме было тихо: вся семья, кроме Б. Л., отправилась в автомобильное путешествие на несколько дней.

Б. Л. писал у себя наверху, а потом зашел поздороваться и спросить, как мне работается.

— А вам? — спросила я. — Вам не мешало мое присутствие в доме?

— Нет. Если бы вы были другой человек, то мне мешала бы мысль, что думают; вот заперся наверху, не обращает внимания, пренебрегает, но вы такая умница, так все понимаете, что нисколько не мешало.

— А у меня в голове, пока я работала, жужжали строки: «Некоторых мучает, что летают мыши».

— Это плохие стихи, надуманные и неестественные. Я не люблю своих стихов до 1940 года.

— Вы неправы. Их нельзя отрывать от того, что сделано позднее, они законные предшественники.

— Ну, разве что в этом смысле.

Но я горячо возражала.

— А может быть, вы отчасти и правы, и я к ним преубежденно отношусь. Недавно мне прислали перевод на французский стихотворения «Смерть поэта» — знаете «Красивый, двадцатидвухлетний, Как предсказал твой тетраптих». Да, так я даже удивился, там, оказывается, есть содержание.

Он пригласил меня пообедать, но я отказалась, и мы расстались.

31 августа 1958 г.

Это был первый вечерний сеанс. Б. Л. встретил меня на кухне. Дверь в столовую была отворена и было видно, что за столом, накрытым к чаю, сидит З. Н. и еще кто-то.

— У вас гости?

— Ей-богу, я тут ни при чем, я никого не ждал. Не можете ли вы сегодня поработать без меня?

— Один час могу, а потом надо, чтобы вы посидели.

— Вы знаете Симона Ивановича Чиковани? — громко сказал Б. Л., вводя меня в столовую.

— По стихам — да.

Я поздоровалась, отказалась от чаю и ушла работать.

Дверь с веранды в столовую была открыта, и, если бы не моя глуховатость, я могла бы слышать все до слова. Там помянули меня, и затем Б. Л. громко спросил:

— Зоя Афанасьевна, а не покажем ли мы Симону Ивановичу работу?

— Не стоит, в вечернем освещении она смотрится ужасно. Разве что на условии, что вы будете позировать.

Я успела исправить главные дефекты, выступившие в новом освещении, и тут снова раздался голос Б. Л.:

— Зоя Афанасьевна, мы к вам идем.

Чиковани остановился в дверях, разглядывая портрет в три четверти сзади, а Б. Л. зашел с фаса. Он впервые видел работу, потому что до сих пор я запрещала смотреть.

— Да ведь это очень хорошо! Вы уловили что-то существенное. И то, что вы делаете меня птицей («хищной» — добавила я). — правильно. Но вы испортите. Так хорошо уже не будет. Начнете исправлять, вносить какую-то идею и испортите. А сейчас это — и я, и довольно приятный молодой человек. Я уверен, что ни Коненков, ни Сара Лебедева так бы не сделали. Стали бы мудрить, и ничего хорошего не вышло бы.

Чиковани тоже хвалил работу.

Я смущенно отшучивалась, а потом погрузилась в лепку. Они принялись говорить о грузинской литературе, о новых поэтах и их отношении к грузинским традициям и истории. т. п. Б. Л. сказал, что совсем оторвался от грузинской литературы. Разговор клеился плохо, прерывался паузами.

Чиковани принялся расспрашивать о переводах стихов Б. Л. на французский.

— Там хотели поручить перевод маститым поэтам с именами, но мне помог Альбер Камю, и дело кончилось тем, что стихи переводили никому не известные молодые переводчики, и прекрасно получилось. Они ничего не вносили своего и только добросовестно следовали за мыслью. Это и есть хороший перевод, где нет индивидуальности переводчика.

— Но позвольте, — не выдержала я, — это находится в полном противоречии с тем, как вы сами переводите. Почему вы к переводам своих стихов предъявляете такие требования, а сами переводите совершенно иначе.

— Я тоже стараюсь добросовестно переводить мысль.

— Почему же тогда, читая стихи в разных переводах, я сразу узнаю, что вот это переводили вы?

— Вы выдумываете.

— Выдумываю? Можно проделать эксперимент.

Но он уже сам почувствовал, что запутался, и махнул рукой.

— А при чем тут логика...

Не знаю, как они перескочили на это, но вдруг я услышала, что Б. Л. говорит: «Вероятно, это происходит потому, что я недостаточно знаю английский язык, но я не чувствую архаичности языка Шекспира. В то же время язык писем его современницы Елизаветы для меня труден».

— Дело, видно, не в языке, — сказала я. — Если бы Шекспира и Елизавету вы читали по-русски, наверно, и тогда вам ее трудно было бы воспринимать. Вероятно, дело в архаичности образа мышления.

Его глаза заблестели, и он мне улыбнулся.

— Это как раз и есть следующая моя мысль. Шекспир — это река, которая оmyвает наши берега. Есть два времени — одно физическое, а другое — органическое, измеряемое рождениями, смертями, большими событиями человеческой жизни, и оба они движутся неодинаково. И Шекспир, существующий в органическом времени, ближе к нам тех, кто не так отдален во времени физическом.

Потом он заговорил о своем отрицании романтизма. Он ставит ему в вину преувеличение и тут же оговаривает, что предметом искусства может быть лишь исключение, крайность, а не «средний тип».

— Аморфное среднее не может дать представления о явлении, оно видно только в крайних своих полюсах. Но когда я слышу крик страсти, когда мне говорят о сердце, истекающем кровью, об иступлении, я как-то замораживаюсь, я в это не верю. Насколько сильнее чувство, выраженное в преобразенных им картинах повседневности.

Он стал рассказывать о стихах одной немецкой поэтессы, присланных ему в письме.

— Там есть такой пейзаж. Старое, брошенное поместье. Серое туманное утро. Трое молодых людей уезжают. Они едут верхом вдоль ограды парка. Они оглядываются на старый дом. Они никогда не вернутся. Двигаются три фигуры. Это война.

И другое стихотворение. Глухой Бетховен. Все звуки, которые он не слышит и не услышит никогда, он собирает и бросает как крик отчаяния в мир. Это поражение.

Он говорит ровным, глухим голосом, а из глаз сбегают слезы, и он, не прерывая речи, смахивает их пальцем. Кажется, Чиковани ничего не замечает, а я не могу оторвать глаз от прекрасного взволнованного лица.

2 сентября 1958 г.

В эти дни я ходила в «ленинку», выписывала литературу о Б. Л., читала его прозу, которой у меня нет, и те стихи, которых я раньше не знала.

2 сентября я работала одна, а Б. Л. зашел меня проведать.

— А знаете, мы встретились с Чиковани на обратном пути и вместе ехали в Москву.

— Что вы говорите! О чем же вы разговаривали?

Я рассказала и заметила, что для грузина он очень скром.

Б. Л. ответил почти сурово:

— Они очень разные бывают, не надо обобщать.

— Б. Л., а кто эта немецкая поэтесса, о чьих стихах вы говорили? Она известна?

— Нет, она никогда не печаталась, но пишет прекрасные стихи. Это молодая женщина, ей года 24 — 26, вероятно. Ее дядя известный историк, философ Альберт Швейцер.

— А я на вас вчера рассердилась, — сообщила я.

Он удивленно вскинул брови.

— За что?

— Ну что вам стоило сказать, что десять стихотворений из романа в прозе были опубликованы в 1954 году в «Знамени». Ведь это так важно для меня, а я на них совсем случайно наткнулась в «ленинке».

— Ей-богу, я о них не помнил. Я вам дам стихи, это целая книжечка страниц в сто, но тогда, когда их вернут, сейчас у меня нет. А что вы там читаете?

— Все, что относится к вам. Разные статьи.

— Наверное, старые?

— Всякие. Но больше тридцатых годов. Читаю вашу прозу. Я еще со школьных лет помню и люблю «Воздушные пути».

— Это меня удивляет. Это плохая проза, манерная и надуманная. Так не надо писать. А вы читали «Повесть»? В ней много биографического.

— Как раз сейчас читаю. Я там нашла «Близнеца в тучах», еще не читала.

— Не читайте! Это очень плохие стихи. Если была бы возможность, я бы уничтожил почти все, что написал до сорокового года. А «Близнец в тучах» — желторотые стихи: выпренинные и беспомощные. Только мое тогдашнее невежество в

поэзии привело к тому, что они были напечатаны. Не надо их читать.

— Хорошо, не буду. Б. Л., а что из ваших стихов было опубликовано последним? Я после «Хлеба» в «Новом мире», в одном номере с Дудинцевым, ничего не встречала. Это последние напечатанные стихи?

— Клянусь вам, не помню. Правда, меня печатает «Литературная Грузия» и даже грузинский журнал «Мнатоби». А Дудинцева я не читал. Хорошая книга? Я ведь почти ничего не читаю. Завязываются какие-то личные связи, присылают книги — надо их прочесть. Нужно прочитать то, что появилось за последние годы и как-то прозвучало. Вот я читал Кафку, Альбера Камю, собираюсь Фолкнера читать.

Я делюсь своими впечатлениями о Фолкнере, и вскоре Б. Л. уходит, чтобы «пробежаться до обеда».

5 сентября 1958 г.

Опять я работала одна, и опять во втором часу зашел Б. Л. перебраться несколькими фразами.

— Борис Леонидович, у вас есть Элюар?

— Нет, у меня нет.

— Его выпустило наше издательство на иностранных языках. Я для вас купила. Хотите?

— Спасибо, — говорит он без особого воодушевления. — Я читаю. Это Эренбург издал? Мне говорили.

— Да, с его вступительной статьей. Он там о вас упоминает.

— Я немного читал Элюара. Он мне не слишком понравился, показался запутанным, темным, а местами — слишком патетичным, но я ваш сборник посмотрю. Спасибо...

...Некоторое время я жил в Лаврушинском. Во время налетов я подымался на крышу дежурить. Эти ночные дежурства вызывали у меня состояние, близкое к опьянению.

Семьи писателей уехали в Чистополь, я остался один, проходил на ополченском пункте военную подготовку.

— Меня удивляло в ваших военных стихах знание дела, полное отсутствие развесистой клюквы.

— Я ведь ездил во фронттовую полосу вместе с другими писателями.

Мы кончили работать, и Б. Л. пошел меня проводить.

На востоке на холодном зеленоватом небе светилась крупная звезда.

— Это Марс, — сказал он. — В прошлом году было великое противостояние. Я изо всех сил смотрел, но не заметил, чтоб он стал больше.

Звездное небо навело его на космические размышления, и он стал с восхищением говорить о спутниках...

9 сентября 1958 г.

В это утро я работала по фотографиям...

— ...Замечали ли вы, — спросил он, — сходство между скандинавской и русской литературой? В ландшафте мировой литературы, где есть свои горы, леса и стремительные потоки, — русская и шведская литературы похожи на глубокие спокойные озера. Есть такой шведский писатель Лагерквист.

Я его не читал, но мне написали письмо о том, что он оригинален и глубок и что есть связь между его поисками и моими. — и просят сделать о нем статью. Мне бы хотелось написать статью не столько о Лагерквисте, сколько о свежести и самобытности скандинавской литературы и ее месте среди других литератур...

14 сентября 1958 г.

— Я вам принес сегодня стихи. — сказал Б. Л., кладя на стол тетрадь, — но я не могу вам их подарить, у меня больше нет.

— Зачем же? Но вы позволите мне перепечатать?

— О да, пожалуйста. Только знаете что, перед тем как переписывать, дайте их мне. Там, наверно, много ошибок и опечаток, я просмотрю. И у меня к вам просьба, если вы заметите описки или какие-нибудь неясности, покажите мне и вообще отметьте все, что непонятно. В этих стихах я добивался предельной ясности смысла, и там не должно быть никаких темных мест. Я вам буду очень благодарен.

Он уселся на станок, и, поработав в молчании, я сказала:

— Я вчера была на вечере итальянских поэтов. Вы о нем ничего не знаете?

— Нет, ничего.

— Тогда я должна вам рассказать. Но во время работы трудно связно говорить, давайте после сеанса.

Но он все же задает вопросы о том, кто был, что читал, как принимали. Голос его потеплел от сочувствия, когда он узнал, что с Квазимодо случился инфаркт, и он лежит в Боткинской.

Когда я упомянула о выступлении Андрея Вознесенского, он мне рассказал о нем.

— Вознесенский начал писать рано, школьником. На выпускном экзамене по литературе его попросили прочесть на выбор стихотворение советского поэта. Он прочел мои стихи. Это было вызовом. Но все-таки ему поставили пятерку. Потом мы познакомились, он советовался со мной, куда ему поступить, и я отговаривал его идти в Литературный институт. Он поступил в архитектурный. Он одаренный поэт, стихи его написаны под напором, его захлестывает материал, и он не успевает сказать всего, что хочет, от этой недоговоренности создается энергия и стремительность ритма.

Он стал архитектором и начал печататься. Стихи его имели успех, и сейчас он переключился на литературную работу...

С похвалой отозвался о Евтушенко.

— Вчера я смотрел по телевизору вечер, посвященный Толстому, — говорит Б. Л. и принимается рассказывать о своих впечатлениях, о докладе, о президиуме...

— Потом был концерт. Показывали отрывки из «Воскресения». Ка-ак у них Катюша говорит! (Он имитирует речь). Ни в одном кругу — ни в купечестве, ни в крестьянстве, ни в мещанстве никогда так не разговаривали. Откуда они это взяли? Удивительная безвкусица! Зато мне понравилась молодая актриса... она понимает, что делает, держит с милой естественностью... и голос приятный. Вообще же я редко смотрю телевизор, а семья почти каждый вечер.

Он рассказывает о связи своих родителей с Толстым, о том, что мать часто ездила в Ясную Поляну играть для Толстого, о музее Толстого в Париже, созданном из архивов везенных за границу его семьей.

— Борис Леонидович, помните, вы мне обещали рассказать свой роман с Горьким. Расскажите сегодня.

— А-а! Ну, хорошо...

Кажется, в 24-м году я перевел пьесу Клейста «Разбитый кувшин» для журнала «Современник». Перевод был ужасный, беспомощный. И вот я получил оттуда рукопись с поправками. Как! Меня смеют править, учить писать! Я сейчас же написал заносчивое, щенячье письмо Горькому, требуя призвать редакцию к порядку. Ответа на это письмо не было. А потом, гораздо позже, выяснилось, что поправки вносил сам Горький, а я жаловался ему на него самого.

Когда я узнал об этом, я написал Горькому письмо. Он в то время жил на Капри. Он мне ответил, что мое письмо непонятное. Я написал снова, он прислал ответ, и мы стали обмениваться письмами.

Я вам говорил, что у Марины Цветаевой есть сестра Ася. Она тоже по-своему одаренный человек, но она меркла рядом с сестрой. Она была замужем за неким Зубакиным. Он великолепно знал историю, особенно историю религии, обладал замечательной памятью и мог говорить стихами о чем угодно, не задумываясь. Но это была богема, люди на редкость разбросанные и безалаберные, без особых принципов, принятых обычно в общежитии. Им очень хотелось на Капри, я о них написал Горькому, и он их пригласил...

— Разве вы не видались с ним?

— Виделся. Первый раз я пришел к нему по поводу Пильняка, у которого были неприятности.

Б. Л. в деталях рассказывает об этой встрече, о впечатлении от Горького, имитирует его окаящую речь. Я вдруг отчетливо вижу какого-то нового для меня Горького.

— Во второй раз я был у него в трудный момент моей жизни. Я очень увлекся Зинаидой Николаевной, она была женой Нейгауза, у нее было двое сыновей. Я тоже был женат, и у меня был сын. Мне огромных мучений стоило порвать с женой. Чтоб как-то облегчить ей разрыв, чем-нибудь отвлечь ее, я хотел устроить ей поездку в Германию. В те времена поездка за границу была как крупный выигрыш в лотерею. Я пришел просить Горького помочь мне.

— Новая любовь, это всегда очень хорошо, — сказал Горький.

— И помог?

— Да, она поехала с сыном в Германию. Потом на первом съезде писателей мы сидели рядом в президиуме. Горький шутил, когда меня поминали с трибуны, подталкивал локтем, спрашивал: ну, как ты на это будешь отвечать? — и добродушно трунил надо мной. Тогда я не думал, что вижу его в последний раз...

16 сентября 1958 г.

Я лепила одна. Прошло довольно много времени, и неожиданно в дверях появился одетый, в плаще Б. Л.

— Я пойду погуляю, а потом вам попозирую. Только не долго, с полчаса. Хотите?

— Хочу. Борис Леонидович, спасибо!

— О, пожалуйста, пожалуйста, — сказал он тоном, которым отвечают на благодарность при возвращении занятой десятки.

— Вы не поняли, я за стихи.

— Нет, я понял, — улыбнулся он.

Гулял он долго, но, наконец, пришел, и я усадила его спиной. Весь этот недолгий сеанс я работала над затылком, и разговаривал он спиной ко мне.

Поработав, я тихо сказала:

— А стихи ваши меня поразили...

— Да? — встрепнулся он.

— В них вы настолько выше себя прежнего, насколько в старых стихах вы выше всех остальных. «В перерыве» — чудо. С трудом представляется, что стихи созданы человеком, который сидел за столом, что-то марал, перерешал. Они кажутся нерукотворными. Чувствуешь, что они всегда были в душе, что пережито не хорошая книга, а прожит оставивший глубокий след день подлинной жизни. И от этого ощущение внезапного богатства, свалившейся на голову долгожданной удачи. Ведь это земля и небо, красота и жизнь стали больше своими, обжитыми. И совсем не хочется думать, почему это так хорошо, откуда эта берущая в плен сила, просто ей подчиняешься безоглядно. Спасибо!

Он отвечал мне взволнованно, задушевно, с силой.

— Я очень рад, что вы так к ним отнеслись. Я рад всему, что вы мне сказали. Вы — умный, чуткий, современный и очень одаренный человек. Не знаю, почему меня так взволновал этот разговор. Может быть, он такой особенный, [потому] что происходит спиной. Мне дорог ваш отклик. Но это сказано и не оставит следа. Вы спрашиваете, почему я трачу время на переписку — люди откликаются, а письма — это документ, это остается.

— Я понимаю. Но кое-что из того, что я вам говорила, я записала.

— Вы ведете дневник?

— Это нельзя назвать дневником. Я записываю только то, что относится к моему становлению как художника.

— Это должно быть очень интересно. Меня часто спрашивают, веду ли я дневник. Нет, не веду. Я мысли вынашиваю долго, иногда годами, а когда они созревают, то отливаются в форме стихов или художественной прозы.

— Вам дневник даже вреден был бы. Как бы ни была зафиксирована мысль, но она уже выражена и возвращаться к ней обычно не хочется.

— Вот видите, вы это лучше меня выразили. Вы любите грибы? Пообедайте с нами, у нас сегодня грибы.

Вскоре нас позвали. Он снова обратил мое внимание на ярко-розовое дерево за окном столовой.

— Как бы пасмурно ни было, всегда кажется, что ветки освещены заходящим солнцем.

Видимо, он любил эту яблоню. За обедом Зинаида Николаевна стала говорить о портрете.

— Мне портрет кажется мало похожим. Лицо у вас остренное и резкое, у Бориса Леонидовича все гораздо мягче и спокойней. Сходство есть, конечно, но портрет похож скорей на карикатуру.

— А у меня другое мнение. У меня физическое ощущение, что это я, я сам. Уловлено что-то очень существенное, и портрет мне нравится. Вы ее не слушайте, а то собьетесь. Вы на правильном пути, так и продолжайте.

19 сентября 1958 г.

...В этот день в ожидании Б. Л. я не лепила. Мне удалось настроиться на отчужденный взгляд, и я долго рассматривала работу в разных ракурсах и освещениях, а потом стала на клочке подвернувшейся бумажки записывать, чтоб не забыть, обнаруженные недостатки.

За этим занятием меня застал Б. Л.

— Что это вы пишете? Стихи?

Я объяснила.

— Вы молодец. Ваш метод работы очень похож на мой. Я тоже перечитываю написанное и на листке делаю пометки о том, что нужно исправить или переставить, что еще нужно доделать. Вообще ваше отношение к работе и ваш метод мне нравятся. Они мне близки.

Я отдала ему стихи.

— Я пойду наверх и посмотрю, а через час приду, — сказал он, унося тетрадь и благодаря за поправки. Через час он действительно спустился.

— Вы умница, — сказал он, — и так толково это сделали, пометили строфу и строку, легко искать. Я многими вашими замечаниями воспользовался. Не всеми, правда. Я иногда пропускаю запятые, чтобы не задерживать темпа. Вы проделали большую работу, и у вас есть корректорский глаз. Но когда вы прошлый раз хвалили эти стихи, я вас слушал и почти соглашался, а сейчас я их перечитывал, и они такими скучными мне показались.

Я стараюсь его разубедить.

— А знаете, какое у ваших стихов есть отличительное свойство? Я с вашим маленьким томиком, изданным в 33-м году, не расстаюсь уже почти двадцать лет. Проходят два-три месяца, я снова беру его в руки, и вдруг меня охватывает стыд.

Б. Л. делает быстрое движение — в нем испуг и любопытство.

— Как! Почему же?

— Потому что выясняется, что своего любимого поэта я не знаю. Вдруг я обнаруживаю, что я это читаю в первый раз, и это случается и тогда, когда я эти стихи знаю наизусть.

— А, — облегченно говорит он, — это и со мной бывает, когда я, например, Блока читаю. Но мне об этом же Камю написал.

Говоря о его стихах, я сказала, что в них тщательно замаскированы и неуловимы реальные события личной жизни, лежащие в их основу.

— Правда? Но так и должно быть! Я редко говорю о чем-нибудь с уверенностью, но в этом я совершенно убежден: лишь когда свое, личное, с кровью пережитое становится общим, ретает общечеловеческое значение, только тогда оно получает право на существование в литературе.

— И еще вы мне одно благодеяние оказали. У меня с детства патологическая зависимость от погоды. Мой тонус менялся столько раз, сколько за день солнце пряталось и выходило из-за туч. Вы меня от этого рабства освободили. Я увидела, что в свинцовых тучах, слякоти, грязных лужах есть красота и прелесть.

— Это верно! Умница. Я очень рад. — И правда, видно, что мои слова доставили ему удовольствие.

Я ему рассказываю, что накануне мы были у интересного человека — профессора Брюхоненко и о его «незаконной любви» — увлечении психологией восприятия. Брюхоненко установил, что человек использует возможности мозга в лучшем случае на 3—4 процента, мы — страшные ленивцы. Он продельвает в доказательство любопытные опыты: выучился различать в несколько раз больше оттенков, чем любой живописец, исполняет одновременно три мелодии с разным счетом и в разном темпе, может заниматься сразу четырьмя видами деятельности и т. д.

— Какой молодец! Одного того, что вы сказали, хватило бы какому-нибудь ученому рассусоливать на всю жизнь, а это у него даже не главное занятие! Я с недоверием отношусь к так называемым интересным людям. Чаще всего они бывают интересными только в глазах тех, кто так о них отзывался, а на поверку обнаруживается, что, кроме одной бросающейся в глаза особенности, в них ничего больше нет, чаще они краснобай и пустоцветы. Но ваш Брюхоненко вызывает у меня восхищение. Да, до революции в Москве была гимназия Брюхоненко, он не имеет к ним отношения?

21 сентября 1958 г.

Дома я просмотрела его правку. Принял он почти все, кроме удвоения согласных в словах «аккордеон» («Свадьба») и «миро»...

...На какую-то мою реплику он отвечает:

— Нет, я не боюсь дидактики. Каждый писатель хочет что-то объяснить, чему-то научить. А Толстой, Достоевский, Чехов?

Без всяких побуждений с моей стороны он принимается мне рассказывать о своем романе с З. Н. Вероятно, он подумал, что после обеда втроем у меня могли возникнуть вопросы.

— Когда я познакомился с Зинаидой Николаевной, она была женой Нейгауза. Она была тогда очень хороша собой, и я влюбился. Я был женат, у меня был семилетний сын, у З. Н. тоже было двое сыновей. Мое влечение к ней было мучительным. Я ни о чем другом не мог думать, рвался к ней и боялся этих встреч, и презирал себя, и заставлял себя приходить на свидание в наказание за трусость. Такое состояние очень точно описал Стендаль — помните роман Жюльена Со-

реля с мадам Реналь? Эта страсть должна была сломить препятствия, иначе кончилось бы каким-нибудь несчастьем. И вот, наконец, мы оказались вместе, у нас не было крова над головой, негде было приткнуться. По счастью, нам предоставил свою квартиру на Ямском поле Пильняк, а сам куда-то уехал.

А потом мы поехали в Грузию. Это было чудесное время. Нас замечательно принимали — знаете эти грузинские пиры по трое суток и пламенные тосты? Нас возили по Грузии в какие-то средневековые замки, в одном таком замке мы жили у Леонидзе.

Там я сошелся с Тицианом Табидзе и Паоло Яшвили. Табидзе был замечательный тамада, он обладал огненным темпераментом и даром импровизации и был украшением и душой этих сборищ.

И Б. Л. набрасывает живые характеристики — портреты обоих поэтов и рассказывает об их трагических судьбах.

— Когда мы вернулись, мы жили некоторое время у брата. Он оставался на старой отцовской квартире на Волхонке, но туда вселили несколько семей, и вся квартира была переделана перегородками.

23 сентября 1958 г.

— Ну, как вы довольны спектаклем? — спросила я Б. Л. о «Короле Лире», когда он уселся позировать.

— Да, они молодцы. Я знал, что будет хороший спектакль, и приготовился наговорить им приятных вещей, но неожиданно стал говорить другое. Все-таки в наше время Шекспира почти невозможно играть. Наряду с гениальными местами вдруг такая ходульность! Я жалею, что огорчил актеров, они играли добросовестно, и спектакль поставлен со вкусом. Но они тут ни при чем, дело в Шекспире.

После спектакля я пригласил их к себе..

— Меня пугает та легкость, с которой идет работа. Потом непременно выявится какой-нибудь просчет, когда уже поздно будет, — сказала я, останавливая его похвалы портрету.

— Ну, зачем вы стараетесь омрачить себе жизнь? Хорошо работаете, и слава богу.

— Но эта легкость мне вовсе не присуща. Есть люди, обладающие моцартовской удачливостью в труде, а мне все обычно дается с мучениями.

— Все мучаются. И Моцарт мучился, и Пушкин, который об этом писал, тоже мучился.

— Борис Леонидович, когда вы рассказывали о пропаже писем Марины Цветаевой, вы упомянули, что вместе с ними пропали письма Ромена Роллана. Расскажите о них.

— Хорошо. Я вам говорил, что я мало читаю и что многого я не читал вовсе. Такой непростительный пробел был у меня и с Роменом Ролланом. Я совсем не знал его, когда мне на глаза попались «Героические жизни». Меня захватило то, что он написал о Толстом, его постижение соединения гандизма и христианства на русской почве.

Я написал Роллану благодарственное письмо. Он ответил, и мы стали обмениваться письмами. В это время разворачивался мой роман с Зинаидой Николаевной. Я не мог решить, не разрыв с женой и чувствовал его неизбежность, и страшился этого шага, боясь причинить ей боль. И вот в этом состоянии духа я написал Роллану, очевидно, туманное письмо, намекая на предстоящий роковой шаг, за которым начинается неведомая жизнь. Он понял все иначе и прислал длинное, доброе, полное тревоги и основанное на недоразумении письмо, в котором пытался удержать меня от страшного поступка.

А его «Жан Кристоф» замечательная книга, правда? И как он хорошо музыку знает! А вот «Очарованную душу» и «Ксела Брюньон» я так и не читал.

— Ромен Роллан был наставником моей юности. Я ему написала несколько писем, но, конечно, ни одного не отправила.

— Почему?

— Мне всегда казалось назойливым и нескромным, когда писателю пишут о личном. Наверно, такие письма вызывают досаду.

— Нет, это не всегда так. Жаль, что не послали, вероятно, он был бы рад и ответил.

28 сентября 1958 г.

Этот сеанс был вечером. Позируя, Б. Л. все посматривал на портрет.

— Мне нравится, что в вашей голове при бесспорном сходстве есть благообразие. Что поделаеть, хочется быть красивым.

Занятая работой, я ничего не ответила. Но потом (он в это время сгибал и разгибал большую ногу), вспомнив эти слова и подумав, каким прекрасным я его вижу, я невольно фыркнула.

— Это вы надо мной из-за ноги смеетесь?

— Нет, над вашим желанием быть красивым.

— Разве оно не естественно? Все люди хотят быть красивыми.

— А знаете, в чем несоответствие между тем представлением, которое сложилось у меня о вас по книгам и по вашим вечерам, и моим новым знанием вас? Это ваше полное физическое и душевное здоровье.

— Да. Почему-то меня представляют неврастеником. Разве в стихах есть что-то болезненное?

— Нет, но там есть кое-что наводящее на такие мысли. Стихотворение «Болезнь» и «Я как грамматику бессонницу знаю...».

— Нет, я здоров и сейчас хорошо сплю. Пожалуй, я раньше себя никогда так хорошо не чувствовал. А вы бывали на моих вечерах?

— Да.

— Я их очень любил. Перед выступлением я волновался, нервничал, но, когда выходил на публику, вдруг успокаивался и так легко и естественно себя чувствовал. И не знаю, может быть, мне это казалось, но протягивались какие-то ни-

ти между мною и залом, и я чувствовал, что управляю публикой, веду ее, куда мне надо.

А однажды был ужасный случай. Я стал читать мало известные стихи из военного цикла, они незадолго перед тем вышли. И вдруг забыл. И никто подсказать не может. В зале были близкие, сын, я смотрю на них с мольбой: ну, подскажите же, а они не знают. Хоть бы кто-нибудь догадался книжку с собой взять! У меня возникло чувство какого-то отчуждения, хотя, вероятно, я был несправедлив. Я так и не мог вспомнить, пришлось извиниться и читать другие стихи. И так горячо аплодировали, что я почувствовал благодарность к публике за доброту. Ни одного смешка не раздалось. Мне приятно, что вы бывали на этих вечерах и помните их.

В этот день я привезла перепечатанные и переплетенные в четыре тетради его стихи с тем, чтобы он выбрал для себя две из них. Он очень благодарил, говорил, что чуть не до слез растроган.

Сидя на станке, он держал томик в руках и рассеянно перелистывал его.

— А «На Страстной» хорошие стихи, правда? — спросил он.

— Да, очень. И очень языческие.

— Как так?

— Там перевешивает вера не в бога, а в землю, любовь не к Христу, а к природе.

— Да? — раздумчиво говорит он. — Может быть, вы и правы. А самое значительное стихотворение сборника «Вакханалия», вы не находите? А «Душа» и «Перемена» слабые стихи. Я их давал для редакторов, чтобы пощекотать их нервы, все-таки они люди и в глубине души им нравятся такие вещи.

— Борис Леонидович, знаете ли вы, что я никогда не читала ваших «Волн», они мне не попадались. И вообще я знаю не все, что вами написано.

— Я вам не могу помочь, у меня самого этого нет. У меня нет и «Охранной грамоты». А что у вас есть?

— Избранное 1933 года и томик 1945-го.

— У вас есть книжка 1945 года? Тогда у вас есть все, что нужно.

— Но как же так — у вас нет ваших книг? Тогда я буду их вам раздобывать.

— А зачем?

— Но ведь время от времени полезно оглянуться назад, это помогает лучше видеть дорогу. Разве вам не хочется иногда перечитать «Охранную грамоту»?

— Не думаю, чтоб я стал когда-нибудь ее перечитывать, Я ее хорошо помню.

— Б. Л., а как возник роман? Мне хочется знать, сразу ли вы его весь увидели целиком.

— Я его писал долго, семь лет. В 1946 году мы были на торжествах в Грузии по случаю столетия Бараташвили. Стояли чудесные солнечные дни, все цвело, и было как-то празднично — кончилась война и появились новые надежды. И

мне захотелось сделать что-то большое, значительное — тогда и возникла мысль о романе.

Я начал со страничек о старом поместье. Так ясно представлялась большая усадьба, которую разные поколения перепланировывали по своим вкусам, и земля хранит следы еле видимых цветников, служб, дорожек.

Чтобы втянуться в работу, мне важно взять разгон, и я зачастую начинаю с чего-то побочного, второстепенного, а потом иногда эти страницы совсем выбрасываю...

30 сентября 1958 г.

— Б. Л., сегодня в «Литературной газете» стихи Вознесенского. Я вам принесла, хотите посмотреть?

— Да, спасибо.

Прочитав, он говорит:

— Хорошие стихи. Он мне их показывал. Он недавно вернулся из удачной поездки на Кавказ. В Тбилиси он завязал связи с грузинскими поэтами, стал их переводить.

— Да. На вечере итальянских поэтов он читал хороший перевод стихотворения Нонешвили «Со всеми и совсем вдвоем»....

...Он хвалит Вознесенского и предсказывает ему видное место в литературе.

— Спасибо, что вы мне показали газету. Я сегодня как раз пойду звонить по телефону и заодно позвоню Андрюше и поздравлю его, мальчику будет приятно. Он что-то значит в моем существовании, он какая-то спица в колеснице моей судьбы.

— Б. Л., а кто еще из молодых поэтов вам нравится?

Он хвалит задатки Евтушенко, но не уверен, что тот не собьется с пути.

...Б. Л. вышел к почтальону и вернулся с пачкой писем. Он был доволен, что так много.

— А мне все-таки жаль, что вы так много времени тратите на переписку. Когда еще все это будет собрано, переведено, опубликовано! И эпистолярный жанр мне представляется как-то ушедшим в прошлое.

— Какой там эпистолярный жанр! Пишу я на иностранных языках, а чего стоит мой французский или английский? Но идет поток писем и надо отвечать.

— А вы сохраняете хоть черновики?

Он даже руками замахал:

— Ну что вы! Терпеть не могу эту канцелярию. Я так не люблю себя прежнего, что избегаю те места, где есть следы моего прошлого.

— Борис Леонидович, а вы переводили из Рильке?

— Представьте, нет. Те стихотворения, которые я привожу в «Очерке», я специально для него и перевел. Когда-то в 20-х годах я перевел довольно большую поэму Рильке в белых стихах («Реквием»), перевод был опубликован в журналах (в «Новом мире» и «Звезде»).

— А вы с ним были знакомы?

— Нет, была единственная встреча в детстве, я о ней в «Охранной грамоте» написал. Отец был с ним знаком, состоял в переписке. Та первая книжка Рильке, на которую я случайно наткнулся, была с надписью отцу. Правда, незадолго до его смерти я написал Рильке письмо о своем к нему отношении.

— А какие стихи Рильке вы больше всего цените — немецкие или французские?

Он подумал.

— Все-таки немецкие.

— Мне показалось, как ни странно, что немецкие его стихи музыкальней французских.

— Странно, потому что французский язык мелодичнее? Нет, это неверный подход. Музыкальность связана со смыслом, а хотя Рильке и жил долго во Франции (он был секретарем Родена, вы знаете?), но думалось ему по-немецки свободней и естественней.

— Значит, вы не могли бы уловить музыкальность в незнакомом языке?

Он опять подумал, чуть поколебался и ответил:

— Нет.

10 октября 1958 г.

— Я подумываю о Рихтере.

— О, это может быть интересно. У него выразительная голова. Вы с ним не знакомы?

— Нет.

— Это можно будет устроить, как-нибудь я приглашу его и вас и вы у нас познакомитесь.

— Спасибо, Борис Леонидович! Но я вовсе не хочу доставлять вам столько мороки.

— Да нет, это совсем несложно, только его, кажется, нет сейчас в Москве.

Я опять как дура отнекиваюсь.

— Вам с ним интересно будет познакомиться. Он хорошо разбирается в живописи, сам немного пишет. Он обладает легкостью в схватывании, и его одаренность проявляется иногда неожиданно, например, он любит сочинять разные игры, придумывает головоломки.

Он дружил с Трояновской, проводил там целые дни, для него там даже рояль поставили, и он у нее упражнялся.

— Вы цените его как пианиста?

— Да, конечно.

Но он принимается говорить не о Рихтере, а о Клайберне. Он говорит о нем с воодушевлением, глаза его загораются, голос приобретает силу и мягкость.

— Он входит в музыку как хозяин, переворачивает все вверх дном и создает свой собственный порядок. Он существует в ней с неслышанной естественностью, и кажется, что никакой музыки до него не существовало, что он ее заново открыл!

— Вы были на его концерте?

— Нет. Я слушал по телевизору, и потом сюда привозили пластинки. Я прослушал Третий концерт Рахманинова в

исполнении Клайберна и самого Рахманинова, и, ей-богу, по моему, Клайберн ничуть не хуже Рахманинова. Вы хотели бы его лепить?

— Вы с ума сошли!

— Но хотели бы?

— Ну, конечно!

— Даст бог, буду жив, все будет благополучно, я это устрою.

12 октября 1958 г.

...Б. Л. принимается рассказывать о путешествии. Он в несколько штрихов создает маленькие картинки и раскладывает их передо мной.

Вот две из них.

Въезд в Италию.

— В поездах там нет спальных мест, да и ехал я третьим классом. Ночью ломит все тело, ужасно хочется спать, я уже вторые сутки не сплю, но жалко что-то пропустить, и я всматриваюсь в темноту. На какой-то маленькой станции после Сен-Готарда входят темнолицые худощавые крестьяне. Они вносят мешки с луком и мехи с вином. Обуты они в сыромятные постолы вроде индейских мокасин. У них профили древних римлян со старых золотых монет. Они всех вокруг угощают вином, оно пахнет козым мехом, но отказаться нельзя.

Потом все успокаивается, пассажиры начинают дремать, и вам на плечо ложится голова, обдавая вас запахом чеснока...

...Во Флоренции я выхожу на перрон, и мне кажется, что я попал в оперу. Великолепно поставленный баритон поет арию Верди. Я иду на звук, и оказывается, что это смазчик ходит с масленкой вдоль вагонов и распевает по всем правилам итальянской школы.

Работаю молча, потом тихо спрашиваю:

— Борис Леонидович, а вы никогда не жалели, что не поехали с отцом?

— О, это трудный вопрос. Но все было бы тогда гораздо мельче. Человек должен жить жизнью своего государства. Он должен жить напряженной, естественной жизнью, и тогда в творчестве будет напряженная естественность, а если вырвать человека из родной среды, то к нему не поступают новые соки. Ведь эмигрантская литература ничего значительного не дала.

Я бы поехал за границу с удовольствием, особенно в Скандинавию и Грецию — повстречаться с людьми, наговорить им приятного и самому услышать, но на полгода, не больше. Я не представляю своей жизни где-то в другом месте.

Мы замолкаем, потом я говорю:

— Уже полдевятого, пора кончать.

— Валяйте еще.

— Вы же устали.

— Ничего, ничего, валяйте.

Через четверть часа:

— А как вы пойдете домой?

— Прекрасно пойду.

— Прекрасно! Я вас провожу.

— Не выдумывайте, вы еле живой, вам надо отдыхать.

— Нет я вас провожу. И вот что, давайте сейчас кончим.

24 035320
203 010333

Очень темно. Идем молча, мне не хочется болтать, по Б. Л. заводит разговор:

— Этот Иванов такой комик, всегда смешные глупости выкидывает.

— Вы с ним старые друзья?

— Да, мы знакомы около двадцати лет. Это благодаря ему я начал переводить Шекспира. Собственно, я начал переводить «Гамлета» по заказу Мейерхольда. И вот как-то в гостях я читал первый акт. Там был Иванов, он расхвалил перевод Немировичу-Данченко, и кончилось это тем, что МХАТ расторг договор на перевод «Гамлета» с Анной Радловой, это нехорошо вышло, и заключил договор со мной. И кончал перевод я уже для них.

— А «Гамлет» шел во МХАТе?

— А, это целая история, я вам как-нибудь расскажу.

Но рассказывать начинает тут же.

Ночь теплая, туманная, темная. Мы идем по краю шоссе. В свете фонаря вдруг появляется крупная фигура, шагающая нам навстречу.

— Катаев, — тихо говорит Б. Л.

— МХАТ — избалованный театр, — принимается он за рассказ, — Новую постановку там готовят долго, иногда годами. Гамлета очень хотелось сыграть Ливанову...

17 октября 1958 г.

— Умер Иоганнес Бехер. Вы знаете?

— Нет, что вы говорите! А сколько ему лет было?

Я показываю ему некролог.

— Моих лет, а я думал — гораздо моложе. Меня не пугает мысль о смерти. Жизнь мне представляется большим заседанием. Оратору дают слово, чтобы он мог высказаться. Но поговорил и хватит, дай другому. Какая была бы скука, если бы одни и те же ораторы выступали без конца.

Помолчали.

— На днях я купила книжечку Заболоцкого. И одно стихотворение мне показалось подозрительным. Оно называется «Поэт».

— Да, он мне его показывал. А вы знаете, что Заболоцкий умер?

— Нет, что вы говорите? Когда?

— Два дня назад.

Мы молчим, как бы чтя его память.

— Он хороший поэт. У вас лиловая книжечка?

— Да. Он мне близок. И мне кажется, нет другого поэта, который работал бы настолько в вашей традиции.

— Вы так думаете? Мне кажется, нет. У него есть одно редкое свойство — тематичность, точное соответствие содержания названию — вот как в вашем «Творчестве», как будто картине придана этикетка строго по назначению. Это еще встречается у французов, у Бодлера, например, но мало свойственно русской поэзии, которая скорее непрерывно льющийся живой поток самовыражения. И что такое поэзия вообще? Это чудо совершающегося на ваших глазах превращения, когда такой поток вдруг выливается, переходит в форму и застывает на ваших глазах.

Он сам похож в этот миг на мага, руками совершает это чудо, и оно получается!

— Есть какие-то очень близкие мне люди, с которыми я встречаюсь регулярно, но не часто, а друзьями дома стали люди, которых я вовсе не люблю больше, чем других, скорее по привычке. Так было и с Заболоцким. Мы виделись три-четыре раза с большими промежутками. Я очень ценю его отношение к моим стихам. Он не признавал всего, что мною написано до «На ранних поездах». Когда он тут читал свои стихи, мне показалось, что он развесил по стенам множество картин в рамках, и они не исчезли, остались висеть...

— Вам повезло. У меня же родные косо смотрели и смотрят на мою тягу к искусству. И вокруг нет той среды, которая была вокруг вас.

— Среда... Какие-то остатки ее сохранились и теперь. Это люди, которым сейчас 60—70 лет, образованные, знающие языки, со вкусом. Но что это за вкусы? Когда-то было принято считать Чехова — Чехова! — не таким уж большим писателем. В начале века в моде был мистицизм, а Чехов был реалистом. Жизнь давно опровергла эти представления, а они все еще живут ими. Произошло потрясение всего, все перемешалось, перевернулось, а они и не заметили, их тридцать раз распинали, а они и не заметили, их тридцать раз за ноги подвешивали, а для них не это главное, а какие-то пустяки!

Мы помолчали. Потом я сказала:

— У меня за последнее время была еще удача в моих книжных приобретениях — я купила «Фауста».

— Да ну? В моем переводе?

— Конечно.

— Почитайте. Это хорошая книга.

— Меня «Фауст» потряс даже в переводе Холодковского еще в школьные годы. А я кое-что успела прочесть. Знаете, что поражает? О чем бы Гете ни писал, о большом или малом, и даже там, где мысли не новы и просто ходульны, — все проникнуто, я боюсь этого слова, но гениальностью, что ли.

— Это вы очень важное, очень существенное подметили.

— А как это объяснить? Раз вы сумели передать, значит, знаете.

Он задумался.

— Вы изучали языки, значит, вы филолог. Что такое слово «оригинальный»? Корень его означает «источник». Вот это — сам бьющий родник, из которого рождается потом река, непосредственное начало всего — это и есть «Фауст» Гете. Он позволил себе большую свободу, разрешил себе быть самим собой, писать, не оглядываясь вокруг, и в этом мощь, буйство «Фауста».

И только в «Фаусте» Гете такой, этого нет ни в «Вильгельме Мейстере», ни в других его вещах, там он скован следованием классическим традициям. Есть понятие гетеанство, но оно не относится к «Фаусту».

— Что касается перевода, то мне показалось, что его не существует, что «Фауст» вам настолько близок, что вы с ним



04.10.53.21
10.10.33

как бы одно. И что под многими его отрывками могла быть ваша подпись.

Улыбаясь, он качает головой:

— Нет. Это все-таки добросовестный перевод, а не повод для самовыражения. Но мы даже плохо себе представляем, насколько «Фауст» проник в наше сознание, как он до сих пор влияет и как многие им питаются в своем творчестве. Недавно я прочел два небольших романа одного шведа.

— Лагерквиста?

— Как вы все помните! А я зато помню, как я сказал, что Пушкин первым построил дом русской поэзии, а вы сказали, что Лермонтов был первым в нем жильцом.

— Вы будете писать о Лагерквисте?

— Пока не вижу возможности, — лукаво улыбаясь, ответил Б. Л.

— Он не оправдал ваших надежд?

— Да, он оказался совсем не таким значительным явлением, как мне расписали. И мне так ясно стало, что перед тем как писать, он перечитал «Фауста». Сначала я думал, что мне кажется, а потом — попался голубчик! — вот это место из сцены с «Гомункулом».

...Я вам не говорил еще, я буду переводить третью «Марию Стюарт».

— Как третью?

— Первая была Суинберна, вторая — Шиллера, а теперь буду переводить с польского Словацкого. Этой новости всего три-четыре дня. Поляки стали настаивать, чтобы переводил именно я, будто бы для Польши это важно, и добились того, что договор заключен.

Он рассказывает об авторе — современнике Мицкевича, с ним враждовавшем.

— А пьеса хорошая?

— В том-то и дело. Романтическая, риторичная. Ее надо делать с кожей, рифмованными стихами, тогда что-нибудь получится.

— А ее кто-нибудь хочет ставить?

— Они мне наговорили невесть чего, сулили золотые горы. Но я-то не дурак, я понимаю, что если уж ставить «Марию Стюарт», то Шиллера. Я кому-то сказал, что буду переводить не «Марию Стюарт», а польскую любезность...

Окончание следует

ПО СЛЕДАМ



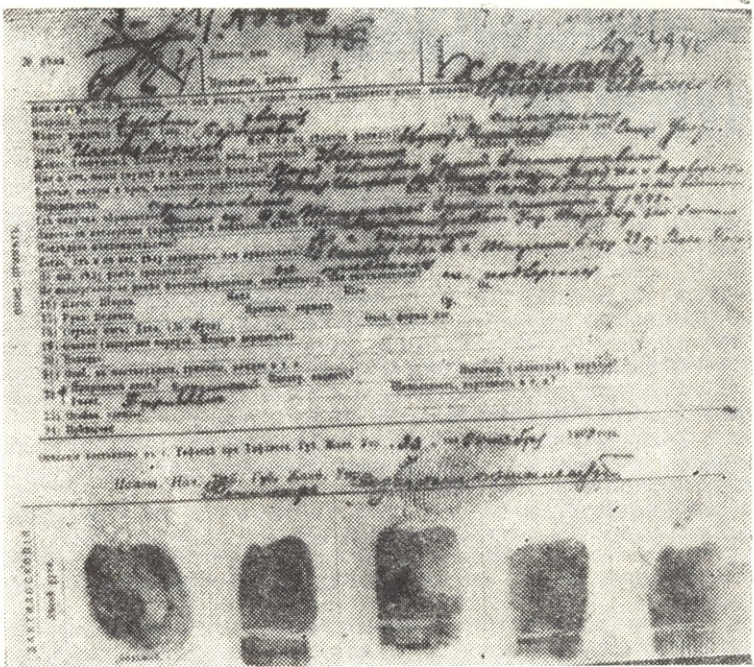
Как известно, 21 октября 1909 года в 2 часа ночи по распоряжению начальника Тбилисской жандармерии, в квартиру известного поэта-революционера Иродиона Евдощвили (г. Тбилиси, бывшая Измайловская улица, д. № 38, кв. 6) нагрянула полиция, произведшая там обыск и арестовавшая его.

Через день — 23 октября — в процессе снятия допроса с И. Евдощвили был составлен регистрационный лист. Были сделаны также фотографии арестованного и взяты отпечатки его пальцев. Все как положено...

Очень долго, в ходе поиска архивных документов, касающихся ареста поэта, его ссылки и возвращения на родину, проходившего в Тбилиси, Вологде, Сольвычегодске, Архангельске, Астрахани, Черном Яру, где нами было найдено немало цен-

ЭПИЗОД
ИЗ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОШЛОГО

ОДНОГО ДОКУМЕНТА



ных материалов, никак не удавалось разыскать регистрационный лист с фотографиями и отпечатками пальцев И. Евдос਼ვილი.

Поиски продолжались 30 лет. И лишь недавно в «фонде жандармского управления» (№ 4940) Центрального исторического архива Грузии с помощью его научного сотрудника Е. Э. Гогадзе нам посчастливилось наконец обнаружить этот недостающий фрагмент, благодаря которому спустя более 60 лет появилась возможность полностью, документально обоснованно осветить этот эпизод нашего революционного прошлого, связанный с биографией пламенного певца революции Иреднока Евдос਼ვიли

Шалва ГОЗАЛИШВИЛИ



РАССКАЗЫВАЮТ ЯСНОПОЛЯНСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ

Уход Л. Н. Толстого из Ясной Поляны в ненастную октябрьскую ночь 1910 года своей неожиданностью и таинственностью буквально ошеломил тогдашнее общество.

С того самого дня, когда его, заболевшего воспалением легких, сняли с поезда на небольшой железнодорожной станции Астапово, где он нашел свой последний приют в маленьком домике начальника станции Озолина, и вплоть до момента печальной кончины, все человечество жило в исключительном напряжении чувств, с замиранием сердца следя за исходом болезни Льва Николаевича.

Столбцы газет были полны подробностями события и догадками о причинах, побудивших великого писателя тайком, ночью бежать из родного дома.

Глухо шла молва, что уход Толстого из яснополянского дома был связан с ожесточенной борьбой, которая велась вокруг него якобы в связи с тайно подписанным им завещанием о передаче после его смерти прав на издание своих сочинений народу.

Эта молва, конечно, только отражала тяжелую обстановку, создавшуюся в семье Л. Н. Толстого на почве непримиримых разногласий, обусловленных его духовным переломом.

Изменив свои взгляды на жизнь, он желал в соответствии с этим изменить и свой жизненный путь. Но внешние условия жизни Толстого продолжали оставаться прежними. Слова его оказались в противоречии с делом.

Эта двойственность, причинявшая ему глубокие страдания, не могла оставаться незамеченной и не вызывать критики; поэтому разрыв прежних связей был воспринят как устранение всех противоречий его жизни и ощущение великого подъема духа.

Л. Толстой предстал перед миром в новом ореоле. Экспансивно настроенная студенческая молодежь, остро реагируя на

Впервые и единственный раз эти письма (без вводной статьи) были опубликованы в 1915 году в газете «Кавказский рабочий».

эти события и в особенности на смерть великого художника слова, живым потоком устремилась в Ясную Поляну, поклониться его праху.

Впечатляющая сила ухода Толстого была так велика, что и в течение ряда последующих лет наблюдалось это массовое «хождение» на толстовскую могилу.

Автор настоящих строк, будучи в ту пору студентом и находясь, как и многие другие, под влиянием обуревавших студенчество чувств, в 1911 году посетил Ясную Поляну. Плодом этого посещения явились три ниже публикуемых письма яснополянских крестьян с воспоминаниями о Л. Н. Толстом, которые приводятся с сохранением особенностей языка и стиля, а где возможно — и орфографии.

Автор первого письма — Наталья Жарова, многодетная мать, испытывающая на себе все горести и трудности жизни после потери кормильца, рассказывает об известных ей отдельных случаях проявления чуткости, доброты и любви к ближнему со стороны Л. Н. Толстого. Когда читаешь эти строки, кажется, что Наталья Жарова иллюстрирует бесхитростную и искреннюю надпись на транспаранте, который яснополянские крестьяне несли впереди похоронной процессии с останками Л. Н. Толстого: «Лев Николаевич, память о твоём добре не умрет среди нас, осиротевших крестьян Ясной Поляны».

В понимании Л. Толстого такие действия, как пахать, колоть дрова, складывать печи, являлись практически исполнением нравственного закона — доставлять себе трудом все, что нужно человеку.

Л. Толстой хотел опроститься и старался приучить себя к крестьянскому труду. Осип Макаров был первым, кто приобщал его к изнурительным крестьянским работам. Во втором — простом, обстоятельном — письме Осип Макаров поведал, как проходила эта «учеба».

Третье письмо написано Иваном Жаровым, одним из учеников организованной Толстым при доме школы. Иван Жаров в подробностях вспоминает о том, как он проводил там занятия. Через непререкаемую религиозность в письме проходит другая мысль — толстовское обращение к личной совести и к личной моральной ответственности каждого. Иван Жаров один из немногих, кто видел Льва Николаевича незадолго до его исчезновения из яснополянского дома. И. Жаров был постоянным спутником автора этих строк во время его пребывания в Ясной Поляне. В своих устных рассказах он передавал, что Л. Н. Толстой лежал в простом, желтом, дубовом гробу. Что после прощания, которое происходило в яснополянском доме, его останки в сопровождении тысячных толп были перенесены в «Графский заказ». Это место в лесу, выбранное самим Толстым для своей могилы. Во время шествия, — говорил И. Жаров, — образцовый порядок поддерживался студентами, курсистками и яснополянскими крестьянами. Гроб был опущен в могилу в полном молчании. Речи не произносились.

Ниже приводятся все три письма яснополянских крестьян.

Иван БЕЖАНОВ



Жили мы с мужем очень хорошо. Он не пил вина, не курил табаку. Он был легковым извозчиком, ездил в город. Жилось нам очень хорошо, да бог обидел, наказал, зная, за грехи: муж заболел. Болел он три недели, на четвертую неделю был жив два дня. До смерти его за четверо суток я родила дочь, которую назвала Маша. Оба мы были больны. Но имел божию искру доктор Маковицкий. Он стал ходить лечить нас, ходил два раза в сутки. Не прошло одних суток после родов, я встала и стала ходить за мужем. Пришел доктор Маковицкий, увидал меня, что я хожу, заругался, велел мне лечь. Я отвечаю, как же мне лечь, кто же мне будет ходить за мужем больным, за малыми детьми. Не сказал ничего и ушел. На другой день он пришел часов в девять утра. Потом пошел к Зябровой Пелагее, позвал ее походить за моим мужем. Прошло трое суток после моих родов, муж богу душу отдал. Я сильно стала плакать не о том, что муж умер — зная богу так угодно, а сильно плакала о том, что хоронить было не на что и взять было негде.

Доктор остановил меня от моих горьких слез, а велел прийти в одиннадцать часов утра в дом Льва Николаевича. Встала я утром рано, истопила печку, накормила деток своих, пошла. Иду и думаю: как я подойду и што стану говорить.

Не успела я подойти к дому, оглядел меня со второго этажа Лев Николаевич. Сошел вниз, позвал меня, повел на второй этаж, посадил пить кофе. Облепила меня семья; не могла выпить одного глотка. Софья Андреевна говорила: — Наталья, что ты, выпей, ты расстроена, больная, попарь изivot. — Ваше сиятельство, мне стыдно перед вами. Лев Николаевич сказал: — Соня, свежи ей сахар, чай, булки, — а сам дал 18 рублей и сказал: — Наталья, похорони своего мужа, потом приходи ко мне через неделю. — Похоронила я мужа. Деньги, которые дал мне Лев Николаевич, я израсходовала и сильно боялась, как бы не пойти по миру. Прошла неделя, пошла, как велел прийти Лев Николаевич. Прихожу я к дому. Лев Николаевич вышел гулять, увидел меня: — А, ты пришла, Наталья! Я тебя призвал за тем: я тебя сильно жалею и тебе хочу помочь; я тебе буду платить каждый месяц по три рубля на твоих детей. — Я хотела ему поклониться в ноги, но он меня остановил и сказал: — Разве я Спаситель, ты кланяешься в ноги. — И я была очень рада этому подаянню. Какой он был добрый — нельзя сказать, не нужно иметь отца родного.

После смерти моего мужа Лев Николаевич пришел на пасуху в 4-й день и сказал: — Наталья, я вижу, что тебе плохо с детьми без коровы (у меня коровы не было). Я сказала: — Лев Николаевич, я не могу купить себе коровы, у меня есть десять рублей, а на них нельзя купить коровы. — Наталья, ты выезжай на Красную горку в город Тулу и жди меня на Конной. — На Красную горку приезжаю в Тулу, прихожу на Конную площадь; походила немного. Потом приехал Лев Николаевич в карете и сказал: — Ну, как, пришла, Наталья. — Пошли мы с ним, где продают коров, и выбрал [он] мне очень хорошую

корову и сказал: — Вот тебе, Наталья, корова. Корми своих детей молоком. — Корова стоила 55 рублей. И, например, к рождеству и к пасхе давал на детей по 30 аршин ситца. Придет неделя за две до праздника, принесет ситец и скажет:

— Наталья, я нарочно позаботился до праздника. Ты всем детям шей по новой рубашке, чтоб они на праздник были чисты, а если я приду и увижу, что дети твои будут грязны, я тебя тогда буду бранить. — Скажешь ему — рада стараться, Лев Николаевич. — То-то смотри.

Когда я была еще девушкой — мне было 18 лет — я помню, что Лев Николаевич работал в поле крестьянские дела. Жила у нас в деревне крестьянка Анисья Копылова. Муж ее умер, и она осталась вдова с четырьмя маленькими детьми. Жила она очень бедно. В последнее время она пошла по миру просить подаяние, чтоб кормить своих детей. Услыхал это Лев Николаевич, что Анисья ходит по миру, призвал ее к себе, приказал ей больше не ходить по миру, стал ей сильно помогать. И у нее некому было работать землю — Лев Николаевич стал ей сам работать. В поле поехал он на сохе и на вороной лошади. Ему также приносили завтрак в поле, как мужику — бутылку квасу и ломоть ржаного хлеба. И сам он косил рожь, овес и сено. Надевал синие деревенские штаны, лапти, холstinую рубаху и кафтан черный, картуз.

В последнее время у Анисьи подросли дети и стали сами работать. Потом у нее была очень плохая изба. Он навозил песку, глины и обмазал Анисье избу. Теперь этой избы не стало — дети ее подросли и поставили новую избу. Больше я не видела, чтоб Лев Николаевич в поле работал.

В последнее время Лев Николаевич любил ездить верхом, гулял и пешком. Больше рассказать ничего не могу.

Писал Иван Жаров, житель Ясной Поляны, рассказала Наталья Жарова.

ОСИП МАКАРОВ

Это было не так давно, когда Льву Николаевичу было лет 60. Он пробовал крестьянские работы — пахал, косил, сеял. Подружился со мной. Приходит ко мне в марте месяце и говорит:

— Осип, поучи меня работать.

Я говорю: — Ну что ж, если охота. Вот через неделю поедете пахать, если дождя не будет, пахать под яровой посев.

Он заказал себе изделать соху, выбрал у себя не очень хорошую лошадь. Я поехал в Тулу, купил себе чюни — и ему чюни, себе онучи — и ему онучи и два кнута. Он и говорит:

— А когда ты поедешь в поле, то приди разбуди меня. — Встал я утром рано, пошел разбудил его, запрягли лошадей и поехали. Я сел на лошадь верхом, а он и говорит:

— Осип, а мне так можно сесть, как ты сидишь?

— Ну, что ж, садитесь, — я говорю. Остановил лошадь. Он сел верхом и поехали.

Приезжаем на поле. Наладил соху, сам поехал передом он за мной. Его качает в сторону, но все-таки наладился. Немного попахались, нам принесли завтракать — картох, с мо-
локом и бутылку квасу, ломоть хлеба. И он завтракал со мной.
Позавтракали и стали пахать снова. Вспахали все поле. При-
шло время сеять. Насыпали воз ова, взяли соху и борону. Я
стал сеять а он стал сохой заваливать и скородить. Отсея-
лись. Урожай был очень хороший. Пришло время косить. Я
сделал два крюка — ему и себе. Пошли косить — он нала-
дился и косит. Скосили все поле, и он работал очень хорошо.
С тех пор он стал работать один, сам стал пахать, сеять,
косить, возить, молотить и пр.

ИВАН ЖАРОВ

В 1908 году зимой у Льва Николаевича открылась своя домашняя школа из учеников — деревенских мальчиков; 15 человек было, а именно: Василий Михеев, Зорин Василий, Макаровых два, Иванов, Орехов Александр, Жаров Иван, Власов Федор, Воробьев Дмитрий, Зябрев Иван, Базыкин Петр, Резунов Павел, Сидорков Алексей, Волхиных два брата, Филипп и Михаил.

Приходили мы к нему вечером, в 7 часов, в его старый кабинет, садились вокруг круглого стола на садовых стульях, и он садился на садовом кресле. В этой комнате стоял стол, стулья, шкаф, в котором помещались книги и старинные ружья и рожок с надписью — «Славному товарищу Льву Николаевичу от товарищей». Над столом висели оленьи рога, в правой стене были высечены две человеческие фигуры.

Когда мы усядемся вокруг стола, к нам сходил со второго этажа своего дома Лев Николаевич, и у нас начиналось учење. Лев Николаевич прочитывал нам книгу «Учение Иисуса Христа», «В долине скорби», «Круг чтения», «Друг животных», любил прочитывать книжку «Солдатская памятка»: читал очень много полезных книг; рассказывал о природе — про моря, про леса, про разных людей, которые живут в разных странах; рассказывал, как основано тело человеческое, какие есть звери, леса, долины и все, что есть на свете божьем. Все это нас интересовало, и мы, сидя смирно, слушали каждое слово его. Потом он нам говорил о пьянстве, что не нужно пить вино и стараться нужно, чтобы помочь другим бросить пить вино и куренье табаку. Он нам рассказал про одного крестьянина — Максимова, Московской губернии. Он говорил, что он очень пил вино и курил табак. Однажды мне случилось говорить с этим крестьянином, я посоветовал ему бросить вино: это дурное дело. Он жил бедно, семья его часто голодала. Потом еще раз случилось говорить с ним. Тогда он бросил пить и стал жить хорошо: построил две каменных хаты, завел много скота, семья его стала счастлива, и он меня благодарил за мой совет и сказал, что вовек не будет пить вино — яд, и обещал, что другим будет говорить, чтобы они не пили так, как он пил допрежде.

Потом говорил он нам, чтобы любили других, жили в люб-

ви к ближним, любили нищих, помогали им чем только могли.

Потом говорил нам Лев Николаевич, что не нужно есть мясо: он говорил, что мясоедение есть грубый пережиток варварства. Не нужно отнимать жизнь у животных, они бессловесные и не могут сказать тебе, что не отнимай у меня жизнь мою, мне хочется жить. Если бы люди перестали есть мясо и не отнимали жизнь у животных, тогда было бы очень хорошо. Каждая скотина жила бы себе, потом сама и умерла. Мясоед, ведь ты не дал жизнь животному, а зачем же ты отнимаешь жизнь у бедной скотины. Перестань ты делать дурные дела — пусть кто дал жизнь ей, пусть и возьмет ее. И действительно, учение его было очень правильное и полезное для каждого человека. Мы часто делаем дурные дела — отнимаем жизнь у животных, но зачем это мы делаем — мы сами не знаем.

Говорил он нам о боге, что люди ходят в церковь, чтобы молиться там, и часто позабывают бога, начнут думать о другом. Придет в церковь наряженный и хорошо одетый, — и ты будешь думать тоже одеться хорошо. Нет, бога нужно помнить на душе своей. Человек взят из земли и в землю пойдет. Помрет человек — тело его изотлеет, а дух вечен. Дух божий живет в каждом человеке. Молиться нужно так: зайти куда-нибудь в лес или комнату, чтоб никто не видел тебя, и помолиться, говорить «Отче наш», который есть на небесах... Вот это есть учение его.

Так мы проводили зимнее время. А летом часто ходили с ним гулять по лесу, ходили купаться на речку Воронку, и он часто садился на пне около того места, где сейчас его могила, прочитывал какую-нибудь поучительную книгу. Он любил ездить верхом на своем милом коне Дагире. На Новый год он устраивал елку для жителей Ясной Поляны, зимой давал нам коньки-снегурки.

Он любил часто посещать яснополянскую школу. Накануне отъезда своего в Астапово, часов в 10 утра, Лев Николаевич зашел ко мне, Ивану Жарову, и позвал меня с собой в сельскую школу. Я с ним пошел. Пришли в школу. Он поговорил с учителем и сказал, что придет со мной книги. Мы пошли на дом к нему. По пути он зашел к одному крестьянину, старику, Прокофию Власову. У него брали сына на воинскую повинность. Поговорили немного с Прокофием, и мы пошли дальше. По дороге он упал, потом встал, и пошли мы с ним домой. Пришли в дом. Он повел меня наверх в свой кабинет, связал мне книги — 12 штук «Ясное Солнышко», потом дал мне рубль серебряный и проводил до своего другого дома, который мы прозываем кузьминским, и сказал:

— Рубль возьми себе, а книги отдай учителю. — Пожал мне руку и сказал:

— Ваня, прощай!

Больше я его в живых не видел. Видел его мертвым, когда с ним прощался, когда привезли его тело из станции Астапово.



ПОЛВЕКА СЛУЖЕНИЯ КНИГЕ

В связи с 80-летием со дня рождения и 55-летием литературно - издательской и общественной деятельности на имя Марка Израилевича Златкина пришло много поздравительных телеграмм. Вот несколько выдержек из них.

«Желаю старому другу наших братских литературного доброго кавказского здоровья, долгих дней жизни, новых успехов во всех делах, бодрости, счастья, благополучия», — пишет Николай Тихонов.

«...Многолетнее сотрудничество с Вами способствовало развитию пропаганды и распространению грузинской книги во всем мире...» Подпись — Леонов.

«Добрый, славным, неутомимым тружеником во имя расцвета грузинской литературы, во имя дружбы литератур всех светских народов» называет Марка Израилевича Микола Бажан.

«Вся Ваша творческая и трудовая жизнь отдана большому и важному делу воспитания любви к много-

национальной советской литературе» — читаем в телеграмме дружинцев (журнал «Дружба народов»).
«Нас связывает 50 лет дружбы и моей горячей любви к Вам». — Это Ираклий Андроников.

«Благодарю Вас за все, что Вы с талантом и великодушием сделали для многих людей и для меня». Эти слова принадлежат Белле Ахмадулиной.

«Ваша партийная страстность, принципиальность, духовная щедрость и жизнелюбие всегда остаются для нас символом настоящего человека, гуманиста, просветителя, гражданина» — так характеризует юбиляра Ираклий Чхиквишвили.

Можно было бы привести еще немало дружеских пожеланий, в которых отмечаются лучшие черты личности М. И. Златкина, значение его многолетней плодотворной деятельности. Но и сказанное устами столь крупных деятелей советской литературы и культуры, думается, дает уже довольно ясное представление о человеке, чей огромный опыт более полувекового преданного и бескорыстного служения благородному делу сближения двух культур, двух литератур — русской и грузинской, посредником между которыми он является, пропаганды грузинской литературы, чему способствовала вся его издательская деятельность, получил отражение в его многолетнем труде, очень точно названном «Когда книга сближает народы».

Выход второго, дополненного ее издания, подготовленного издательством «Сабчота Сакартвело», как и первого, безусловно, обрадует и одарит многих. Богатство содержащихся в ней документов, встреч со многими выдающимися деятелями обеих литератур, а также воспоминаний, раздумий, которыми автор, не таясь, делится с читателем, не может не вызвать чувства благодарности, не взволновать тех, кому так же, как и ему, дорога книга, которой он — не только по роду своей деятельности, но и по призванию — дает жизнь вот уже пять с лишним десятков лет.

Да и наша «Литературная Грузия», одним из основателей которой является Марк Израилевич Златкин, обязана ему своим существованием.

Это он — неизменный член редколлегии журнала, ее давний друг — вместе с другими его основателями дал

свое «добро», пуская нас в «далекое плавание» по морю многонациональной советской литературы.

Это он передал нам эстафету дела своей жизни — знакомить русского читателя с лучшими образцами насчитывающей 1500 лет своего существования грузинской литературы, как классической, так и современной, и все два десятилетия существования нашего журнала зорко следит за тем, как мы выполняем это свое высокое назначение полпреда грузинской литературы, ибо убежден, что ничто так, как она, не сближает народы. Из освещенной этой благородной идеей книги Марка Израилевича, выходящей вторым изданием, мы и приводим ниже одну из новых ее глав.

И присоединяясь к приведенным выше и еще очень многим не приведенным здесь словам приветия юбиляру, говорим от лица его детища — «Литературной Грузии»:

— Мы уверены, дорогой Марк Израилевич, что Вы всегда будете для всех нас все таким же необходимым, авторитетным, уважаемым и любимым наставником, верным другом, постоянным советчиком, желанным автором, неизменным помощником и соучастником неуклонного совершенствования нашего журнала.

Да будет долгой и счастливой Ваша жизнь! А человек, который так знает и любит свое дело, так долго и преданно ему служит, с таким вдохновением и упорством дает «путевку в жизнь» несчетному уже числу книг грузинских писателей в переводе на русский язык, не может не испытывать удовлетворения, чувства исполненного долга, а потому — не быть счастливым!

Низкий поклон Вам, истинному рыцарю — служителю нашей многонациональной советской книги!

«ЧТОБЫ ПОНЯТЬ НАШ ДУХОВНЫЙ МИР»

ГРУЗИНСКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ

В процессе культурного взаимообогащения людей планеты все более важную роль играет книга, печатное слово, что, как мы видим, подтверждается и стимулируется международными соглашениями, выражением доброй воли.

В Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшегося в Хельсинки, в документе, принятом высшими политическими и государственнымными руководителями 33 европейских государств, США и Канады, особое внимание уделено, в частности, международному обмену книгами на коммерческой основе. В нем говорится:

«Рекомендовать, чтобы издательства при определении тиражей учитывали также запросы из других госу-

дарств - участников и чтобы права на продажу, где это возможно, могли предоставляться в других государствах-участниках по согласованию между заинтересованными сторонами нескольким торговым организациям стран-импортеров; ..поощрять расширение перевода произведений в области литературы и в других областях культурной деятельности с языков других государств - участников, в частности произведений, созданных на менее распространенных языках, а также издание и распространение переводных произведений с помощью таких, например, как: содействие более регулярным контактам между заинтересованными издательствами; развитие их усилий в подготовке и совершенствовании переводчиков; оказание содействия подходящими средствами издательствам их стран в публикации переводных произведений; поощрение обмена между издателями и заинтересованными учреждениями списками

Глава из работы «Когда книга сближает народы», выходящей вторым изданием в издательстве «Сабчота Сакартвело».

книг, которые могли бы быть переведены...».

В том же документе сказано: «Поощрять изучение иностранных языков и цивилизаций в качестве важного средства для расширения общения между народами, для их лучшего ознакомления с культурой каждой страны, а также для укрепления международного сотрудничества...».

Говоря в данном случае о книге на русском языке, в частности по разделу художественной литературы, мы имеем в виду не только оригинальную русскую литературу, но и переводы на русский язык с языков всех наций и народностей Союза ССР.

Мы уже отмечали — и старались проиллюстрировать на примере деятельности республиканского издательства — то подтвержденное жизнью положение, что русский язык служит средством межнационального общения. Его изучают в общеобразовательных школах, профтехучилищах, техникумах и вузах, он становится для людей нерусской национальности как бы вторым родным языком. Овладение русским языком происходит и закрепляется наряду с глубоким знанием родного языка, того языка, на котором произносятся первые слова человеческой речи.

Русскому языку учатся миллионы людей и за рубежами нашей Советской Родины. Это было убедительно подтверждено на состоявшемся в Варшаве в августе 1976 года Третьем международном конгрессе преподавателей русского языка и литературы. Если на Первом

конгрессе преподавателей русистов в 1969 году присутствовали представители семнадцати стран, то на Втором, в 1973 году, — около тридцати, то на Третьем конгрессе — пятидесяти государств. Их представляли две тысячи делегатов. В настоящее время русский язык изучают в зарубежных странах двадцать миллионов человек.

Внешнюю торговлю книгами ведет Всесоюзное объединение «Международная книга» — старейшая в нашей стране организация.

Говоря о «Международной книге», я назвал ее старейшей организацией, имея в виду, что это объединение возникло в 1923 году, в период восстановления народного хозяйства, когда наши экспортные возможности были весьма ограничены и в силу тогдашних международных отношений лишь немногие фирмы соглашались на установление деловых взаимоотношений. Иная картина создалась в последующие годы развития и укрепления Советского Союза и в особенности в настоящее время, когда неизмеримо выросли наши экспортные возможности, во много раз возрос международный авторитет нашей Родины и из года в год повышается интерес мировой общественности к опыту Советского Союза в политической, социальной и экономической жизни, в создании многонациональной социалистической культуры. Ныне среди деловых партнеров «Международной книги» по импорту более чем тысяча крупнейших книготорговых, издательских, музыкальных и филателистиче-

ских фирм в 130 странах мира.

В сборнике «50 лет на службе прогрессу», выпущенном в 1973 году в связи с юбилеем «Международной книги», говорится, что «по богатству ассортимента экспортных товаров Всесоюзное объединение «Международная книга» — одна из крупнейших в мире организаций подобного рода».

Прочные взаимовыгодные деловые связи имеют с нею зарубежные фирмы.

Положительные результаты работы «Международной книги» являются естественной частицей успехов Советского Союза во всех сферах политики, экономики, культуры, результатом того, что международная разрядка напряженности во все большем объеме наполняется конкретным материальным содержанием.

Советские книги, газеты и журналы, экспортируемые «Международной книгой», можно увидеть и купить почти во всех крупных городах мира. Вся работа по продаже за рубежом советских книг выполняется местными фирмами и издательствами на основе коммерческих договоров с «Международной книгой», которая экспортирует книги по заказам фирм зарубежных стран немедленно по выходе заказанных книг из печати. А книги заказываются по еженедельным бюллетеням «Новые книги СССР». Издания, перечисленные в этих бюллетенях Всесоюзного объединения «Международная книга», кратко аннотированы. Кроме аннотации, дается по некоторым книгам и иллюстративно - рекламный мате-

риал. Остановимся конкретно на грузинской художественной литературе, издаваемой нашим издательством «Мерани» на грузинском языке и в русских переводах и распространяемой в части тиражей через «Международную книгу». Так, например, на внутренней стороне обложки бюллетеня «Новые книги СССР» от 4 февраля 1972 года помещен фотоснимок известного грузинского писателя Константина Гамсахурдиа. Писатель на снимке сидит в кресле с раскрытой книгой на коленях. Левую руку он протянул к сидящей напротив собаке, ласково глядя на нее. Над снимком крупным шрифтом красной краской напечатаны имя и фамилия писателя, а под снимком текст: «Собрание сочинений в восьми томах. Издательство «Мерани», Тбилиси». Краткие сведения об этом издании приведены на 31 странице бюллетеня, там же указано, что содержание собрания сочинений приводилось в первом номере бюллетеня за тот же год.

Это только отдельный пример из давних связей и контактов издательства «Мерани» со Всесоюзным объединением «Международная книга». Все более увеличиваются заказы на наши издания. Достаточно сказать, что на книгу «Грузинские народные сказки» для удовлетворения заказов зарубежных фирм «Международная книга» дала заявку в свое время на 8.500 экземпляров.

Не случайно, что в упомянутом уже сборнике «50 лет на службе прогрессу» раздел, посвященный художественной литературе, назван:

«Чтобы понять наш духовный мир». Именно художественная литература помогает зарубежному читателю понять, эмоционально воспринять советский образ жизни, представить себе морально-этический облик советского человека, ознакомиться с историческим прошлым народов нашей страны по произведениям классиков литературы и современным произведениям на исторические темы.

«А. Пушкин, Ф. Достоевский, Л. Толстой, А. Чехов, Т. Шевченко, Х. Абовян, Ш. Руставели, Я. Райнис. Имена эти известны едва ли не в каждом уголке нашей планеты, — говорится в том же сборнике. — Многие десятилетия лучшие произведения классиков художественной литературы народов Советского Союза широко издаются зарубежными издательствами, включаются в учебные планы, изучаются и читаются во всех странах. Они прочно вошли в золотой фонд мировой литературы».

Эти строки подтверждены конкретными данными библиографии. «Например, бессмертная поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» уже издана в переводах на языки: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, китайский, японский, монгольский, венгерский, румынский, польский, чешский, персидский, иврит. 800-летие со дня рождения Руставели по решению президиума Всемирного Совета Мира праздновалось всем советским народом и всей мировой прогрессивной общественностью, зарубежными писателями,

учеными и общественными деятелями 32 стран»¹.

Издания этой поэмы на грузинском языке и в русских переводах широко экспортировались через «Международную книгу» по заказам из-за границы. Эти заказы учитывались издательством «Мерани» при установлении тиражей изданий поэмы.

В целях наиболее полного информирования зарубежных фирм и издательств об издаваемых в СССР книгах, журналах, газетах и других товарах, предлагаемых на экспорт «Международной книгой», последняя ежегодно издает и рассылает более пятисот наименований различных каталогов, проспектов и других рекламных изданий общим тиражом около пяти миллионов экземпляров. Какие же это каталоги и проспекты? Это прежде всего уже упомянутые бюллетени «Новые книги СССР», затем ежегодные каталоги «Советские книги». О книгах на языках народов СССР рассказывают ежегодные каталоги, в частности о книгах на грузинском языке.

Наряду с экспортом «Международная книга» ежегодно импортирует в Советский Союз около 20 тысяч наименований газет и журналов и более 70 тысяч наименований книг почти на всех литературных языках мира.

Одна из актуальных и интереснейших проблем, стоящих перед издательством «Мерани», как и перед дру-

¹ А. М. Б а б а я н. Шота Руставели. Библиографический справочник, 1712 — 1970. Изд. «Наука». М., 1975, с. 7.

гими издательствами, заключается в изучении читательских интересов зарубежных покупателей книг, изданных на языках народов СССР, в данном случае на грузинском языке и в русском переводе. Конечно, интересы читателей разных стран, различных профессиональных и научных профилей, уровней образования и литературного развития далеко не одинаковы, тем не менее можно сделать кое-какие обобщенные выводы. В частности, несомненен интерес к истории Грузии, к ее культуре и национальным традициям, к сегодняшней ее социалистической действительности, к борьбе за коммунизм. Определенный интерес проявлен зарубежными читателями к таким книгам, рисующим историческое прошлое народа, как роман «Десница великого мастера» и роман-тетралогия «Давид Строитель» Константина Э. Гамсахурдиа, как роман «Лашарела» и последующие части этой исторической эпопеи Григола Абашидзе, как много томный роман Анны Антоновской о жизни Георгия Саакадзе.

Из книг, отражающих коренные экономические и социальные изменения в советской деревне, гигантскую ломку вековых традиций, преобразование психологии и морали сельского жителя, в сборнике «50 лет на службе прогрессу» названы: «Поднятая целина» Михаила Шолохова, «Бруски» Ф. Панферова, «Гвади Бигва» Лео Киачели, «Бурьян» А. Головки, «Подъем» Абульгасана, «Одиночество» Н. Вирты. Весьма примечательно, что среди книг, по-

казывающих становление нового человека социалистической деревни и пользующихся спросом и популярностью за рубежом, названа книга грузинского советского классика Лео Киачели — роман тонкой психологической разработки человеческой личности.

Росту запросов зарубежных издательств и фирм на книги, издаваемые в СССР, способствует деятельность Всесоюзного агентства по охране авторских прав. Целью этой общественной организации является, как это заявлено в ее уставе, обеспечение соблюдения авторских прав советских и иностранных авторов и их правопреемников при использовании произведений науки, литературы и искусства на территории СССР, а также советских авторов и их правопреемников при использовании произведений за рубежом. Агентство по охране авторских прав содействует созданию наиболее благоприятных правовых условий, моральных и материальных предпосылок для плодотворного труда деятелей науки, литературы и искусства, всемерно содействует ознакомлению народов других стран с лучшими произведениями советской литературы, науки и искусства и развитию обмена ценностями культуры.

По сведениям Грузинского республиканского агентства по авторским правам за трехлетний период его существования зарубежные издательства выпустили более 200 книг грузинских авторов. В числе их романы Г. Абашидзе, изданные в Болгарии, ГДР, Венгрии, Польше, романы и рассказы

Н. Думбадзе, вышедшие в свет во всех социалистических странах, а также в Финляндии, Японии, Швеции, ФРГ, Франции, В Болгарии, Венгрии, Чехословакии, ГДР, Польше и Югославии вышли поэтические сборники И. Абашидзе, И. Нонешвили, М. Кахидзе, Дж. Чарквиани, прозаические произведения Г. Шатберашвили, Р. Джапаридзе, О. Чиладзе, Т. Чиладзе, Г. Панджикидзе, Ч. Амиразджиби, О. Иоселиани и других. Ряд зарубежных издательств готовит к печати произведения грузинских писателей. Так, в Чехословакии выйдут в свет произведения М. Джавахишвили, К. Лордкипанидзе, Г. Гегешидзе, стихи и рассказы А. Сулакаури. Сборник Г. Гегешидзе «Расплата» издается в Швеции, а рассказы Гурама Рчеулишвили — в Испании и Югославии.

Ярким примером взаимобогащения культур народов может служить решение, принятое представителями югославской фирмы совместно с Союзом писателей Грузии и Республиканским агентством по авторским правам об издании в Югославии антологии грузинской поэзии, грузинских народных сказок и «Сокровищ Музея искусств Грузии», а в Тбилиси — антологии сербской поэзии, сербских сказок и «Миниатюры в сербском искусстве».

Пропаганде и рекламе грузинской литературы за рубежом служит издаваемый и рассылаемый 72 странам информационный бюллетень на грузинском, русском, английском, французском и немецком языках. В бюллетене, наряду с аннотациями,

публикуются статьи, эссе, информации о видных представителях грузинской советской литературы, науки, искусства.

Многолетняя плодотворная деятельность Всесоюзного объединения «Международная книга» и контакты, устанавливаемые ВААП с зарубежными партнерами, в известной степени подготовили и обеспечили успех проведенной в 1977 году первой московской международной книжной выставки-ярмарки.

Выставка-ярмарка, на которой была представлена книжная продукция более 1.500 издательских организаций и фирм из 67 стран мира, прошла под девизом «Книга — на службе мира и прогресса», что и явилось главным залогом ее успеха.

Самым большим на выставке был раздел советской книги. Выставленные пятнадцатью советскими республиками издания красноречиво свидетельствовали о расцвете национальных культур, достигнутом в единой семье народов за 60 лет, прошедших со дня победы Великой Октябрьской социалистической революции. Это вместе с тем и наглядный показ достижений многонациональной советской художественной литературы, ее огромного идейного и эмоционального воздействия не только на советских читателей, но и на читателей за рубежом нашей страны.

На выставке - ярмарке «Международная книга» подписала договоры с зарубежными фирмами и организациями о взаимных поставках книг на сумму около шестидесяти миллионов рублей. Свыше 1.200 контрактов

было заключено при посредничестве ВААП по приобретению права на перевод и издание произведений зарубежных авторов в СССР и советских авторов за границей.

Значение московской выставки-ярмарки книг, этого международного форума издательств, на котором было представлено и наше издательство «Мерани», не огра-

ничивалось торговыми и издательскими контактами. На выставке происходили встречи советских писателей с зарубежными коллегами из стран социалистического содружества и из капиталистических государств. Выставка способствовала расширению международного культурного обмена и укреплению всеобщего мира на земле.



«ИЗБРАННОЕ»

Книга известного грузинского поэта Александра Гомиашвили, выпущенная недавно издательством «Мерани», знакомит русского читателя как с его лирическими стихами, так и с романтическими балладами о прошлом Грузии, о гражданской войне в Закавказье, о социалистической Родине. В этих произведениях проявились лучшие черты дарования их автора. В переводе таких известных поэтов, как Б. Брик, А. Воронов, Е. Долматовский, Е. Евтушенко, А. Кочетков, Ю. Левитанский, М. Максимов, А. Межиров, М. Синельников, Б. Серебряков, Л. Темин, С. Шервинский, донесены до широкого читателя присущие А. Гомиашвили романтическая приподнятость языка, праздничная яркость палитры, пристрастие к героическим характерам.

Как сказано в предпосланной книге ввводной статье Георгия Маргвелашвили, являющегося также редактором-составителем этого сборника, Александра Гомиашвили как поэта и человека в первую очередь характеризует цельность. «Цельность, — пишет он, — это точнейшее определение. И оно вполне применимо к такому явлению, как соответствие натуры и характера художника природе и характеру его дарования».

«ЗАРИСОВКИ
ВЕЧЕРНЕЙ ПОРЫ»

В новый сборник, вышедший на русском языке в переводе Аиды Абуашвили (издательство «Мерани», 1978), вошел 31 рассказ одного из интересных и самобытных грузинских прозаиков Реваза Инанишвили. Короткий рассказ — его излюбленный жанр, в котором он стремится выразить то, что ему понастоящему близко. В творчестве этого оригинального писателя нас привлекают мягкий лиризм, глубокий психологизм и отточенное мастерство, свойства, наиболее трудно поддающиеся переводу на другой язык.

«ПОЕДИНОК»

Так называется изданный «Мерани» роман Ростома Беканишвили, недавно увидевший свет в авторизованном переводе с грузинского Веры Киреевой. Посвящен он борьбе грузинского народа за установление Советской власти в Грузии. Роману, состоящему из четырех частей под названием — «Февраль», «Беспокойный призрак», «Жернова мщениия», «Возврат пропавшего без вести», предпослан автограф, слова которого взяты у Важа Пшавела: «Довериться тебе не смею, и не довериться страшусь». Уже по всему этому можно судить о том борении страстей

во имя победы нового, которое разворачивается в произведении на примере судьбы революционера коммуниста Дата Кахидзе в одном из кахетинских сел, где противоборство полярных сил в сложнейших условиях потребовало больших жертв, огромного накала чувств, стойкости и отваги.

«ЗАПОДОЗРЕННЫЙ»

В сборнике новелл Реваза Мишвеладзе, выпущенном в текущем году издательством «Мерани» в переводе на русский язык Майи Бириюковой, явления увидены, как отмечено в краткой аннотации, предпосланной книге, с особого, трагического угла зрения. Ситуации в ней подчас гиперболизированы, характеры — гротескны. Однако сверхзадача автора — выявить с помощью этого в своих героях человеческое, доброе начало, вопреки тому теновому и наносному, которое, хотя и чуждо нашей жизни, все еще присутствует в ней. И сделано это так, что, испытав боль и горечь, читатель в итоге все же поверит в силу добра и света.

«ОДОЛЕННАЯ ВЫСОТА»

В сборнике представлены литературно-критические статьи известного грузинского критика и литературоведа Пурاما Гвердцители, в совокупности позволяющие проследить процесс развития грузинской литературы 50 — 70-х годов. Большинство из этих работ, ранее опубликованных на русском языке в республиканской и союз-

ной периодической печати, посвящены творчеству отдельных произведений грузинских писателей, преимущественно прозаиков. Поднятые в этих статьях монографического характера проблемы, а также подмеченные их автором, оперативно откликнувшись на все наиболее значительные явления в современной грузинской литературе, тенденции, черты и помогают воссоздать общую картину литературной жизни Грузии в ее поступательном движении.

Книга, объединяющая 19 статей, последняя из которых датирована 1977 годом, что свидетельствует о том, что автор всегда идет по горячим следам, только что выпущена издательством «Мерани» в переводе на русский язык Э. Елигулашвили и Л. Браиловской.

«НАЧАЛО»

Фазиль Искандер известен широкому кругу читателей своими поэтическими и прозаическими книгами. Его творчество, как сказано в краткой аннотации, «глубоко национально, оно связано с Абхазией, ее людьми, веселыми и гордыми, и яркими красками ее природы, где родился, рос и начинал свой путь в художественную литературу автор». В этом смысле название сборника «Начало», который совсем недавно выпустило в Сухуми на русском языке издательство «Алашара», симптоматично и оправдано. Восемь рассказов Фазиля Искандера в книге, названной по первому из них, даны краю и людям, с которыми

творчество его пожизненно связано кровными и нерасторжимыми узами.

«СТИХОТВОРЕНИЯ»

Это одиннадцатая книжка Георгия Крейтана. Десять — вышли при жизни автора, участника Первого Всесоюзного съезда писателей, члена Союза писателей СССР, много лет жившего и работавшего в Грузии, в Тбилиси, старого и опытного редакционного работника. Последняя, подготовленная издательством «Мерани», вышла в этом году, много лет спустя после смерти Г. Крейтана. В названный сборник (составитель его Н. Орловская), являющийся данью памяти поэту, преимущественно вошли лирические стихотворения; последнее из них написано им в 1950 году. И если открывается книжка стихотворением «Память о детстве», то завершают ее элегические строки «Настала осень. Солнце светит реже...».

«ТОЛЬКО НЕ ПЛАЧЬТЕ»

Небольшой сборник этого названия — первая книжка студентки Литературного института имени М. Горького Карины Зурабовой. Некоторые из включенных в него рассказов были напечатаны в журналах «Юность», «Литературная Армения», в сборнике «Дом под чинарами». Давший название всему сборнику рассказ «Только не плачьте» премирован, как отмечено в аннотации, на конкурсе «Зеленого листка»

в журнале «Юность» в минувшем году. Книжка достоверно передающая настроения и переживания сегодняшней молодежи, вышла на русском языке с грифом издательства «Мерани», датирована текущим годом и может быть рассмотрена как творческая заявка молодого автора.

«ДА ВЫРАСТУТ...»

Эта книга Нико Кецхвели — из серии «Наша Родина», выпускаемой Детюниздатов Грузии. В ходе путешествия по Нижней Картли, Триалети, Джавахети и т. д. ее герои знакомятся с историческими памятниками, прошлым и настоящим этих уголков нашей республики. Изданию предпослана карта их маршрута, а текст — это преподнесенный в увлекательной и доходчивой форме рассказ обо всем увиденном здесь.

Первое издание этой книги известного грузинского ученого и общественного деятеля Н. Н. Кецхвели вышло в этом году на грузинском языке в издательстве «Накадули».

«КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННОКИ»

Касаясь в этой книге развития некоторых художественных идей, берущих начало в классике, ее автор Гурам Асагиани прослеживает их своеобразное преломление в творчестве современных грузинских писателей. Классики и современники — их преемственность и составляет основной предмет исследования критика в его рабо-



«САМОУЧИТЕЛЬ ГРУЗИНСКОГО ЯЗЫКА»

тах за последние полтора десятилетия, некоторые из которых посвящены актуальным проблемам сегодняшней поэзии, прозы и литературной критики. Эти статьи и составили названный сборник, выпущенный недавно издательством «Мерани» на русском языке.

«ЗРЕНИЕ»

В книгу Ушанги Рижинашвили, посвященную памяти его отца и друга И. Д. Рижинашвили, вошли как стихи, так и проза. Они соседствуют в сборнике естественно и непринужденно, дополняя друг друга. Благодаря такому сочетанию поэтическая острота зрения автора органически сочетается с напряженным философско-эстетическим осмыслением явлений жизни. Помещенные в конце сборника рассказы расширяют пространство и углубляют перспективу стихов. «Зрение» — третья книга У. Рижинашвили. Ей предшествовали «Три солнца» и «Эстетическая информация». Вышедший сейчас на русском языке новый сборник автора имеет гриф издательства «Мерани».

Книга эта, предназначенная для лиц, владеющих русским языком, подготовлена издательством Тбилисского университета. Ее автор Г. И. Цибахишвили предлагает вниманию желающих овладеть самостоятельно грузинским языком краткий курс его грамматики, русско-грузинский разговорник, тексты для чтения, диалоги и словари, а также систему упражнений для выработки навыков речи.

В самом начале самоучителя вполне уместно, наряду с другими высказываниями о грузинском языке, приводятся следующие слова академика Н. Я. Марра: «Грузинский язык выражает все, что только можно выразить любым языком земного шара...

Грузинский язык высокохудожественно выражает всякую мысль, не искажая и не извращая ее...

Грузинский язык настолько богат, что... является языком мирового значения...».

Не потому ли так велик спрос на самоучитель этого языка? И не потому ли в этом году появилось уже третье его издание?



ВСТРЕЧА ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ»

● ГРУППА молодых литовских прозаиков и критиков, возглавляемая секретарем правления Союза писателей Литвы Петрасом Браженасом, встретила в Тбилиси со своими грузинскими коллегами.

Основной темой диалога была одна из актуальных проблем современной литературы — нравственный облик героя советской литературы и его жизненная позиция.

В редакции журнала «Цискари» участники встречи приветствовали председателя правления СП Грузии Г. Абашидзе, главный редактор журнала «Цискари» Г. Панджикидзе, секретарь правления Союза писателей республики Дж. Чарквиани.

Грузинские и литовские литераторы продолжили диалог, начатый несколько месяцев назад в Вильнюсе и Каунасе.

В творческой беседе, в которой приняли участие прозаики Ч. Амиреджиби, Г. Доцанашвили, Ю. Апугис, В. Мартинкус, критики Г. Асатиани, К. Имедашвили, А. Бучис, П. Браженас, Ю. Сприндите, разговор шел о современной литературе двух братских республик, ее социально-нравственной про-

блематике, о творческих исканиях молодых авторов, о национальной самобытности двух братских литератур, о развитии дальнейших творческих контактов.

О переводе литовской литературы на грузинский язык рассказали председатель Главной редакционной коллегии по делам художественного перевода и литературных взаимосвязей при СП Грузии О. Нодия и секретарь правления СП республики Г. Жоржолиани.

Литовские писатели совершили поездки по районам Грузии, встретились с трудящимися.

ДНИ ПОЭЗИИ В ЮГО - ОСЕТИИ

● ПО ТРАДИЦИИ праздник поэзии был приурочен ко дню рождения основоположника осетинской литературы, общественного деятеля и публициста Коста Хетагурова.

У памятника поэту состоялся митинг, который выступительным словом открыл ответственный секретарь Юго-Осетинского отделения Союза писателей Грузии К. Маргиев.

Перед собравшимися с чтением своих стихов, посвященных К. Хетагурову, выступили осетинские поэты,



საქართველოს
წიგნების კავშირი

гости из Москвы и Тбилиси, учащиеся...

Дни поэзии прошли также на промышленных предприятиях автономной области, в высокогорных селах Джавского, Ленингорского, Цхинвальского и Знаурского районов области.

НАШИ ГОСТИ — ПИСАТЕЛИ ГРЕЦИИ

● В ГРУЗИИ гостила делегация греческих писателей: председатель Ассоциации писателей Греции поэт И. Симполус, генеральный секретарь Национального союза писателей прозаик Г. Сарант, поэт А. Маталис.

Гости столицы Грузии в течение двух дней познакомились с достопримечательностями Тбилиси, посетили Музей искусств Грузии, побывали во Мцхета и Кахетии...

В Союзе писателей Грузии греческих писателей приветствовал секретарь правления СП Грузии И. Нонешвили.

ПРАЗДНИК В ЦИНАНДАЛИ

● ЗДЕСЬ в усадьбе выдающегося грузинского писателя и общественного деятеля А. Чавчавадзе прошел, ставший традиционным, праздник александровца.

В ярком народном празднике приняли участие ученые, историки, поэты... Перед присутствующими выступили ректор Цинандальского народного университета

та Г. Богвелишвили, заместитель редактора газеты «Правда» по отделу литературы и искусства С. Кошечкин, поэт Х. Берулава, народные сказители, земляки писателя.

Торжества завершились концертом с участием самодеятельных фольклорных молодежных коллективов.

ИОСИФУ НОНЕШВИЛИ— 60

● В ТБИЛИСИ в академическом театре имени Ш. Руставели состоялся юбилейный вечер, посвященный 60-летию со дня рождения замечательного грузинского поэта Иосифа Нонешвили.

Во вступительном слове председатель правления Союза писателей Грузии Г. Абашидзе особо отметил большую популярность поэта, патриотизм и гражданственность его поэзии, глубокое проникновение в духовный мир человека.

Первый секретарь ТК КП Грузии Т. Ментешавили огласил приветствие ЦК КП Грузии, Президиума Верховного Совета республики и Совета Министров Грузинской ССР, в котором дана высокая оценка творческой и общественной деятельности поэта.

Юбиляра тепло поздравили председатель Государственного комитета Грузинской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли писатель Э. Маградзе, народный

поэт Дагестана, Герой Социалистического Труда Р. Гамзатов, секретари правления Союза писателей Грузии Г. Цицишвили и Н. Думбадзе, московские, азербайджанские, армянские, румынские поэты, рек-

тор Грузинского театрального института Э. Гугушвили

На юбилейном вечере присутствовали товарищи Г. Гиладшвили, Г. Колбин, З. Патаридзе, Э. Шеварднадзе, С. Хабеншвили, О. Черкезия.



ВАСАДЗЕ Акакий Георгиевич. Род. в 1939 г., кандидат филологических наук. Поэт, прозаик, литературовед, работающий в области психологии художественного творчества. Автор книг «Стих и творчество», «Необычные дни» (рассказы), сборников стихов и повестей, работ об импульсах художественного творчества, о прообразе и т. д.

МЕГРЕЛИДЗЕ Губаз Иосифович. Род. в 1957 г. Студент IV курса театроведческого факультета Тбилисского государственного театрального института имени Ш. Руставели. Автор ряда публикаций по истории театра, рецензий на спектакли, напечатанных в республиканских периодических изданиях.

ДАВИТАШВИЛИ Михаил Даниелович. Род. в 1914 году. Известный грузинский журналист. Редактор республиканской газеты «Соплис цховреба» («Сельская жизнь»). Участник Великой Отечественной войны, автор более десяти книг — «Страницы боевой славы», «Двадцать одна тысяча километров по тылам врага», «Репортаж из Сакартвело», «Чай наш грузинский», «Добрые всходы», «Леселдзедзе» и других, изданных на грузинском, русском, украинском и словацком языках. Лауреат премии Союза журналистов СССР.

МИРЦХУЛАВА Борис Алиосевич. Род. в 1928 г., кандидат филологических наук. Литературовед, журналист, переводчик. Заместитель главного редактора журнала «Сакартвелос бუნება» («Природа Грузии»). Автор ряда книг, в том числе «Поэт эпохи» (об отце — поэте Аλιο Мирцхулава), «По следам эпохи», «Поэзия, закаленная в огне», «Поэты в шинелях» и др. Ему принадлежат также переводы с испанского (например Бласко Ибаньеса). Он является автором и составителем впервые выходящего в Грузии «Календаря книголюбца».



ЗЕНКОВИЧ Всеволод Павлович. Род. в 1910 г. Доктор географических наук, лауреат Ленинской и Государственной премий. Крупный специалист в области морской геологии, автор многих научных трудов и исследований, научно-популярных книг. Публикуемая нами

статья «Море угрожает» легла в основу доклада автора на республиканской научной конференции по комплексным проблемам охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, состоявшейся 24—25 ноября 1978 г. в Тбилиси.



Сдано в набор 27 сентября 1978 г. Подписано к печати 6 декабря 1978 года. 6 печ. листов, усл. листов 10,08. Формат бумаги 84×108¹/₃₂.

Заказ № 2619

Тираж 7.000

УЭ 14503

26-78

78-703
საქართველოს
ბიბლიოთეკა

Цены в коп.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 76117



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ

საქ კპ ცკ-ის გამომცემლობა